

ДЖАЛИЛ
МАМЕД-
КУЛИЗАДЕ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1

ДЖАЛИЛ МАМЕДКУЛИЗАДЕ

(МОЛЛА-НАСРЕДДИН)

**ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

В ДВУХ ТОМАХ

1

**художественная проза
драматургия**

М. Ф. Ахундов adına
Azərbaycan Respublikası
КНИГАБХАНАСЫ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
БАКУ · 1988

2-2255611-10

ДЖАЛИЛ МАМЕДКУЛИЗАДЕ

(Молла-Насреддин)

В 1966 году азербайджанский народ вместе со всеми народами Советского Союза и многих стран Ближнего и Среднего Востока торжественно отмечает столетие со дня рождения своего великого сына — писателя, журналиста, общественного деятеля, демократа Джалила Мамедкулизаде, прославившегося под литературным псевдонимом Молла-Насреддин.

На рубеже нового века, в эпоху социальных потрясений творчество этого блестящего новеллиста, выдающегося драматурга явило новую страницу в истории развития азербайджанской литературы.

Джалил Мамедкулизаде — создатель и редактор прославленного на весь Восток сатирического журнала «Молла-Насреддин», автор сотен фельетонов и статей на самые различные животрепещущие темы социальной, политической, культурной жизни — стал глашатаям демократических идей, поднял знамя борьбы против деспотии шахов, султанов и эмиров, против колониальной политики империалистических держав Запада, за национальную независимость, общественно-политическое и культурное возрождение угнетенных народов Востока.

Мамедкулизаде всю жизнь неустанно и самоотверженно боролся против религиозного фанатизма, мракобесия, духовного закабаления народа служителями ислама, против рабского положения женщины в мусульманском обществе, бесчеловечной эксплуатации трудящихся, выступал за торжество идей свободы, гуманизма, интернациональной дружбы.

Замечательный художник слова и пламенный сатирик, он со всей силой своего недюжинного таланта обрушился на затхлый мир патриархально-феодалных отношений, где жестоко попирались элементарные человеческие права и под эгидой шарната творились чудовищные преступления.

В художественном творчестве и общественной деятельности Джалила Мамедкулизаде ярко отразились думы и чаяния народов Востока, Азии, где «сотни миллионов забитого, одичавшего в средневековом застое населения проснулись к новой жизни и к борьбе за азбуные права человека, за демократию»*.

* В. И. Ленин. Пробуждение Азии. Сочинения, том 19, стр. 66.

Составитель АББАС ЗАМАНОВ

Перевод с азербайджанского,
вступительная статья
и комментарии

АЗИЗА ШАРИФА

Поставив свое перо художника и публициста на службу интересам угнетенных народов Востока и трудящихся масс, Джалил Мамедкулизаде снискал себе глубокую любовь и признательность лучших людей этих народов, ныне с благоговением склоняющих головы перед его памятью.

1

Родился Джалил Мамедкулизаде 10 (22) февраля 1866 года в захолустном городке Нахичевани, расположенном на самой южной границе России с Ираном. Такая близость к отсталому, патриархально-феодалному Ирану, оплоту правоверного шиизма, наложила определенный отпечаток на общественную жизнь в Нахичевани, на образ мыслей, психологию, жизненный уклад населения этого края по всему левобережью пограничной реки Аракс. Здесь были еще живы воспоминания о том недавнем времени, когда эта часть Северного Азербайджана составляла Нахичеванское ханство и подчинялась по административной линии власти иранского шахишаха, а по духовно-религиозной — столь же неограниченной власти шиитского духовенства Ирана. Присоединена она была к России вместе с Эриванским ханством за тридцать восемь лет до рождения писателя. Персидская администрация с подписанием Туркменчайского договора от 10 февраля 1828 года была полностью заменена администрацией русской, однако духовно-религиозная власть продолжала осуществляться и после этого мирного договора высшими духовными лицами шиитского толка. На протяжении всего XIX века и вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции правоверное население всего этого края продолжало испытывать на себе не только влияние, но и прямую власть мусульманского шиитского духовенства.

Здесь, на границе с Ираном, и происходило наиболее острое столкновение между проникнутым духом фанатизма мусульманским вероучением и просветительскими идеями. И это оказало решающее влияние на все творчество писателя Джалила Мамедкулизаде, всегда живо ощущавшего кровную связь с оставшимся и после Туркменчайского мирного договора в составе Ирана Южным Азербайджаном, откуда, кстати, происходил и дед писателя, каменщик Гусейнкули, который переселился в Нахичевань в самом начале века, обзавелся семьей и остался здесь на всю жизнь. В семье его сына Мамедкули, городского труженика и благочестивого шиита, и родился будущий писатель — Джалил. Мир, в котором он провел детство, лучше всего охарактеризовал сам писатель в своих «Воспоминаниях», начатых незадолго до смерти, совсем в другую эпоху, когда советский народ закладывал первые камни в фундамент социализма:

«Впервые в жизни, открыв глаза, я увидел мир темным, и первое, что я услышал в этой темноте, было: аллаху акпер—велик аллах!»

Воспитывался Джалил в духе беспрекословного, бездумного подчинения требованиям шарната, как бы нелепы ни были они, и с семилетнего возраста начал совершать пятикратную молитву — намаз и соблюдать изуверский пост — орудж.

Первоначальное образование Мамедкулизаде получил в духовных школах — медресе — у известных в городе молл, которые учили



• детей по арабским и персидским книгам, ничем не напоминавшим обычные учебники, по корану, богословским шариаским трактатам или по «Гюлистану» великого ширазского поэта Муслих-эд-Дина Саади.

Писатель с ужасом вспоминал впоследствии об этих годах своей школьной жизни, когда ему приходилось заучивать наизусть непонятные арабские и персидские стихи и изречения, запоминать всевозможные правила религиозных обрядов, совершать намаз, зубрить различные молитвы и целые главы из корана. Пройдя до тринадцати лет всю премудрость религиозных наук в медресе, Джалил поступил в открытое царским правительством нахичеванское городское училище, где получил возможность изучить русский язык.

Мирза Джалил, как его обычно называли в семье за успехи в усвоении грамоты, оказался пытливым, жадным до знаний подростком. Годы учения в школе возбудили в нем критическое отношение к бессмысленным и мучительным религиозным обрядам, ко всему учению шариа с его неуверенными догмами, вызвав неутолимую тягу к знаниям, к науке.

Значительным событием в жизни Джалила Мамедкулизаде явилось поступление в учительскую семинарию в грузинском городе Гори. Это произошло в 1882 году.

Горьская учительская семинария не только дала молодому нахичеванцу великолепное знание русского языка и основательные познания в области ряда гуманитарных и естественных наук, но и ввела его в новый мир просвещения и культуры, оторвав от привычной среды правоверных фанатиков с их чудовищными религиозными предрассудками, идиллическими представлениями о живой действительности, приучив к реалистическому мышлению.

Горьская учительская семинария и ее так называемое «татарское» отделение, которым долгие годы руководил просвещенный педагог и выдающийся общественный деятель, автор нескольких учебников Алексей Осипович Черняевский, воспитала не один десяток передовых деятелей азербайджанской культуры, таких, как Нариман Нариманов, Фириду-бек Кочарлинский, Сулейман Ахундов, Узейр Гаджибеков, Муслим Магомаев, Фархад Агаев, Рашид-бек Эфендиев, Гаджи-Керим Саннев и др.

В числе питомцев Горьской учительской семинарии, на всю жизнь сохранивших чувство благодарности к этому очагу культуры и просвещения, был и Джалил Мамедкулизаде, окончивший здесь курс обучения и в 1887 году получивший назначение народным учителем в сельскую школу.

В продолжении десяти лет Джалил Мамедкулизаде учительствовал в различных сельских школах Эриванской губернии, причем последние семь с лишним лет был смотрителем школы в селении Неграм, в 15 километрах от родного города Нахичевани. К этому времени относится и увлечение Джалила Мамедкулизаде литературным творчеством: им были написаны первые небольшие драматические произведения — аллегорическая пьеса в стихах «Чайный прибор» и одноактная комедия «Игра в изюм», впоследствии переданная в рассказ под тем же заглавием, и первое крупное произведение — цикл повестей под общим заглавием «События в селении Данабаш».

Работая в селении Неграм, Мамедкулизаде часто бывал в род-

ном городе, где у него скопилось много единомышленников в борьбе за просвещение и культуру. Наиболее значительным начинанием стало открытие в Нахичевани в 1894 году национальной школы, призванной наглядно показать населению все преимущества светской школы, где преподается не религиозная схоластика, а подлинная наука, к тому же на родном азербайджанском языке. Арабский и персидский преподавались здесь особо, как отдельные дисциплины.

Руководителем этой школы был приглашен из соседнего города Ордубада один из реформаторов азербайджанского просвещения, человек недюжинных талантов, поэт, педагог, публицист, мыслитель Мамед-Тата Сафаров, известный под псевдонимом Сидти (Искреница), вскоре ставший в центре культурной жизни не только города Нахичевани, но и всего края.

К тому времени — на рубеже двух веков — в Нахичевани была уже довольно значительная группа образованных людей, окончивших русские университеты и хорошо усвоивших западноевропейскую культуру или изучивших арабский и персидский языки; хорошо знавших историю и литературу Востока. Они-то и составляли ядро передовой интеллигенции, выписывали прогрессивные газеты и журналы, пропагандировали литературу, ставили спектакли, организовывали диспуты на литературные и философские темы, выступали против реакционного духовенства и диких религиозных обрядов.

Джалал Мамедкулизаде был одним из главных участников всех этих культурно-просветительских начинаний нахичеванской передовой молодежи, которая увлеченно изучала и пропагандировала классические произведения русской, западной, персидской и азербайджанской художественной и философской литературы, включая и ненаданные в те времена, ходившие в рукописных списках философские произведения Мирзы Фатали Ахундова, особенно его знаменитые «Три письма индийского принца Кемал-ула-Доле к персидскому принцу Джалялу-уд-Доле и ответ на них сего последнего», произведение огромной взрывной антимусульманской и атеистической силы. Среди произведений художественной литературы, особенно понравившихся нахичеванским просветителям, был и цикл повестей Джалала Мамедкулизаде «События в селении Данабаш» в авторской рукописи.

Как интересна и значительна ни была деятельность Джалала Мамедкулизаде и в селении Неграм в качестве смотрителя школы, и в городе Нахичевани в качестве члена кружка местной прогрессивной молодежи, но она, очевидно, не удовлетворяла будущего писателя, жаждавшего более широкого поля деятельности. К тому же у него умерла жена, светловолосая неграмская крестьянка Хальма, привязывавшая его к родным местам, оставив ему малолетнюю дочь Миннавар.

Оставив четырехлетнюю дочь на попечение своих родителей в городе Нахичевани в 1901 году, Мамедкулизаде переехал в губернский центр Эривань, где занялся подготовкой к новой сфере деятельности — адвокатуры. Не имея высшего юридического образования, Мамедкулизаде принялся изучать юридические науки для сдачи экзамена на звание частного поверенного. Подготовкой его руководил Мамедкули-бек Кенгерлинский, окончивший юридиче-

ский факультет университета и содержавший в Эривани специальную школу с пансионом.

Джалал Мамедкулизаде посещал в Эривани открытые собрания городской управы, судебные заседания, изучал быт и нравы местных мусульман, принимал участие в общественной жизни города, посылал корреспонденции в бакинские и тифлиские газеты и усердно штудировал российские кодексы. При почти поголовной неграмотности в городские и сельское население, будучи не в состоянии разобраться в чрезвычайно сложных, запутанных и часто противоречивых царских законах, крайне нуждалось в юридической помощи сведущего человека. Таких сведущих людей явно не хватало мусульманскому населению, которое часто вынуждено было обращаться к адвокатам, не знавшим ни его языка, ни его быта, нравов и обычаев.

Звание частного поверенного, имеющего право выступать в судах, сулило будущему писателю интересную работу, тесную связь с населением, возможность оказывать своему народу посильную помощь. Мамедкулизаде далек был в это время от мысли считать себя профессиональным писателем или даже журналистом. Однако обстоятельства сложились иначе.

Джалал Мамедкулизаде женился вторым браком на сестре Кенгерлинского — Назлы-ханум, молодой вдове, имевшей от первого мужа маленького сына. У Назлы-ханум оказалось слабое здоровье; она серьезно расхворалась; местные врачи рекомендовали показать ее более сведущим тифлиским врачам. В декабре 1903 года Джалал Мамедкулизаде со своим шурином Мамедкули-беком поехал болыну в Тифлис. Но и здешние врачи оказались бессильны. Назлы-ханум вскоре скончалась, а Джалал Мамедкулизаде отныне надолго связал свою жизнь с Тифлисом.

В Тифлисе издавалась тогда единственная в России газета на азербайджанском языке «Шарки-Рус» («Русский Восток»), куда на постоянную литературную работу и полугодичное приглашение Джалала Мамедкулизаде. Он был хорошо знаком с издателем газеты земляком Мамед-агой Шахтахтинским, видным журналистом, активно выступавшим на страницах казавказской русской прессы.

Год с лишним проработал Мамедкулизаде в редакции этой газеты, умеренно демократической по духу. Однако газета, по признанию самого Мамедкулизаде, имела для него большое значение, приобщив к миру печати, дав определенные навыки в издательском деле, предоставив свои страницы для его произведений: здесь были опубликованы два новых рассказа («Почтовый ящик» и «Игра в изюм») и несколько статей, фельетонов и переводов, в том числе перевод известного рассказа Льва Толстого «Труд, смерть и боль». Работа в газете развила у него литературный вкус, вселила в него уверенность в своем призвании, своих литературных способностях.

Газете «Шарки-Рус» не пришлось жить долго. В январе 1905 года она прекратила свое существование. После ее закрытия Джалалу Мамедкулизаде и его новому другу по работе в редакции газеты Омар-Фанку Нзмаи-заде удалось приобрести неплохое оборудованную типографию, которую вынесла для своей газеты из-за границы Мамед-ага Шахтахтинский. Новые владельцы назвали ее «Гейрат», словом имеющим несколько значений — усердие, энергия, достоинство, честь.

Назревали великие события революционной бури 1905 года. Типография пригодилась новым владельцам, в частности, и для выпуска революционных листовок, воззваний, экстренных телеграмм.

Тогда же Мамедкулиаде напечатал в типографии свои замечательные рассказы «Почтовый ящик» и «Уста-Зейнала».

Наряду с эксплуатацией типографии «Гейрат», которая, однако, принесла один убыток, Джалил Мамедкулиаде содержал школу, где готовил учеников к поступлению в тифлиссские средние учебные заведения или репетировал отстающих учащихся. Одновременно он заведовал в прогрессивной газете «Возрождение» специальным отделом «Среди мусульман», принимал активное участие в политических и общественных организациях, которые ставили перед собой благородную цель прекращения спровоцированной царской администрацией преступной армяно-мусульманской резни, охватившей все уголки Закавказья со смешанным армянским и азербайджанским населением, в том числе резиденцию царского наместника в Тифлисе.

Но все это далеко не удовлетворяло кипучую натуру, гражданственные устремления писателя.

«Ах, как жаждал я получить права и высказать публично горе души моей! — писал он впоследствии в своих воспоминаниях. — Взял я перо, написал ходатайство и подал губернатору, чтобы мне было разрешено издавать газету «Новруз». Я не знал, будет ли дано такое разрешение, или не будет. А на сердце накипело много.

Мир ислама, с которым я сталкивался в Тифлисе на Шейтан-базаре, побуждал меня писать ежедневно, ежедневно. Материала было так много, что, как говорят поэты:

Я, горе свое изливая,
Бумагу извел всю, и мне
Осталось одно лишь: поведать
Печали свои из стени!»

Писал Мамедкулиаде в это время много и большей частью в русских газетах, так как единственная после «Шарки-Рус» азербайджанская газета, издававшаяся тогда в Баку под названием «Гейт» («Жизнь»), не соответствовала политическим взглядам писателя. Его охотно печатали. Два фельетона Джалила Мамедкулиаде опубликовал на своих страницах легальный большевистский орган, выходивший в Тифлисе под названием «Кавказский рабочий листок». Эти выступления Джалила Мамедкулиаде были проникнуты горячим желанием помочь своим соотечественникам разобраться в происходящих в России исторических событиях и одновременно познакомить русских читателей с нуждами и чаяниями азербайджанского трудового народа.

Однако такая деятельность не могла быть и не была конечной целью писателя, вступившего на большую арену общественной и литературной жизни. Подлинное свое назначение нашел Мамедкулиаде лишь в сатирическом журнале, который он стал издавать с апреля 1906 года. И назвал он журнал именем полудедагероического, широко известного своими анекдотами восточного мудреца, всеведого шутника и остролиста, лукавого наместника и балатура Молла-Насреддина; часто прикидываясь простачком, он зато смеялся над пороками, трюнил над сильными, поддерживал бедных и сирых,

высмеивал нечестых на руку судьей, ханжество святош, алчность и чванство богатеев.

«И разуме не было естественным, — писал Мамедкулиаде в тех же воспоминаниях, — появление «Молла-Насреддина», чтобы в такое время написать историю, изобразить обычаи и нравы этих диковинных людей? «Молла-Насреддина» создала сама природа. Создала сама эпоха!»

Журнал «Молла-Насреддин» был совершенно новым явлением в истории печати не только Азербайджана, но и всего Ближнего и Среднего Востока. Подобного журнала по своеобразию и остроте формы, по злободневности содержания не было ни в одной стране, куда проникал «Молла-Насреддин» и где завоевывал сторонников и друзей, а заодно и наживал врагов.

Журнал выходил на восьми больших страницах; из них четыре занимали красочные сатирические иллюстрации и карикатуры, которые выполнялись замечательными художниками Шмерлингом и Ротгером, а на четырех других помещались самые различные литературные тексты — от рассказов и стихотворений до кратких изречений в одну-две строки сплошь сатирического характера. Тексты эти принадлежали перу многочисленных корреспондентов журнала, присылавших свои материалы со всех уголков страны или из-за рубежа, где журнал находил себе читателей. Темы для иллюстраций и карикатур давались художникам, как правило, самим редактором или его ближайшим сподвижником Омар-Фанком Ныман-заде.

Уже в первые месяцы издания журнала вокруг него сплотилась большая группа постоянных авторов, поэтов и прозаиков. «Молла-Насреддин» явился для них не только трибуной, но и плодотворной творческой школой. В числе наиболее выдающихся дарованных, большей частью открытых и привлеченных журналом к работе, ставших впоследствии его надежной опорой, были Мирза-Александр Сабир, Абдурагим Ахвердов, Али Назми, Аликули Гамкюсар, Салман Мумтаз, Али-Аббас Музунб и многие другие, скрытые под негражданинами по сей день вымышленными именами.

Почти в каждом номере со своими остротами, злободневными, художественно чеканными, глубоко содержательными фельетонами выступал сам редактор журнала. Именно с этого момента начинается наиболее значительный, плодотворный, зрелый период его литературного творчества и общественной деятельности.

Передовой читатель не только принял и полюбил журнал, с живым интересом встречая сверкающие искрометными юмором или жгущие острым сатиры фельетоны, стихи, рассказы, остроумные и меткие карикатуры, но и стал на его защиту, поддерживал морально и материально.

Как ни много было друзей и единомышленников у «Молла-Насреддина», но не меньше было у него и врагов из среды духовенства, официальных властей, господствующих сословий и классов. Не гнушались никакими средствами, они всячески преследовали журнал, его редактора, авторов, сторонников и даже рядовых читателей.

Уже в первом году издания журнала мусульманские «святые отцы» издали фитуу (вердикт), обвинив редактора журнала в веротупничестве. Но никакие опасности, никакие угрозы и преследования со стороны духовенства, господствующих классов, русского

паризма не могли внушить страх достаточно уже закаленному борцу и заставить его отступить.

Как в период революционного подъема в России, так и в годы столыпинской реакции журнал умел находить особую форму для пропаганды передовых идей, широко используя иносказания, намеки, иронию, чтобы не подвести себя под удар царской цензуры. Так появились в азербайджанской литературе и журналистике специфически «молланасреддиновский» стиль, непревзойденными мастерами которого стали сам Мамедкулизаде (Молла-Насреддин) и его великий ученик и соратник народный поэт-сатирик Мирза-Алекпер Сабир, чье поэтическое творчество, связанное с журналом «Молла-Насреддин», составило целую эпоху в истории азербайджанской дореволюционной поэзии.

Дело издания журнала было налажено безупречно, тираж был для того времени огромный — пять тысяч экземпляров, корреспонденция шла со всех сторон непрерывным потоком, число друзей и доброжелателей все росло и увеличивалось за счет прогрессивной интеллигенции и трудовых слоев населения, особенно бакинских рабочих.

Еженедельно, по пятницам, за исключением тех случаев, когда царская администрация подвергала конфискации тот или другой номер журнала, читатели его получали своей номер и неизменно находили на его страницах острую сатиру на врагов прогресса.

В течение всего 1909 года журнал выходил в увеличенном объеме — на двенадцати страницах; подписчики получали порой бесплатные приложения в виде отпечатанных отдельными книжками первых рассказов редактора журнала. Так были изданы, например, «Конституция в Иране», «Курбанали-бек» и другие рассказы.

Не было ни одного сколько-нибудь значительного политического события или общественного явления, на которые не откликнулся бы журнал, не было ни одной проблемы, вызвавшей интерес демократической общественности, которую журнал не осветил бы с передовых, прогрессивных, революционных позиций. Вот почему не только подробный анализ содержания журнала его дореволюционной поры, но даже беглый обзор потребовал бы слишком много места.

Мамедкулизаде (Молла Насреддин) был на вершине своей литературной славы.

В его личной жизни произошли изменения: в 1907 году он в третий раз вступил в брак, женившись на вдове дочери помещика, образованной и известной своей общественной деятельностью Джеваншир Гамиде-ханум (по первому мужу Данатдаровой), имевшей от первого брака дочь и сына. Гамиде-ханум поселилась в Тифлисе, но часто отлучалась в свое имение Кяргизли, расположенное в пяти километрах от селения Гиндхар Шушинского уезда. Вместе с женой сюда приезжал и Джалил Мамедкулизаде, не оставляя, однако, руководства журналом, лично готовя материал для каждого номера — как иллюстрационный, так и текстовый. То были годы расцвета журнала — первые четыре года его издания.

Начиная с 1910 года в издании журнала появились перебои. Мамедкулизаде все чаще отлучался от своего основного и любимого дела и для непосредственного и практического ведения журнала пригласил из Нахичевани Мамедали Сафорова-Сидги, сына своего покойного друга Мамед-Таги, так как и Омар-Фанк Нэман-

заде по состоянию здоровья вынужден был к этому времени покинуть город и удалиться в свою деревню Ацхур Ахалцхского уезда (Грузия).

С ноября 1910 года до середины марта 1911 года Джалил Мамедкулизаде руководил журналом лишь издали, редко появляясь в редакции, доверив издание временному редактору Мамедали Сафорову-Сидги.

Таким образом, прославивший боевой журнал азербайджанской революционной демократии, так громко заявивший миру о своем появлении на свет, вошел в полосу грозных испытаний. И самым тяжелым ударом явилась для него безвременная смерть летом 1911 года лучшего из лучших молланасреддиновцев, гордости и славы журнала, подлинного народного поэта Мирза-Алекпера Сабира.

Руководил журналом, создавая для каждого его номера свои искристые юмором, сатирически-обличительные и насыщенные глубоким общественным содержанием фельетоны, очерки, заметки, Джалил Мамедкулизаде одновременно писал рассказы, которые печатались на страницах журнала или выпускались в небольших местных иллюстрированных книжках журнала Оскара Ивановича Шерлинга в виде отдельных книжек и рассылался в качестве бесплатного приложения подписчикам журнала.

В период расцвета журнала (1907—1909 годы) Джалил Мамедкулизаде работал над своей комедией «Мертвецы», помещенной в азербайджанскую литературу как классическое произведение сатирической драматургии, с огромной художественной силой разоблачающее патриархально-феодалный мир с его позлыми законами, ханжеством и лицемерием, религиозным фанатизмом и невежеством.

В начале первой мировой войны Мамедкулизаде почти безвыездно жил в имени своей жены в селении Гиндхар. Здесь он доработал комедию «Мертвецы», на постановку которой еще в августе 1909 года было получено разрешение цензуры. За три первых года войны им было написано всего три небольших, но прелекательных рассказа — «Барашек», «Молла-Фазалли» и «Беспokoйство».

Весной 1916 года Мамедкулизаде предпринял поездку в Баку в связи с предстоящей постановкой «Мертвецов». К постановке были привлечены лучшие артистические силы тогдашнего азербайджанского театра. Руководил постановкой выдающийся азербайджанский актер-самородок Гусейн Араблинский при непосредственной помощи автора. В главных ролях выступили поэт А. Наджафов (Гамкюсар), оказавшийся прекрасным исполнителем роли Шейх-Насрулла, и опытный артист Мирза-Ага Алиев (Искендер), впоследствии удостоивший почетного звания народного артиста СССР.

Постановка пьесы в Баку имела небывалый успех и вызвала восторженные отклики прогрессивной печати. Ее ставили на один уровень с такими произведениями мировой драматургии, как «Тартюф» и «Ревизор». Постановка была повторена, что было редчайшим явлением в истории азербайджанского театра, и прошла с тем же триумфом.

Окрасленный успехом, писатель предпринял вместе с основными участниками спектакля поездку в Среднюю Азию и Поволжье, где пьеса была принята с тем же горячим интересом и так же восторженно.

После свержения царизма в феврале 1917 года Мамедкулизаде решил попытаться вновь вернуться к жизни свое любимое детище — журнал «Молла-Насреддин».

Вернувшись в Тифлис, он возобновил издание журнала, но наступившая вскоре анархия, а затем отрыв Закавказья от центральной России, начало гражданской войны и нарушение почтовой связи не дали возможности успешно продолжать начатое. Пришлось, выпустив до конца года всего 26 номеров, снова отойти от журнальных дел.

В Закавказье опять вспыхнула армяно-мусульманская вражда, разожженная, по примеру 1905 года, националистическими партиями мусават и дашнакчугюн.

Наступил тяжелейший период в истории народов Закавказья, разобщенных силами реакции. В Азербайджане у власти стали контрреволюционные мусаватисты, в Армении — дашнаки, в Грузии — меньшевики. При этом значительная часть Армении была захвачена турками, в Грузии диктовала пранительству свою волю власть немцев, а после поражения Германии — англичане и другие члены Антанты; Азербайджан с согласия проданного мусаватского правительства был оккупирован турецкими, а затем английскими войсками.

В эти грозные, трагические дни Джаляля Мамедкулизаде создал замечательную по своей человечности, силе гуманизма драму «Кеманча». Старый писатель-демократ с глубокой горечью и сердечной болью осудил в этом произведении преступную армяно-азербайджанскую резню; в полном обаянии образе хромого армянского музыканта он воплотил идею о всеобъемлющей и облагораживающей силе искусства.

В те же дни он написал сложную по содержанию и идейно противоречивую пьесу «Кинга моей матери», в которой затронул всегда занимавшую и волновавшую его проблему национальной культуры. Автор высмеял в ней трех братьев — представителей буржуазной интеллигенции. Изменяя заветам отца, они проповедают враждебные народу идеи, пытаются навязать ему чуждый язык, чуждую культуру в ущерб родному языку и национальной культуре.

Обе пьесы были написаны в 1920 году, накануне установления в Азербайджане советской власти, и обе отражали брожение умов в обществе, где многие мыслящие люди мучительно искали выхода из тупика, в который привела страну буржуазно-помещичья партия мусават.

В начале 1920 года, в силу сложившихся обстоятельств, Джаляля Мамедкулизаде вместе с семьей вынужден был покинуть Азербайджан. Перейдя пограничную реку Аракс, он направился в город Тебриз, центр Южного (Иранского) Азербайджана, где старший Молла-Насреддин имел немало друзей и сторонников. Окруженный их вниманием и поддерживаемый прогрессивными деятелями Южного Азербайджана, Джаляля Мамедкулизаде возобновил издание своего журнала и успел выпустить восемь номеров. По-прежнему Молла-Насреддин разоблачает отжившие обычаи и нравы, высмеивает пороки тебризского писшего общества, произвол властей, косность, религиозные предрассудки, суеверия и прочие социальные язвы патриархально-феодалного Ирана.

Мамедкулизаде пытался даже поставить силами местных ар-

тистов-любителей свою пьесу «Мертвецы», но спектакль был сорван главарями местного духовенства как «богохульное» произведение.

Прожив ровно год в вынужденной эмиграции в Иране, Джаляля Мамедкулизаде получил приглашение азербайджанского советского правительства вернуться со всей семьей на родину и поселиться в Баку. Писатель незамедлительно выехал из Ирана.

С этого дня Джаляля Мамедкулизаде (Молла-Насреддин) вступил в новый, последний период своего литературного творчества и общественной деятельности.

Азербайджанское советское правительство, возглавляемое выдающимся писателем и революционером-большевиком Нариманом Наримановым, старым поклонником «Молла-Насреддина», предоставило масгитумо писателю-демократу возможность вновь организовать издание журнала в Баку, отпустил соответствующие средства и обеспечил журнал необходимой полиграфической базой. И Мамедкулизаде снова стал во главе своего журнала, который начал выходить в том же формате с конца 1922 года. Последние два его номера вышли в январе 1931 года, когда журналу исполнилось двадцать пять лет.

В новых условиях перед сатирическим журналом встали новые задачи, связанные с социалистическим строительством. И журнал с честью справлялся с ними. Фельетоны Джаляля Мамедкулизаде, появившиеся на страницах журнала за последние девять-десять лет его существования, представляли огромную художественную ценность как высокие образцы советской публицистики.

Наряду с изданием журнала Джаляля Мамедкулизаде принимал самое деятельное участие в пропаганде, а затем и в проведении в жизнь, вплоть до утверждения специальным декретом, нового тюркского алфавита, построенного на латинской графике, и редактировал первую газету на этом алфавите «Ени йол» («Новый путь»). Это была чрезвычайно ответственная работа, и Мамедкулизаде, убежденный и давнишний противник арабского алфавита, не отменяющего специфику азербайджанского языка, весь отдался этому делу.

Старый прославленный писатель стоял в центре культурной и литературной жизни республики, принимал активное участие в работе писательской организации; он создал за эти годы ряд выдающихся художественных произведений: комедию «Школа селения Данабаши», для которой использовал сюжет одноименной незаконченной повести из цикла «События в селении Данабаши»; рассказы «Четки хана», «Бакалейщик Мешади-Рагим» и большую пьесу «Сборщик сумасшедших» на темы, навеянные впечатлениями за время пребывания писателя в Иране; несколько рассказов из дореволюционной жизни Азербайджана, а также на советскую тематику.

Все эти произведения были опубликованы в свое время в различных советских газетах и журналах, а также издавались отдельными книжками и сборниками. Неоднократно ставившись на сцене его драматургические произведения, причем особым успехом неизменно пользовалась бессмертная комедия «Мертвецы».

В последние годы жизни он писал свои воспоминания, которые, к великому сожалению, остались незаконченными. Писатель успел довести историю своей жизни и творчества до первого номера журнала «Молла-Насреддин» и дать подробный анализ его содержания.

4 января 1932 года Джалил Мамедкулиаде скончался от кровоизлияния в мозг.

Азербайджанский народ высоко оценил заслуги своего великого сына.

Именем Джалила Мамедкулиаде названы в Азербайджане многие школы, дворцы культуры, библиотеки-читальни и другие культурно-просветительные учреждения. Его статуя украшает одну из шести ниш на фасаде здания музея имени Низами Академии наук Азербайджанской ССР в Баку.

Произведения его многократно издавались в Азербайджане на родном языке. Они переведены на многие языки народов СССР и зарубежных народов. На русском языке сборники произведений выдающегося азербайджанского писателя выдержали ряд изданий в Москве, Тбилиси и Баку.

2

Джалил Мамедкулиаде (Молла-Насреддин) прочно вошел в литературу задолго до опубликования своего великопленного рассказа «Почтовый ящик», с которого долгие годы, вплоть до смерти писателя, исчислялись годы его литературного творчества. Более чем за десять лет до этого рассказа им были написаны две небольшие одноактные пьесы и начат цикл повестей «События в селении Данабаш», состоящей из «Легионского предисловия», большой повести «Пропажка осла» и неоконченной повести «Школа селения Данабаш»; эти произведения были опубликованы лишь после смерти писателя, который знакомил с ними в свое время самых близких друзей и единомышленников в Нахичевани.

Поэтому правомерно считать началом литературного творчества писателя именно эти произведения и, в первую очередь, повесть «Пропажка осла», явившуюся знаменательным событием в истории азербайджанской литературы. По своей художественной значимости это — второе после «Обманутых звезд» Мирзы Фатали Ахундова произведение, которое непосредственно продолжало и развивало уже в новых условиях социально-политической жизни ахундовские реалистические традиции. Новые условия требовали нового содержания и нового понимания задач искусства, и Джалил Мамедкулиаде, верный основным требованиям ахундовского реализма, сделал предметом своего творчества жизнь трудового крестьянства со всеми его повседневными радостями и печальями, думами и нуждами, а для изображения этой жизни избрал простую и доходчивую повествовательную форму, как у народных сказок, и разговорный народный язык.

Цикл повестей «События в селении Данабаш», созданный в девятидесятых годах прошлого столетия, знаменовал появление писателя, которому суждено было занять ведущее место в дореволюционной азербайджанской литературе и повернуть ее на новый путь развития.

Уже «Легионское предисловие» к циклу само по себе является достаточно зрелым художественным произведением. В нем мы находим довольно четко определеннейший своеобразный и новый в азербайджанской литературе стиль, который отличает Джалила Мамедкулиаде от всех других азербайджанских писателей того вре-

мени. Простота и естественность — первые характерные черты этого стиля, та самая «простота вымысла и поэзии реальной», которую В. Г. Белинский считал одним из «самых верных признаков истинной поэзии, истинного и притом зрелого таланта».

С первых же строк автор вступает с читателем в доверительный непринужденный разговор. Речь его льется легко и свободно. Это — живая речь, задуманная беседа, которая ведется обычно между близкими друзьями в часы досуга, речь спокойная, историчная, даже несколько медлительная, с частыми отклонениями от главного предмета разговора, непосредственно обращенная к собеседнику-читателю.

Этой простотой и естественностью повествования, столь ярко проявившимися в цикле «События в селении Данабаш», отмечено и все дальнейшее творчество Мамедкулиаде. После основания журнала «Молла-Насреддин», писатель стал выступать на его страницах как рассказчик и фельетонист уже под именем лукавого насмешника Молла-Насреддина, столь же близкого и понятного народу, как и безвестный Халил-Газетчик с его другом Садыхом-Балагуром; только Молла-Насреддин обнаруживал больше опытности, мудрости и проницательности, чем друзья из селения Данабаш. Это обстоятельство и определило особенность и своеобразие художественного стиля Джалила Мамедкулиаде.

Уже первым своим значительным произведением Мамедкулиаде обратился к жизни простого народа и объявил войну всему тому, что отравляло и уродовало эту жизнь; избрав своим оружием смех, он отточил это оружие до совершенства и использовал во всем многообразии его форм.

Главное зло, против которого ополчился писатель в первую очередь, была мусульманская религия с ее бесчеловечными, жестокими канонами, ханжеством и фальшью.

В повести «Пропажка осла» и в рассказе «Уста-Зейнал» Мамедкулиаде в образах и судьбах добрых и честных тружеников — дядя Мамед-Гасана и шуткара Уста-Зейнала, показал вековую драму, жалкий удел этих забитых людей, отравленных религиозным ядом, живущих иллюзиями о вечной жизни, одержимых одним желанием — заслужить своей праведностью и благочестием, своей преданностью шарнату укромный уголок и в обещанном Мухаммедом раю.

Эта уродливая и жалкая психология смирения создает самые благоприятные условия для безнаказанной эксплуатации бедняков такими хищниками, как Худаяр-бек из селения Данабаш, против которого совершенно беззащитны честные люди, вроде Мамед-Гасана, посвятившие себя служению аллаху и неспособные бороться против сил угнетения, за свое погрязшее человеческое достоинство.

Изобильная религиозный фанатизм, Мамедкулиаде использует самые обычные, повседневные события и явления тогдашней действительности, рассказывает о том, что происходит ежедневно, показывает обыкновенных, ничем не примечательных людей, поднимаемых до высот художественного обобщения.

Вот простой человек, шуткара Зейнал, которому моллы внушили, что есть люди «чистые» и «нечистые». К чистым относятся:

* В. Г. Белинский. О русских повестях и повестях г. Голяя. Собр. соч. в 3-х т. Том I. Гослитиздат, М., 1948, стр. 131.

те, кто перен шарнату, кто ревностно следует заветам имама Али, если даже он виновен и весь в гиндах. А носителями скверны считаются все немусульмане, инородцы, если даже они выкупались только что в бане.

Владея ремеслом, будучи, в сущности, бескорыстным человеком, Уста-Зейнал настолько беден, что не имеет даже смелы белья. Автор жалует Уста-Зейнала как несчастную жертву религии и ее проповедников, против которых и направлено острое его сатиры. Вместе с тем он не шадит своего героя, раскрывает инертность его натуры, леность и слепоту мысли этого фанатика, убивающего время в бесплодных схоластических разглагольствованиях.

Особенную жестокость проявляла мусульманская религия по отношению к женщине. На протяжении всего своего литературного творчества Мамедкулизаде был неустанным и упорным поборником женского равноправия. Первое резкое и художественно необычайно сильное выступление писателя против бесправия мусульманской женщины мы находим в повести «Пропажла осла», где выведено несколько запоминающихся женских характеров. Среди них особенно выделяется образ вдовы Зейнаб, женщины высокой нравственной чистоты, воплотившей лучшие черты азербайджанки, первой памяти мужа, энергичной, волевой, способной на героическое сопротивление насилью во имя личной свободы и счастья своих детей. С глубоким человеческим участием показывает автор душевные муки и страдания, неравную борьбу этой простой, беззащитной крестьянки против Худаяр-бека, моллы и прочих представителей патриархально-феодалного общества, опирающихся на бесчеловечные каноны шарната.

Особое внимание писателя привлекал позорный институт временного брака сийга, направленный почти исключительно против женщин из беднейших слоев населения, вынужденных идти на этот позор ради куска хлеба насущного. Этой теме писатель посвятил несколько рассказов и множество острых фельетонов.

Джалил Мамедкулизаде совершенно правильно расценивал брак сийга как узаконенную шарнатом проституцию, источник безудержного разврата и нравственного разложения общества, как оскорбление чести и достоинства женщины. В рассказах «Петушок Пирверди», «Конституция в Иране», «Молла-Фазлалли», «Жена консула» и других автор показывает, как брак сийга стал обычным явлением в обществе благочестивых последователей имама Али, как безропотно соглашается неимущая женщина стать временной женой мужчины, которого она никогда не видела, или как, ничтоже сумняшеся, заключает женатый мусульманин брак сийга с приглянувшейся женщиной. Благо, в любой момент, без всякого объяснения причин он может расторгнуть с нею брак и выгнать ее на улицу.

Трагедия женщины-мусульманки заключалась и в том, что сама она, не осознавая, сколь униженно и невыносимо ее положение в обществе, за редкими исключениями, безропотно подчинялась воле судьбы и даже считала нормальным, когда ее сватали и выдавали замуж за незнакомого и нелюбимого человека.

Из номера в номер журнал «Молла-Насреддин» и его редактор раскрывали перед читателями всю нетерпимость рабского по-

ложения женщины и зло высмеивали тех, кто считал это нормальным.

В 1907 году целый номер журнала*, все четыре страницы текста Мамедкулизаде отвел полемической статье, в которой доказывал, ссылаясь на отдельные положения корана, что даже по точной букве этой священной книги мусульман женщина не лишена права ходить без чадры и не скрывается от взоров посторонних мужчин. За этот номер и хотели тифлисские фанатики учинить расправу над редактором журнала, объявив его еретиком и вероотступником. Вся реакционная буржуазная пресса ополчилась тогда против журнала, обвиняя редактора в семи смертных грехах — расшатывании основ религии, извращении корана, призывах к разврату. Вместе с тем этот номер вызвал и горячее одобрение передовых людей, особенно всех, впрочем, немногочисленных, образованных азербайджанок.

Показывая всю пагубность духовного угнетения трудового народа служителями ислама, писатель раскрывал нерасторжимую его связь с социально-политическим угнетением со стороны представителей царской администрации и господствующих классов — ханов, беков, помещиков. Резкое социальное расслоение крестьянства вскрывается уже в цикле «События в селении Данабаш», в этой своеобразной энциклопедии дореволюционной азербайджанской деревни. В повести «Пропажла осла» староста Худаяр-бек является наиболее ненавистным представителем угнетательской силы. В начале повести он еще не столь богат, чтобы воспользоваться деньгами для достижения своих низких целей, но ему довольно и толстой кизильной палки в руке, к которой в селении Данабаш «питают ничуть не меньше уважения, чем к деньгам, там и деньги не обладают той властью, которой обладает такая дубинка». Худаяр-бек — воплощение грубого и беззастенчивого насилия, и право на это насилие заключено в его звании староста.

Он безнаказанно вершит на селе суд и расправу, так как на его стороне не только власти, но и мусульманские духовные отцы — кази, молла. Он берет у дяди Мамед-Гасана осла, продает его, подкупает на вырванные деньги уездного кази и заключает незаконный брак с беззащитной вдовой Зейнаб без ее согласия и ведома, насильно приводит ее в свой дом, обирает до иоточки, после него выгоняет прочь, превращает ее детей в своих батраков, снова женит на молодой девушке, сообщаясь с вельями шарната, который прямо не запрещает ни одного из совершаемых им преступлений.

Столь же неприглядную, мрачную картину деревенской жизни, только в более широком плане, задумал показать писатель и в неоконченной повести «Школа селения Данабаш». Он написал начальный эпизод — рассказ о приезде в селение различных представителей местных властей с целью открыть здесь школу.

Мы видим глубокую, непроходимую пропасть между населением и властями. Крестьяне не верят ни одному их начинанию, даже если оно связано с открытием школы, а представители власти не доверяют населению, считая, что любое дело, даже благое,

* См. № 23 от 25 июня 1907 г., стр. 2—3 и 6—7.

следует называть ему силой и только силой. Это — два непримиримо враждебных лагеря.

С неподдельным юмором показывает автор переполох среди крестьян, которые используют против насильственного предприятия властей всевозможные уловки. Они уводят детей, прячут их, чтобы не дать в руки администрации, которая, наверняка, замышляет против них что-нибудь недоброе.

К сожалению, созданная автором крайне интересная и острая ситуация не получает дальнейшего развития, и повесть обрывается буквально на полуделе.

По-видимому, мысль об этой повести долго не оставляла писателя, и спустя чуть ли не три десятка лет он вновь вернулся к ней и создал на том же материале, под тем же названием веселую комедию. В ней тема повести нашла дальнейшее развитие и завершение: несмотря на упорное сопротивление крестьян, школа, как и следовало ожидать, все-таки была открыта.

В комедии показаны не только отсталость крестьянина дореволюционной азербайджанской деревни, но и его житейская мудрость, острый ум. С другой стороны, автор обращает острые сатиры против схоластики, школярства, оторванности учителя Гасанова от жизни своего народа, высмеивает кичливость его знаний и неумение применить их в реальной действительности.

Примерно та же тема составляет содержание рассказа «Свиделье», написанного в советское время, но посвященного событиям дореволюционного периода. Между властями и населением — непроходимая пропасть. В курьезном эпизоде, легшем в основу этого рассказа, автор изобличает отупляющую роль самодержавно-полицейской машины; даже такое явно сумасбродное, казалось бы, предложение писнейского начальника — доставить к назначенному сроку десятки свирелей — воспринимается крестьянами как обязательный приказ, подлежащий беспрекословному исполнению.

Тема двух произведений Мамедкулизаде — антагонизм между крестьянами и властью имущими, трудовым народом и царской администрацией, и в каждом случае она решается по-своему.

Мамедкулизаде — большой мастер портрета, умеющий одним-двумя штрихами создать достоверный человеческий характер.

В рассказе «Курбанли-бек», в котором автором использована фабула гоголевской «Коляски», мы видим типичного азербайджанского провинциального дворянина, судя по всему, довольно состоятельного. Словоохотливый властун, любитель выпить за чужим столом, он жески старается показать свою преданность царскому самодержавию, властям, осушая бокалы за их здоровье, за здоровье их жен, кланяется в своей любви к ним, объявляет себя их слугой, рабом, предлагает им подарки, зовет к себе в гости. Однако, все это лишь пустые слова. С тем же азартом он грозит слуге, служанке, даже спящей жене проглотить им живот книжками и тут же забывает о своей угрозе. И все-таки, даже напишись пьяным, он знает, перед кем следует рабелепствовать и кому можно угрожать книжками.

Интересен образ Азиз-хана из рассказа «Барашек». Дни этого богатого помещика, променявшего деревенскую усадьбу на большой городской дом, проходят в кутежах и попойках, причем собутыль-

никами его неизменно являются высокопоставленные лица, представители «высшего» уездного общества.

Сметливый крестьянин Кемале-Мамед-Гусейн долго использует эту склонность расточительного барина к попойкам и трижды получает у него плату за барашка, которого унес к себе же домог.

Помещичий гнет, бесправие крестьянина ярко показаны в рассказе «Четки хана». Назарали-хан «двигает добрым» и «отзывчивым» помещиком, не допускающим жестокостей, но все его поведение, поступки говорят как раз об обратном. Ханские четки — своеобразный символ неограниченной власти Назарали-хана, символ феодального произвола и насилия.

Тематика рассказов Джалиля Мамедкулизаде охватывает самые различные стороны общественной жизни в Азербайджане. Часто даже в одном небольшом рассказе он затрагивал ряд волновавших его социальных проблем.

Взять хотя бы рассказ «Конституция в Иране», в основу которого положен заурядный эпизод с письмами, написанными уличным писцом двум рабочим, выходящим из Южного Азербайджана; письма, попав не по адресу, причинили одному из отправителей много неприятностей. Наряду с многоженством и браком сибга, автор, как бы походя, затрагивает в этом незамысловатом по сюжету рассказе целый комплекс вопросов большого общественного значения. Таков, например, вопрос о почти поголовной неграмотности трудового населения, глубоком невежестве людей, не понимающих значения слова «конституция» и полагающих, что ее можно переписать, как любой товар, вопрос об алфавите и письменности, образовании, литературном языке, суверенитете и т. д.

Как и во всех других своих рассказах, автор прямо не выражает своего отношения к описываемым событиям и изображаемым персонажам, никого и ничего открыто не осуждает и не одобряет. Его мысли, оценки, отношение к изображаемому заключены в подтексте рассказа, угадываются за иронической интонацией.

Взять хотя бы образ эпизодического персонажа рассказа — торговца восточными приностями Мешали-Гусейна, который слыл «лучней головою». Всего несколько строк его рассуждений о «языке» и коротенький, в одну страничку, рассказ автора о том, как Мешали-Гусейн силится прочитать письмо, дают полное представление об этом неуче, вообразившем себя грамотеем.

Мамедкулизаде никогда не обижает острин своей сатиры, но всегда разит без промаха, и читатель легко и безотносительно угадывает по богатому, выразительному подтексту, что писатель принимает и что отвергает, что одобряет и что порицает.

В ряде рассказов, во множестве фельетонов Мамедкулизаде поднимал вопрос о чистоте и ясности литературного языка, считая, что художественная литература должна создаваться на общедоступном, народном языке. Он и сам писал именно на таком языке, понятном изложению азербайджанцу. В этом отношении особенно интересен рассказ «Соловьи поэзии», где выпрепшим, засоренным и невнятным словами, бессодержательным стихиком так называемых классических поэтов, «соловьи поэзии» автор противопоставляет бесхитростную, простую народную сказку, в которой неполюбоприслушивается даже сям страстный любитель архаической поэзии.

В целом ряде рассказов, написанных в своеобразной манере, без малейшей тенденции к назидательности, без всякой попытки

называть читателю свои идеи, писатель затрагивал вопросы высшего образования («Восточный факультет»), грамотности («Воробейный ребенок»), детского воспитания («Лед»), обличал политическую инертность буржуазной интеллигенции («Беспокойство»), показывал отношение к сеидам («Игра в нюзом») и т. д.

Сведи произведений последних лет особенно примечателен рассказ «Авось и возвратят!» — о бывших азербайджанских капиталистах и помещиках, которые тщетно ожидают спасения из-за рубежа, крутого поворота истории, возвращения им отбитых большими капиталами, нефтяных промыслов, пароходов, заводов, фабрик, домов. Наконец, не дожидаясь этих перемен и потеряв всякую надежду на восстановление старых порядков, они начинают мечтать о том, чтобы сама советская власть поняла, наконец, «несправедливость» проведенной ею экспроприации и вернула хозяевам хотя бы часть имущества: — Авось и возвратят!..

Вот на что уповают эти бывшие господа после крушения всех своих надежд — на насильственное свержение советской власти с помощью капиталистических государств. Писатель-сатирик разит их смехом, веселым смехом человека, уверенного в своей правоте, в том, что эти люди самим ходом истории обречены на гибель. Верный своему художественному стилю, Мамедкулизаде и тут избегает резких слов, прямых обличений, изобличающих эпитетов, и тем скорее достигает своей цели, заставляя своих героев саморазоблачаться. Даже внешне несколько добродушный тон рассказа нисколько не преуменьшает остроты сатиры.

Сказкам автора, направленных против старого эксплуататорского мира и его жалких представителей, уцелевших при советской власти, приобретает в рассказе повзрослую взрывную силу; одновременно он утверждает новый мир, построенный на законах высшей социальной справедливости, социалистического гуманизма.

Большой интерес представляет также написанный накануне революции небольшой рассказ «Беспокойство», в котором подвергнуты осмеянию, с одной стороны, представители азербайджанской буржуазной интеллигенции, поглощенные мелкими и пустыми заботами, а с другой, царская охранка, агент которой подозревает в них опасных для самодержавия заговорщиков, революционеров.

Художественную прозу Джалила Мамедкулизаде отличают предельный лаконизм и простота повествования, остроумная выдумка и мастерство в развитии сюжета, заканчивающегося часто неожиданным и всегда многозначительным финалом, тонкая ирония и едкая сатира, намек и иносказание. Это как раз те качества, которые присущи лучшим образцам азербайджанского устно-народного творчества, таким, как особенно популярные в народе сказки о кечале (плешивом), анекдоты Молла-Насреддина, чье имя писатель взял себе псевдонимом, или поэтические турниры-мушаире ашугов, народных певцов и т. д.

При всей простоте и обыденности содержания его рассказов, каждый из них несет глубокий идейный заряд.

Образцы публицистической сатиры, боюющей в цель прямо, изобличающей открыто, воинствующей и атакующей, мы находим в его фельетонах из журнала «Молла-Насреддин», а образцы художественно-реалистической сатиры, выраженной в иронии, заклю-

ченной в намеках и иносказаниях, — в его художественной прозе и драматургии.

Сатира, направленная против реакции, изобличающая пороки общества, сочетается у Мамедкулизаде с горячим сочувствием страданиям народа (фельетон о голоде в Зангезуре, повесть «Припажа осла», рассказ «Почтовый ящик» и др.) или с угрозой в адрес тиранов (фельетон «Амшари» и др.). Отсюда и богатство, многообразие форм и оттенков сатиры у Мамедкулизаде, представляющей собой, высший этап в развитии критического реализма в азербайджанской литературе.

3

Особое развитие получила сатира Джалила Мамедкулизаде в его драматургии, включающей до десятка больших и малых пьес, в которых нашли отражение различные стороны жизни дореволюционного Азербайджана. Из них наиболее значительны и показательны две его комедии с нелепыми названиями «Мертвецы» и «Сборище сумасшедших».

В этих комедиях, написанных в различные периоды — в пору наивысшего расцвета таланта, в 1907—1909 годах, и в последние годы жизни, — Мамедкулизаде резко выступил не против отдельных социальных язов феодально-патриархального общества, как это делал он в своих рассказах и фельетонах, а против всего старого общества в целом, доходя до полного его отрицания. Уже одно название этих комедий подчеркивает отношение автора к представляемому в них темному царству благочестивых фанатиков, дошедших до полного умственного и нравственного одиночества.

Мертвецы — это вовсе не те мертвецы, которых взялся воскресить Шейх-Насрулла, а живые люди, усердно молящиеся аллаху и торящие под сенью шариата всевозможное зло ближним, те самые благочестивые гаджи и мешади, которых обзывает мертвецом пьяница Искендер.

Сумасшедшие — это вовсе не те доведенные до потери рассудка несчастные мужчины, что бродят по улицам и богохульствуют, преследуемые уличными мальчишками и почтенными горожанами; не те, кого собирается лечить американский врач-психиатр доктор Лалбюз, а их соотечественники, которые проводят жизнь в бесконечных молитвах и постах, и те их родственники, братья, которые прибегают ко всевозможным ухищрениям, лишь бы оправдать шариатом свое преступное желание завладеть их женой. И недаром, наблюдая дикие нравы считающихся вполне нормальными набожных горожан, доктор Лалбюз растерянно разводит руками, не зная, кого же считать сумасшедшим.

Вот где представился писателю случай в художественных образах воссоздать мир мрака и темноты, где он, как только открыл глаза, увидел занятых намазом благочестивых своих соотечественников и где первые слова, которые он услышал, были: «аллаху акбар—велик аллах». Ненависть к этому миру писатель пронес через всю жизнь, ненависть горячую, непримиримую, активную, нашедшую свое выражение и в двух названных комедиях.

Присмотритесь к тому, что происходит в некоем городе на границе с Ираном. Жизнь течет мирно, тихо; каждый занят своим

привычным делом: девочки торгуют в своих лавках, женщины сидят дома, ожидая мужей, учитель преподает маленькому ученику в доме почтенного Гаджа-Гасана грамоту по «Гюлистану» Саади, пияница Искендер слоняется без дела и наускивает на горожан собрав. И вдруг неожиданное известие, словно взрывающаяся бомба, нарушает мирное течение жизни в этом полусонном городке, свет тревоги, сомнения, надежды: по слухам, где-то далеко якобы воскресе Кербелай-Фатулла, умерший и погребенный в священной городе Мешхеде, куда он отправился паломником.

Казалось бы, по всякому нормальному обществу посмеяться бы над подобным сообщением и позабыли бы о нем. Но в этом городе фанатиков принято считать, что все в воле аллаха, который не ограничен по власти над своими верными рабами, которых он может не только лишать жизни, но и воскрешать. И все поверили этому сообщению. Все пришло в движение, заволновалось, забурлило: ведь в город приезжает тот самый святой ученый шейх, который воскресил силой своих танств Кербелай-Фатуллу и многих других покойников.

Приезд ученого шейха пробуждает у людей надежду — не воскресит ли он и их дорогих покойников, не поможет ли больным и страждущим, которых так много в этом городишке. А шейх между тем произносит душевспокойные проповеди, поучает и проповедает правверных, говорит о благодати бракосочетания, со связками на шариа и на изомнения святых, призывает всех вступить в брак сийга и сам, подавая пример, ежедневно берет в жены маздеветских девочек.

Вот наступает, наконец, долгожданный для горожан день, когда шейх решил воскресить мертвых. И тут-то во всей омерзительной наготы предстал мир благочестивых ханжей. Завеса пала, все открылось и, вместо смиренных праведников, нам предстали жестокие, безразличные эгоисты, преступники против правды, чести, морали, человеческого достоинства: один побоями загнал в могилу родную мать, другой довел до преждевременной смерти жену, третий взял в жены вступу родного брата, прикарманил его имущество и погнал четей пасти стадо. И, конечно, никто из них не пожелал бы увидеть в жизни своих «дорогих» покойников.

Страшный мир предстает в комедии Мамедкулизаде, подобный тому «темному царству», о котором писал некогда Н. А. Добролюбов: здесь, в этом окутанном мраком мире нет ничего святого и чистого, здесь господствует, «самодурство, дикое, безумное, несправое», здесь нет никакого «сознания чести и права», «повержено в прах и надло растоптано самодурами человеческое достоинство, свобода личности, вера в любовь и счастье, и святая чистого труда».

К этому можно лишь добавить, что так ярко изображенное в пьесе Мамедкулизаде самодурство опирается на шариа; на стороне самодура выступает сама религия. Вот почему здесь не предвидится даже слабей попытки занять о своим праве мыслить иначе, восстать по собственному разумению, но никому таких прав шариа не предоставляется.

На протяжении всей комедии эта мысль подчеркивается в реках Искендера, единственного человека, который решился высту-

пить против этого общества, его обычаев, нравов, морали, за что единодушно был объявлен отщепенцем, человеком не в своем уме, пьяницей, чьим уделом является всеобщее презрение.

Образ Искендера — новое и чрезвычайно интересное явление в азербайджанской дореволюционной драматургии, носившей по преимуществу просветительский характер. Как в пьесах ролоничальника азербайджанской реалистической литературы Чаряга Фатали Ахундова, так и в драматургии его наиболее талантливых и плодотворных учеников и последователей Наджаф-бека Везирова, Абулрагима Ахвердова и других присутствует искый резонер, призванный порицать пороки, советовать, поучать, изрекая при этом самоочевидные истины.

Искендер у Мамедкулизаде не только никогда не выступает в качестве резонера, но и сам не лишен определенных и довольно значительных недостатков, которые делают просто невозможным для него выступление и качестве моралиста. Побывав в чужих странах, получив хорошее европейское образование, он по возвращении на родину ужаснулся увиденному и понял, что так жить нельзя, что надо все изменить в корне. Но как? Этого он не знает. Не зная этого и не имея сил, умения, воли вступить в открытую борьбу против этого прогнившего общества, Искендер в то же время оказался не в силах расторгнуть в этом мире, стать таким же «мертвецом», как телеграфист Гейдар-ага и переводчик Али-бек, тоже получившие русское образование; не в силах был он и вырваться из этого мира, порождением которого был сам. И вот печальное следствие: одинокий нигилист тонит горе в вине.

В жизни дореволюционного патриархально-феодалного общества такие интеллигентно-пиянцы были не редкостью. Их-то и изобразил Мамедкулизаде в лице Искендера. При этом автор раскрывает характер этого героя во всей его сложности и противоречивости. Выдвинутые на первый план положительные, сильные человеческие качества Искендера не заслоняют его духовной ущербности, вызванной определенными социальными условиями. В пьесе показан весь трагизм положения подобных людей, связанный со сложностью и противоречивостью их общественной и исторической роли.

Полученное ими европейское образование оказалось недостаточным лишь для того, чтобы они могли увидеть и познать пороки искоренившего их общества, но совершенно недостаточным для того, чтобы помочь им прежде всего изжить свои собственные — шептливость, слабаволие, переродиться психологически, морально, этически и избрать единственно верный путь — путь революционной борьбы за ломку старого мира.

Искендер показан в пьесе, как и все характеры, в движении и развитии: от первых реплик нигилистического характера о науке и просвещении до заключительного монолога о мертвецах — огромный по значению путь. Вначале в насмешках Искендера больше отщепенности, бесшабашности, нежидкой горечи и боли. Он насмехается над всеми — над учителем своего маленького брата, над своими согражданами, отцом и матерью, даже над сестрой, которую искренне любит и жалеет. Но и эту любовь, и эту жалость, и горячее сочувствие ей он старается скрыть под маской насмешки. Он не в силах помочь сестре, облегчить ее судьбу. Она обречена в лучшем случае стать женой великовозрастного Мир-Багир-аги, а в

• Н. А. Добролюбов. П. с. с., том II, Гослитиздат, М., 1935, стр. 56.

худем — временной палочкой Шейх-Насрулла. Много выхода для нее нет. Всякое сопротивление будет подавлено ее же родителями, родственниками, соседями. Шейх-Насрулла с его «наукой» воскрешения мертвых неожиданно, вопреки своей воле, разоблачил миф о непогрешимости правоверных, готовивших себя к торжественному вступлению в рай после завершения земной жизни. Сцена на кладбище обнажила волею нутра каждого из членов сообщества фанатиков и всех их вместе взятых. Это было первым ударом по миру святош, а второе потрясение они испытали, когда обнаружили бегство «чудодеев», оказавшихся обыкновенными мошенниками.

И тут-то почтенные гаджи и мешади, тупо, рассудку вопреки повериям в возможность воскрешения мертвых и во всемогущество Шейх-Насрулла, пришли вдруг в полнейшее замешательство. И Искендер, поняв, что наступил, наконец, его черед, воспользовался моментом. Он обрушил на них весь свой накопленный годами справедливый гнев:

— В истории вашего бытия эта страница будет написана кровью... И многие годы вши потомки, вспоминая вас, будут повторять: «Мертвецы, мертвецы!»

Здесь Искендер выступает уже не как насмешник, а как обличитель старого общества со всеми его обычаями, правами, моралью. Он выступает отнюдь не в роли учителя, советника, наставника, выдвигаящего какие-то положительные идеи или признающего к каким-то действиям. Нет, здесь Искендер — судья, суровый и справедливый, который перечисляет пороки и преступления нравственных мертвецов и произносит свой недвусмысленный приговор над ними.

После этой сцены, когда была повергнута в прах ложь Шейх-Насрулла и восторжествовала правда пьяницы Искендера, когда были сорваны маски святости с благочестивых лицедеров и в самой основе поколеблена слепая вера в непогрешимость шариа, — после всего этого жизнь общества уже не могла оставаться прежней, должна была обязательно измениться. Эту уверенность и вселяет в читателя проникнутая оптимизмом финальная сцена комедии.

Создавая образ своего положительного героя, писатель-сатирик остается верен себе, своему художественному стилю. Едко высмеивая устами Искендера религиозный фанатизм, мракобесие, беспощадно изобличая их, в то же время он иронизирует и над самим этим героем, который при всех своих бесспорных достоинствах — антирелигиозности, критическом отношении к старому миру, все же является человеком слабым, безвольным, не способным к борьбе.

Образ Искендера — не столько комедийный, сколько трагедийный, ибо вся жизнь его, мучительный разлад с окружающей действительностью, носит ярко выраженный трагедийный характер.

Однако, трагедийное начало пронизывает не только образ Искендера, но и всю пьесу от начала до конца. Трагична участь маленькой девочки Назлы, ее матери Кербелай-Фатимы, которая верит в возможность воскрешения своей дочери Сары, трагична судьба девочек, растленных шейхом...

Трагична судьба женщины в обществе, где бесчинствуют тупые деспоты, самодуры, разратники, наконец, трагична жизнь всего общества, живущего по нечеловеческим, жестоким законам — таков вывод, вытекающий из всего действия пьесы.

Своеобразие сатиры Джалила Мамедкулизаде заключается в глубинном, скрытом и угадываемом за внешней комичностью ситуаций трагизме.

Такое же сочетание сатиры и трагедии мы находим в комедии Джалила Мамедкулизаде «Сборище сумасшедших», примыкающей к комедии «Мертвецы»; они весьма близки и по своей идейной направленности и по художественному почерку.

Здесь тот же мир религиозных фанатиков, то же попрание человеческой личности, ее прав, тот же безудержный, освященный шариа́том разврат.

Миру благочестивых фанатиков автор противопоставил в этой комедии небольшую группу сумасшедших — пять мужчин и одну женщину. В отличие от своих «нормальных» соотечественников, эти сумасшедшие ведут себя независимо, они свободны от всевозможных религиозных предрассудков, всяких в обществе признанных условностей и норм поведения; они откровенно смеются над своими нормальными братьями, над их святынями, кувкаряются при имени святого, плюнут в присутствии набожных горожан, а их предводитель Молла-Абас даже выступает с богохульными речами, отрицает существование аллаха, непочтительно отзывается о религиозных заповедях, высмеивает вздорные религиозные мифы о горящей рыбе или о шуре от штанов святого. Эти шесть отерженных являются подлинными возмутителями спокойствия в царстве тупых ревнителей ислама.

Особое место в этой группе сумасшедших отведено красавице Пырияз-Соне, которая бегает по улицам простоволосая, с открытым лицом, обнаженными руками и ногами, вступает в разговор с посторонними мужчинами, чем дерзко нарушает требования шариа́та. И если сумасшедшие мужчины относятся к ней по-братски, как к своему товарищу, подруге, то все «нормальные» горожане, начиная от ученого богослова Фазила и кончая Ферраш-Шимирали, смотрят на нее с возмущением. Свободная от всяких предрассудков, она ведет себя непосредственно, просто, не считая нужным притворяться, скрывать свои чувства, лицемерить: она нежно любит своего мужа Молла-Абаса, выступает за него, когда его бьют, обижают. Ей совершенно чужда психология ее «нормальных» сестер, непонятно их поведение, и она ужасается, когда эти женщины с проклятиями отворачиваются от своих помещашных мужей, соглашаясь вступить во временный брак с их недостойными братьями.

Правовверные ханжи не гнушаются и средствами для удовлетворения своих низменных страстей, пренебрегая родственными чувствами, великими чести, человеколюбия.

И все это совершается под покровом шариа́та, ревнителем которого хочет показать себя богослов Фазил. Сей святой отец же считает для себя зазорным заглядывать на жену родного брата. Он сурово порицает Молла-Абаса за дерзкие богохульные речи и исподволь готовит почву, чтобы завладеть его женой, причем непременно на законном основании, опираясь на шариа́т. Он прибегает к версии о явлении двенадцатого имама, мессии, который, по религиозным преданиям, якобы скрылся много веков назад с тем, чтобы явиться вновь, когда мир погрязнет во грехах, уничтожит врагов ислама и утвердит на земле волю божию.

Фазил предсказывает даже день пришествия мессии и готовит людей к мнимой торжественной встрече святого. С этим явлением

он связывает и удобное себе решение участи законных жен сумасшедших, и их числе и сумасшедшей Соны: объявив их свободными от прежних брачных уз, он предлагает им сочетаться браком с ней со своими довериями, чтобы в течение семидесяти дней произнести на свет божий семьдесят тысяч потомков для пополнения рядов святого шариата имамов.

Также, по внушению Фазыла, веление шариата, таков фирман имамов, и все безропотно принимают исполнять его. Этому противится одна лишь сумасшедшая Сова. С презрением и отращением говорит она о женах, брошенных в беде своих мужей, чтобы вступить в новый брак с их братьями:

— Я боюсь, что из-за этих женщин погибнет мир, перевернется вверх дном и погибнет...

Она решительно отвергает домогательства своего ученого девяри, объявившего ее свободной от брачных уз с Молла-Абасом, чтобы сделать своей законной женой.

— Молла-Абас, это сборище сумасшедших! — в ужасе говорит она мужу, который сам хочет склонить ее к согласию с предложением Фазыла стать его женой, полагая, что таким образом может быть облегчено ее положение.

Так, устами сумасшедшей Соны, автор дает точное определение обществу, в котором совершаются столь бесчеловечные дела, противоречащие разуму и требованиям морали.

К такому же выводу приходит и ученый психиатр Лалуба, прибывший и этот мусульманский край издалека с целью исследовать душевные болезни, их характер и течение. Наблюдая быт, нравы, поведение жителей этого края, доктор Лалуба не раз задается вопросом: кто же тут сумасшедшие? Он обследует считающихся нормальными горожан, а также тех, кто объявлен сумасшедшими, внимательно присматривается к поведению и поступкам тех и других и приходит к такому же заключению, что и сумасшедшая Сова, сказавшая о «нормальных»:

— Сборище сумасшедших!..

Весьма примечателен финал пьесы. Оставшись в издании со своей женой, Молла-Абас признается ей, что нарочно объявился сумасшедшим, чтобы не оставить ее в одиночестве, быть всегда с нею, в обществе сумасшедших, которые, правда, «кувыркаются при упоминании святого имамов», но по крайней мере, не посягают на ее честь.

Так автор показывает явное нравственное превосходство сумасшедших над своими «разумными» современниками. Да и само сумасшествие этих людей, как и пьянство Искендера из комедии «Мертвецы», носит в известной мере символический характер. Это — своеобразная форма протеста против общества «благочестивых», развратных лицемеров и ханжей, форма отрицания их ложных нравственных устоев.

В комедии «Сборище сумасшедших» Мамедкулизаде нанес еще один сокрушительный удар по религиозному фанатизму и ханжеству служителей культа. Эта остро сатирическая обвинительная комедия насыщена трагическими ситуациями; как и многие другие свои произведения, автор обогатил ее глубоким подтекстом, лирическими интонациями.

С особенной силой проступает этот лиризм в финальной сцене объяснения Молла-Абаса с Пыршиз-Совой. Молла-Абас, благород-

ный, умный и мужественный человек, предпочел общество сумасшедших жизни среди «разумных», «нормальных», «почтенных» святош.

Еще больше страниц, проникнутых лиризмом, мы находим в ранней повести Джалила Мамедкулизаде «Пропажда осла» в тех местах, где автор говорит о мыслях и чувствах простого и доброго человека — дяди Мамед-Гасана или с горечью рассказывает о переживаниях плывы Зейнаб. И здесь лиризм помогает острее, глубже почувствовать бесчеловечность законов общества самодуров и павлинчиков, трагизм положения народных низов.

Великолепным примером сочетания сатиры с лиризмом является и комедия «Мертвецы», где уничтожающий сарказм, едкая насмешка сменяются грустной и доброй улыбкой. Глубокая братская любовь Искендера к маленькой Назлы, его задушевные беседы с ней, даже шутки над ее замужеством, исполненные горечи, а также отношение Искендера к матери, которую он искренне жалеет, и немало страдает от своего бессилия помочь ей, — все это согрето большой человеческой теплотой и авторским участием.

В этих и многих других произведениях писателя особо выделяются персонажи, к которым автор относится с симпатией, сочувствием, даже с любовью, поднимая их над окружающими, противопоставляя всему остальному обществу, доверяя им роль носителей доброго начала.

В частности, таким персонажем в одноактной лирической пьесе «Каманча» является хромой музыкант, армянин Бахши. Попав в плен к азербайджанцам — участникам вновь вспыхнувшей в 1918 году армяно-азербайджанской братоубийственной резни, он своим искусством, игрой на восточном инструменте кеманче, сумел пробудить добрые чувства в ожесточившемся сердце главаря азербайджанского конного отряда Каграмана-юзбаша.

С огромным художественным тактом вскрывает автор душевный мир огулбегшего, потерявшего друзей в боях и обезумевшего от слепой ненависти к противникам Каграмана-юзбаша, который под влиянием музыки переживает довольно сложный и мучительный процесс преображения, прерождения; постепенно забывая о своей ненависти, жажде мести, он чувствует, как музыка властно вторгается в самые сокровенные тайники его души. Захваченный этой мучительной борьбой противоречивых чувств, будучи не в силах преодолеть очарование мелодии, он кричит музыканту, которого только что хотел принести в жертву своей ненавистной злобе:

— Живо забирай свою кеманчу! Убирайся отсюда!

И грозит, потрясая обнаженным кинжалом, заколоть им и его, музыканта-армянина, и себя.

Каграман словно прозрел, понял то, чего до сих пор не понимал; исполненные хромом армянском-музыкантом чудесные мелодии помогли ему снова стать человеком, и он, застыл на месте, долго смотрит вслед удаляющемуся пленнику, потом отбрасывает кинжал в сторону и, как бы про себя, говорит под занавес:

— Эх, вероломный мир!..

Этим многозначительным восклицанием Мамедкулизаде как бы клеймит позором зачинщиков и организаторов бессмысленной братоубийственной войны между двумя народами, которые веками жили в мире и дружбе.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Джалил Мамедкулизаде открыл новую страницу в истории родной литературы, создав целую литературную школу, в которой заняли почетные места поэт-сатирик Мирза-Алеквер Сабир, прозаик и драматург Абдурагим Ахвердов и многие другие, чье творчество хорошо знает и любит азербайджанский народ. Их именами ознаменован новый, молланасреддиновский период в развитии азербайджанской реалистической литературы, период, закономерно приведший после победы социалистической революции в Азербайджане к созданию советской литературы, литературы социалистического реализма. В этих новых условиях художественные традиции Джалила Мамедкулизаде не только не потеряли своего значения, но органически слились с новой литературой, а созданные маститым писателем новые произведения вошли в золотой фонд азербайджанской советской литературы. Традиции его живы и оказывают самое благоприятное влияние на творчество азербайджанских советских писателей.

Недаром азербайджанский советский сатирический журнал «Кирпи» («Еж») в первом же номере объявил о верности традициям своего прародителя, первого сатирического журнала на азербайджанском языке «Молла-Насреддин», прошедшего трудный и славный путь борьбы со старым миром.

В произведениях лучших азербайджанских писателей как старшего, так и младшего поколения можно неизменно проследить преемственность, продолжение славных традиций Джалила Мамедкулизаде.

Особо следует выделить имена таких выдающихся азербайджанских советских писателей, как Мир Джалал и Сулейман Рагимов. Произведения первого из них, особенно известные многомиллионному советскому читателю повести «Воскресший человек» и «Манифест молодого человека» и многие рассказы, являются образцами творческого освоения и использования традиций родной классики и, в первую очередь, Джалила Мамедкулизаде.

Народный писатель республики Сулейман Рагимов, являясь автором нескольких крупных эпических произведений, сам подчеркнул свою творческую близость к Джалилу Мамедкулизаде посвящением его памяти целой серии колоритных и ярких рассказов.

Джалил Мамедкулизаде относится к числу тех деятелей азербайджанской литературы, искусства и общественной мысли, которые своими художественно совершенными, высококачественными произведениями внесли вклад в сокровищницу не только национальной, но и всей мировой литературы, общечеловеческой культуры.

Многонациональный и многомиллионный советский читатель, знакомый с творчеством выдающегося азербайджанского писателя по ряду прежних изданий его произведений в русском переводе, ныне, с выпуском настоящего двухтомника, узнает его еще ближе, еще лучше.

Азиз Шариф

СОБЫТИЯ В СЕЛЕНИИ ДАНАБАШ

Рассказал САДЫХ-БАЛАГУР
Записал ХАЛИЛ-ГАЗЕТЧИК

Идущий из груди моей голос многому меня учит. То голос чистой моей совести, которая имеется у каждого. Всякий, кто внимательно прислушивается к ее велениям и исполняет их, много тайн откроет и многое постигнет.

*Сократ**

ЛЕГОНЬКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Меня зовут Халил, а товарища моего Садых. Оба мы уроженцы селения Данабаш. Сам я родился тридцать лет тому назад, иначе говоря, мне ровно тридцать лет. Думаю, что и приятель мой Садых будет одних лет со мной, но я выгляжу несколько моложе. Он повыше меня ростом, но я плотнее; он смугл и не имеет растительности на лице, я же блее его и имею густую бороду. Еще одна разница в нашей внешности заключается в том, что я слаб глазами и ношу очки; я грамотен, и чтение, письмо сказались на моем зрении; товарищ же мой имеет острое зрение.

Короче говоря, оба мы — жители селения Данабаш. Я занимаюсь разносной торговлей; захватив под мышку несколько кусков ситца, я обхожу наше и соседние села и продаю разные ситцы, чем и зарабатываю себе на хлеб насущный.

Приятель же мой — бакалейщик; разложив в маленькой хибарке пуда три-четыре соли, ящик изюма и

* Все комментируемые места в тексте помечены звездочкой. Комментарий дается в конце книги.

несколько пачек махорки, он сбывает товар и кое-как пребывает на эти заработки.

Словом, оба мы бедные создания господа бога.

Правда, хоть это и утомительно для читателя, но мне придется предварительного рассказать кое-что о нас, иначе, я это знаю наперед, мои друзья, прочитав все это, будут недоумевать: что значит Газетчик и причем тут Балагур. Чтобы предупредить всякие недоразумения, я вынужден сказать об этом несколько слов, хотя рискуя вызвать у читателей головную боль.

Мне кажется, такого потешного села, как наш Данабаш, не найдется во всем кавказском крае. Я не говорю, что оно плохое, боже упаси! Я никогда не погрешу против совести. Правда, я несколько обижен на наше село, но это никак не может свидетельствовать о том, что оно плохое; пускай хоть двести подобных мне бездельников будут недовольны нашим селом, и все же называть его плохим будет несправедливо.

Нет, нет! Клянусь аллахом, село наше очень хорошее. Если вы с терпением выслушаете мое повествование до конца, сами убедитесь, что наше село вовсе не плохое.

Однако, вопрос о том, плохое наше село или хорошее, оставим в стороне; вовсе не к тому я веду речь; я хочу только сказать, что в нашем селе нет ни одного человека, который бы не имел своего прозвища. У нас это называется «аяма». Не знаю, поняли вы или нет. «Аяма» значит «легеб»*.

Разрешите немного отклониться от темы нашего рассказа.

До прошлого года я не знал слова «легеб», потому что не такой уж я большой грамотей. Никаких книг, кроме «Джамен-Аббаси»*, я не читал. В прошлом году приехавший с того берега* молла пел у нас марсия**. К сожалению, я не запомнил его имени.

Однажды этот молла попал как-то в лавочку нашего Садыха-Аббасура. В лавке был и я, были еще крестьяне.

Молла взял у Садыха две пачки махорки. Одну из них он вскрыл, набил свою трубку и попросил огня. Садых зажег спичку, и молла, задымив трубку, поблагодарил Садыха:

* * * Двумя звездочками помечены слова, объяснение которых дано в кратком словаре в конце книги.

— Да благословит аллах память твоего родителя! После этого, сделав несколько затяжек, он обратился к Садыху:

— Племянник, в чем причина, что к благословенному имени вашему присогкнули еще слово «балагур»?*

Вопроса ахунда не поняли не только крестьяне, но даже я сам, хотя среди присутствующих я считался человеком ученым. Тем не менее о смысле вопроса ахунда мы догадались: ахунд спрашивал, почему Садыха называют балагуром.

— Балагур — это аяма, мое прозвище, — немного помолчав, ответил Садых.

— Что это еще за слово — «аяма»? — с удивлением спросил ахунд и добавил: — Какие же вы невежды!

Когда Садых спросил у ахунда, чем он недоволен, тот разъяснил, что балагур — не «аяма», а «легеб» Садыха «Аяма» говорят люди необразованные, а «легеб» — арабское слово. В заключение ахунд строго-настрого наказал нам никогда не произносить слова «аяма», а говорить «легеб». Все мы согласились с ахундом.

— Ахунд! — вдруг обратился к нему Садых. — Вероятно, вы очень сильны в арабской грамоте?

— О чем ты спрашиваешь, парень? — сказал ахунд. — Ты думаешь, легко быть моллой и петь марсия? Кто же пустит на минбар** человека, не завершившего курса обучения на арабском языке?

И тут Садых возьми да спроси моллу:

— Ахунд, как будет по-арабски легеб?

Ахунд затаился табачным дымом, посмотрел себе под ноги и, кашлянув, ответил:

— Друг мой, в Аравии не бывает хлеба, потому и по-арабски названия хлеба нет. Кроме риса, там ничего не едят.

— А как по-арабски рис? — снова спросил Садых.

Ахунд опять затаился трубкой и после некоторого молчания кашлянул и сказал:

— Племянничек, оказывается, ты и на самом деле балагур. Не зря, значит, крестьяне тебя балагуром прозвали.

Сказал и, поправив аба**, вышел из лавки.

В тот день до самого вечера мы не могли отдышаться от смеха.

Итак, мое имя Халил, но прозвали меня газетчиком,

хотя, клянусь единым аллахом, к газете я никакого отношения не имею. Газетчик — это человек, обладающий умом и способностями, собирающий разные сведения, узнающий про интересные события, чтобы напечатать о них и распространить повсюду. Я же не знаю, каким образом я мог стать газетчиком. Но о том, за что меня прозвали газетчиком, я расскажу вам как-нибудь после.

Моего приятеля называют балагуром, то есть любителем весело поболтать. В этом отношении нас еще уважали, дали нам не такие уж смешные и обидные прозвища. У нас в селении Данабаш некоторые имеют такие смешные прозвища, что вы животы себе надорвете, если скажу. Вот, к примеру, некоторые из них: Гасан-Коропышка, Гейдар-Верблюд, Сабзали-Трепач, Мухтар-Тугодум, Гасым-Зайчишка. Словом, таким прозвищам у нас, в селении Данабаш, несть числа; если их все записывать, то бумаги со всех российских фабрик не хватит.

Моего товарища Садыха прозвали балагуром. Клянусь создателем, что это прозвище нисколько ему не подходит. Оно-то верно, что Садых любит поговорить. Где бы ни сел, начнет говорить, и ничем его не остановишь. Надо отдать ему справедливость, мне сдается, что такого златоуста во всем мире не найти. И то сказать, в нашем селе Данабаш считают, что всякого, кто много говорит, можно окрестить балагуром, а между тем говорун говоруну рознь. Я видел таких людей, что говорили с утра до вечера, и слушатель ни чуточки не утомлялся. Если всякого, кто много говорит, называть балагуром, то мы должны были бы назвать балагурами всех ванзопроповедников: поднявшись на минбар, они ни за что не хотят покинуть его.

Нет, конечно, не всякий, кто много говорит, — балагур. Если кто-нибудь заводит разговор о господе боге или рассказывает о своей поездке в Кербелу* или Мекку, можно ли таких людей называть балагурами? Конечно, нет, грешно говорить такие вещи, несправедливо.

Пусть говорят, что хотят, пусть Садыха называют балагуром, и все же он по гроб мне друг. Быть может, Садых и на самом деле балагур, но каждый раз, когда он говорит, я готов встать и расцеловать его в уста.

А почему меня называют газетчиком?

Послушайте, я вам расскажу и об этом.

Меня прозвали газетчиком, когда я завел дружбу с

Садыхом. Действительно, в том, что меня прозвали газетчиком, виноват мой приятель Садых. Тут надо будет рассказать с самого начала.

Прошло, пожалуй, года два, как мы сблизились, и случилось это вот как.

Однажды, взяв под мышки несколько кусков ситца, отправился я в лавку к Садыху. Тогда между нами не было еще тесной дружбы. Я посидел у него немного. Мы были одни в лавке. И вот пока я был занят курением, Садых, по обыкновению, начал говорить. Как я успел уже доложить вам, его речи всегда мне нравились, но на этот раз я просто-таки влюбился в него. Он начал рассказывать такие увлекательные истории, что не солгу, если скажу, что за то время, пока он рассказывал, вошли в лавку десятка два-три покупателя и так и ушли без покупок; каждому, кто входил в лавку за покупкой, мы отвечали, что такого товара нет.

Садых говорил, говорил и, наконец, остановился. Посмотрел на меня внушительно, вздохнул глубоко и сказал:

— Братец Халил! У меня одно желание...

Я спросил, какое.

— Братец, — сказал он, — я жалею о том, что все мы умрем и эти интересные события забудутся...

— Братец мой, об этом не горюй, — ответил я. — Эти события я запишу в тетрадку и назову «Данабаш». Мы помрем, но я завещаю, чтобы моих останков не отправляли в Кербелу и никаких поминок по мне не устраивали. Потому что, если я принадлежу к числу благочестивых рабов божьих, то и без поминок сумею оправдаться на страшном суде, а грешному рабу не помогут ни поминки, ни что-либо другое. Я завещаю, чтобы после моей смерти все мое достояние обратили в деньги, отпечатали записанные мною события и раздавали книжки всем бесплатно.

Когда я кончил говорить, Садых вскочил с места, подошел ко мне и, крепко обняв и расцеловав меня в обе щеки, сказал со слезами на глазах:

— Братец, вот и все, чего я желал! Если ты исполнишь то, что сказал, пусть наградит тебя аллах и на том и на этом свете!..

Вот, дорогие мои, как завязалась наша дружба.

После этого случая всякий раз, вспомнив или услы-

шав о каком-нибудь интересном событии, Садах прибегал ко мне. Тогда я доставал свою тетрадку, брал перо и начинал записывать. Тетрадку я постоянно носил при себе, в боковом кармане, и, когда бывал в других деревнях, извлекал ее в свободные минуты и начинал читать.

Где бы меня не видели, тотчас же приглашали к себе в гости с тем только, чтобы я почитал им что-нибудь новое. Вначале меня прозвали рассказчиком, но потом сообразили, что это прозвище ко мне не подходит.

Словом, за мной укрепилось прозвище газетчика. Теперь ясно, что во всем этом виноват мой товарищ. Конечно, мне не совсем по душе, что к имени, которое мне дали мои родители, прибавилось еще новое прозвище, но я все же не очень страдаю от этого. Пусть невежды говорят, что хотят. Очень часто они хорошее называют дурным, а дурное хорошим. Пожалуй, мы должны даже гордиться тем, что невежды смеются над нами.

Многие люди на свете были недовольны невеждами. Нет же, мы и поныне с тощими кулками тягаемся с тюками*.

Записано в селении Данабаш, Эриванской губернии, в году 1894-ом.

Садах-Балагур и Халил-Газетчик

В начале ноября тысяча восемьсот девяносто четвертого года в селении Данабаш произошло интересное событие. Заключается оно в том, что у дяди Мамед-Гасана похитили осла.

Я не сомневаюсь, что те, кто не знает об этом происшествии, не поверят мне: подумаешь, какое удивительное событие, чтобы ему была посвящена целая повесть. В каждом селе, каждом городе не бывает дня, чтобы не исчезал чей-нибудь осел.

Но случай с исчезновением осла дяди Мамед-Гасана ни на волос не похож на другие такие же случаи. Клянусь аллахом, история похищения осла дяди Мамед-Гасана — захватывающая история. Вот послушайте, я расскажу, а вы развлечетесь.

Прежде всего, кто такой Мамед-Гасан?

Всякий, кто знает селение Данабаш, безусловно знает и дядю Мамед-Гасана, так как дядя Мамед-Гасан — один из почитаемых жителей села. Мамед-Гасану будет лет этак пятьдесят четыре—пятьдесят пять, не больше. Хотя борода у него и поседела, но сам он уверяет, что, не угнетай его бедность, никто бы ему не дал более сорока лет. И он не врет: несмотря на возраст, на щеках его горит румянец.

Много пережил на своем веку дядя Мамед-Гасан. Если рассказать обо всем подробно, слишком долго придется рассказывать.

Чего только не приключалось с дядей Мамед-Гасаном, какие только беды на него не обрушивались. Одним словом, судьба ни разу не улыбнулась этому человеку.

Дядя Мамед-Гасан был двенадцатилетним мальчиком, когда умер его отец Гаджи-Рза. Не прошло после

того и двух лет, как он лишился матери. Немало добра оставил покойный родитель своему наследнику: несколько пашен, табуны коней, ковры, деньги. Но что пользы? Когда умер Гаджи-Рза, а затем его жена, Мамед-Гасан остался без покровительства, без поддержки. Его дядя за год промотал все богатство до нитки.

Когда Мамед-Гасан подрос и стал разбираться в окружающем, он увидел, что оказался гол, как сокол.

Впоследствии он полюбил одну девушку, женился и, оставив молодую жену, на несколько лет уехал на заработки в сторону Эривани, чтобы скопить немного денег, но и в этом его постигла неудача — вернулся он домой без денег и, купив несколько ослов, стал погонщиком. Не везло дяде Мамед-Гасану, с каждым днем дела его становились все хуже и хуже.

Тогда он отказался и от этого занятия, разделил свой хлев пополам, пробил в прилегающей к улице половине дверь и, положив здесь несколько пудов муки, пшеницы, сушеного тута, пшата, стал торговать.

За этим занятием мы и застаем сейчас дядю Мамед-Гасана; кое-как сводит он концы с концами. Но что нам до его бедности, все равно он прекрасный человек, этот дядя Мамед-Гасан. Он собственной головы не пожалает для ближнего; несмотря на бедность, никому никогда не откажет в помощи. Если кто обратится к нему с просьбой одолжить три-четыре рубля, он тотчас же достанет и отдаст; а если у самого не будет, все сделает, чтобы раздобыть где-нибудь, лишь бы исполнить просьбу.

Нет, в самом деле очень хороший человек дядя Мамед-Гасан!

Дядя Мамед-Гасан далек от мирской суеты, одно сильное желание владеет им: вот уже три-четыре года, как дядя Мамед-Гасан задумал съездить в Кербелу на поклонение праху имамов. Он крайне набожный человек, и будь у него хоть какая-нибудь возможность, он давно бы посетил гробницы обожаемых имамов. Но что делать? Бедность лишает человека возможности совершать даже благие деяния.

Короче говоря, давно уже дядя Мамед-Гасан задается целью посетить Кербелу. Не проходит года, чтобы эта благая мысль не возобновлялась у него с новой силой. И каждый раз, когда наступает пора выезда или возвращения паломников, когда он слышит голос вожака

паломников — чавуша, у него из глаз слезы ручьем льются.

Что делать ему, бедняге! Да будет проклята бедность! Эта бедность до сих пор связывает его по рукам и по ногам, не дает сдвинуться с места.

Будет тому месяца три или четыре. Дядя Мамед-Гасану приснился сон. Проснувшись, он разбудил жену и сообщил ей, что в этом году он во что бы то ни стало должен выехать в Кербелу. Сна своего он до сих пор так никому и не рассказал. Только и отвечает на все вопросы:

— Я видел сон. Что бы там ни случилось, я должен выехать в Кербелу, поклониться гробнице о шести углах*.

Итак, месяца три-четыре дядя Мамед-Гасан готовится к отъезду. Эта страсть совершенно отдалила его от других забот. С тех пор как он решил осуществить свою давнишнюю мечту, он забросил лавку. Приготовил про запас немного ячменной и просяной муки, закупил нужные семье вещи и теперь выжидает дня выезда паломников.

Раньше дядя Мамед-Гасан думал пройти весь путь до Кербелы и обратно пешком: всем известно, что пешие паломники совершают большее благо, чем едущие верхом; но затем он отказался от этой мысли — не в таком он возрасте, чтобы отшагать двухмесячный путь туда и обратно. Что же делать? Как быть? И пришлось дяде Мамед-Гасану добывать деньги; взял у себя, занял у других и, сколотив, таким образом, нужную сумму, купил себе осла.

Конечно, осел лучше лошади. Прежде всего он дешевле. Очень возможно, что дяде Мамед-Гасану не удалось бы добыть тридцать-сорок рублей на покупку лошади. Кроме того, если из двух паломников один поедет на осле, а другой на лошади, нет сомнения, что паломничество того, кто поехал на осле, будет принято всевышним охотнее, чем паломничество того, кто приехал на лошади.

Итак, дядя Мамед-Гасан купил осла, но осел этот оказался злосчастливым.

Однажды утром, проснувшись на заре, дядя Мамед-Гасан оделся, совершил намаз и вышел пройтись по двору. Собрал кур и дал им корма, зашел в хлев и подсыпал ослу пригоршню ячменя, затем вышел на улицу, сел на корточки у своих ворот и, набив трубку, стал курить. Немного погодя к дяде Мамед-Гасану подошли несколько крестьян таких же лет, как и он сам, и, сев рядом, достали трубки и закурили. Все эти крестьяне были соседи Мамед-Гасана.

Посидев, покурив, покашляв, крестьяне начали беседу. Всех интересовал, конечно, вопрос о выезде паломников, так как собравшиеся знали о намерении дяди Мамед-Гасана. И, конечно, во время беседы часто упоминали его имя.

Беседа затяннулась. Поговорили о благах паломничества, затем перешли к условиям паломничества. Крестьянин, сидевший по левую руку от дяди Мамед-Гасана, высказал такую мысль:

— Вот, скажем, один взял и поехал на поклонение, потом вернулся к себе на родину. Мы пришли к этому человеку с поздравлениями, ждем ему руку и говорим: «Да примет аллах твое паломничество!» Теперь давайте выясним: помогут ему эти наши слова провести перед аллахом его паломничество или нет? Могут они принести ему какую-нибудь пользу или не могут? Вот, к примеру, возьмем тебя, дядюшка Мамед-Гасан. Ты теперь хочешь поехать на поклонение. Да сохранил тебя аллах от всех бедствий, чтобы ты вернулся в добром здравии. Конечно, когда ты, бог даст, вернешься домой, мы все придем тебя поздравлять и скажем: «Да примет аллах твое паломничество!» Вот я и спрашиваю, будет ли тебе какая-нибудь польза от наших поздравлений и от этих наших пожеланий, или не будет? По-моему, не будет. Потому не будет, что ты уже месяц, а то и полтора тому назад свое паломничество закончил. Ежели оно принято аллахом, то при чем тут наши поздравления? А ежели не принято, то пожелания все равно не помогут. Ведь не будет же принято твое паломничество только потому, что мы того пожелаем?

Сказав это, крестьянин в упор посмотрел на дядю Мамед-Гасана; остальные крестьяне в задумчивости опу-

стили головы, так как вопрос оказался очень сложным. Дядя Мамед-Гасан снова достал кисет и стал набивать трубку. Закурив, он повернулся к своему соседу слева:

— Хорошо ты говоришь, братец Мешади-Орудж! Только если бы было по-твоему, если бы было так, как ты говоришь, то не все было бы правильно, перевелось бы хорошее обращение и добрые отношения. Если кто-то поехал на поклонение, вернулся домой и никто не пошел к нему с приветствием, то какое же это мусульманство? Предположим, я вернулся из паломничества, и что же, по-твоему, ты не должен прийти меня поздравить? Да после этого я на тебя и смотреть не стану...

Мешади-Орудж быстро протянул руку к дяде Мамед-Гасану и, приподнявшись, прервал его речь:

— Да нет же, дядя Мамед-Гасан! Ты меня не так понял, и то, что ты сказал, не разрешает моего вопроса. Конечно, я приду к тебе с поздравлением, да речь-то не об этом. Я только хочу узнать, будет тебе какая-нибудь польза от моего поздравления или нет? Вот о чем я спрашиваю.

Дядя Мамед-Гасан снова ответил, что так или иначе поздравление имеет пользу, так как, не будь этого, перевелось бы добрые отношения.

Остальные крестьяне в один голос поддержали дядю Мамед-Гасана. Хотя и сложен был вопрос, поднятый Мешади-Оруджем, но всем было как-то дико, чтобы кто-нибудь вернулся из паломничества и никто не пошел его поздравлять.

Спор на эту тему продолжался битый час, причем трубки непрерывно дымили и перед каждым из собеседников набралась целая кучка пепла.

В самый разгар беседы слева, из переулка, появился человек. Быстрыми шагами приблизился он к крестьянам, поздоровался с ними и, обратившись к дяде Мамед-Гасану, сказал:

— Дядя Мамед-Гасан, поскорее пошли мальчишку вывести осла из хлева, мне надо в город, начальник вызывает.

Крестьяне поднялись и ответили на приветствие.

— Слушаюсь, слушаюсь! Сейчас я сам выведу осла! С этими словами дядя Мамед-Гасан вошел во двор.

Пока он будет выводить осла, познакомимся с этим новым человеком.

Легко догадаться, что это человек не маленький; в первых, потому, что при виде его крестьяне в самый разгар беседы поднялись на ноги и даже поклонились ему; а во-вторых, всем ясно, что для дяди Мамед-Гасана осел — свет очей его, ведь купил он осла для поездки в Кербеду: дни и ночи он ухаживал за животным, чтобы осел неподвел его в пути; поэтому трудно предположить, чтобы дядя Мамед-Гасан отдал осла кому-нибудь и согласился, чтобы на нем кто-то ездил. А между тем, как только этот человек попросил осла, дядя Мамед-Гасан с готовностью бросился исполнять его просьбу.

Так кто же он такой, этот человек, и чем занимается?

Да, не маленький он человек. Это староста селения Данабаш — Худайр-бек.

Я бы не хотел касаться его прошлого, тем более, что он и сам этого не позволяет.

Таков уж порядок на земле: если кто-нибудь в жизни потерпит неудачу, опустится или, будучи богатым, обеднеет, тот всегда поведет беседу так, что начнет говорить о прошлом: вот таков был мой отец, такова была мать, столько-то у нас было богатства, такие-то дома, почет, уважение...

Если же кто повиснет в положении, разбогатеет, добьется почета и уважения, тот никогда не заговорит об отце и деде. Возьмем того же дядю Мамед-Гасана. Целую неделю он может проговорить о богатстве своего отца, о почете, которым он пользовался, и не устанет. А Худайр-бек даже имени отца никому не назовет. Всякий раз, когда заходит разговор об этом, Худайр-бек отвечает:

— Какое тебе дело, братец, до отца и матери. Умерли они, и да благословит аллах их память! Давай поговорим о нас самих.

И раз Худайр-бек не любит вспоминать о прошлом, я не хочу обижать его. Нет мне дела до его прошлого.

Лет Худайр-беку будет тридцать семь — тридцать восемь, не больше, а то, быть может, и поменьше того. Роста он высокого, очень высокого. В прошлом за чересчур высокий рост крестьяне даже наградили его прозвищем, но я обещал не касаться его прошлого и боюсь нарушить обещание.

Итак, он высокого роста, с черными бровями и черной бородой. Лицо у него темное-темное, а глаза совер-

шенно черные, и белков-то не видно. Бывает, когда Худайр-бек надвигает папаху на лоб, получается прямо-таки жуткий вид: папаха черная, глаза черные, лицо темное; из-под надвинутой папахи зрачки так и блестят. Но все бы это ничего. У Худайр-бека на лице есть недостаток, большой недостаток: нос у него кривой. Не то чтобы немного кривой, нет. Бывают разные кривые носы. Я видел многих красивцев с кривым носом. А у Худайр-бека нос крив до безобразия; в верхней части носа возвышается большая горбинка, а ниже нос, подобно петушину гребешку, идет круто налево. Не знаю, родился он таким или это случилось с ним позднее.

Одним словом, неважный нос у Худайр-бека. Красивым мужчиной назвать его никак нельзя.

Два года как Худайр-бек стал старостой в селении Данабаш. Он не просто стал старостой, как другие старосты. Обычно старосту избирает население, а Худайр-бек стал старостой иначе. Раньше, а именно два года тому назад, Худайр-бек был рассыльным у главы. Случилось так, что тот вступил в брак-сыйга с матерью Худайр-бека. Ясно, что глава не стал бы поддерживать другого кандидата в старосты. Не прошло и недели, как прежний староста был отстранен от должности. Некоторое время село оставалось без старосты. И в один прекрасный день население узнало, что старостой над ним поставлен Худайр-бек.

Став старостой, Худайр-бек сразу резко изменился. Начал он с одежды. Обновив ее и вооружившись кизилной дубишкой, он объявил, что отныне звать его не просто Худайр, а Худайр-бек. Кто смел спрашивать у него, каким образом он стал беком! Но народ знал, что беком он стал благодаря матери, которая вышла замуж за главу.

До тридцати человек Худайр-бек посадил в кутузку только за то, что они по старой памяти называли его не Худайр-беком, а просто старостой Худайром.

Понукая осла, дядя Мамед-Гасан вывел его на улицу. В этот момент со двора выбежал мальчуган лет семи-восьми, без штанов, без шапки; с плачем и криком он подбежал к ослу и ухватился за его хвост. Это был сын дяди Мамед-Гасана.

— Не дам осла!.. Не дам!.. У-у-у!..

Мальчик хныкал, крепко держа осла за хвост и не давая ему двинуться с места.

Дядя Мамед-Гасан — очень добрый отец и никогда бы не обидел своего сына. Он подошел к мальчику и начал ласково увещевать и успокаивать его.

— Не плачь, сынок! К вечеру твой осел вернется домой. Что с ним случится? Я же не продаю его. Дядя Худаяр-бек возьмет его в город и даст ему там много ячменя...

— Нет, нет! Клянусь аллахом, не отпущу, ни за что не отпущу, и на шаг не отпущу...

С этими словами мальчик начал тихонько ударять осла прутиком по шее, чтобы повернуть его ко двору. В этот миг к мальчику сзади подошел Худаяр-бек и огрел его дубинкой по спине.

— Ты что, собачий сын! Куда осла поворачиваешь? Или ослеп, меня не видишь? Клянусь аллахом, шкуру с тебя спущу...

С криком «вай-вай» мальчик бросился во двор, а Худаяр-бек сел на осла и поехал. Крестьяне разошлись. Проводив Худаяр-бека, дядя Мамед-Гасан, расстроенный, вернулся домой, чтобы утешить сына.

II

Было уже за полдень, когда Худаяр-бек доехал до города.

Беря осла у дяди Мамед-Гасана, Худаяр-бек сказал, что его вызвал начальник, но сказал он неправду. Никакой начальник его не вызывал, а было у него совсем другое дело. Если бы он ехал к начальнику, то должен был бы приехать пораньше. Он хорошо знал, что начальник бывает в канцелярии только до полудня, а в полдень канцелярия закрывается.

Нет, у Худаяр-бека было совсем другое дело.

Оставив осла в караван-сараях, Худаяр-бек вышел в город. Купив семифунтовую сахарную голову, он спрятал ее под полой и двинулся к кварталу Бузхана. Пройдя некоторое расстояние, повернул налево. Тут он перепрыгнул через канавку и, остановившись перед невысокой дверью, поставил сахарную голову на землю и стал страховать с себя пыль.

Подняв левую ногу, он почистил брюки правой рукой, затем поднял правую ногу и почистил левой рукой. Снял после этого папаху, он сунул в нее левую руку, а правой похлопал ее со всех сторон и надел на голову. Взял сахар под мышку, кашлянул и постучал в дверь.

— Кто там? — отозвался со двора женский голос.

Худаяр-бек, не отвечая, снова постучал. Через некоторое время дверь открыла девочка лет пяти и, увидав незнакомого мужчину, захлопнула дверь и убежала.

— Мама, там какой-то большой дядя! — слышался со двора ее голос.

Посмеявшись словам девочки, Худаяр-бек позвал ее из-за двери:

— Девочка, кази-ага дома?

Но девочка так была перепугана видом Худаяр-бека, что не посмела ответить. В это время дверь снова открылась, и в ней оказался какой-то молодой человек. Став в дверях, он уставился на Худаяр-бека.

— Кази-ага дома?

— Дома, а что тебе надо?

— Мне надо повидать кази-агу.

Не сказав ни слова, молодой человек закрыл дверь и ушел; вернувшись через некоторое время, он предложил Худаяр-беку следовать за ним.

Наклонив голову, Худаяр-бек перешагнул через порог и спустился на две ступеньки, во двор. По-видимому, жена кази стирала белье, так как, открывая дверь, молодой человек предупредил:

— Ханум, уйди, человек идет.

В одном углу двора стояло глиняное корыто, возле которого кучей лежало мокрое белье; грязная мыльная вода, вылитая после стирки, протекла по двору и образовала у самых ворот большую лужу. Строго говоря, это был даже не двор, так как, кроме четырех стен, тут ничего более не было; шириной двор был не более десяти, а длиной около пятнадцати шагов; у левой стены были сложены сырые кирпичи; вот и все. Вероятно, это был задний двор кази, так как в этом городе нет дома, который бы не имел садика. Так или иначе, если у кази и был еще садик, Худаяр-бек, кроме этого заднего двора, ничего не видел.

Оставив Худаяр-бека во дворе, молодой человек скрылся в узком проходе. Через некоторое время в том

2-225611.

же проходе появился согбенный старик. Левая рука была у него в кармане, а правой он защищал глаза от солнца.

— Что тебе надо, братец? — спросил старик, подойдя к Худаяр-беку.

— Дядя, мне надо видеть кази-агу. Дело у меня к нему.

— Откуда ты, дружище?

— Я староста селения Данабаш — Худаяр-бек. Хочу видеть кази-агу.

— А что это у тебя под мышкой, милый?

— Это сахар, принес для кази-аги. У меня доброе дело одно, а сахар, чтобы подсластить его.

Старик тем же путем ушел обратно, а через несколько минут появился молодой человек и пальцем пригласил Худаяр-бека идти за ним. Пройдя по узкому проходу, Худаяр-бек вошел за своим провожатым в переднюю, где снял башмаки, и шагнул в комнату.

Войдя в комнату, Худаяр-бек остановился в удивлении, забыв даже поздороваться. Он удивился тому, что уже виденный им старик сидел у противоположной стены на тюфячке. Конечно, он сразу догадался, что этот старик и есть сам кази.

Кази с первого взгляда понял, что гость его не из смышленных, поэтому не только не обиделся на него за то, что тот не поздоровался при входе в комнату, но сам встал и, приветствуя гостя, показал ему место рядом с собой.

Худаяр-бек почтительно ответил на приветствие и, пройдя в конец комнаты, сел и поставил перед собой принесенную сахарную голову.

Комната кази была большая, выбеленная, с высоким потолком. Она имела по стенам тридцать семь ниш и выступов, и все они были заняты чем-нибудь: на выступах была расставлена всевозможная фаянсовая посуда, а в нишах стояли несколько самоваров, сундучок, кальян, около пяти голов русского сахара и всякая мелочь. До десяти ниш были заняты связками белья и одежды; в двух нишах лежали разные книги. Пол был накрыт дорогими коврами. У одной из стен комнаты стояли три больших железных сундука, на которых сложены были тканые и войлочные ковры, паласы и др. У

другой стены были сложены завернутые в ситцевые простыни постели.

Кази сидел на бархатном тюфяке и опирался на пару громадных мутак**, сложенных друг на друга.

Когда Худаяр-бек поставил сахарную голову на землю, кази повернулся к нему и сказал с улыбкой:

— Для чего этот сахар бек? В чем дело?

— Кази-ага, у меня благое дело, — так же улыбаясь, ответил Худаяр-бек. — Сахар я принес, чтобы подсластить его.

— Да будет сладкой твоя жизнь, братец мой! Назерное, хочешь совершить кябин?*

— Нет, кази-ага, не кябин, а сийгу*.

— Очень хорошо, сийга еще лучше. Прекрасно, прекрасно! Да благословит аллах! А сийгу заключаешь для себя или для другого?

— Нет, кази-ага, для себя, если только уладится все дело.

Кази повернулся к двери, позвал слугу и приказал убрать сахар, приготовить кальян и подать чай. После этого снова обратился к Худаяр-беку.

— Как ты сказал? Если дело уладится?

— Да, кази-ага. Если вы сумеете как-нибудь устроить это дело, то заставите молиться за себя.

— А что там усгранавать? Дело простое. Прочитаешь молитву о сийге — и все тут.

— Правильно изволите говорить, кази-ага, но ведь надо же, чтобы был представитель со стороны женщины.

— Ну да, конечно. Я ведь не говорю, чтобы представителя не было. И представитель должен быть и свидетели. Как же можно совершить сийгу без представителя и без свидетелей?

Худаяр-бек поник головой, подумал и тихо сказал:

— Да, верно!

— А где же твои свидетели и представитель? — спросил кази.

— Пока что нет ни представителя, ни свидетелей. Посмотрим, как все это устроится.

Кази был немало удивлен.

— Так как же? У тебя нет ни представителя, ни свидетелей. Как же я могу совершить сийгу?

— Да, кази-ага, верно, совершенно верно.

— Клянусь аллахом, я ничего не могу понять из тво-

их слов. Если ты пришел совершить сийгу, то надо, чтобы женщина была представлена кем-нибудь, и я бы мог прочитать молитву о сийге. Если сейчас нет налицо представителя и свидетелей, то отложим дело до другого раза, когда будут и они, и тогда совершим все честь по чести. Ну, а если есть какие-нибудь иные препятствия, то тебе об этом лучше знать.

Услышав эти слова, Худаяр-бек снова задумался, потом посмотрел на дверь и, приблизив лицо к кази, сказал ему доверительно:

— Кази-ага, правду сказать, есть одна помеха. От аллаха не скрыто и от тебя нечего скрывать...

— Ну, ну, говори, слушаем. Конечно, от меня скрывать незачем.

В это время открылась дверь и вошел слуга, неся на подносе два стакана чаю. Он поставил чай перед кази и Худаяр-беком. Кази сделал ему знак, чтобы тот вышел из комнаты. Когда слуга удалился, Худаяр-бек начал рассказывать тихим голосом:

— Кази-ага, я вам скажу всю правду. В нашем селе есть одна вдова. Я давно задумал жениться на ней браком сийга, но она не соглашается. Не знаю, страшают ее, что ли. Не пойду, говорит, и конец. Вот я и пришел к вам рассказать об этом и попросить у вас совета. Быть может, вы поможете чем-нибудь.

В этот момент в дверь просунулась голова маленькой девочки, которая открывала ворота Худаяр-беку.

— Мама здесь? — спросила она.

Кази прикрикнул на нее, и та мигом скрылась за дверью. Слуга принес и поставил перед кази кальян. Он хотел было задержаться в комнате, но кази опять знаком отослал его.

— Итак, что же ты хочешь? — спросил кази-ага, закуривая кальян.

— Кази-ага, как хочешь поступи, но устрой мне это.

Кази громко забулькал кальяном и, замотав головой, сказал с усмешкой:

— Значит, если ты принес мне каких-нибудь два фунтика сахару, я должен насильно бросить женщину в твои объятия? Убирайся отсюда, нагlesi!

В ответ на эти слова кази Худаяр-бек приподнялся и, подняв правую руку с оттопыренным указательным пальцем, сказал:

— Слышишь, кази-ага! Клянусь аллахом, который создал нас, если ты устроишь мне это дело, я не откажусь голову сложить за тебя!

— Твоя голова, братец, мне не нужна. Пусть сохранит ее аллах. Мне вот что надо, вот!..

При этих словах кази поднял руку от пола на высоту большой сахарной головы и, внимательно глядя на Худаяр-бека, подержал ее в таком положении до тех пор, пока Худаяр-бек не выразил согласия.

— И не думай, кази-ага, — сказал Худаяр-бек. — Я не из тех людей, которые бросают слова на ветер. Зачем мужчина носит на голове папаху? Затем, чтобы его называли мужчиной. Если человек тут скажет одно, а выйдя за дверь, скажет другое, его нельзя назвать мужчиной. Ты хочешь получить одну голову сахару, я принесу тебе одиннадцать. Или денег у меня нет? Слава аллаху, у меня их достаточно, чтобы не краснеть перед такими господами, как ты. Ничуть не сомневайся.

Худаяр-бек умолк.

— Да не заставит тебя аллах краснеть перед кем-нибудь! — начал кази. — Я по лицу узнаю людей. Я человек пожилой. Мне ведь лет восемьдесят, а то и больше, да и опыта я набрался немало. Взглянув на человека, я сразу угадываю, что он из себя представляет. Как только я увидел тебя, сразу понял, какой ты человек. Если бы я сомневался в тебе, то не стал бы так долго разговаривать с тобой. Слава аллаху, ты человек достойный, и я не поступлю с тобой так, чтобы потом чувствовать себя виноватым перед тобой. На что мне одиннадцать голов сахару? Если ты принесешь мне всего две головы сахару, одну голову я дам наколоть и раздать нуждающимся, а другую оставлю себе, разве только для того, чтобы подсластить дело, как ты сам выразился. Так что я приму от тебя только одну голову сахару, больше мне ничего не надо, я не жадный. Ну, конечно, если к голове сахару будет приложен еще и фунтик чаю, то возражать не стану.

— Пожалуйста, кази-ага! С готовностью! Непременно! — заговорил Худаяр-бек. — Что еще прикажешь? Все исполню, только как ты мое дело устроишь?

Кази, опустив голову, стал глубокомысленно перебирать четки. Затем, со словами «о аллах!», встал и, порывшись в нише с книгами, выбрал одну из них в черном

переплете. Сел на место, нацепил очки и, открыв книгу, стал читать, беззвучно шевеля губами. Так прошло минут десять. Наконец, положив указательный палец левой руки на одну из страниц, кази повернул лицо к Худаяр-беку:

— Знаешь ли, бек, задача весьма трудная. Такие случаи встречаются очень редко. Потому и читаю в книге, чтобы высинить, как велит шариат поступать в таких случаях.

Сказав это, кази снова углубился в чтение, наконец, радостно закрыл книгу и положил ее перед собой.

— С помощью аллаха я разрешу эту задачу, обязательно разрешу, очень даже легко разрешу. Итак, скажи, бек, когда принесешь сахар и чай?

— Хоть сейчас, кази-ага, хочешь, сию минуту схожу принесу. Что мне стоит.

— Вот и хорошо, мой милый! Пойдешь принесешь сахар и чай. Затем приведешь сюда четырех крестьян из вашего села; только надо, чтобы все они были твоими друзьями. Один из них придет и скажет мне, что он сын той женщины и что она, то есть его мать, согласна выйти за тебя замуж и уполномочила его на это дело. Остальные крестьяне подтвердят это. Вот и все. Тогда я прочту молитву о сийге, и дело будет сделано.

— Кази-ага, это же совсем легко! Что там четыре крестьянина, я могу пригнать из нашего села хоть сотню. Спрашивай, что тебе угодно, и они скажут то, что надо. Кто посмеет ослушаться меня?

С этими словами Худаяр-бек встал.

— Пойду-ка поищу, кто из односельчан сейчас тут в городе.

Когда Худаяр-бек уже собирался уйти, кази вернул его обратно.

— Погоди-ка, бек! — сказал он. — У меня два наказа тебе. Во-первых, покупая чай и сахар, ты, конечно, заплатишь за это деньги. Не так ли? Эти деньги, надо полагать, ты не в поле нашел, а заработал в поте лица своего. Раз так, то по крайней мере отдай их за хороший товар. Времена теперь не те, всяк норовит надуть. Карапет-ага получил недавно хороший сахар, его называют сахар Бродского. Постарайся купить этого сахара. А что касается чая, то ты и сам сведущ, сумеешь купить.

— Слушаюсь, — сказал Худаяр-бек и хотел уже выйти, как кази снова остановил его.

— Милый мой, я же сказал тебе, что у меня два наказа. Об одном я уже сказал, теперь выслушай и другой и тогда можешь идти.

— Приказывай, кази-ага.

— Второй мой наказ состоит в том, чтобы все это до дня нашей смерти осталось между нами.

— Что ты, кази-ага? Ребенок я, что ли? Не считай меня за такого простофилю.

— Выслушай, дай договорить. Итак, значит, это дело должно остаться в секрете...

— В чем останется, кази-ага?

— Ну, должно остаться в тайне, никто о нем не должен знать. Люди, которых ты приведешь, должны быть настолько близки к тебе, чтобы никому не выдали этой тайны. Ты не думай, что в этом деле есть какое-нибудь нарушение шариата. Нет! Дело в том, что подобные случаи очень редки, и если кто узнает об этом, может подумать, что тут имеет место нарушение шариата. Вот почему все, что мы здесь совершим, должно остаться между тобой, мной и свидетелями. Понял? Ну, теперь можешь идти.

— Слушаю и повинуюсь, кази-ага! Конечно, ты правильно изволишь говорить.

Сказав это, Худаяр-бек вышел от кази и направился в город.



Худаяр-бек, радостный и довольный, дошел до базарной мечети, спустился к речке, совершил предмолитвенное омовение, затем зашел в мечеть помолиться и после намаза вышел на базар. Пройдя по крытому базару, он отыскал указанную кази лавку Карапет-аги. За стойкой сидел тучный армянин и что-то писал.

Оглядев все углы большой лавки, Худаяр-бек достал трубку и начал набивать ее. Карапет-ага положил ручку и стал удивленно наблюдать за покупателем. Набил трубку, Худаяр-бек подошел к стойке Карапет-аги, достал из-за пазухи кусочек трута и, протянув к Карапет-аге, сказал:

— Потрудись зажечь спичку, дать мне огня.

— Ты что? — сердито отвечал Карапет-ага. — Тут тебе не кофейня! Убирайся к чертям, осел ты этакий! Вон отсюда!

Пронзая эти слова, Карапет-ага так зло оглядел Худаяр-бека, словно хотел выпрыгнуть из-за стойки и растерзать его.

Оробевший Худаяр-бек попятился назад. Он был крайне озадачен суровым обращением Карапет-аги. Откуда было ему знать, что тот может не подать ему огня. У себя, в селении Данабаш, Худаяр-бек ни от кого не получал такого ответа. Кто бы там посмел, увидя, что Худаяр-бек достает трубку, не зажечь трута и не поднести ему? Но что поделаешь! Селение Данабаш осталось там, а здесь город.

Худаяр-бек насунился, придал лицу обиженный вид и ответил Карапет-аге:

— Зря ты кричишь, хозяин. Я не за тем пришел, чтобы разграбить твою лавку, а за покупкой. Стало быть, напрасно ты кричишь на меня. Я пришел к тебе купить сахар.

— Так что же, по-твоему, если ты пришел купить у меня полфунта сахара, то мне надо целовать тебе руки, что ли?

Худаяр-бек высыпал табак из трубки обратно в кисет, воткнул трубку за пояс и сказал:

— Прежде всего, хозяин, ты узнай, кто я такой, а затем уж кричи на меня. Я не из тех, за кого ты меня принимаешь, я не стану приходить и беспокоить тебя из-за полфунта сахара. Я староста селения Данабаш, Худаяр-бек, и не за полфунтом сахара пришел к тебе. Я пришел купить у тебя целую голову сахара, большую голову.

Карапет-ага немного смягчился.

— Пожалуйста, добро пожаловать. Я же не говорю тебе, зачем ты пришел купить у меня голову сахара. Я только хочу сказать, что ты поступил нехорошо, протянув ко мне трут, когда я был занят письмом. Из-за тебя я совершил теперь ошибку и осложнил себе работу. Мне придется после твоего ухода снова переписать все это.

— Ну, что было, то прошло. Теперь скажи, почему отдашь мне сахар.

Приподняв доску прилавка, Карапет-ага вышел из-за стойки и, подойдя к поставленным в углу головкам сахара, положил руку на одну из них.

— Вот, брат мой, бек! — сказал он. — Это наилучший сахар. Отдам я его тебе за семь рублей и десять копеек. Это первый сорт!

— Да что ты, шутишь, что ли? Повсюду сахар продают за семь рублей, а ты что, заработать на мне хочешь?

— Где это продают за семь? Нигде этого не делают, клянусь верой. Дешевле семи рублей и десяти копеек никто не отдаст.

Помолчав немного, Худаяр-бек потянулся за трубкой и начал снова набивать ее табаком. Карапет-ага зажег спичку.

— Ладно, ладно! — сказал Худаяр-бек, закуривая. — Я заранее знал, что ты продаешь дороже всех. Ничего не поделаешь. Пусть будет по-твоему. Возьми-ка одну голову и взвесь, посмотрим, сколько потянет.

Карапет-ага взял одну из больших голов сахара и поставил на весы.

— Это десять, еще десять — двадцать. Это пять, еще три, еще два и вот еще полфунта. Итого значит, тридцать с половиной фунтов. Тридцать фунтов составит тридцать двугривенных, то есть шесть рублей, долой сорок пять копеек, итого будет пять рублей пятьдесят пять копеек...

Подсчитав стоимость товара, Карапет-ага снял сахар с весов и поставил на землю.

— Значит, теперь ты меня узнал, Карапет-ага?

— Как то есть узнал?

— Я спрашиваю, теперь ты узнал, кто я?

— А кто ты?

— Я староста селения Данабаш, Худаяр-бек.

— А я второй гильдии купец, Карапет-ага.

— Да благословит аллах память твоего родителя! Я к тому все это говорю, что теперь развелось множество лживых людей. Зайдет такой человек в лавку и, поторговавшись, начнет клясться, что через три дня принесет деньги. И три дня превратятся в три месяца, а то и в три года. Пусть лучше убьет меня аллах, чем допустит до такого падения. Правду сказать, сегодня как-то случилось, что я приехал в город без денег. Сейчас я унесу сахар, и завтра рано утром твои пять пятьдесят пять будут у тебя.

Услышав это, Карапет-ага быстро отнес сахар на прежнее место и, подойдя к Худаяр-беку, положил правую руку ему на плечо, а левой показал на дверь.

— А ну-ка, пошел отсюда! Живо! Сию же минуту вон отсюда...

Ни слова не говоря, Худаяр-бек вышел из лавки.

До вечернего азана оставалось всего полчаса, когда Худаяр-бек вернулся в караван-сарай, где оставил осла.

Едва он показался у дверей, как к нему вышел не высокого роста мужчина в бязевом архалуке, серой папахе и белых штанах.

— Послушай, — сказал мужчина сердито. — Да благословит аллах память твоего родителя, избавь нас от лишних хлопот с этим животным. Хватит с нас неприятностей. Я сейчас выведу осла. Ради аллаха, уведи его, куда хочешь.

С этими словами содержатель караван-сарая пошел к конюшне, но Худаяр-бек остановил его.

— Погоди, куда ты идешь? О чем ты говоришь, какие там неприятности? Или осел не уживается с другими животными? Не может этого быть, осел у меня смиренный, зачем наговариваешь на него?

— Ради аллаха, брось шутки, — начал кричать содержатель караван-сарая, размахивая руками. — Мне не до шуток. Сейчас выведу осла, и уберу его отсюда.

Худаяр-бек тоже стал кричать:

— Да что ты за человек! Скажи мне, наконец, в чем дело?

— А в том дело, что ты привел ко мне в караван-сарай краденого осла. Что ты, насолить мне решил, что ли?

— Да ты что — спятил или хватил лишку? Как это краденый осел? Вор я, что ли? Ты придержи язык, не то клянусь аллахом, потом пожалеешь...

— Мил-человек, разве не мог ты найти другого осла, обязательно должен был взять осла дяди Мамед-Гасана? Из-за него у нас тут целый скандал...

— Какой скандал? Говори толком.

— Какие бывают скандалы? Не успел ты привязать осла и уйти, как сыншшка дяди Мамед-Гасана стрелой ворвался в конюшню и давай тащить осла. Но как я мог отдать осла? Что еще сказать... Мальчик убивается, ревмя ревет: или отдай мне моего осла, или я тут же, при всех, покончу с собой. Не смог я с ним справиться

и пошел за городом. Тот отколотил парнишку и насилу выволок из конюшни.

— Вот жалость — меня здесь не было! Клянусь аллахом, я бы его на месте уложил! Разве я отпустил бы его отсюда живым? И почему только ты не позвал меня! Теперь уже поздно! Темнеет, я не смогу вернуться в селение. Придется остаться, и осел, конечно, останется. Сегодня я буду твоим гостем, дядя Кербелай-Джафар.

— Будь гостем, с радостью приму тебя. Конечно, теперь уже поздно ехать. Совсем темно. Чего ж ты стоишь здесь, проходи, пожалуйста, в комнату.

Кербелай-Джафар привел Худаяр-бека в маленькую темную каморку, чиркнул спичкой и зажег висевшую на левой стене лампу.

Пол каморки был наполовину покрыт паласом. У стены, против входа, лежала опрятно свернутая постель; в одном углу стояли большой кувшин для воды, кувшинчик для омовения и веник. Грязные стены не имели ни выступов, ни ниш.

Сняв башмаки, Худаяр-бек сел на палас, прислонился спиной к постели и достал трубку. Набив ее табаком, он позвал Кербелай-Джафара.

— Поди сюда и заодно дай мне огня. Да иди же, потолкуем о том о сем.

Кербелай-Джафар также снял башмаки и, подсев к Худаяр-беку, зажег спичку, дал ему закурить.

— Эх, дядя Кербелай-Джафар! — заговорил Худаяр-бек, дымя трубкой. — Не должен был ты рассказывать мне об этой истории; ведь словно стрелу в сердце воизнал. Да проклянет аллах родителя дяди Мамед-Гасана! Опозорил меня при всем честном народе. Сколько лет прожил, а никогда еще так опорочен не был.

Сказав это, Худаяр-бек приподнялся и протянул трубку Кербелай-Джафару. Со словами «о аллах» — тот принял трубку и, затянувшись, сказал:

— Правильно изволишь говорить, Худаяр-бек! Только что было делать бедному дяде Мамед-Гасану, он ведь ни при чем. Если бы ты предупредил его, когда брал осла, ничего бы этого не случилось. Он бы знал, что осла взял ты, и не послал бы сына.

— Клянусь твоим именем, осла он мне сам дал. Он дал, этот нечестивец, этот Омар*. Почему ты не хочешь мне верить?

— Зачем не верить, я тебе верю.

— Клянусь кораном, он сам отдал. Что же в самом деле, не мог я найти осла? Я, староста трехсот дворов, — стал бы тайком брать чужих ослов!

— Да нет же, я верю. Как можно не верить!

Сказав это, Кербелай-Джафар приподнялся и протянул трубку обратно Худаяр-беку. Тот затаившись раза два и проговорил:

— Теперь ты сам увидишь, дядя Кербелай-Джафар! Если я не отомщу дяде Мамед-Гасану, то срею вот эту бороду*.

— Но что ты можешь ему сделать? — спросил Кербелай-Джафар, усмехнувшись.

— Глаза ему выколол, вот что я ему сделаю. Не я ли старший над ним? Дня не бывает, чтобы он ко мне за делом каким-нибудь не обратился. Повалю в грязь под ноги и растопчу! Вот что я сделаю.

В комнату вошел мальчик лет десяти-двенадцати, неся в руке глиняный котелок. Он поставил котелок на землю перед отцом и сказал:

— Отец, сегодня мама немного пережгла мясо. Попробуйте. Хорошо, если сможете кушать...

— Ах, чтобы в могилу отца твоей матери... — гневно начал Кербелай-Джафар. — Велик аллах! Проклятые шайтану! Что за несчастье нашло на меня! Дня не бывает, чтобы эта собачья дочь не пережгла мясо или не дала его утащить кошке...

— Нет, отец, мама тут ни при чем, — сказал мальчик тихо, наклонившись к отцу. — Она ходила сегодня в баню и поручила Гонче присмотреть за мясом. А Гонча чем-то занялась, недосмотрела, мясо и пригорело.

— А что случилось? — заворчал Кербелай-Джафар. — Пусть баня обрушится на голову твоей матери, надо ей было идти в баню непременно сегодня?

— А когда же ей было пойти в баню? — с удивлением спросил мальчик.

Худаяр-бек был очень голоден; после выезда из села он ничего не ел, только у кази выпил стакан чаю. Когда мальчик внес котелок, запах бозбаша приятно зашекотал поздри Худаяр-бека, и он мысленно послал на жену Кербелай-Джафара две тысячи проклятий. Видя, что пререкания между отцом и сыном затянулись, Худаяр-бек вмешался в разговор, чтобы поскорее приступить к еде.

— Дядя Кербелай-Джафар! — сказал он, придвигая котелок к себе. — Клянусь аллахом, что ни говори, а, по-моему, мальчишка тут ни при чем. Мясо вовсе не пригорело, разве только чуточку. Бозбаш прекрасно пахнет.

Кербелай-Джафар встал и, принеся желтую деревянную ложку, сел на корточки перед котелком, снял с него крышку и, зачерпнув ложкой мясного бульона, хлебнул, чмокнул губами, насулил брови и мрачно сказал:

— Нет, брат, это есть нельзя...

И начал снова жаловаться на жену и ругать ее. Наконец, он разостлал на полу скатерку, накрошил хлеба в миску и, засучив правый рукав, опрокинул в миску содержимое котелка. Затем он положил обратно в котелок мясо и, помешав обеими руками накрошенный в бульон хлеб, предложил Худаяр-беку приступить к еде.

— Бисмиллах*, Худаяр-бек! Придвинься, ближе. Правда, мясо немного пригорело, но уж такое, видно, твое счастье, ха-ха-ха!

Подсев ближе, Худаяр-бек протянул руку к миске. Съев несколько кусочков, он сказал:

— Клянусь аллахом, дядя Кербелай-Джафар, ты несправедлив. Да кто скажет, что это мясо пригорело? Ей-богу, вовсе не пригорело. Какой бозбаш может быть лучше этого?

Худаяр-бек лгал. Прежде всего он был очень голоден, а голодному и пригоревшее мясо может показаться вкусным. Кроме того, он ел городской бозбаш, а между городским и деревенским бозбашем большая разница. Городской бозбаш, даже с пригоревшим мясом, вкуснее, чем самый лучший деревенский.

Итак, Худаяр-бек и Кербелай-Джафар занялись едой. Поставив немного около них, мальчик ушел. Худаяр-бек сидел, вытянув левую ногу вперед и подняв колено правой ноги, так что правая ступня его лежала на скатерти. А Кербелай-Джафар сидел на коленях, всем корпусом навалившись на еду и чуть не касаясь носом миски.

Когда с ужином было покончено, Кербелай-Джафар убрал скатерть и отставил в сторону посуду. Они вытерли руки и сели на свои прежние места. Худаяр-бек крикнул, достал трубку и, покурив немного, протянул ее Кербелай-Джафару.

— Дядя Кербелай-Джафар, — сказал он при этом, —

мне нужны деньги, семь рублей. Как хочешь, но ты должен достать эту сумму и помочь мне.

— Клянусь пророком, — тотчас же ответил Кербелай-Джафар. — у меня нет. Если б были, я бы для тебя не пожалел.

— Если у тебя нет, найди у другого. Словом, ничего знать не желаю, где хочешь, достань.

— Ты правильно говоришь, — сказал Кербелай-Джафар, немного подумав, — но время сейчас не такое. Где теперь найдешь доброго человека, чтобы помог, поддержал ближнего. К кому бы ни пошел и ни сказал, что мне нужно семь рублей, тотчас же ответят: принеси-ка мне залог в семнадцать рублей...

— Это ничего, — прервал его Худаяр-бек, — ты только найди мне человека, который даст мне семь рублей, и ему оставлю залог. Что еще можешь сказать?

— А что ты имеешь при себе, чтобы отдать в залог? — спросил Кербелай-Джафар, немного подумав.

— Это тебя не касается. Ты мне найди деньги, тогда увидишь, какой залог я оставлю.

— Как же можно, чтобы я не знал, какую вещь ты хочешь оставить в залог. А если заимодавец не примет твоего залога?

Худаяр-бек в раздумье начал снова набивать трубку.

— Дядя Кербелай-Джафар! — сказал он немного погодя. — У кого хочешь займи для меня семь рублей, а осел пусть будет залогом. Когда я принесу деньги, тогда и осла возьму.

— Ха-ха-ха! — громко рассмеялся Кербелай-Джафар. — Ха-ха-ха! Да ты же шутник, Худаяр-бек! Ха-ха-ха! Ну и рассмешил ты меня.

— Чего же ты смеешься, братец? Какой дьявол тут шутит с тобой?

— Ха-ха-ха! Да ведь осел же не твой, как же ты можешь оставить его в залог. Ты-то, конечно, можешь оставить, но завтра же утром придет хозяин и уведет своего осла. Ха-ха-ха!..

— Да ты погоди, чего разошелся. Лучше выслушай. Клянусь аллахом, я не шушу. Ну скажи, на каком основании хозяин может требовать у тебя осла? При ком этот хозяин поручил тебе его? Допустим, что он придет и скажет: дескать, осел мой здесь, отдай моего осла. А ты спросишь: при ком ты приводил осла в мой караван-

сарай? Или, положим, спросит тебя: куда девался осел? Ты ему скажешь: кто приводил осла, тот и увел его. А уж там я как-нибудь сам отвечу хозяину осла. При чем тут ты?

Сказав все это, Худаяр-бек протянул трубку Кербелай-Джафору. Тот взял ее и начал курить.

Долго они судили, рядили и, наконец, пришли к соглашению, что Кербелай-Джафар даст Худаяр-беку семь рублей, а тот оставит ему осла в полное его распоряжение. Захочет — продаст или спрячет где-нибудь, словом, сделает с ослом все, что ему угодно. Худаяр-бек вернется в селение и скажет, что осла украли из караван-сарая. Если дядя Мамед-Гасан начнет спорить и скандалить, Худаяр-бек поклянется ему, что подал жалобу мировому судье и требует осла у содержателя караван-сарая. Если же дядя Мамед-Гасан придет в город и начнет расспрашивать Кербелай-Джафара, тот побожится, что действительно осел похищен, и что Худаяр-бек в этом деле не виновен.

Когда порешили на этом, Кербелай-Джафар вышел из комнаты и, вернувшись через некоторое время, сел на свое место, достал из бокового кармана одну пятерку и две рублевки и положил их перед Худаяр-беком. Тот взял деньги, спрятал их в карман и, немного приподнявшись, протянул Кербелай-Джафору руку:

— Дай руку!

Кербелай-Джафар подал ему руку.

— Дядя Кербелай-Джафар! Да сохранит аллах твоего сына, да продлит аллах твою жизнь! Дай бог тебе выгоду в этой сделке.

IV

Сытый и довольный, с семью рублями в кармане, Худаяр-бек спокойно заснул. Его сон никогда еще, наверное, не был так сладок.

На свете иногда, пожалуй, даже довольно часто, бывают удивительные случаи. Например, сейчас Худаяр-бек, растянувшись здесь, спит крепким сном; в этот же самый час в селении Данабаш в трех домах царит траур. И всему виной Худаяр-бек.

Нет, в самом деле презабавное происшествие, замечательное происшествие! Оно замечательно тем, что вызы-

вает смех, и на душе становится легко. А то к чему рассказы, наводящие грусть и тоску.

Итак, сейчас, даже если минуто, в селении Данабаш в трех домах — безысходное горе. Один из этих домов принадлежит, как не трудно догадаться, дяде Мамед-Гасану. Другой — дом самого Худаяр-бека, а третий — дом Зейнаб, вдовы, на которой Худаяр-бек задумал жениться.

Пока Худаяр-бек спит в городе, мы перейдем в селение Данабаш, начнем с траура в доме Зейнаб и дойдем до дома Мамед-Гасана.

Зейнаб — смуглая, полная женщина лет сорока-сорока двух. Муж ее Кербелай-Гейдар умер два года тому назад, оставив сына Великули, семнадцати лет, и двух дочерей — Физзу, ссми лет, и Зибу — четырех.

Ах, Зейнаб, Зейнаб! Где прежняя Зейнаб? Кто видел ее два года тому назад, теперь ее не узнает. Зейнаб надо было видеть при жизни мужа, при Кербелай-Гейдаре. По красоте она была первой во всем селении Данабаш.

В раннем детстве Зейнаб осталась круглой сиротой. Тетка взяла ее к себе на воспитание с тем, чтобы впоследствии женить на ней своего сына. Но вскоре сын ее умер, а о красоте Зейнаб пошли легенды по всему селу. От свах не было отбоя. Знающие люди рассказывают, подкрепляя свой рассказ клятвой, что в течение одного года Зейнаб сваталли четырнадцать женихов, и все из хороших семейств. Наконец, по воле судьбы ее выдали замуж за Гейдара. И неплохо сделали, выдав ее именно за Гейдара, так как отец Гейдара, Кербелай-Исмаил, считался одним из почетных людей на селе и не уступал другим домогателям ни своим богатством, ни тем уважением, которым он пользовался.

Спустя три года после того, как Зейнаб вышла за Гейдара, его отец Кербелай-Исмаил умер, оставив наследство — девять ослов, несколько голов крупного рогатого скота, двадцать три овцы, семь коз и землю на два халвара*. Половина этого наследства досталась Гейдару, а другая половина его брату — Рзе.

Через год умер и Рза, доля которого также перешла Гейдару. Дела Гейдара шли прекрасно, доходов он получал много, но и расходов было немало. Он устроил богатые поминки по отцу и по брату, потом отправил их останки в Кербелу. Это ему влетело в копеечку.

После этого он сам отправился в Кербелу и стал Кербелай-Гейдаром. Расходы эти сильно пошатнули его состояние. Ничего удивительного. Он сам считал, что посылка останков отца и брата на погребение в Кербелу и его собственное паломничество обошлись ему ровно в двести рублей. Однако аллах милостив. Эти деньги были затрачены Кербелай-Гейдаром на благое дело, поэтому творец своей всемогущей рукой вновь поправил его дела. Настолько поправил, что, когда Кербелай-Гейдар умер, на его похороны и поминки по нем была затрачена круглая сумма в семьдесят рублей и, кроме того, вдове Зейнаб досталось двести пятьдесят рублей, сыну сто сорок и каждой из дочерей по сто рублей. Земли свои он завещал жене и дочерям, а дом оставил сыну Великули.

Смерть Кербелай-Гейдара была огромным горем для Зейнаб. Она горько оплакивала его. Даже теперь каждый четверг она отправляется на могилу мужа и плачет, убивается.

Да, мало можно найти таких верных жен!

Вместе с тем Зейнаб никогда не ропщет на аллаха. Терзаемая горем, заливаясь слезами, она никогда не забывала благодарить аллаха за то, что тот даровал ей кусок хлеба и сделал независимой от кого бы то ни было. Кроме того, у нее сын — жених да две дочери. Слава аллаху, она ни в чем не испытывает недостатка.

Зейнаб очень довольна сыном. И сын очень ее уважает, быть может, даже больше, чем отца. Великули обходителен не только в обращении с матерью, но и со всеми окружающими. Кажется, скажи ему мать — умри, он умрет, не пикинув. Со дня смерти отца не было ни одного случая, чтобы Великули, бросив свои дела, связался с одноклассниками и пошел гулять или куражиться. Надо отдать ему справедливость, Великули очень смиренный, покладистый юноша. До этого дня Зейнаб ни на волосок не была недовольна им, но за последнее время отношения у них сильно испортились, и случилось это вот как.

Надо рассказать все с самого начала.

Покойный Кербелай-Гейдар и Худаяр-бек были большими друзьями. С самых малых лет до смерти Кербелай-Гейдара они дружили, души не чаяли друг в друге. В их взаимном обращении была какая-то особая нежность. Дни и ночи они вместе гуляли, вместе ели, вместе пили, вместе садились и вместе вставали. Дружба их дошла до

того, что люди начали подозрительно коситься на них. Каждый старался объяснить их дружбу по-своему. Одни говорили, что друзья занимаются контрабандой, перевозят с того берега товары и сообща сбывают их. Но это было не так. Про Худаяр-бека ничего не могу сказать, но что касается Кербелай-Гейдара, то он и на лошадь не мог сесть. Нет, дело было вовсе не в том.

Другие говорили, что они делают фальшивые деньги. Не правда ли, удивительно? Селение Данабаш — и фальшивомонетчики! Подумайте только, кто бы мог в селении Данабаш отличить фальшивые деньги от настоящих? Да нет, и это отпадает.

Одним словом, каждый толковал их дружбу по-своему. Пускай люди думают, что хотят, но дружба между Кербелай-Гейдаром и Худаяр-беком выглядела весьма и весьма крепкой.

Это случилось давно. Была зима. После заката солнца прошло часа три-четыре. Оба друга, а именно покойный ныне Кербелай-Гейдар и Худаяр-бек, и, кроме них, еще несколько человек из соседей сидели в конюшне* Кербелай-Гейдара и беседовали.

Всем известно, что долгие зимние ночи проспать невозможно, поэтому издавна в селении Данабаш существует такой обычай: жители каждого квартала, не имея никаких дел и занятий, собираются у кого-нибудь в конюшне и коротают время в беседах, разговорах. Часто бывает, что один из собравшихся рассказывает какую-нибудь занимательную историю, а остальные слушают.

Итак, Худаяр-бек вместе с несколькими односельчанами сидел в конюшне у Кербелай-Гейдара и слушал рассказ.

Молла селения Данабаш Пиркули читал какую-то историю из книги «Бахтиярнамэ»* и все присутствовавшие внимательно слушали его.

Случилось так, что жены обоих друзей были беременны и у обеих этой ночью начались схватки.

Молла читал самое интересное место, когда со скрипом открылась дверь, и в конюшню вошли два мальчика с девочкой. В конюшне был полумрак, и волшебные не могли сразу увидеть того, кого искали, поэтому они по-

дошли близко к сидевшим и, найдя среди них Кербелай-Гейдара, окружили его и стали просить муштулук*.

— Дядя, дай муштулук, у тебя родился сын, дай муштулук, ну дай же, дай!..

Кербелай-Гейдар сунул руку в карман и, положив в ладонь каждого из добрых вестников по горсточке сушеных фруктов, отпустил их. Все поздравили Кербелай-Гейдара, и молла продолжал чтение.

Худаяр-бек также позддравил своего друга и, не слушая рассказчика, о чем-то задумавшись, затем обернувшись вдруг к Кербелай-Гейдару и, протянув к нему руку, позвал его. Молла прекратил чтение и устался на Худаяр-бека.

— Брат мой, Кербелай-Гейдар! — сказал Худаяр-бек. — Дай мне руку.

Кербелай-Гейдар протянул ему руку; приятели сидели поодаль друг от друга, поэтому им пришлось немного приподняться на месте, чтобы соединить руки.

— Братец Кербелай-Гейдар, — сказал тогда Худаяр-бек. — Милый мой, свет моих очей! У тебя родился сын, да сохранит его аллах! Братец, сейчас и моя жена рождает; наверно и сам ты знаешь об этом. Давай при этих свидетелях заключим с тобой такой уговор. Если сейчас придут и сообщат, что у меня тоже родился сын, то тут же мы наречем их братьями, чтобы и они стали такими же братьями, как я с тобой. Если же родится у меня дочь, то наречем их теперь же женихом и невестой.

Первым выразил свое согласие на это молла; одобрив предложение Худаяр-бека, он произнес по-персидски фразу и добавил, переведя ее:

— Очень хорошо! В обоих случаях предложение идет на пользу ислама. Отлично, превосходно.

Молла хорошо знал, что никто из присутствующих не поймет сказанного им по-персидски изречения, а если кто и поймет, то поймет в лучшем смысле, в том смысле, что эта сделка в обоих случаях полезна исламу.

Под исламом молла подразумевал себя; он знал, что, родись у Худаяр-бека дочь, ему, молле, придется читать молитву о сийге, за что он получит подарок; то же самое произойдет в том случае, если родится мальчик; стало быть, кто бы ни родился, выгода молле.

Итак, обет был дан. Вскоре сообщили, что у Худаяр-бека родилась девочка. Кербелай-Гейдар назвал своего сына Великули, Худаяр-бек свою дочь — Гюльсум.

В ту же ночь молла прочитал молитву о сийге, и Гюльсум стала нареченной Великули. После этого дружба между Кербелай-Гейдаром и Худаяр-беком стала еще теснее, они стали близкими родственниками и дни и ночи пропадали друг у друга.

Смело можно сказать, что даже родные братья не могли быть так ласковы друг с другом, как они.

До самой смерти Кербелай-Гейдара их дружба ничем не омрачалась.

Зная их взаимную любовь, люди были уверены, что смерть Кербелай-Гейдара потрясет Худаяр-бека, но милейший Худаяр-бек повел себя так, что потрясенным оказался народ. А сделал он вот что: не успел Кербелай-Гейдар испустить дух, как Худаяр-бек послал сказать его вдове Зейнаб, чтобы она и не помышляла выходить замуж за кого-либо другого.

Почему?

Потому, что Кербелай-Гейдар якобы завещал ему, Худаяр-беку, жениться на Зейнаб и ни в коем случае не позволить, чтобы она вышла за кого-нибудь другого.

Как только слух о домогательстве Худаяр-бека распространился по селу, народ сразу понял, что дружба между Кербелай-Гейдаром и Худаяр-беком была основана не на выделке фальшивых денег и не на занятии контрабандой; все поняли, что они любили не друг друга, а скорее жен друг друга. Кто занят, быть может, если бы раньше умер Худаяр-бек, то Кербелай-Гейдар захотел бы жениться на его вдове.

Посланцу Худаяр-бека Зейнаб ответила, что он ей не чета и такого, как Худаяр-бек, она бы и в слуги к себе не взяла.

Зейнаб послала Худаяр-беку такой ответ потому, что тело ее мужа, быть может, еще не успело остыть в могиле, и незачем ей было, еще не сняв траура, пускаться в поиски нового мужа.

Такой ответ она послала Худаяр-беку еще потому, что тотчас после смерти Кербелай-Гейдара Зейнаб получила такое же предложение от двух почтенных и достойных людей. Один из них был всеми уважаемый в селении Данабаш Гаджи-Гамза, а другой глава селения Чарчи—Халыкверди-бек. Им обоим Зейнаб велела передать, что о новом замужестве она и не думает.

В-третьих, Зейнаб ответила Худаяр-беку так потому,

что какая бы женщина ни была, бедная или богатая, молодая или старая, красивая или некрасивая, она скорее согласилась бы навеки остаться без мужа, чем сделаться женой такого уroda, как Худаяр-бек.

Все это были подлинные слова Зейнаб, сказанные ею посланцу Худаяр-бека.

Тем не менее Худаяр-бек не терял надежды; он все еще думал, что смягчит и уговорит Зейнаб. Особенные надежды он возлагал на Великули. Он хорошо знал, что тот давно уже воспылал страстью к его дочери Гюльсум и последнее время поговаривает даже о свадьбе. Раз так, значит незачем терять надежду. Худаяр-бек полагал, что Великули как-нибудь уговорит мать и добьется ее согласия на брак с ним.

Первое время Великули вовсе не интересовало новое замужество матери. Какое, дескать, ему дело? За кого бы мать ни вышла замуж, лишь бы его нареченная Гюльсум была здорова! Великули был по уши влюблен в свою невесту, а дело приняло совершенно неожиданный оборот.

Видя упорное нежелание Зейнаб выйти за него замуж, Худаяр-бек послал передать ей, что, во-первых, он отныне не хочет выдать свою дочь за Великули, а во-вторых, покойный Кербелай-Гейдар остался ему должен двести рублей по векселю и необходимо, чтобы Зейнаб и Великули вернули ему, Худаяр-беку, эти деньги и не доводили дела до жалобы.

На эти новые предложения Худаяр-бека Зейнаб ответила, что, если он не хочет выдать свою дочь за ее сына, то и она не горит желанием женить сына на ней. Что же касается денег, то, если Кербелай-Гейдар остался ему должен, пускай Худаяр-бек передаст вексель в суд и взыщет свои деньги.

Великули ничего не знал об этом, так как в этот день он сеял в поле. Вернувшись с работы и загнав скотину в хлев, он вошел в комнату и, увидев мать расстроенной, спросил о причине ее плохого настроения.

Зейнаб сидела на коленях в углу и вязала чулок. Она казалась очень грустной. Слева около нее полулежала ее дочь Физза и не сводила глаз с матери. Поодаль на голом полу играла младшая девочка, Зибя.

Когда вошел Великули, Зейнаб подняла на него глаза, потом еще ниже опустила голову и провела кончиком

головного платка по глазам. Великули сразу понял, что мать плачет. Он присел в стороне и, как все усталые люди, прислонился к стене и вытянул ноги.

— Мама, что с тобой, ты плачешь?

Зейнаб подняла голову. Слезы, как утренняя роса, увлажнили ее ресницы.

— Нет, сынок, не плачу. С чего мне плакать?

Зейнаб старалась скрыть слезы от Великули, чтобы не расстроить его, но по голосу ее можно было догадаться, что наплакалась она вдоволь.

Физза, приподнявшись, села и, тоже готовая расплакаться, сказала брату:

— Братец, ей-богу, мама врет, она все время плакала, мы тоже плакали. Давеча...

Девочка хотела еще что-то добавить, но мать остановила ее:

— Довольно, довольно, знаем, что скажешь! Нечего вздор молоть. Ей-богу, Великули, ничего особенного не случилось. Осталась я одна, и как-то взгрустнулось, вот и всплакнула. Ничего такого нет...

— Я боюсь, мать, что траур твой до второго пришествия не кончится. Разве можно плакать столько, сколько ты плачешь. Сама подумай, сколько лет прошло, как умер отец...

— Братец, приходила какая-то женщина и сказала, что дядя не хочет выдавать Гюльсум за тебя. Потому мама и плачет... — начала было рассказывать Физза, но Зейнаб сердито прикрикнула на нее:

— Проваливай отсюда, Айша*, убирайся...

Физза приподнялась, но снова села.

— Мама, — сказал Великули, — ей-богу, я вижу, что у тебя какие-то неприятности; только не знаю, зачем ты скрываешь от меня? Что это говорит Физза? Что за женщина приходила сюда?

— Тетя Сакина приходила. От Худаяр-бека. Дескать, Худаяр-бек сказал, что, во-первых, раздумал выдавать дочь за Великули, а затем, якобы Кербелай-Гейдар при жизни задолжал ему двести рублей. Велит отдать, чтобы до суда не дошло.

Некоторое время все молчали. Физза по-прежнему полулежала, переводя глаза с матери на брата и с брата на мать. Зибя продолжала играть, что-то напевая себе под нос. Это сильно раздражало Великули, который и

без того был достаточно расстроен и искал только повода, чтобы разозлиться бранью.

— Ах ты, собачье отродье! Время našла петь? Такое у нас настроение, а она... Убирайся отсюда! Пошла во двор!

Услышав окрик, Зибя тотчас же встала, посмотрела на мать и, закрыв лицо руками, заплакала. Она словно искала помощи у матери, зная, что всегда получит эту помощь.

— Не плачь, деточка, не плачь! Иди ко мне! Иди! Свет погас для нас в тот день, когда умер ваш отец. Иди, иди ко мне, сядь рядышком...

Великули молчал, низко опустив голову и вертя в руке соломинку. Физза посмотрела на Зибю, закрыла лицо руками и тоже принялась плакать.

— А что ты ответила тете Сакине? — спросил Великули, повернув лицо к матери.

Мать не ответила.

Девочки перестали плакать. Зибя села на колени к матери, а Физза, крепко обняв мать, с удивлением смотрела на брата.

Зейнаб не ответила сыну. Тогда Великули сказал, повысив голос:

— Я же тебя спрашиваю! Оглохла, что ли?

— Что было мне ответить? Я сказала, что если Кербелай-Гейдар что-нибудь ему должен, пусть обратится в суд...

Зейнаб умолкла.

— И больше ничего? — спросил Великули.

— А что же еще?

— Значит, ты не знаешь, о чем я тебя спрашиваю?

— Ты спросил, я ответила. А что еще ты хочешь?

— А насчет Гюльсум что ты ответила?

— Что было мне отвечать? Я над ней не госпожа. Что я могу сказать, ежели отец не хочет выдавать. Я ответила, что, если он не хочет выдать дочь за моего сына, и тоже не хочу женить сына на ней. Что я могла еще ответить?

— Так! — сказал Великули, уже не сдерживая гнева. — Раз ты понимаешь, что ты над Гюльсум не госпожа, как же ты могла ответить за меня?

— Но ведь ты мне сын! — удивленно проговорила Зейнаб. — Гюльсум же не дочь мне!

— Хорошо говоришь, мать! Если мать ценит сына, для нее невестка ближе родной дочери. Зря ты так рассуждаешь.

Великули так повернул разговор, что Зейнаб не нашлась, что ответить. Тогда Великули продолжал:

— Раз так, я хочу отделиться. Я вижу, что с тобой мне не ужиться. Да будет благословенна память твоего отца, выдана меня, и я начну жить сам по себе.

— Сын мой, — расплакалась Зейнаб, — Великули! Помнишь, когда умер отец, как ты утешал меня? «Не плачь, мама, я никогда не позволю, чтобы ты горевала». Так зачем же не сдерживаешь своего обещания?

— Ты поступай так, чтобы мне не было тяжело, тогда я тоже не буду огорчать тебя.

— Родненький мой, а что я сделала тебе дурного? Худаяр-бек не хочет выдавать Гюльсум за тебя; ну и пусть, я найду тебе получше невесту. Зачем ты расстраиваешься из-за этого?

— Нет, мама, я ничего знать не хочу. Ты должна вернуть человеку деньги. Вот сейчас же дай мне, я отнесу ему. Он прав. Я сам помню, как отец занимал у него.

— Что с того, что ты сам помнишь? Где у меня теперь двести рублей, чтобы отдавать Худаяр-беку?

— Ничего не хочу слышать! — стал кричать Великули, сердито размахивая правой рукой. — Сейчас же отдавай деньги...

Не дожидаясь ответа, Великули встал, взял свою кипу палку и вышел вон, хлопнув дверью.

Физза и Зибя снова начали плакать. Как же может быть, чтобы мать плакала, а малые дети не вторили ей? Конечно, и Зейнаб плакала, и не только потому, что рассорилась с сыном, нет, она оплакивала минувшие дни, хорошие, счастливые дни! И то сказать, Кербелай-Гейдар никогда не был с нею суров. Если он иногда и ругал и бил ее, то только когда было за что.

Зейнаб было очень тяжело. Темная комната, голодные дети, остывшая на очаге похлебка. Скотина некормленная, непоенная. А Великули ушел. Кто знает, когда он придет ужинать.

По правде говоря, в безвыходное положение попала Зейнаб. Чувствовала она, что нелегко будет ей выбраться из этого положения. С одной стороны, Худаяр-бек посылает ей такие угрожающие предложения; с другой —

Великули затевает с ней ссору. Где ей достать двести рублей, чтобы отдать их Худаяр-беку? Если говорить правду, она может достать эти деньги. Хотя в данную минуту у нее нет в наличности такой суммы, но, конечно, при желании она может постепенно собрать ее. Да благословит аллах память Кербелай-Гейдара! Кое-что после себя не оставил. Но дело в том, что Зейнаб, хоть убей, и двухсот копеек не отдаст Худаяр-беку. Она-то хорошо его знает. Нет уж, увольте, не даст. Ни единой копейки.

Сидя в темноте, Зейнаб предавалась мрачным размышлениям. Девочки, поплакав, притихли, уткнувшись в колени матери. Вот так и просидели мать и дочери с добрых два часа.

Вдруг открылась дверь. Зейнаб решила, что вернулся Великули, и обрадовалась.

Ах, мать! Как же хорошо с тобой!

Видимо, и девочки подумали так, потому что обе они подняли головы и уставились на дверь. Но папаха вошедшего показалась немного больше, чем у Великули.

Зейнаб поняла, что это не сын, и с дрожью в голосе спросила:

— Кто там?

Вошедший оказался рассыльным главы — Гасымали. Не называя себя, Гасымали спросил с удивлением:

— Что тут такое? Почему темно? Может, спичек у вас нет?

— Братец, тебе нет дела до того, темно в комнате или нет. Скажи, что хочешь, и уходи.

— Вот что, тетка! — начал Гасымали. — По жалобе Худаяр-бека, глава арестовал Великули и посадил в кутузку. Он послал меня сообщить, что, пока ты не исполнишь требования Худаяр-бека, он не выпустит твоего сына. Вот и все.

Гасымали еще не кончил говорить, а Физза с Зибой уже стали плакать.

Окончив свое сообщение и простояв минуты две, Гасымали ушел.

Что теперь делать бедной Зейнаб? Каким пеплом посыпать ей голову?

Всю ночь несчастная женщина провела в слезах. Наутро тетя Сакина сообщила, что Худаяр-бек поехал в город пожаловаться начальнику насчет денег.

Это случилось как раз в тот день, когда рано утром Худайр-бек, взяв осла дяди Мамед-Гасана, поехал в город.

V

Конечно, глядя со стороны, можно упрекнуть Худайр-бека. Однако никаким упрекам здесь не может быть места. Если говорить по совести и рассуждать по справедливости, то Худайр-бека ни в чем нельзя винить.

Верно, конечно, что причиною всем этим неприятностям — Худайр-бек, но он ведь вовсе не имел в виду причинять кому-нибудь неприятности. У Худайр-бека одно-единственное желание: жениться на Зейнаб. Он вовсе не добивается того, чтобы Зиба и Физза плакали или чтобы Зейнаб горевала.

И осла дяди Мамед-Гасана Худайр-бек продал вовсе не с той целью, чтобы покрыть дом его трауром, а самого лишь возможности поехать в Кербелу.

Да нет же, боже сохрани! Он же не враг дяде Мамед-Гасану. Нет, не так, совсем не так. Осла он продал только потому, что ему нужны были деньги, а деньги были нужны, чтобы купить голову русского сахару и фунт чаю для кази.

Стало быть, ясно, что Худайр-бек имеет одну цель, только одну — жениться на Зейнаб. Раз так, следовательно никоим образом нельзя осуждать его поведение. Тут нет ничего предосудительного, и шарнат ни в коем случае не препятствует браку.

А жениться Худайр-беку совершенно необходимо. Необходимо, во-первых, потому, что женитьба относится к числу самых богоугодных дел. Во-вторых, ему потому необходимо жениться, что жена у него некрасива, настолько некрасива, что никто не захочет принять из ее рук даже стакан воды. Жена Худайр-бека и в подметки Зейнаб не годится.

Еще потому Худайр-беку надо жениться, и именно на Зейнаб, что сам он очень беден, ну прямо-таки нищ. Женясь же на Зейнаб, он прикарманит имущество ее и ее сирот и поправит свои дела.

В таком случае, какой же дурак откажется от столь

выгодного предприятия! А Худайр-бек очень умный человек! Вы его еще не знаете.

Худайр-бек прилагает все усилия, чтобы жениться на Зейнаб. С того дня как появилось и созрело у него это решение, он не знает ни минуты покоя... Не осталось ни одного фокуса, которого бы он не выкинул, добываясь своего. И все же до сих пор ничего не мог добиться. Последней его уловкой было то, что он спрятал Великули и послал сообщить Зейнаб, что глава арестовал ее сына. Он надеялся, что теперь-то уж бедная женщина согласится на все его требования.

В тот вечер, рассорившись с матерью, Великули пошел прямо к своему будущему тестю — Худайр-беку.

Войдя в комнату и поздоровавшись, Великули стал у дверей и прислонился к стене. Обычно, когда он входил в этот дом, его приветливо приглашали сесть и указывали место. На сей же раз ничего подобного не случилось.

Худайр-бек был занят намазом. Два сына Худайр-бека, Гейдаркули — шести лет и Мурадкули — девяти лет, лежали навзничь на полу и пинали друг друга ногами: Гюльсум, то есть невеста Великули, увидев его, тотчас же укуталась в чадру и, словно мешок с хлопком, застыла в темном углу. Жена Худайр-бека задумчиво сидела возле мальчиков, положив щеку на поднятое колено.

Когда вошел Великули, она осталась сидеть, не изменив позы и даже не подняв головы. Это был первый признак невнимания. Только Мурадкули повернул голову и, посмотрев на Великули, сказал со смехом:

— А вот и братец пришел!

Хотя Худайр-бек и был занят намазом, но всякий, посмотрев на выражение его лица, сразу догадался бы, что сейчас Худайр-бек погружен в море дум, вернее, даже в море скорби.

Окончив намаз, он повернулся к Великули и сказал, не меняя выражения лица:

— Почему стоишь, Великули. Иди садись.

Присев у входа, Великули стал развязывать чарыхи. Худайр-бек взял с джанмаза* четки и стал перебирать их, одновременно выговаривая детям за дурное

поведение. Он кричал на мальчишек, чтобы те сидели как следует, однако слова его никакого действия не имели.

Худайр-бек был занят делом, перебирал четки. Это тоже своего рода дело, особенно для благочестивого мусульманина, а Худайр-бек, несомненно, относится к числу таковых. Он сидел на согнутых коленях, подложив ладонь левой руки под локоть правой, в которой держал четки; голова его запрокинулась назад, словно он поло-скал горло; глаза были устремлены на потолок: можно было подумать, что он считает балки под потолком. Однако он не балки считал, а произносил соответствующую молитву.

На каждое зернышко четок он повторял про себя эту молитву. В течение пяти минут он перебрал все зерна четок и, трижды негромко повторив первое слово молит-вы, положил четки на место и повернулся к Великули.

— Что-то невесело ты выглядишь сегодня.

Великули не ответил. Худайр-бек продолжал:

— Что делать? В жизни всякое бывает. Я-то знаю, по- чему ты невесел. Ничего не поделаешь. Да проклянет аллах родителей твоей матери! Это она повергла всех нас в горе. Эх, Великули. Да благословит аллах память Кербелай-Гейдара! Только после этого ты оценишь его по достоинству. Неужели ты думал, что мать заменит тебе отца? Как бы не так. Мать—это женщина, а отец— мужчина! Да будет проклята сама святая святых женщи-ны! У женщины не бывает ни веры, ни религии, ни бога. Где ей понимать, что такое религия? Милый пле-мянник! Все мои старания направлены на то, чтобы как- нибудь избавить тебя с твоими сестрами-сиротками от вашей матери. Или ты думаешь, Великули, что я могу забыть добро? Я не вероломный человек. Кербелай-Гей-дару я был братом. Я многим ему обязан, очень многим. Разве сам ты не знаешь, что это так? Как же может быть, чтобы я забыл все это? Аллах меня накажет. Нет, нет, не приведи господь! Я не из тех, кто забывает друж-бу. Я не могу встать в сторонке и ждать, что будет. Нет, я так не могу. Сын мой, Великули, сам ты видишь, что, кроме меня, у вас нет покровителя. Как же я могу сто-ять в стороне и спокойно взирать, как твоя матушка выйдет замуж за Халыкверди-бека и как наследство, что оставил твой дорогой отец, да благословит аллах его память, мой незабвенный брат, свет моих очей...

Последние слова Худайр-бек произнес так, как если бы ему очень тяжело было говорить об этом.левой рукой он захватил полу чухи и поднял ее к глазам, якобы же-лая вытереть слезы. Однако мало-мальски наблюдатель-ный человек мог бы сразу заметить, что глаза Худайр- бека были совершенно сухи.

— ...Как богатство, оставленное покойным Кербелай- Гейдаром, она промотает со своим новым мужем. А как же тогда будут сироты! А что же будет с тобой? Помогни нам, аллах!

Великули, положив руку в карман, слушал Худайр- бека. Когда тот кончил и, достав трубку, принялся наби-вать ее, Великули кашлянул и сказал:

— Ей-богу, дядя, клянусь создавшим нас творцом, не бывает дня, чтобы я не ругался с матушкой. Вот и сейчас я рассорился с ней и пришел сюда.

— Нет,— проговорил Худайр-бек, закурив трубку и выпустив дым,— нет, Великули, я больше тебе не верю. Я думаю даже, что ты заодно с матерью. Будь ты креп-ким малым, не стал бы ты называть ее матерью. Будь ты настоящим мужчиной, не пошел бы к ней, не стал бы жить с ней под одной крышей. Слава богу, разве тебе жить больше нигде? Вот этот дом—твой дом! Сколько хочешь, жви, ешь, пей, до самой смерти оставайся тут. Нет, все это лишь отговорки. Я, Великули, умею разби-раться в людях. Если бы ты захотел, сразу склонил бы мать к согласию. О чем тут говорить?

— Ну скажи, дорогой дядя, что мне делать? Скажи. Я сделаю все, как ты прикажешь. Чего еще тебе надо?

— Стало быть, ты готов сделать все, что я скажу? Ну так вот, оставайся здесь, не возвращайся больше к матери.

— Слушаюсь. Ты велешь не ходить к ней, хорошо, не пойду. Разве я перечу тебе?

— Конечно, не ходи, зачем тебе ходить к ней? Если она тебя за сына не считает, зачем тебе называть ее ма-терью и слушаться ее. Не ходи, и все. Оставайся здесь, а ей пошли сказать, что в тот дом ты больше ни ногой.

— Хорошо, дядя! Я на все согласен. Вот я ведь поссо-рился с ней и пришел сюда. Зачем же было мне приходи-ть сюда, если бы я думал опять вернуться.

Худайр-бек повернулся к сыну.

— Мурадкули! Сейчас же сбегай к дяде Мешади-Ах-

меду и скажи, что отец просит прислать Гасымали, есть срочное дело.

Мурадкули встал, открыл дверь и вышел, но тотчас же вернулся, закрыл за собой дверь и, снова развалившись на полу, сказал отцу:

— Я не могу идти, отец. На дворе очень темно, ни зги не видать.

Услышав этот ответ, Худайяр-бек отбросил трубку в сторону и, вскочив на ноги, бросился к Мурадкули, схватил его за уши и приподнял почти до уровня своего лица.

В это время произошло непредвиденное. Жена Худайяр-бека набросилась на него и стала обеими руками рвать ему бороду. Мурадкули вырвался из рук отца и, убежав в темный угол, где сидела сестра, спрятался за ее спиной. Супруги сцепились. Рев Мурадкули и Гейдаркули, вопли матери и рычание Худайяр-бека слились в такой шум, словно наступил конец света. Гюльсум сидела совершенно неподвижно, словно неодушевленный предмет.

Великули вскочил, не зная, что делать, кому прийти на помощь.

Схватив жену за косы, Худайяр-бек таскал ее по комнате из угла в угол.

В этот самый момент всемогущий аллах послал откуда-то Гасымали. Войдя в комнату, он бросился к Худайяр-беку и, вырвав женщину из его рук, начал бранить ее:

— Еле-еле душа в теле, а все на рожон лезешь! Чем ты вмешиваешься в мужнины дела, чтобы он так с тобой поступал? Ну, получила свое? И поделом.

Женщина, в отчаянии нанося себе удары по голове, бросилась вон из комнаты. Худайяр-бек, браня жену, сел на свое место и обратился к Гасымали:

— Вся эта драка из-за тебя произошла, Гасымали. Я велел Мурадкули сходить за тобой, он не захотел, и, когда я стал его бить, началась эта катавасия.

Гасымали, с кизиловой палкой в одной руке и большим куском хлеба в другой, присел против Худайяр-бека.

— Зачем все это было делать? — проговорил он. — Ведь ты же знал, что я приду. Еще днем я говорил тебе, что зайду вечером поболтать. Наконец, хотелось бы знать, кто хозяин над Мурадкули — ты или мать? На то и отец,

чтобы бить и ругать сына. Зачем матери вмешиваться в дела отца с сыном. Нет, определенно твоя жена нехорошо себя ведет. И потом, я же знаю, какая муха ее укусила...

При этих словах он оглянулся на Великули и повторил:

— Я знаю, какая муха ее укусила!..

Худайяр-бек только теперь почувствовал, что лицо у него в нескольких местах исцарапано. Острые ногти, зная, у его жены. Достав платок, Худайяр-бек начал вытирать кровь с лица.

— Ты пришел очень кстати, Гасымали, — сказал Худайяр-бек. — Сейчас же сходи к Великули домой и передай его матери, что глава арестовал Великули и посадил его в кутузку. Если спросит, за что... Впрочем, нет, пожалуй, не спросит. Ты просто скажи, что по жалобе Худайяр-бека глава посадил Великули в кутузку и предупреждает, что не отпустит его, пока она не удовлетворит требования Худайяр-бека.

Гасымали, не медля ни минуты, встал и направился к выходу.

— Слушаюсь, Худайяр-бек! Сейчас же пойду! Очень хорошо!

Когда Гасымали вышел, Худайяр-бек поднял трубку и предложил Великули сесть. Тот сел, а Худайяр-бек закурил.

Дверь медленно открылась; бедная женщина молча вошла в комнату и, пройдя в темный угол, села возле своей дочери.

— Ну что, мое сокровище? — обратился к ней Худайяр-бек. — Будешь еще мне перечить? Будешь приставать?

Женщина молчала. Подняв руку, Худайяр-бек продолжал:

— Клянусь единым аллахом, считай себя покойницей, если еще осмелишься вмешиваться в мои дела или не подчиняться мне. Клянусь всемогущим аллахом, переломаю тебе все ребра! Дочь Айши! Какое тебе дело, что я хочу жениться?

Женщина продолжала молчать.

— Много ты мне богатства принесла из отцовского дома, чтобы еще перечить мне, — снова заговорил Худайяр-бек. — Что тебе надо, что ты хочешь? Если я задумал жениться, то сам знаю, зачем мне это надо. Всякий понимает, что тут у меня серьезные намерения. Я не

потому женюсь, что мне женщину иметь хочется. Вовсе нет. Почему же я столько лет не думал о женитьбе? Если бы я хотел жениться, сделал бы это раньше. Тебя, что ли, боялся или твоих братьев, твоей родни? Мало нам своего горя, еще ты портишь нам кровь, чертова дочь!

До сих пор женщина сидела молча и спокойно слушала. По-видимому, брань Худайр-бека сильно ее задела, и она, вытянув правую руку и прикоснувшись тремя пальцами к земле, сказала:

— Сам ты чертов сын! Сам ты собачий сын! Сам ты и есть сукин сын! Сам ты сын нечестивца! Что ты разошелся, бедены объелся, что ли? Придержи язык, не то ты пожалеешь об этом! Женись — женись, никто тебя не держит. Только разведись со мной. Я не в таком возрасте, чтобы терпеть в доме вторую жену своего мужа. Нет уж, уволь! Я больше не могу с тобой жить.

— Пожалуйста, с радостью разведусь, с большим удовольствием... Вот это сказано хорошо. Завтра же разведусь с тобой. И даже не сомневайся. Пусть наступит утро, и я дам тебе развод! Пожалуйста!

Худайр-бек кончил говорить, но жена ему не ответила: не сказала «разведись» и не сказала «не разводись». По молчанию женщины можно было догадаться, что она уже раскаялась в своих словах. И она в самом деле раскаялась, что напомнила Худайр-беку о разводе.

С того времени, как Худайр-бек задумал жениться, она, быть может, сто раз ему говорила:

— Разведись со мной! Дай мне развод!

И ни разу Худайр-бек не отвечал ей так, как сегодня. Каждый раз, когда она заговаривала о разводе, Худайр-бек, хотя и бил ее, ругал, но никогда не отвечал — хорошо, разведусь. Он всегда ей говорил:

— Хоть умри, но развода тебе я не дам; что же будет с моими детьми, если я разведусь с тобой?

И когда сегодня Худайр-бек ответил ей согласием на развод, женщина подумала про себя: «О злосчастная! А вдруг он и впрямь разведется? Что же тогда делать, как быть?»

Жена Худайр-бека была не из тех счастливых женщин, которые могут требовать у мужа развода. Этого может требовать женщина, которая рассчитывает на

отца, или надеется на мать, или имеет братьев, или, наконец, полагается на свои деньги, на свое богатство!

Жена Худайр-бека была лишена всех этих преимуществ.

Звали ее Шараф. Это была среднего роста, смуглая, худая женщина. В общем, ее никак нельзя было назвать красавицей. Лет сорока, а то и немного поболее, она была старше Худайр-бека. В то время, когда она выходила за Худайр-бека, ее отец ничем не уступал отцу жениха, но судьба оказалась к ней жестокой: умер отец, вслед за ним скончалась мать, затем умерли оба брата, и она осталась одна-одинешенька, на произвол Худайр-бека. А тот за последние годы сделался старостой, то есть превратился в господина, тогда как жена его оставалась все той же служанкой.

Вместе с этим Шараф не была уж такой забитой, чтобы не отвечать, когда надо, Худайр-беку или покорно опускать голову, когда он ее бил. Часто бывало так, что на удар палкой, нанесенный жене, Худайр-бек получал такой же удар палкой от нее; на два тумака, полученные от мужа, она всегда отвечала хотя бы одним ударом. И все же Шараф побаивалась Худайр-бека: как бы то ни было, Худайр-бек все-таки мужчина, а мужчина, как известно, сильнее женщины.

Кроме того, для него не представляло никаких затруднений развестись с ней. Если он до сих пор этого не делал, терпя непривлекательность и строптивость жены, то исключительно из-за бедности, просто он не имел возможности покрыть расходы по новой женитьбе.

Шараф прекрасно понимала это и никогда не теряла спокойствия, когда речь заходила о женитьбе мужа; она знала, что у мужа нет ни копейки, чтобы купить себе даже саккыз**.

Теперь же дело повернулось иначе. Худайр-бек хотел жениться на Зейнаб. Если та согласится выйти за Худайр-бека, то ему совсем не надо будет денег. Сейчас у Зейнаб по меньшей мере пять еще не надеванных платьев в сундуке, а насчет ее денег и говорить нечего. Вот почему Шараф боялась Зейнаб пуще огня. Не подлежит сомнению, что, когда Худайр-бек женится на Зейнаб, хозяйкой в доме будет она, а Шараф будет низведена на положение служанки. А это для нее хуже смерти.

Перебрав все это в уме, Шараф стала сильно раскаи-

вагся, что затеяла разговор о разводе, поэтому она предпочла замолчать, когда муж заявил, что завтра же даст ей развод.

Худайяр-бек поднялся на ноги, потянулся, зевнул и велел Гюльсум стелить постели. Затем, подойдя к Великули начал тихо шептать ему на ухо наставления. Великули встал, а Худайяр-бек, приблизив лицо к его уху, говорил:

— Слушай, Великули! Соберись с разумом и делай, как я скажу. Если ты хочешь, чтобы я был доволен тобой и не расстроил нашего родства, то запомни, что я скажу, и поступай так. Сейчас ты отправишься к Гасымали и переночуешь у него, но никто пусть не знает, что ты ночевал там. Я сам поручу Гасымали, чтобы он всем, кто спросит про тебя, отвечал, что ты арестован главой. Ты останешься у него и никуда не будешь выходить. Когда будет надо, я сам тебя позову, и мы поговорим. Быть может, как-нибудь мы сумеем уломать эту упрямцу, твою мать. Ну, теперь ступай.

Великули присел на корточки, чтобы надеть чарыхи.

В другом конце комнаты Гюльсум положила на пол старый матрац, расстелила несколько рваных одеял и разложила у матраца несколько старых мутак.

Обувшись, Великули ушел.

Худайяр-бек разделся и при свете лампы начал искать вшей в своей одежде. Раздавив ногтем несколько вшей, он лег и натянул на себя одеяло.

Остальные тоже легли где попало и заснули.

Ни Худайяр-бек, ни Шараф не могли уснуть.

Худайяр-бек думал о завтрашнем дне.

Он хорошо знал характер Зейнаб. Знал, что добром с нею ничего не сделаешь. Долго он поворачивался с боку на бок и, наконец, вспомнил об одной истории, случившейся совсем недавно, всего месяца два тому назад.

Один из крестьян пришел к кази и заявил ему:

— Кази-ага! Я подарю тебе две головы сахара, если ты женишь меня на такой-то.

После некоторого раздумья кази ответил:

— Ведь эта женщина состоит в браке с другим мужчиной. Как же я могу женить тебя на чужой жене!

— Кази-ага, — ответил проситель. — Это верно, и я знаю об этом. Но зачем же я предлагаю тебе две головы сахара? Я потому и даю тебе две головы сахара, что она

замужем. Будь она вдова, брак могла бы совершить и моя тетка. И еще вот что, кази-ага. Муж этой женщины сейчас находится в Кербеле. Кто знает, вернется или нет. Если случится так, что вернется, придумаем что-нибудь новое.

Вспомнив об этом происшествии, Худайяр-бек стал рассуждать про себя так:

«Великолепная история! Та женщина ведь была законной женой другого человека. Получив две головы сахара, кази исполнил желание просителя. А Зейнаб, слава аллаху, вдова. Раз дело обстоит так, почему бы мне не пойти и не поговорить с кази? Нет, нет, это дело иначе не устроится. По всему видать, что кази — человек порядочный, да благословит аллах память его родителя. Видно, он понимает чужую нужду и не откажет в помощи. Итак, завтра же пойду к нему».

Решив так, Худайяр-бек снова погрузился в думы. Его останавливало одно обстоятельство. В настоящую минуту у него в кармане было всего семь двугривенных, и те не свои, их дали ему в счет налога для сдачи главе. Если он потратит эти деньги в городе, беда невелика. Как-нибудь после достанет и отдаст главе. И потом, что может сказать глава? Он же приходит к нему отчимом.

Ну, ладно, это обойдется, но все же с семью двугривенными дела не сделаешь. Подумав еще, Худайяр-бек придумал выход и из этого положения. Какой выход он нашел, мы уже знаем.

Худайяр-бек встал рано и, достав новую чуху и шапку, разделся и собрался уходить.

Жена и дети сразу сообразили, что Худайяр-бек готовится ехать в город.

— Отец, куда собрался? — близко подойдя к нему, спросила Гюльсум.

— В город, — сурово ответил Худайяр-бек. — К кази, разводиться с твоей матерью.

Не успел Худайяр-бек выйти, как мать и дети заревели, заголосили, словно оплакивали его.

Там — траур в доме Зейнаб, тут — траур у жены и детей Худайяр-бека.

Худаяр-бек направился к дяде Мамед-Гасану, чтобы взять у него осла и отправиться в город.

К двум траурам прибавился еще один траур — в семье дяди Мамед-Гасана.

VI

Проводив Худаяр-бека, дядя Мамед-Гасан вернулся домой.

Дядя Мамед-Гасан жил в просторной зимней сакле. Зимой тут горит тендир, и балки под потолок сильно почернели от копоти и дыма. Верхняя часть стен тоже почернела. Сакля довольно старая, большинство балок в ней погнулось. Середину потолка поддерживает поперечная балка, которую подпирают два столба, поставленные на большие камни на полу.

У одной из стен вырыт тендир, покрытый доской, у другой стены стоит табурет, на котором сложен хлеб. В темных углах — ниши с расставленной в них глиняной посудой и медными чашками. Под табуретом — опрокинутый вверх дном котел, чашка с простоквашей и закопченный чайник. На пол постлан палас, на котором сложено несколько свернутых постелей. Две ниши заняты связками одежды, маленькими сундучками и старой папахой.

И больше ничего. Всякий, побывав у дяди Мамед-Гасана, сразу поймет, что он беден.

Войдя в саклю, дядя Мамед-Гасан увидел сына Ахмеда, который, катаясь по голому полу, плакал навзрыд, словно его ужалила змея. Громко плача, он то ударял себя руками по голове, то бился головой о землю.

В стороне, прислонившись к табурету, сидела на полу женщина лет сорока пяти-пятидесяти и, подложив обе ладони под подбородок, сурово смотрела на плачущего Ахмеда. Одета она была в старую кофту из светлого ситца и в старую полинявшую юбку: голова ее была покрыта ветхим платком. Если к этому добавим, что ноги женщины были босы, то сразу станет ясно, что это жена бедного человека.

Да, это и есть жена Мамед-Гасана, и зовут ее Иззет.

Войдя в комнату и увидев валяющегося на полу и плачущего сына, дядя Мамед-Гасан подошел к нему и,

наклонившись, взял его за руку, чтобы поднять и успокоить. Мальчик стал плакать еще громче. Как ни старался дядя Мамед-Гасан ласковыми словами утешить мальчика, тот не унимался.

— Встань, сынок, встань! Не плачь. Зачем плачешь? Вечером староста опять приведет осла. Он же не убьет его. Встань, голубок, встань! Не плачь.

Чем больше уговаривал дядя Мамед-Гасан, тем сильнее ревел мальчик. И вдруг Ахмед, ни слова не говоря, вскочил на ноги и выбежал из сакли. Дядя Мамед-Гасан стал звать его, чтобы спросить, куда он бежит, но мальчик ничего не ответил.

— И откуда только нелегкая принесла этого балбеса! — сказал он с досадой жене. — Взял нашего осла, теперь не оберешься неприятностей. Ахмеда ничем не успокоишь. Вот, ей-богу, не думали, не гадали...

— Ладно! — строго проговорила жена. — Теперь поздно говорить об этом. Что я могу теперь сделать? Ты бы подумал об этом прежде, чем осла отдавал. Теперь, когда ты отдал осла, ко мне за советом приходишь?

— Но что мне было делать, жена? Совестно как-то. Пришел, просит, как ему откажешь? Ну, взял он осла в город. Взял — вернет. Не съест же он осла.

Говоря эти слова, дядя Мамед-Гасан стоял перед женой, опустив руки по швам, словно держал ответ перед начальником.

— Послушай, — заговорил «начальник», усиленно размахивая руками, — ей-богу, у тебя ума нет ни капельки. Разве ты не знаешь, что не сегодня-завтра паломники выезжают? Дай же бедному животному хоть один день остаться дома, отдохнуть, набраться сил, чтобы повезти тебя в шестимесячный путь и привезти обратно. Сам подумай, третьего дня осел был в Узунагаче, вчера ты ездил на нем на мельницу, сегодня его погнали в город. Когда же он отдохнет в своем стойле, чтобы ты мог потом отправиться на нем в путешествие? Эх, пропади ты пропадом...

— Жена, ради аллаха, отстань от меня. Мне и своего горя довольно. Что теперь делать? Уже полчаса будет, как Худаяр-бек забрал осла. Не могу же я теперь побеждать за ним и отнять осла, остановить человека на полдороге! Как бы то ни было, все же он один из почетных людей на селе. Будет случай, и он мне пригодится. Как

можно из-за какого-то осла портить отношения со старостой. Ну, увел осла, эка беда! Вечером приведет обратно.

— А что теперь мне с Ахмедом делать? Попробуй-ка успокоить его. Каково мне смотреть, как ребенок мой надрыдается? И ради чего? Что общего у тебя с Худаяр-беком? Староста он, ну и пускай себе будет старостой. Какая польза тебе от этого!

Услышав плач Ахмеда, Иззет умолкла. Войдя в саклю, Ахмед снова бросился на землю и стал громко ныть:

— Вай, вай! Хочу осла, моего осла! Клянусь аллахом, мама, Худаяр-бек взял осла в город, а там его нагружат камнями и погонят чинить мост... Вай, вай, мама, хочу моего ослика!

Поплакав немного, мальчик опять выбежал во двор.

Дядя Мамед-Гасан вышел за ним, чтобы узнать, куда убежал мальчик, но того и след простыл. Дядя Мамед-Гасан опять вернулся в саклю и сказал жене, что не знает, куда делся Ахмед. Это еще больше разозлило Иззет.

— Да разрушит аллах твой дом! — вскричала она. — Иди же посмотри, куда мальчик ушел. Господи, что мне с ним делать? Ты же знаешь, что Ахмед не в своем уме, он может в колодец броситься!

— Но как же быть, жена? Как я могу теперь узнать, куда он убежал?

Иззет встала, накинула на голову старую чадру из синего ситца и вышла из сакли, прокляв Худаяр-бека на чем свет стоит.

— Да будет проклят твой родитель, Худаяр-бек! Да будет проклята твоя мать, Худаяр-бек! Пусть угодит в ад твой отец, Худаяр-бек! Пусть твой дед явится на страшный суд вместе с Омаром, Худаяр-бек!..

Иззет ушла, и дальнейших ее проклятий не стало слышно. Дядя Мамед-Гасан тяжело вздохнул и, сев на налас, прислонился к стене. Досада взяла его, на лбу выступила испарина. Он снял шапку и, положив рядом на землю, стал жаловаться на свою судьбу.

«Благодарение и слава тебе, господи! Может ли человек вынести столько горестей, сколько ты наслал на меня! Непременно этот Езид*, сын Езида должен был прийти и взять именно моего осла, чтобы вызвать у меня в доме такой переполох. В селе две тыщи ослов. Разве

он не мог взять у кого-нибудь другого? Только у меня увидел? Аллаху-акпер! Велик аллах! Не зря говорит жена, сущую правду говорит. Бедное животное отдыха не знает, сил набраться не может. Эх, грона ломаного я не стою. И вовсе я не мужчина. Жена, и та лучше меня. Конечно, она лучше. Попробовал бы Худаяр-бек попросить осла у Иззет. Так бы она и дала ему. А ведь женщина. Аллаху-акпер! Ну и в перелет я попал. Не знаю, о бедности ли своей горевать, о жене и детях думать, или об осле печалиться... И не дать-то осла нельзя. Ну, как было не дать? Как после того жить в деревне? Худаяр-бек, как-никак, начальство... Придет средь бела дня и заявит ни с того ни с сего — с тебя столько-то штрафа, выкладывай! Как тогда быть? Нет, нельзя было отказать. Не понимаю, ей-богу, что тут еще жена вмешивается? А этот щенок как надрыдается? Скажите, ради аллаха, вы что, вместе со мной в поте лица деньги зарабатывали? Отдал и ладно. Мой осел, я и отдал. Вам-то какое дело?.. А впрочем, говоря по справедливости, и они не виноваты. Ведь из-за меня убиваются. Верно говорит Иззет. Осел ни дня не отдыхает, сил набраться не может. Нет, они ни в чем не виноваты...»

Так размышлял про себя дядя Мамед-Гасан, когда со двора донесся громкий голос Иззет, отвлекший дядю Мамед-Гасана от его дум.

— И поделом, и поделом... Увел осла, прекрасно сделал. Уведи, убей осла этой собаки. Молодец, Худаяр-бек! Хвала аллаху! И этого ему мало!..

С этими словами Иззет вихрем ворвалась в саклю и набросилась на дядю Мамед-Гасана:

— Ну что? Доволен? Утешился теперь? Рожа проклятая! Знаешь, куда увел осла Худаяр-бек? В город увел, камни на нем таскать будут! Там чинят мост Гейдархана. От каждого села потребовали по одному ослу. А ведь в селении Данабаш только твой осел известен, кроме твоего, других не оказалось! Понял, в чем дело? Теперь можешь успокоиться!..

Выпалив все это, Иззет сняла чадру и швырнула на табурет. Дядя Мамед-Гасан быстро надел шапку и подошел к жене.

— То есть как это камни таскать? Кто это говорит?

— Кто может сказать? Жена самого Худаяр-бека. Я к ней ходила. Думала, может, Худаяр-бек еще не успел

уехать в город и я смогу вернуть осла. А он давно уж уехал. Жена мне сама сказала. Я еще и не успела спросить, зачем Худайр-бек взял осла в город, а она отчитала меня как следует. Что вы, говорит, не жалуете своей скотины? Разве вы не знаете, говорит, для чего Худайр-бек взял осла в город? Взял, говорит, чтобы на нем камни на мост таскать. И наказала мне обязательно послать Ахмеда в город и вернуть осла.

Выслушав рассказ жены, дядя Мамед-Гасан направился к выходу.

— Тогда пойду и сейчас же пошлю Ахмеда в город. Надо найти его.

В этот момент послышался плач Ахмеда. Дядя Мамед-Гасан вышел и вскоре вернулся с Ахмедом. Сначала он успокоил сына, а потом сказал, что надо сбегать за Худайр-беком и вернуть осла.

Мальчик подумал и ответил, что Худайр-бек, наверно, теперь уже в городе.

— Ничего, — сказал дядя Мамед-Гасан, — если даже он в городе, надо найти его и взять осла.

Перестав плакать, Ахмед поглядел на мать и вышел из сакли.

■
Под вечер дядя Мамед-Гасан сидел на околице у дороги и с грустью смотрел в сторону города.

Вдали показался мальчик лет семи, в белой шапочке, в синей бязевой рубаше и в белых штанах. Он гнал маленькое стадо ягнят с пастбища в село, подгоняя отстававших ягнят связанными в пучок прутьями.

Поравнявшись с дядей Мамед-Гасаном, мальчик остановился и с удивлением посмотрел на него. Потом сделал еще два шага к нему и спросил:

— Дядя Мамед-Гасан, зачем ты здесь в такую пору?

— Жду одного человека из города, — мягко ответил дядя Мамед-Гасан.

Мальчик заметил, что ягнята ушли далеко вперед, и, не продолжая расспросов, кинулся за стадом.

Вскоре перед дядей Мамед-Гасаном очутился мальчик лет двенадцати, одетый в лохмотья, и также спросил его, почему он сидит так поздно на дороге. Дядя Мамед-Гасан удовлетворил и его любопытство.

Когда удалился и этот мальчик, дядя Мамед-Гасан увидел стадо коров, направлявшееся в селение. Когда стадо подошло ближе, из-за коров показался мужчина лет тридцати пяти, босой, в черной чохе** и в белых штанах.

— Дядя Мамед-Гасан! — спросил он. — Зачем ты сидишь здесь в такое время?

— Человека жду одного. Вот-вот должен появиться.

— Так он и без тебя придет... Видно, нужный человек?

— Да нет, Худайр-бек взял моего осла в город. А мне надо на мельницу. Вот я и послал за ним мальчика. Пока что нет ни мальчика, ни осла.

Конечно, дядя Мамед-Гасан мог отделаться от любопытного кратким ответом и вовсе не распространяться об осла, но он нарочно сказал про осла.

Рассказ об осла он затеял для того, чтобы услышать от мужчины что-нибудь достоверное, проверить, знает ли он о том, что Худайр-бек взял осла на строительные работы, или не знает.

Ответ мужчины пришелся как нельзя по сердцу дяди Мамед-Гасана. Он ответил, что Худайр-бек взял осла не затем, чтобы съест его, зачем же было посылать еще мальчика в город?

Дяде Мамед-Гасану захотелось поглубже прощупать своего собеседника, и он решил рассказать ему все подробно.

— Сказать по правде, после того как Худайр-бек взял осла в город, я слышал, что... Хотя все это бабы разговоры, не верится... Но поговаривали, что будто с селения Данабаш потребовали в город одного осла, чтобы отправить его на мост Гейдар-хана таскать камни. Поэтому я немного забеспокоился. Мне надо погнать осла на мельницу, я и послал Ахмеда, чтобы он непременно привел осла. Вот и сижу дожидаясь тут.

Мужчина слушал его со все возрастающим удивлением. Когда дядя Мамед-Гасан кончил рассказывать, мужчина рассмеялся.

— Да кто это наболтал тебе? Что значит камни таскать на мост? Ха-ха-ха! Это правда, что строят Гейдар-ханский мост, но не один же осла там нужен. Для постройки этого моста на Данабаш наложили сто рублей налога. Наврали тебе, дурака валяют. Вставай, пошли

домой. Не терий даром времени. Сейчас Худаяр-бек вернется и приведет осла. Вставай, идом.

Дядя Мамед-Гасан еще раз посмотрел в сторону города и со словами «о аллах!» встал и вместе с мужчиной направился в селенье. Все улицы были запружены скотом. Уже начинало темнеть.

— Скажи-ка, дядя Мамед-Гасан, кто это тебе говорит?

— А, неважно, ведь все равно вранье! Я сам хорошо знаю, что вранье. Не глупый же я! Не строят же мост с одним ослом! Да и сказала-то об этом не кто-нибудь — жена Худаяр-бека. Вранье, конечно. Сам знаю, что вранье!..

— Ха-ха-ха... конечно, так... — прервал его мужчина. — Да ты бы раньше мне сказал. Теперь все ясно. Знаешь, в чем дело, дядя Мамед-Гасан? Ты знаешь, я живу по соседству с Худаяр-беком. Уж кто-кто, а я-то знаю, зачем он сегодня уехал в город. У него там два дельца. Он же хочет жениться на Зейнаб.

— На какой Зейнаб?

— Да неужели не слышал? Вдову-то Кербелай-Гейдара ведь знаешь! Ну вот, он и хочет жениться на ней. Давно хочет. С того самого дня, как помер Кербелай-Гейдар. Да, Худаяр-бек, значит, хочет жениться на Зейнаб, а Зейнаб не идет за него, и жена Худаяр-бека не соглашается. Прошлой ночью у него в доме крик до небес поднимался. Наутро Худаяр-бек объявил жене, что едет в город разводиться с нею. И теперь, значит, Худаяр-бек поехал в город либо заключить брак с Зейнаб, либо разводиться с женой. Нет, я вовсе не к тому говорю. Я хочу сказать, что жена Худаяр-бека сущая ведьма. Она нарочно сказала, что Худаяр-бек взял осла таскать на мост камни. Сказала так, чтобы ты не давал осла. Назло тебе сказала ведьма... Верное слово!

Дядя Мамед-Гасан со своим собеседником дошли до перекрестка. Мужчина завернул направо.

Прощавшись с ним и в душе благословив память его отца, дядя Мамед-Гасан зашагал к своему дому. Открыв дверь, он хотел войти, но в комнате было темно. Позвал жену, та не откликнулась. Позвал еще раз, опять нет ответа. Прикрыв доску, он вернулся во двор и решил про себя, что жена соскучилась одна и зашла к какой-нибудь соседке поболтать.

Пройдясь немного по двору, дядя Мамед-Гасан подошел к воротам. Дверь хлева была рядом, и он вдруг услышал всхлипывания, доносившиеся оттуда. Тогда он повернул к хлеву посмотреть, кто это там плачет. Открыв дверь, он явственно различил голос жены. Просунув голову в дверь, дядя Мамед-Гасан позвал:

— Иззет!..

Всхлипывания прекратились, но ответа не последовало. Он позвал еще. Опять никто не откликнулся. Дядя Мамед-Гасан позвал еще раз, громче. Тогда из глубины хлева послышался сердитый голос жены:

— Чего тебе? Ослеп, что ли? Не видишь, что это я?

— Ты плачешь, Иззет? Мне послышалось, что кто-то плачет.

Иззет не ответила. Громко высморкавшись, она вышла из хлева и направилась в саклю. Дядя Мамед-Гасан побрел за ней. Иззет зажгла лампу и, поставив ее в нишу, отошла и села в темном углу.

Постояв немного, дядя Мамед-Гасан сел на палас и прислонился к собранной в тюк постели.

— Скажи правду, Иззет, это ты плакала в хлеву?

Женщина не ответила.

— Я ясно слышал, как кто-то там плакал. Это была ты?

Женщина опять не ответила.

— Конечно, была ты. Напрасно ты плачешь, напрасно убиваешься. Я только что был на большой дороге. Встретил человека из города. Он божился, что Худаяр-бек сейчас приведет осла. Он говорил, что, правда, строят Гейдар-ханский мост, но от селения Данабаш потребовали на это не осла, а целых сто рублей. Он клялся всеми святыми, что Худаяр-бек вот-вот приведет осла. Сам, говорит, видел... Ей-богу, я правду говорю.

— Да пропади все пропадом! У ребенка моего ноги теперь покрылись волдырями. Очень мне надо, придет осел или нет. На кой мне черт он сдался! Я об Ахмеди тревожусь, к черту осла!

— Жена, ей-богу, тот мужчина говорил, что сейчас придет. Сама подумай, зачем было ему врать? Если б он не знал, не говорил бы. Он клялся, что сам видел на базаре их обоих, Худаяр-бека и Ахмеда. Я, говорит, собрался идти и спросил у них, когда они выйдут. Те отве-

тели, что сейчас трогаются. Я, говорит, пошел, а они остались, чтобы после меня тронуться в путь.

Женщина ничего не сказала. Она встала, вздохнула, высмотркала в подол юбки и, взяв с табурета несколько сухих давашей, отнесла к двери и стала кропить их водой*.

— Иншаллах, сейчас придет! — проговорил дядя Мамед-Гасан и, надев башмаки, подошел и стал около жены.

Когда Иззет кончила мочить хлеб, дядя Мамед-Гасан взял кувшинчик и вышел во двор. Вскоре он вернулся и, присев на корточки у дверей, начал совершать даस्ताмаз*.

Прежде всего он помыл кисти рук, потом лицо, а затем руки до локтей. Каждый раз, поливая воду, он произносил «бисмиллах». Покончив с омовением и проведя мокрой рукой, согласно ритуалу, по голове, он вошел в саклю и, найдя в нише мохир**, положил его на палас и приступил к намазу.

Иззет снова села в угол и, положив подбородок на поднятое колено, стала смотреть перед собой.

Дядя Мамед-Гасан, прочитав азан и игаме, перешел к хамду и гюл-хуваллаху* и готовился уже перейти к поклону, когда дверь открылась и в комнату вошел усталый и словно больной Ахмед.

Дядя Мамед-Гасан поднял обе руки к небу и воскликнул:

— Аллаху-акпер!*

Иззет радостно вскочила с места и позвала Ахмеда. Тот остановился у дверей и, прислонившись к стене, проstonал:

— Ох, мама!

Дядя Мамед-Гасан не вытерпел; после второго земного поклона он прервал намаз и бросился к Ахмеду. Отец и мать, схватив сына за руки, спрашивали наперебой:

— Почему ты так стонешь, сыночек?

— Что у тебя болит, милый?

Иззет спросила:

— Почему не садишься, родной мой?

— А где осел, детка? — спросила дядя Мамед-Гасан.

Едва успел дядя Мамед-Гасан произнести слово «осел», как Иззет стала громко и сердито бранить его:

— Да провалится в преисподнюю отец того, кто отдал

осла! Пусть будет проклят отец того, кто продал осла! Пусть змея ужалит осла! Дитя мое чуть не умирает здесь, а он еще про осла спрашивает...

Дядя Мамед-Гасан ничего не ответил. Ахмед, прислонившись к стене, громко стонал и охал. В конце концов Иззет удалось усадить его на палас. Когда Ахмед отдышался и успокоился, Иззет и дядя Мамед-Гасан уговорили его рассказать о своем путешествии в город.

Ахмед начал рассказ с того, как он шел в город и сколько раз садился в дороге отдохнуть; потом перешел к тому, как он добрался до города, нашел караван-сарай и дрался с хозяином; дальше рассказал о том, как метался по городу в тщетных поисках Худаяр-бека, и закончил рассказ тем, как шел обратно, часто останавливаясь и превозмогая усталость.

Рассказывая все это, Ахмед каждое слово подкреплял клятвой. Скажет слово и прибавит «ей-богу», скажет другое — и подтвердит «клянусь имамом Гусейном», еще слово — и опять клятва «клянусь имамом Раий», «клянусь саблём Дженеба Эмира»*.

Окончив рассказ, Ахмед повернулся к матери.

— Мама, что ты сварила?

— Ничего не варила, детка. Один хлеб... Если хочешь, принесу еще немного простокваши.

— Я не хочу простокваши! — заныл Ахмед. — Не могла кашу сварить немного?..

— Не знаю, сынок, как-то не удалось. В этой суматохе я совсем растерялась, забыла. Что делать? Поешь сегодня простокваши, а завтра, бог даст, сварю тебе кашу.

Иззет принесла и положила перед сыном хлеб и простоквашу. Мальчик начал есть, а муж с женой принялись за намаз.

Дядя Мамед-Гасан кончил молиться раньше жены и, подсев к сыну, стал снова спрашивать его, как он себя чувствует. Мальчик, поглощенный едой, не отвечал. Не получив от сына ответа, дядя Мамед-Гасан спросил:

— А что нового в городе, сынок?

Ахмед хотел что-то ответить, но рот у него был набит хлебом. В это время и Иззет покончила с намазом и, повернувшись к мужу, начала строго укорять его за то, что он беспокоит ребенка.

Дядя Мамед-Гасан послушно замолчал и, взяв четки, начал перебирать их, проносясь при этом молитвы.

Иззет встала и, бросив чадру на табурет, пошла за хлебом. Принесла хлеб и предложила мужу поесть. Дядя Мамед-Гасан покорно придвинулся к скатерке. Ахмед уже успел покончить с простоквашей, поэтому, когда дядя Мамед-Гасан придвинул чашку к себе, чтобы обмакнуть хлеб в простоквашу, Ахмед весело хихикнул. Посмотрев на сына, рассмеялся и дядя Мамед-Гасан. Иззет поморщилась и опять принялась распекавать мужа:

— Несчастный ты человек, стыда в тебе нет. Я бы на твоём месте плакала, а не смеялась.

— Зачем же ты мне говоришь, скажи лучше своему сыну. Я смеюсь или он?

— Зачем мне говорить сыну? Кто не сегодня-завтра едет в Кербелу, ты или мой сын? Ты должен бояться, что товарищи твои уедут в Кербелу и станут кербелянами, а ты, как баба, будешь сидеть дома.

— Иншаллах, и я поеду. Я не хуже других.

Иззет больше ничего не сказала и, опустив голову, продолжала ужинать.

Усталый Ахмед растянулся тут же возле скатерти: отец сделал ему замечание, что за едой нельзя ложиться, но Ахмед пропустил замечание отца мимо ушей.

Дядя Мамед-Гасан и Иззет продолжали есть. Вдруг Ахмед приник лицом к земляному полу и громко зарыдал.

— Что с тобой, сынок? — спросил отец.

Ахмед продолжал плакать. Придвинувшись к сыну, Иззет положила руку ему на плечо и, склонившись к нему, начала спрашивать:

— Детка моя! Ахмед! Почему плачешь?

— Моего осла-а-а! — проговорил сквозь рыдания Ахмед. — Вай, вай, вай, моего осла, осла, моего осла-а-а-а!.. Осла-а-а!..

Иззет стала успокаивать сына.

— Не плачь, голубчик мой! Не надо плакать!.. Да сгинет в ад отец хозяина осла! Зачем надо было отдавать осла? До сих пор осел аллах знает где пропадает!

— Осла-а-а! Моего осла! Моего осла-а-а!..

Иззет совсем вышла из себя и накинулась на дядю Мамед-Гасана:

— Да встань же, встань! Сходи узнай, что с ослом! Если осел не вернется, мой бедный ребенок не уснет сегодня. Поди же разузнай, что с ним случилось? Посмотри, что сделал с ослом этот Омар, сын Омара?

— Да куда мне теперь идти?

— К черту, к дьяволу! Куда тебе идти! Посмотри, может, вернулся этот нес, сидит себе дома. Может быть, он уже привел осла. Кто знает, может, он пустил осла во двор. Это же не такой народ, чтобы вернуть чужое добро хозяину...

Призвав на помощь аллаха, дядя Мамед-Гасан тяжело поднялся, и Ахмед перестал плакать.

Короче говоря, дядя Мамед-Гасан пошел к Худайр-беку, там сказали, что Худайр-бек еще не вернулся. Оттуда он опять вышел на дорогу в город, но в темноте ничего не мог различить.

Печальный и усталый, дядя Мамед-Гасан вернулся домой, но, боясь сказать, что осла до сих пор еще нет, не знал, как войти. Постояв немного у ворот, он зашел в хлев. Там было темно. Вдруг что-то хрустнуло в глубине хлева. Дядя Мамед-Гасан радостно издал звук, которым обычно зовут осла:

— Чоше!..

В это время и Иззет оказалась во дворе и, услышав из хлева голос дяди Мамед-Гасана, решила, что тот привел осла. Радостно и громко она позвала сына:

— Ахмед, поздравляю! Осел вернулся.

Ахмед стрелой выскочил из комнаты и, задыхаясь от радости, подбежал к матери.

— Мама, где осел? Мой осел, мой осел! А где же он, мама?

— Идем, детка, идем. Отец загнал его в хлев.

Наверное, лет тридцать Иззет не бегала так порвorno.

Добежав до дверей хлева, Ахмед бросился внутрь и позвал отца.

— Что тебе, сынок? — спросил дядя Мамед-Гасан.

— Осла! Моего осла! Отец, моего осла-а-а!..

— Осла еще нет, сынок. Не знаю, почему до сих пор не вернулся этот собачий сын.

Это было свыше сил Ахмеда. Услышав слова отца, он тут же, у дверей хлева, грохнулся наземь и заголосил.

Иззет и дядя Мамед-Гасан тоже начали плакать: Иззет с горя, а муж ее — от бессильного гнева.

До самого утра ни Ахмед, ни Иззет, ни дядя Мамед-Гасан не сомкнули глаз.

VII

Прочитав заключительную молитву, кази сказал:

— Да благословит аллах! — И, положив брачный акт перед собой, обратился к присутствующим:

— Теперь подойдите и подпишите.

Рядом с кази, на почетном месте, сидел Худаяр-бек. Пониже Худаяр-бека сидел молодой человек лет двадцати двух-двадцати трех. Это был рассыльный данабашского главы и приятель Худаяр-бека Гасымали, которого мы уже знаем.

Дальше сидели двое других мужчин — Кербелай-Кафар и Кербелай-Сабзали, тоже данабашцы. Первому было лет тридцать, а то и тридцать два, а второму не более сорока. Оба они закадычные друзья Худаяр-бека.

Мы, конечно, знаем уже, зачем собрались здесь эти господа. Привел их сюда Худаяр-бек. Гасымали представляет Зейнаб, а двое остальных — свидетели.

Мы знаем, конечно, и о том, что их представительство и свидетельство ложны. Поэтому-то все они, по совету Худаяр-бека, представились кази под вымышленными именами.

Гасымали назвался Великули, сыном Зейнаб, и сказал кази, что мать уполномочила его выразить от ее имени согласие выйти замуж за Худаяр-бека.

Кербелай-Кафар назвался Кербелай-Бахшали, а Кербелай-Сабзали — Мешади-Оруджем; они оба подтвердили слова Гасымали.

Итак, кази прочитал последнюю молитву, положил перед собой листок брачного акта и, поздравив Худаяр-бека, обратился к остальным, которых я уже представил вам, с предложением подойти и подписать акт.

— Казии-ага! — быстро ответил Гасымали. — Я не могу подписать.

То же самое сказали Кербелай-Кафар и Кербелай-Сабзали.

— Как то есть не может подписать? — удивленно спросил кази.

Все трое ответили, что они не умеют писать, неграмотные.

Тогда кази сказал, что в таком случае им надо привести грамотного человека, который мог бы подписаться за них. Они попросили кази, чтобы он взял этот труд на себя, и расписался за них. Казии подумал немного и решительно отклонил их просьбу.

Гасымали встал, чтобы пойти за грамотным человеком, но в дверях остановился и, подумав, повернулся к кази:

— Казии-ага, где мне теперь в незнакомом городе отыскать человека, который бы пришел сюда расписаться за нас. Будь милостив, уж распишись сам...

Быть может, раньше кази и согласился бы расписаться за них, но теперь ни за что бы этого не сделал, потому что из их разговора, и особенно из последних слов Гасымали он впал в подозрение, что тут кроется какая-то хитрость. Казии был опытный в таких делах человек.

— Нечего зря болтать, — настанвал кази. — Давно бы уже привел человека...

Не прошло и получаса, как брак был оформлен. Казии вторично благословил новобрачного, после чего Худаяр-бек, Гасымали и оба кербелая собрались уходить.

— Казии-ага, — остановился Худаяр-бек, — у меня один вопрос. Нечего и говорить, что та женщина теперь моя законная жена. Но дело, кази-ага, в том, что женщина несколько строптива. Не то чтобы очень, но немного не в себе. Ну, как не в себе? Просто не в своем уме, вроде как бы помешанная. Конечно, вы сами убедились сейчас, что она сама выразила желание быть моей женой. Вот же Великули, ее сын, налицо. Не так ли, Великули? Да, вот и он не отрицает, что его мать немного не в своем уме, то есть не все у нее дома... Может случиться, что мы вернемся в село, а у женщины — я говорю про Зейнаб — вдруг приступ помешательства начнется. Как тогда быть?

Казии открыл было рот, чтобы ответить, но Гасымали предупредил его.

— Это правда, кази-ага! Клянусь твоей головой, моя мать немножко не в своем уме. С самой смерти покойного моего отца она каждый день плакала, плакала и

доплакалась до того, что ум у нее помутился. Правда, кази-ага, у моей матери бывают приступы помешательства. Не дай бог, как начнется этот приступ, ничего с ней не сделаешь.

— Что ж, парень, — сказал кази, перебирая четки, — разве нет в вашем селе аксакалов? Разве у вас помешанные и сумасшедшие представлены своей воле? Не должно этого быть. В городе вовсе не так. Если в городе кто-нибудь сходит с ума, его хватают и сажают в тюрьму. И столько бьют, столько держат его голодным и без воды, что сумасшедший наконец приходит в себя.

Когда кази кончил, Худайар-бек снова обратился к нему:

— Все может быть, кази-ага, кто знает... Вдруг, вернувшись в селение, мы застанем женщину в приступе и она заартачится: не хочу-де выходить за него замуж. Что мне тогда делать? Эта женщина настолько помешана, до того потеряла рассудок, что может вовсе отказаться от своих слов и заявить, что она даже сына не уполномочивала.

— Как она посмеет говорить этакое? — вмешался в разговор Кербелай-Кафар. — Что значит, она не уполномочивала сына? А мы на что тут? При нас обоих она уполномочила сына. Кто станет слушать ее?

Положив руку на плечо Худайар-бека, кази сказал ласково:

— Милый мой, это не твое дело. Ты отправляйся себе в деревню и предложи Зейнаб, чтобы она собралась и пришла в твой дом женой, как она сама на то согласилась и уполномочила сына заявить об этом здесь. Если начнет артачиться, если скажет, что не хочет, что сына не уполномочивала, ты тотчас же возвращаясь ко мне или напиши и принеси мне прошение. Я напишу начальнику, что жена такого-то сбежала от мужа и отказывается ему подчиняться. Ее, как дохлую собаку, приволокут к тебе в дом. Будь покоен.

Худайар-бек и его приятели вышли от кази и по длинной улице направились к базару. Дойдя до бани, Худайар-бек остановился и, устало присев на выступ у входа в баню, достал трубку.

Выходившие из бани женщины с удивлением озирались на рассевшихся тут крестьян, один насмешливо, другие ворча что-то себе под нос, проходили мимо них*.

Наконец крестьяне поняли, что сидеть тут неудобно. — Давайте уйдем отсюда, — сказал Худайар-бек, поднимаясь. — От женщины добра не жди! Уйдем подальше от греха.

Пройдя дальше, они остановились у развалившейся стены на берегу реки. Худайар-бек, с трубкой в зубах, сел на корточки и, положив локти на колени, в раздумье опустил голову. Остальные присели около него. Худайар-бек пососал трубку, пустил дым и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Ну, что? Куда мы теперь пойдем?

— Куда еще идти, как не домой, — ответил Гасымали.

Худайар-бек встал; за ним поднялись Гасымали и Кербелай-Сабзали, но Кербелай-Кафар не сдвинулся с места.

— Худайар-бек, — сказал он нерешительно. — Послушай-ка, что я скажу. Я хоть и не стар, но опыта набрался достаточно. Я готов поклясться чем хочешь, что эта женщина никогда добровольно не войдет в твой дом и не станет тебе женой. Не станет, определено не станет, я ее хорошо знаю. Разве только насильно приведешь ее к себе. Вот я и советую, теперь же, пока ты в городе, не откладывая дела, сейчас же отправиться к начальнику и пожаловаться, что твоя жена тебе не подчиняется, что она не желает жить в твоём доме. Я думаю, что так будет лучше. Не знаю, как ты?

Худайар-бек снова сел и опустил голову. Вслед за ним сели Гасымали и Кербелай-Сабзали.

— Нет, это будет нехорошо, — возразил Кербелай-Сабзали, — аллах не примет такого дела. А может быть, женщина и не станет противиться, быть может, она согласится? Зачем же зря ходить к начальнику и жаловаться. Он еще прикажет привести женщину в канцелярию. Нет, жалко ее. Аллаху это не будет угодно.

После непродолжительного спора сошлись на том, чтобы Худайар-бек теперь же отправился к начальнику с жалобой на непокорную жену.

В этот день очутился в городе и дядя Мамед-Гасан. Взяв башмаки в руки и положив в карман несколько свернутых лавашей, бедный старик босиком пошелся в

город и добрался кое-как до известного уже нам караван-сарая.

Кербелай-Джафар, содержатель караван-сарая, сидел у ворот на камне и жевал хлеб с сыром. Дядя Мамед-Гасан приблизился к нему и, приветствовав его, сказал:

— Да благословит аллах память твоего отца, кербелай, потрудись-ка, выведи моего осла. Клянусь аллахом, завтра паломники выезжают и осел мне очень нужен. Встань-ка, встань, да благословит тебя аллах.

Дядя Мамед-Гасан кончил свою речь, но, поглядев на содержателя караван-сарая, решил, что тот оглох, не слышит. Так решил бы и всякий другой на месте дяди Мамед-Гасана, потому что Кербелай-Джафар не только ничего не ответил, но даже головы не повернул, чтобы посмотреть, кто это обращается к нему. Не подавая вида, что слышит, он продолжал есть.

Дядя Мамед-Гасан и вправду решил, что тот оглох, и, подойдя к нему вплотную, наклонился к его уху и сказал громко:

— Кербелай, да благословит аллах память твоего родителя, будь так добр, выведи осла, чтобы я взял его. Клянусь аллахом, завтра паломники выезжают... Я могу отстать...

И вдруг Кербелай-Джафар так вскрикнул, что дядя Мамед-Гасан вздрогнул и попятился назад.

— К черту! Можешь отстать — мне что за дело! Надоело! Ты мне что, поручал осла? С ума ты спятил или напился?

Дядя Мамед-Гасан протянул к нему обе руки и умоляюще сказал:

— Кербелай, побойся аллаха! Отдай мне моего осла, отпусти меня. Ради аллаха, не задерживай меня!

— А при ком ты мне его поручал? Да пойми ты, что будь твой осел даже в конюшне, и то я не мог бы отдать его тебе, потому что не ты ведь оставил его у меня. А кроме того, осла здесь нет. Кто приводил его, тот и взял.

— Значит, Худаяр-бек взял?

— Не знаю, какой бек взял. Ваш сельский староста взял.

— А ты не знаешь, куда он увел осла?

— Откуда мне знать?... В преисподнюю увел.

— А может быть, взял его на Гейдар-ханский мост камни возить?

Кербелай-Джафар не ответил и, встав с места, направился к базару. Дядя Мамед-Гасан все же позвал его и попросил хотя бы сказать, куда Худаяр-бек увел осла.

Видно, Кербелай-Джафар сжалился над стариком. Он вернулся обратно и мягко объяснил ему, что, правда, Худаяр-бек приводил какого-то осла, но потом опять взял.

Дядя Мамед-Гасан в совершенном отчаянии еще раз спросил его, куда же он увел осла?

— В ад! — коротко ответил Кербелай-Джафар и, не оборачиваясь, пошел по направлению к базару.

Дядя Мамед-Гасан очень устал. От селения Данабаш до города два с половиной агача пути. Пройти такой путь пожилому человеку очень трудно.

Дядя Мамед-Гасан сел на камень у ворот караван-сарая, где минуту тому назад сидел Кербелай-Джафар, прислонился к стене, обнял колени и погрузился в думы.

Прямо надо сказать, тоска одолевала бедного старика.

Он вспомнил о минувших днях. Перед ним встало его детство.

«Эх, детство, детство! Славное время, черт возьми! О хлебе не думаешь, об одежде не беспокошься, о детях не заботишься. И понятия не имеешь, что такое бедность!»

Воображение увело его к далекой поре юности. Он вспомнил об обихах, нанесенных ему дядьями, промотавшими его состояние и свертгнувшими его в пучину бедности.

После этого он вспомнил о том, как ездил в чужие края на отхожий промысел и вернулся с пустыми руками. Он глубоко вздохнул и смиренно поблагодарил аллаха.

Словом, какую бы пору своей жизни ни брал, он убеждался в том, что на роду у него написано одно лишь горе.

И все же больше всего угнетала дядю Мамед-Гасана одна мысль: он не сомневался, что все это совершалось по воле всемогущего аллаха. Не бывает на свете ни одного события, о котором бы не ведал всевышний. Вот

взять случай с ослом. Ведь если с ослом случится что-нибудь, он же останется от товарищей и лишится возможности ехать на поклонение.

Как теперь это понять?

Путь в Кербелу — благой путь. Раз кто-нибудь задумал поехать в Кербелу, надо, чтобы аллах ему помог в этом деле. Это бесспорно. И вот теперь, когда осла привели сюда и хотят загубить, почему же повелитель всемогущий не мешает этому злому делу, почему он, всемогущий, не карает виновников? Следовательно, аллаху безразлично, отправится дядя Мамед-Гасан в паломничество или не отправится? Стало быть, он, творец, не благоволит к дяде Мамед-Гасану.

Эти мысли терзали дядю Мамед-Гасана. Вскоре он пришел к полному убеждению, что аллах не благословляет его поездки в Кербелу, потому и приключаются с ним все эти беды.

Почти два часа просидел так дядя Мамед-Гасан, предаваясь печальным мыслям. Наконец он вторично воздал хвалу аллаху и встал. Целый час он бродил по городу, надеясь где-нибудь случайно наткнуться на Худайр-бека. После долгих поисков он направился в канцелярию начальника.

Он шел к начальнику не с тем, чтобы пожаловаться на Худайр-бека или на содержателя караван-сарая. Во все нет, не дай бог! Дядя Мамед-Гасан человек смиренный. Он не любитель всяких кляуз и сутяжничества. И, наконец, в такое время принесение жалобы само по себе уже весьма рискованное дело, так как жалобщик заранее должен быть уверен в том, что сумеет поддержать свою жалобу, а поддержать жалобу можно свидетелями. У дяди Мамед-Гасана нет свидетелей, потому что нет денег. Правда, и у Худайр-бека денег нет, но зато у него в руках есть толстая дубинка. Когда хочет, поднимет, когда хочет, опускает ее.

В селении Данабаш к такой толстой кизилевой дубинке питают ничуть не меньше уважения, чем к деньгам, там и деньги не обладают той властью, которой обладает такая дубинка.

По всем этим причинам и еще потому, что по самой своей натуре он человек мирный, дядя Мамед-Гасан никогда бы не решился пожаловаться на Худайр-бека.

Когда дядя Мамед-Гасан вошел в управление на-

чалыника, как назло сам начальник вышел на балкон и, увидев дядю Мамед-Гасана, пальцем поманил его к себе.

На балконе, вытянув руки по швам, стояли в ряд несколько стражников. Начальник подзвал одного из них к себе и, обернувшись к дяде Мамед-Гасану, что-то сказал ему по-русски. Подошедший стражник перевел вопрос начальника — зачем дядя Мамед-Гасан пришел к нему?

Дядя Мамед-Гасан растерялся, не зная, что ответить. Потом краснея и дрожа, заплетающимся языком пробормотал:

— Право, не знаю, ага, что случилось с моим ослом? Взял его возить камни на Гейдар-ханский мост или же содержатель караван-сарая меня обманывает. Говорит, что осла у него нет.

Из этого лепета дяди Мамед-Гасана стражник ничего не понял. Начальник рассердился на стражника, прогнал его и приказал другому стражнику вызвать переводчика.

Из канцелярии прибежал высокого роста человек и выткнулся перед начальником.

Начальник сказал ему что-то, и переводчик обратился к Мамед-Гасану:

— Что ты хочешь, дядя?

— Ей-богу, ага, не знаю, взяли ли моего осла на мост Гейдар-хана, или содержатель караван-сарая держит его у себя? Тогда почему не отдает? А завтра паломники выезжают. Не знаю, что делать, в тяжелом я положении...

Распросы длились довольно долго. Из слов дяди Мамед-Гасана ни переводчик, ни начальник ничего не поняли. Как ни бился переводчик над тем, чтобы дядя Мамед-Гасан ясно и подробно изложил свою жалобу, ничего не мог добиться.

— Ей-богу, ага, — только и твердил дядя Мамед-Гасан, — не знаю, на мост взяли моего осла или содержатель караван-сарая запрятал его и не отдает мне...

Наконец начальник решил, что этот человек не в своем уме, и прогнал его из управления.

Дядя Мамед-Гасан был так расстроен, что не заметил Худайр-бека, Гасымали, Кербелай-Кафара и Кербелай-Сабзали, которые стояли тут же, в двух шагах от него.

Когда дядя Мамед-Гасан отошел в сторону, Худайяр-бек вышел вперед и доложил начальнику, что его жена Зейнаб не подчиняется ему. Переводчик перевел его жалобу начальнику, который ответил, что в такие дела он не вмешивается и что проситель должен обратиться к кази.

Худайяр-бек со своими товарищами направился к выходу. За ними побрел и дядя Мамед-Гасан.

— Худайяр-бек! — сказал он, когда они вышли на улицу. — Пускай твои болезни перейдут на меня, скажи, куда делся мой осел? Ведь завтра паломники выезжают, а я могу остаться.

— Ладно, дядя Мамед-Гасан, — только и сказал Худайяр-бек. — Отложим разговор до села. Я с тобой там поговорю. Значит, жаловаться на меня вздумал? Ладно, сочтемся.

— Худайяр-бек, — взмолился дядя Мамед-Гасан. — Клянусь кораном, твое имя даже не упоминалось. Я и не думал жаловаться. Зашел в канцелярию посмотреть, нет ли там тебя. А тут начальник заметил меня и подозвал к себе. И как он ни спрашивал, я твоего имени не назвал.

Еще раз пригрозив старику, Худайяр-бек с товарищами отошел от него и направился прямо к кази.

Сделав за ним еще два шага, дядя Мамед-Гасан остановился и растеряно смотрел им вслед, пока те не завернули в переулок.

И тут дядя Мамед-Гасан заплакал. Ей-богу, заплакал. Да как заплакал! Как малое дитя!

Ему больше нечего было делать в городе. Все дела были закончены. Он мог идти на все четыре стороны. Сняв башмаки, он взял их под мышку и со словами: «Слава твоему могуществу и величию, аллах!» — пустился в обратный путь.

Придя к кази, Худайяр-бек пожаловался, что жена его Зейнаб не хочет жить у него в доме и ушла в дом покойного мужа. Сказав все это, он привел товарищей в свидетели.

— Ха-ха-ха! — расхохотался кази. — Да ты же шутник, бек! Ха-ха-ха! И часа нет, как ты ушел отсюда, каким же образом ты успел побывать в селе и вернуться? Как ты успел узнать, что жена тебе не подчиняется? Ха-ха-ха! Ну и шутник же ты! И какая у тебя жена

строптивая! Невыносимая жена! Ха-ха-ха!.. Ну, ладно, я сейчас же приму меры, чтобы она стала тише воды, ниже травы.

С этими словами он достал из-под тюфячка клочок бумаги и, взяв перо, начал писать.

«Его степенству главе селения Данабаш
от уездного кази Н-ского уезда»

Вследствие жалобы жителя селения Данабаш Худайяр-бека Наджафгулу-бек-оглы в управление Н-ского уездного кази о том, что законная его жена Зейнаб, дочь Кербелай-Зейнала, шестнадцатого числа сего месяца сафара*, ушла из его дома и не желает подчиняться ему, обращаюсь к вам с просьбой вернуть вышеозначенную жену в его распоряжение с тем, чтобы она более не покидала его дома и слушалась его.

Кази Н-ского уезда

*Гаджи-Молла-Сафар-Салиб Султан-заде**.

Написав это, он сложил бумагу и, вложив в конверт, протянул Худайяр-беку.

— Возьми это и передай вашему главе. Я написал тут, чтобы он насильно приволок твою жену в дом и принудил ее подчиняться всем твоим требованиям.

VIII

Сегодня семнадцатое сафара. Сегодняшний день в селении Данабаш напоминает день ашурь*. Сегодня паломники из селения Данабаш пускаются в путь, в далекий путь, ведущий в Кербелу.

Рано утром село огласилось пением чавуша*, который верхом на коне объезжал дома паломников. Остановившая лошадь у дома каждого паломника, он вызывал хозяина, получал свой подарок и ехал дальше.

Объехав таким образом большую часть села, чавуш принялся звать паломников квартала Чайлах. Остановив лошадь у ворот Зейналабдина, он начал петь. Со двора вышел мальчик лет шестнадцати, неся в одной

руке чашку со сладким напитком гендаб, а в другой пару носков.

Чавуш выпил гендаб, положил носки в хурджин и, отъехав от ворот Зейналабдина, остановился у сакли дяди Мамед-Гасана и снова начал пение.

Он еще не кончил петь, когда со двора вышел дядя Мамед-Гасан. Лицо его было залито слезами. Продолжая плакать, он подошел к чавушу и упал к ногам его лошади.

Лошадь оказалась спокойной и не сдвинулась с места.

Расцеловав копыта лошади, дядя Мамед-Гасан поднялся и, достав из-за пазухи какую-то бумагу, протянул ее чавушу.

— Кербелай, что это? — с удивлением, просил тот.

Слезы не давали говорить дяде Мамед-Гасану. В это время на улицу вышла закутанная в чадру жена дяди Мамед-Гасана с Ахмедом, и оба они, обливаясь слезами, подошли к чавушу.

Отдав бумагу чавушу, дядя Мамед-Гасан припал к груди лошади, потом стал целовать ноги чавуша. Пораженный всем этим, чавуш обратился к жене дяди Мамед-Гасана:

— Сестра, в чем дело? А где же подарок кербелая?

— Братец, — простонала сквозь слезы Иззет, — не суджено было дяде Мамед-Гасану ехать в Кербелу. Да накажет аллах виновника, да оставит аллах его детей в слезах!

Дядя Мамед-Гасан с трудом выпрямился и начал бормотать прерывающимся голосом:

— Вези, братец, вези!.. Вези мою жалобу!.. Хазрат-Аббасу отвези*! Я не сумел поехать... не сумел... Не пустили... помешали мне... похитили моего осла... съели... продали... отвези мое прошение, голубчик... А я останусь...

— Чавуш! — прервала мужа Иззет. — Вези эту жалобу Хазрат-Аббасу. Хазрат-Аббас сам накажет того, кто лишил моего мужа возможности совершить благое дело! Имам должен наказать его.

Чавуш достал из-за пазухи пачку таких же жалоб, приложил к ним прошение дяди Мамед-Гасана и, сунув пачку обратно в карман, мягко сказал:

— Дядя, сестра! Ничего, не горюйте.

И прочитал персидское двустипное:

Коль злой судьбы стрела летит,
Аллаха воли — лучший щит.

— Не горюйте! Что поделаешь! Не удалось в этом году, бог даст, поедем в будущем году. Не падайте духом. Нет сомнения, что тот, кто помешал вам, кто не дал вам пройти этот благой путь, будет тяжело наказан аллахом. Конечно, аллах не может не покарать. Как же не накажет? Разве это шутка? Это путь в Кербелу! Нет, нет, не надо отчаиваться! И прошение ваше доставлю. Иншаллах**, оно будет принято.

Ударив лошадь в отъезав, чавуш снова начал петь.

Постояв еще немного и проводив чавуша, дядя Мамед-Гасан и Иззет вошли в свою саклю.

Был полдень. Паломники собрались на краю селения, на большой площадке около кладбища, чтобы поклониться имамзаде* и тронуться в путь.

Тут была почти вся деревня. Мужчины и женщины смешались в одну общую массу. Были тут и конные, были и пешие. Кто смеялся, кто плакал, но большинство плачущих были женщины, — ведь у женщин более мягкое сердце. Одни женщины провожали братьев, другие — отцов, третьи — сыновей или мужей. Ржание лошадей, рев ослов, плач и стоны женщин и детей, сливаясь в общий гул, возносились до небес.

Окончив поклонение имамзаде, паломники собрались на площади и, распрощавшись с родными и близкими, сели на лошадей и ослов и приготовились отправиться в путь.

Чавуш выехал на середину площади и запел последний раз, давая этим знать, что пора трогаться. В этот момент к чавушу подошли две женщины, обе босые, обе покрытые черной чадрой. Одна из женщин была высокого, другая низенького роста. Обе плакали.

Подойдя вплотную к чавушу, каждая из этих женщин достала из-под чадры листок бумаги и протянула ему. Чавуш прекратил пение и, нагнувшись к женщинам, принял от них бумаги; затем спросил, что это за

бумаги. Обе женщины ответили, что это — прошение на имя Хазрат-Аббаса.

Чавуш достал из-за пазухи ту же пачку жалоб и, присоединив к ним прошения женщины, положил пачку обратно и продолжал прерванное пение.

Обе женщины нам знакомы. Высокая женщина — Зейнаб, другая — жена Худаяр-бека, хотя по шарнату обе они считаются теперь женами Худаяр-бека, одна — старая, а другая — новая.

Паломники двинулись в путь к Кырахдану, а провожавшие группами и поодиночке повернули обратно в село.

Зейнаб, вся в слезах, вернулась домой и, позвав дочерей, посадила их обеих к себе на колени. При виде плачущей матери начали плакать и девочки.

Изядно наплакавшись, Физза вытерла катившиеся по щекам слезы, посмотрела на мать испытующим взглядом и спросила:

— Мама, скажи, почему ты плачешь?

Зейнаб не ответила. Вытерла концом чадры мокрые глаза и послала проклятие шайтану.

Физза повторила вопрос, и Зейнаб вынуждена была ответить:

— Ей-богу, детка, ничего не случилось, — сказала она. — Просто вспомнила твоего отца и всплакнула.

Физза не поверила объяснению матери и продолжала приставать с тем же вопросом. На этот раз Зейнаб сказала правду и снова залилась слезами:

— Как мне не плакать, дочка! Меня хотят силой выдать замуж. Не видела, как утром брат твой избил меня! Непременно, говорит, ты должна выйти за Худаяр-бека. Ну, как мне не плакать после этого?

— Ну, хорошо, мама! — сказала, немного подумав, Физза. — Почему бы тебе не выйти замуж? Ну, и выйди! Зачем не выходишь! Разве плохо выходить замуж?

— Да зачем мне, детка, выходить замуж? Такие взрослые женщины замуж не выходят, девушки выходят замуж. На что мне замужество?

— Хорошо, мама, но тетка Захра старше тебя, а ведь она вышла замуж?

Зейнаб не нашлась, что ответить.

В этот момент в дом вошли шестеро мужчин. Четверо из них мы уже знаем. Это были Гасымали, Кербелай-Сабзали, Кербелай-Кафар и Великули. Двое остальных — еще не известные нам люди. Один из них — краснобородый мужчина лет сорока пяти, а то и пятидесяти, в черной папахе. Это глава селения Данабаш Кербелай-Исмаил.

Другой мужчина, почти тех же лет, что и первый, с черной бородой, в черной потрепанной папахе, был одет в синий бязевый архалук и белые штаны. Это — приходский молла селения Данабаш, Молла Мамедкули.

При виде их Зейнаб встала и отошла в угол. Девочки подошли к матери и, прижавшись к ней, с недоумением и любопытством уставились на гостей.

Тем временем гости расселись на паласе. Выше всех сел молла, справа от него Кербелай-Исмаил, слева Кербелай-Кафар и Кербелай-Сабзали. Остальные двое — Великули и Гасымали — стали у дверей, прислонившись к стене.

Молла Мамедкули, Кербелай-Исмаил и Кербелай-Сабзали достали свои трубки и начали набивать их.

— Знаешь ли, сестра, в чем дело? — начал молла, закурив трубку. — Знаешь, зачем мы пришли?

Зейнаб не ответила, и Молла Мамедкули продолжал: — Мы пришли сюда дать тебе наставление...

— Да благословит аллах память твоего родителя, — быстро прервала его Зейнаб. — Если вы добрые наставники, прежде дайте наставление вот этому, что стоит у двери. Скажите ему, чтобы не мучил мать. Сегодня избил меня до полусмерти. Все кости ноют.

— Хорошо, сестра! — сказал молла. — Зачем же ты доводишь до того, чтобы сын наказывал тебя за непослушание?

— А что я делаю плохого? — спросила Зейнаб.

— Ты нарушаешь шарнат.

— Проклятие аллаха пусть падет на того, кто нарушает шарнат!

— Проклятие, проклятие! — воскликнул молла.

— Чем же я нарушаю шарнат?

— Ты нарушаешь шарнат тем, что чинишь препятствия выполнению его заветов. Ты отказываешься исполнять брачные условия.

Зейнаб ничего не ответила, так как не поняла напыщенной речи моллы.

— Разве неведомо тебе, — продолжал тем временем молла, — что ты являешься законной супругой Худаяр-бека? Разве не дошла эта весть до слуха твоего?

— Ты говоришь, что я жена Худаяр-бека? — сказала Зейнаб. — А при ком же я давала согласие быть его женой?

— При мне! — закричал Гасымали и ударил себя в грудь. — Разве не ты уполномочила меня вот при этих лицах? Ты уполномочила меня! Как можно отказываться от этого?

— Ну, что мне сказать, — проговорила со вздохом Зейнаб. — Пусть будет по-вашему.

— Прекрасно! — снова начал молла. — Теперь ты и при мне подтвердила, что сама уполномочила Гасымали. Что же теперь ты можешь возразить? Почему добровольно не переходишь в дом своего мужа! Ты хочешь, чтобы тебя повели насильно? С позором? Со скандалом?

Глава выбил пепел из трубки на землю и стал снова набивать ее. Повернувшись к Зейнаб, он заговорил громко и повелительно:

— Эй, женщина! Открой глаза и посмотри на меня как следует. Вчера я получил предписание от кази. Худаяр-бек пожаловался, что, дескать, его жена бросила дом и ушла к себе. Не подчиняется мужу. А кази написал мне. Если ты сама, по собственному желанию, добром не переселишься к своему мужу, я силой поволоку тебя и брошу туда. Будь уверена в этом и образумься...

Зейнаб молчала, девочки принялись плакать.

Опять пришел черед говорить молле. Он повернулся лицом к Зейнаб и стал читать ей наставления:

— Да, сестра! Это нехорошо, аллаху не угодно, если ты и себя подвергаешь мукам, и детей заставляешь плакать. Не делай этого! Соберись с умом и молча пойдн в дом твоего законного мужа. Теперь уже дело кончено, ты супруга Худаяр-бека. Теперь ты не имеешь никакого права отказываться. Если ты хочешь подчиниться шарияту, то должна поступить так, как я говорю. Если ты считаешься со мной, то верь мне, если не считаешься, не верь. Это твоё дело.

Если хочешь, чтобы тебя повели насильно, пускай водут. Мне более нечего сказать.

Молла Мамедкули сунул трубку в кисет и, набив ее табаком, достал оттуда. Затем протянул Кербелай-Исмаилу кусочек трута, зажег его, и положив на табак в трубку, продолжал свою исповедь:

— Да, сестра моя! Ты должна понять, что дело теперь конченное и ты — супруга Худаяр-бека. Шарият не дает права жене сидеть у себя дома и не покоряться мужу. Подумай, что будет, если ты не подчинишься. Я напишу начальнику, что супруга такого-то, нарушив брачные обязательства, не подчиняется велениям шарията. Знаешь ли ты, что тогда будет? Начальник придет пристава. Свяжут тебя по рукам и по ногам и пошлют в город, чтобы ты держала ответ перед властями. Зачем ты хочешь довести дело до того, чтобы тебя с позором везли в город? Увидит друг — огорчится, увидит недруг — возрадуется...

После этого опять начал глава:

— Ну, что скажешь? Не задерживай нас. Если идешь добром, иди. Если же нет, я поступлю, как знаю. Смотри ты у меня! Клянусь аллахом, после расканиваться будешь!

Зейнаб, ничего не отвечая, стояла в том же положении. Молчание, говорят, знак согласия. Сидевшие именно так и поняли молчание Зейнаб, и, поднявшись, собрались уходить.

Первым поднялся Кербелай-Исмаил и, помахав платкой в сторону Зейнаб, сказал угрожающе:

— Эй, женщина! Мы уходим. Даю тебе срок до вечера. Вечером пришло к тебе Гасымали за ответом. Клянусь создателем, если начнешь кривляться, я не дам тебе житья в этом селе. Наконец, если ничего не поможет, я напишу начальнику, что такая-то женщина ушла от мужа и занялась дурными делами. Клянусь творцом, напишу.

Гости вышли. Великули остался и, тыча в сторону матери указательным пальцем, пригрозил:

— Слушай, мать! Я говорю тебе прямо, если ты ответнишь Гасымали отказом, я сегодня же отделюсь от тебя и уйду к тестю, а через месяц справлю себе свадьбу и перестану звать тебя матерью. Вот мое последнее слово. Прощай!

Великули тоже ушел.

В скверном положении очутилась Зейнаб. Угроза Великули, что он отделится и не станет ходить домой, подействовала на нее больше всего.

Что было делать несчастной женщине? Как может семья обойтись без мужчины?

Словом, муки эти — великие муки!

Зейнаб устала стоять в углу. Ноги ныли. Когда мужчины вышли, она села, обняв изнемогавших от слез детей. Вскоре обе девочки уже сладко спали на коленях у матери.

Поплавав, Зейнаб прислонилась головой к стене и отдалась своим мыслям.

■ Я не хотел бы рассказывать вам о горе Зейнаб, о ее мыслях, о мучивших ее сомнениях, о глубине ее скорби. Я не хотел делать этого, — боялся, как бы и вы не заплакались.

Но, ничего не поделаешь, я обязан исполнить свой долг.

Зейнаб находилась между двух огней. Один обжигал с этой, другой — с той стороны. Как ни старалась она каким-нибудь образом выскользнуть из огненного кольца, ей это не удавалось. Один из жегших ее огней — необходимость выйти замуж за Худаяр-бека, другой — опасности, которые ждут Зейнаб, если она откажется.

Мысль о том, чтобы быть женой Худаяр-бека, огнем жгла Зейнаб — он был противен ей, как некоторым людям бывает противна, скажем лягушка. Такому человеку невыносима мысль взять лягушку в руки, положить ее к себе на грудь; так же ужасна, а то и еще ужаснее, для Зейнаб мысль смотреть на чудовищный нос и отвратительную рожу Худаяр-бека и называть его мужем.

А мысль не выходить замуж за Худаяр-бека тоже огнем жгла Зейнаб, пугала ее. Какая нужна сила, чтобы выдержать весь этот натиск, эти страдания, позор, угрозы, чтобы выступить против всех: кази, начальника, моллы, главы, свидетелей, Великули, всего народа, решиться на борьбу с ними.

Этой силы не было и не могло быть не то что у Зейнаб, но даже у ее бабушек и прабабушек.

Говоря по справедливости, что было делать Зейнаб? С одной стороны, Великули отделится и уйдет. Как быть тогда с посевом? А скотина? Дом, двор, пашни, торговля? Как быть со всем этим?

Прибавьте к этому боязнь быть насильно увезенной в город, где ей придется с позором держать ответ перед начальником. А то может быть и еще хуже. Вовсе не пошлют ее в город. Зачем посылать ее в город? Глава ведь имеет официальную бумагу от кази. Глава теперь полновластен над Зейнаб. Он может просто взвалить Зейнаб на спину Гасымали и перетащить в дом Худаяр-бека. И он сделает это. Непременно сделает. Сделает, во-первых, потому, что это его обязанность. А во-вторых, всем известно, что глава женат на матери Худаяр-бека, значит Худаяр-бек приходится ему пасынком. Стало быть, он доведет все до конца, доведет во чтобы то ни стало.

Зейнаб — женщина с умом, она прекрасно все это понимает.

■ «Что делать?»

Целых два часа Зейнаб билась над этим вопросом и так не нашла ответа.

Отворилась дверь, и вошел Гасымали.

— Ну, что скажешь, сестра? Что мне передать главе? Согласна или нет?

Зейнаб была похожа на человека, который поставил перед собой сосуд с ядом и не знает, как быть — выпить или нет?

Не выпить — страдания и горе угробят.

Выпить — яд унесет в могилу.

«Все равно пропадать», — решает человек и пьет отраву.

Согласиться выйти замуж за Худаяр-бека было для Зейнаб равносильно решению принять яд.

И когда Гасымали повторил свой вопрос, она собрала все силы и, преодолевая отвращение, процедила сквозь зубы:

— Согласна...

Эпilog

Минуло три года. Пошел четвертый.

Был декабрьский полдень. Погода стояла хорошая. Несмотря на еле заметный морозец, чувствовалось, как греет солнце.

Воспользовавшись погожим днем, крестьяне сидели на земле около своих домов и беседовали.

У сакли дяди Мамед-Гасана тоже сидела группа крестьян.

В конце улицы появился незнакомый крестьянин, погонявший нескольких нагруженных ослов. Караван приблизился к сидевшим и хотел уже пройти, когда от группы сидевших крестьян отделился старик, бросился к ослам и, схватив одного из них, серого, со всех сторон стал внимательно разглядывать его морду.

Решив, что старик хочет купить осла, погонщик подбежал к ослам, остановил их посредине дороги и подошел к старику, продолжавшему осматривать осла. Старик кружился вокруг осла, разглядывал его сзади, спереди, осматрел морду, потом ноги, пощупал даже хвост. Наконец открыл ему пасть и посмотрел зубы.

— Клянусь аллахом, второго такого осла не сыскать! — начал расхваливать осла погонщик. — И силы же у него. Посмотри, сколько я нагрузил на него. Целых семь пудов. Если думаешь купить, я отдам его недорого.

Старик еще раз раскрыл пасть осла и, внимательно осмотрев ее, поднял голову:

— Скажи-ка, племянничек, у кого ты купил его?

— На что тебе, дяденька, у кого купил. Если хочешь купить, продам, а нет, так не задерживай меня.

К ним подошли и остальные крестьяне, сидевшие у стены.

— Мешади-Орудж! — обратился старик к одному из них. — Посмотри-ка и ты этого осла. У меня возникло подозрение...

Погонщик, очевидно, почуял что-то неладное; услышав слова старика, он ударил осла по крупу и хотел вести его, но старик не отпустил.

Мешади-Орудж также внимательно оглядел осла со всех сторон и повернулся к старику.

— Дядя Мамед-Гасан, — сказал он, — я знаю, почему ты сомневаешься. Ты хочешь сказать, что это твой осел.

Погонщик опять ударил осла, чтобы уйти с ним, но дядя Мамед-Гасан и Мешади-Орудж помешали ему.

Крестьяне, собравшись вокруг осла, осматривали его.

— Племянник, — снова обратился дядя Мамед-Гасан к погонщику, — заклинаю тебя двенадцатью имамами, скажи правду, у кого ты купил этого осла!

— Клянусь аллахом, дяденька, я купил его ровно пять лет назад у карабаха за одиннадцать рублей.

Около осла собралась уже толпа человек в пятьдесят, и каждый, знавший в свое время осла дяди Мамед-Гасана, подтвердил, что это тот самый осел и есть.

Дядя Мамед-Гасан схватил погонщика за ворот и вывел его из толпы с тем, чтобы потащить к главе Кербелай-Исмаилу. Выйдя из толпы, дядя Мамед-Гасан крепко взял погонщика за кушак и хотел было вести его дальше, но в это время из узенького переулка показался Худаяр-бек в дорожной папахе, суконой чухе и белых штанах. В руке у него была прежняя кизилковая дубинка. Увидя столпившихся крестьян, он подошел к ним. Дядя Мамед-Гасан рассказал о случившемся и просил рассудить его с погонщиком.

Худаяр-бек растолкал крестьян и, подойдя к ослу, внимательно осматрел его со всех сторон. Он узнал осла.

— Да, — проговорил он, — это осел дяди Мамед-Гасана.

Затем он повернулся к погонщику и строго спросил:

— Эй, где ты купил осла?

Погонщик сказал ему то же самое, что ответил дяде Мамед-Гасану. Худаяр-бек поднял дубинку и стал так лупить погонщика, что тот наконец не выдержал и, упав к ногам Худаяр-бека, стал умолять, чтобы он отпустил его душу на покаяние.

Вот каким образом был найден осел дяди Мамед-Гасана.

Худаяр-бек приставил Гасымали к погонщику ослов, чтобы тот проводил его до края села, а погонщику велел больше никогда не появляться в этих краях.

Благодаря Худаяр-бека, прославляя его добродетели, дядя Мамед-Гасан погнал осла к себе в хлев.

Но не покажется ли вам странным, что до сих пор не видно сына дяди Мамед-Гасана, Ахмеда? Сколько тут народа собралось, сколько тут шума было, но ни Ахмед не показался среди людей, ни жена дяди Мамед-Гасана

не высунула голову из ворот, чтобы узнать причину этой суматохи.

Ахмед умер. Умерла и жена дяди Мамед-Гасана.

В прошлом году Ахмед заболел горлом и помер. После его смерти два месяца горевала по нем мать и тоже приказала долго жить. Дядя Мамед-Гасан каждый раз клянется, что и сына и жену его убила тоска по ослу.

И вот теперь осел отыскался.

Отдав осла дяде Мамед-Гасану, Худаяр-бек вышел из толпы и, пройдя по тому же узенькому переулку, вошел в большие ворота.

Во дворе Великули в изодранном бязевом архалуке и поношенной серой папахе выгребал лопатой навоз.

Пройдя мимо него, Худаяр-бек стал у ступеньки и громко позвал:

— Эй, Зибя, дай-ка мне кувшин с водой.

Дверь в комнату открылась. Миловидная девочка лет семи-восьми вынесла глиняный кувшин и, поставив его около Худаяр-бека, вернулась в комнату, дрожа всем телом.

Худаяр-бек стал совершать омовение перед молитвой.

Девочка нам знакома. Это Зибя, дочь Зейнаб.

Всякий, увидев ее одежду, понял бы сразу, что это сирота.

Помимо крайней ветхости, эта одежда была ей не по росту. Видно было, что все это с чужого плеча. Старая, вылинявшая юбка из дешевого ситца доходила ей до пят, хотя она должна была быть значительно короче; поношенный архалук из черного ластика, не в меру широкий и длинный, сидел на ней мешком; голова ее была повязана старым черным платком; на ногах — большие мужские башмаки.

Покончив с омовением, Худаяр-бек вошел в комнату. Это была небольшая комната. У задней стены стояло кюersi, накрытое хорошим большим одеялом, поверх которого был послан еще новенький джеджим*. Свет падал в комнату через два маленьких оконца, по-видимому, недавно пробитых в стене. В остальных трех стенах было по паре ниш, в которых были размещены маленькие сундучки, шкатулки, медная и фарфоровая посуда, разные узелки и одежда. В одной из ниш стоял кальян.

К стене слева было прислонено несколько больших круглых подносов. Пол был покрыт несколькими паласами и грубым деревенским ковром. На табурете стоял самовар, под который была подложена медная тарелка. Самовар уже вскипел, чай был заварен.

Словом, для деревни это была хорошо обставленная, нарядная комната.

В комнате за кюersi сидела молодая женщина лет четырнадцати-пятнадцати, не больше. О том, красива она или нет, ничего определенного сказать нельзя; она до того намазалась румянами и пудрой, выкрасила брови и подвела глаза сурьмой, что настоящее ее лицо скрылось под этой косметикой.

Худаяр-бек прошел и сел также за кюersi. Молодая женщина придвинула к себе два стакана и начала мыть и перетирать их.

У входа стояла Зибя с завернутым в одеяльце ребенком. Ребенок плакал, и Зибя подпрыгивала на месте, чтобы успокоить его, при этом что-то мурлыкала себе под нос.

Молодая женщина налила чай и поставила один стакан перед Худаяр-беком, а другой перед собой. После этого она позвала Зибю и, взяв у нее ребенка, начала кормить его грудью. Ребенок перестал плакать. Зибя отошла в сторону и, опустив руки, стала у стены.

Худаяр-бек придвинул к себе стакан и, прислонившись спиной к постельному тюку, повернулся к Зибе.

— Скажи, девочка, мать все плачет?

— Плачет. Совсем ослепла от слез.

— Ха-ха-ха! — громко расхохотался Худаяр-бек. — Что же она плачет? Вспомнила покойного мужа, Кербелай-Гейдара?

— Нет, — ответила девочка. — Не об отце плачет, о тебе плачет.

— Ха-ха-ха! Неужели так меня любит?

— Нет, не потому плачет, что любит. Пускай, говорит, даст мне развод...

Не успела выговорить девочка эти слова, как Худаяр-бек вскочил, словно ужаленный, и бросился к девочке. Та повернулась к двери, чтобы убежать, но споткнулась о порог и упала. Худаяр-бек стал бить ее кулаками по лицу и голове. Увидя, что у девочки из носа пошла кровь, Худаяр-бек остановился и позвал со двора Вели-

кули, чтобы тот взял сестру и отвел домой к матери. После этого он, бледный и задыхающийся, вернулся на свое место.

Молодая женщина сидела молча и равнодушно наблюдала всю сцену.

Великули взял сестру за руку, и они оба отправились к себе домой.

Почему же Худаяр-бек вышел из себя?

Он вышел из себя, когда услышал слова Зибы: «Мать говорит, пускай даст мне развод».

Надобно подробнее рассказать об этом.

У Худаяр-бека Зейнаб прожила всего шесть с половиной месяцев и за это время перенесла столько мучений, сколько хватило бы на десяток лет.

Худаяр-бек без конца изводил ее. Это был на редкость сметливый человек. Мучая ее, Худаяр-бек добивался одной-единственной цели — стать хозяином всего имущества Зейнаб и ее детей, после чего он мог отпустить их на все четыре стороны.

Зейнаб с самого начала догадывалась об этом, но, как ни притеснял ее Худаяр-бек, как ни бранил, как ни истязал, она стойко переносила все страдания и не соглашалась на его требования.

В конце концов дело дошло до того, что Худаяр-бек раздел Зейнаб и, заперев в темной конуре, держал ее там голодной до тех пор, пока женщина не сдалась.

Камень сдави — и тот треснет.

Не вынесла мук Зейнаб.

Согласилась удовлетворить все до единого требования Худаяр-бека, но при одном непреклонном условии, чтобы, завладев всем достоянием Зейнаб и ее детей, Худаяр-бек дал ей развод. Худаяр-бек согласился и, по настоянию Зейнаб, даже поклялся на коране*.

Свои наличные деньги Зейнаб частью закопала в тайнике, а частью сдала на хранение другим. Все эти деньги она отдала теперь Худаяр-беку. Кроме денег, Худаяр-бек получил еще массу всякого добра: золото, серебро, платья, ковры, медную посуду и другие вещи.

Короче говоря, Зейнаб постепенно перенесла в дом Худаяр-бека все, что было накоплено и оставлено по-

койным Кербелай-Гейдаром. Великули ни во что не вмешивался, все время твердя:

— Будь что будет, лишь бы моя невеста была здорова!

Он не только не препятствовал всему этому, но даже поддерживал Худаяр-бека.

Когда наконец Худаяр-бек завладел всем, что принадлежало Зейнаб, ее дочерям и Великули, бедная женщина ушла от Худаяр-бека и поселилась в своем доме, где, правда, ничего не осталось, кроме пары старых циновок. Однако Зейнаб казалось, что ангелы вытащили ее из ада и водворили в рай.

Когда Зейнаб оставила дом Худаяр-бека, все решили, что она получила развод. Так думали и сама Зейнаб, и Великули, но они ошиблись. Худаяр-бек не давал и никогда не дал бы ей развода.

О причине этого расскажем несколькими строками ниже.

После того как Зейнаб вернулась к себе, положение ее стало еще тяжелее.

С наступлением весны Худаяр-бек вспахал бывшие ее земли. Затем собрал с них урожай, помолол и засыпал в свой амбар, как если бы он получил это в наследство от своего отца.

Зейнаб с детьми осталась голая и голодная, без всякой поддержки. Вскоре умерла ее дочь Физза. Страдания Зейнаб стали еще сильнее. Кто может утверждать, что бедная девочка умерла не от голода?

Наконец Худаяр-бек сжался над несчастной женщиной и, чтобы хоть немного облегчить положение Зейнаб, взял к себе Великули батраком, а Зибу служанкой. Он назначил им такую плату, чтобы Зейнаб не умерла голодной смертью.

Худаяр-бек не дал и не решился бы дать Зейнаб развода по двум причинам. Конечно, он ни за что не дал бы Зейнаб развода. Худаяр-бек очень расчетливый человек.

Он не дал бы Зейнаб развода, во-первых, потому, что Зейнаб была еще не так стара, чтобы он хотел вовсе от нее отказаться. Ведь если бы Зейнаб хоть немного любила Худаяр-бека, он и не удалил бы ее из своего дома. Надо быть справедливым, Зейнаб сама виновата в том, что Худаяр-бек отстранил ее от себя. Ведь с того

дня, как она поселилась в доме Худаяр-бека, ни разу, ни, ни одного разу не улыбнулась.

Во-вторых, Худаяр-бек не дал бы Зейнаб развода потому, что боялся, как бы кто-нибудь другой не женился на ней и не стал требовать с Худаяр-бека имущество детей.

По этой второй причине каждый раз, когда речь заходила о разводе, Худаяр-бек приходил в бешенство. Кто бы ни заговорил при нем о разводе, должен был получить свою порцию побоев.

Вот почему он избил до крови Зибу и прогнал ее.

Спустя два месяца после того как Зейнаб переселилась в свой дом, у Худаяр-бека умерла первая жена, и новая жена стала ему просто необходима.

Худаяр-бек уже давно заглядывался тайком на сестру Гасымали, подумывая о женитьбе на ней, Гасымали согласился на его притязания, но с условием, чтобы Худаяр-бек выдал за него свою дочь.

Худаяр-бек с готовностью принял это условие.

Великули пытался было возражать, горевал, плакал, но из страха перед Худаяр-беком не посмел открыто выступить против. Через некоторое время обида забылась, и Великули сам понял, что для него важнее всего думать о куске хлеба, а женитьба батраку ни к чему.

Итак, эта молодая нанудренная, нарумяненная женщина, сидевшая за кюersi, и есть сестра Гасымали и новая жена Худаяр-бека. Три месяца тому назад она родила дочь. Назвали ее Хошгедем. Это тот самый ребенок, который плакал на руках у Зибы и которого она нянчила.

Великули и плачущая Зибя пришли к себе домой. Зейнаб сидела в той самой комнате, которую мы уже знаем и в которой ничего теперь не осталось; она сидела на ветхом куске паласа и, обняв колени, смотрела в потолок, как бы считая балки. Одежда ее вполне соответствовала ее положению, то есть вся состояла из лохмотьев. И лицо у нее потеряло былую привлекательность. За эти годы она порядком состарилась.

Зибя с плачем вошла в комнату. За ней шел Великули. Зейнаб встревоженно вскочила и, стремительно подбежав к дочери, спросила, почему она плачет.

Великули рассказал. Не переставая плакать, Зибя прижалась к матери. В комнате было темно, поэтому крови на лице девочки не было видно. Великули только сейчас вспомнил, что Зибя может нечаянно вымазать мать кровью, и сказал матери:

— Мама, у Зибы кровь из носу шла. Смотри, запачкает тебя.

Обинная Зибу, Зейнаб почувствовала, что платье ее влажно, но подумала, что это от слез.

— Мама, ведь Зибя всю тебя кровью вымазала! — повторил Великули.

Зейнаб ничего не ответила.

Великули вышел. Скоро стемнеет, а надо еще напоить скотину. Опоздай он, Худаяр-бек поднимет скандал.

Поплакав еще немного, Зибя уснула на руках у матери.

ШКОЛА СЕЛЕНИЯ ДАНАБАШ

Событие, о котором я собираюсь рассказать, — дела давно минувших лет. Правда, не могу сказать определенно, сколько минуло, но одно помню хорошо, что событие это произошло спустя семь лет после взятия русскими Карса. Вот и считай, сколько тому лет!

Эх, дни-то приходят и уходят! Где те времена, где тот день, когда русские взяли Карс? А будто все это было вчера. Хоть и был я тогда мал, но помню все подробности. Помню даже то, что было самое начало молотбы, то есть самая страда.

Я не знаю, как в других деревнях, но у нас в Данабаше в это время года никого в деревне не найдешь: все население бывает в поле. В деревне остаются лишь женщины и собаки, потому что им-то в поле нечего делать.

В тот день, когда случилось это событие, и сам я был на току. До нас дошло, что приехали в село начальник, кази, следовательно, врач, мировой судья и ушкол*. И принес это известие не кто-нибудь, а наш сосед по току Кербелай-Мирзали. И если бы принес нам это известие один Кербелай-Мирзали, то мы, может, и не поверили бы сразу; потому что трудно поверить, чтобы в село приехало сразу столько народу. К чему? Зачем? Не разорять же село! Что за важное дело случилось, чтобы понаехало столько людей в один и тот же день!

Я говорю совершенно серьезно, что вначале мы не сразу поняли Кербелай-Мирзали, но потом и другие подтвердили его слова. И не только подтвердили, но еще дополнили новыми подробностями. Так, например, после

Кербелай-Мирзали пришел дядя Гасым. Покойный отец (да благословит аллах память и ваших дорогих покойников!) стал расспрашивать его, и дядя Гасым поклялся аллахом и начал перечислять тех, кто прибыл в село: начальник, его помощник, казначий офицер, следователь и мировой судья.

За дядей Гасымом прибежал Мешади-Ярмамед. Этот назвал приехавших в село совсем иначе. Мешади-Ярмамед поклялся аллахом, может быть, и пророком, что в село приехали начальник, губернатор, шейх-уль-ислам, секретарь, лекарь, ушкол.

Одним словом, многое я позабыл, но мне помнится, что он называл всех возможных начальников, которые только существуют на земле.

Это сообщение совершенно сбilo нас с толку. Мало того, оставило нашу работу. Мы молотили на досках. Услышав о приезде начальства, мы забыли о волах, запряженных в молотильные доски, и занялись разговорами и пересудами. А волы принялись пожирать разбросанные на току колосья.

За короткое время собралось возле нас человек шесть или семь, потому что каждый, кто приходил с новыми известиями, опускался тут же на корточки в тени навеса, а мы все собирались вокруг него, чтобы послушать.

Несколько раз пересчитав приехавших по пальцам, крестьяне перевели разговор на другое: а для чего, собственно, приехали все эти начальники в наше село? Это не легкий вопрос. Кто может сказать, по какому делу приехали в село начальник, кази, ушкол, казак, стражник и прочие начальники? Сколько у нас в селении пожилых людей, ни один из них за всю свою жизнь не видел такого события и не слышал о чем-нибудь подобном.

Правда, приезжали к нам и начальник, и следователь, и лекарь, и кази, и даже губернатор приезжал, но не все сразу. Вот поэтому-то, сколько ни судили, ни рядили Кербелай-Мирзали, дядя Гасым, Мешади-Ярмамед, покойный мой отец (пусть благословит аллах память и ваших дорогих покойников!), так ни к чему и не могли прийти.

Что до Мешади-Ярмеда, так тот полагал, что все эти начальники понаехали в деревню, чтобы набрать солдат. Однако другие с ним не соглашались, говоря, что,

если все эти чины приехали из-за солдат, то для чего приехал кази? Ну ладно, допустим, что его привез начальник, чтобы уговорил наших крестьян, помог провести это дело миром, без шума; пусть так, тогда зачем приехал ушкол, зачем мировой судья приехал? А покойный мой отец высказывал такое соображение, что начальники приехали в наше селение выяснить, спокойно ли в крае, посмотреть, как обходится, мирно ли живет народ.

Короче говоря, крестьяне были заняты этими разговорами, когда из селения выехал всадник и поскакал прямо к нам. Все мы сильно перепугались; впрочем, насчет других не знаю, но сам я испугался здорово. Однако аллах пожалел нас, и всадник повернул в сторону. Мы стали следить за ним, чтобы узнать, куда он едет. Всадник мчался во всю мочь, и мы заключили, что дело тут не простое, есть нечто важное.

Долго мы следили за всадником, не спуская с него глаз, пока тот, проехав много участков, перемахнув через несколько арыков, достиг, наконец, тока Гаджи-Намазали. Не задерживаясь там ни минуты, он повернул обратно, но был уже не один, а вел кого-то за собой. Хотя они были на порядочном расстоянии, но и по фигуре и по высоте шапки мы узнали в пешем Гаджи-Намазали.

— Да, пропал бедняга, пусть накажет аллах лиходева! — подумали мы и глубоко вздохнули.

Если за всю мою жизнь я дважды был охвачен страхом, то первый раз это произошло именно в тот день, когда всадник увел Гаджи-Намазали с его тока к начальнику. Да, в тот день ужас, меня охвативший, был велик до крайней степени. Я помню даже, что какая-то собака наша разрыла скирду с теневой стороны и устроила себе нечто вроде логова. Днем она спасалась там от невыносимой жары. И вот, когда всадник уводил Гаджи-Намазали, я перепугался настолько, что побежал и спрятался в этой норе. Но не успел я расположиться там, как мужчины на нашем току перешли на теневую сторону. В первую минуту мне показалось, что они ищут меня. Однако все они прекрасно меня видели, но никто даже не спросил, зачем я влез в собачью ямину.

В то время я еще не понимал, слishком был мал, но теперь не сомневаюсь, что они сами тоже боялись. Хорошо помню, Кербелай-Мирзали высовывал голову из-за

снопов, точно проворовавшийся кот, и поглядывал на дорогу, чтобы увидеть, добрались до деревни стражник и Гаджи-Намазали или нет.

Теперь меня одно удивляет. Меня удивляет то, что я тогда был мал и, если боялся, то имел какое-то оправдание. Но я и тогда не понимал, и теперь не понимаю, чего же боялись эти взрослые мужчины? Прекрасно помню, что и Кербелай-Мирзали боялся, и дядя Гасым боялся, и покойный мой отец боялся. Были там еще два-три молодых, и они боялись.

До тех пор, пока всадник и Гаджи-Намазали не вошли в деревню, Кербелай-Мирзали, как я уже докладывал вам, стоял, согнувшись в три погибели и опершись руками о свои колени, опасливо и внимательно смотрел на дорогу. Только тогда, когда всадник и Гаджи-Намазали скрылись в деревне, Кербелай-Мирзали выпрямился, сделал два шага вперед и произнес:

— Да поможет аллах!..

Крестьяне, что собрались у нас на току, стояли растерянные и, как ни бились, ничего не могли понять. Споры затянулись. Больше всех говорили Кербелай-Мирзали и покойный мой отец, а меньше всех дядя Гасым и молодые крестьяне. Пуще всех перепугались я, дядя Гасым и молодые сельчане. Больше всех недоумевали я и Кербелай-Мирзали; бедняга то и дело беспомощно разводил руками.

Нет слов, всякие сомнения были бы быстро рассеяны, если бы кто-нибудь из собравшихся на току крестьян сбегал в селение и, выяснив положение, принес верные сведения. Только не могу припомнить, почему никто не соглашался идти в село. В памяти сохранилось только, что покойный мой отец предложил дяде Гасыму сходить в село и разузнать в чем дело, но на это дядя Гасым ответил тем, что заматал головой и, отойдя в сторону, опустился на корточки в тени скирды.

В моем представлении наиболее решительным из всех оказался все-таки мой покойный отец. Я могу поклясться, что не будь отец занят молотью, он никогда не обратился бы к дяде Гасыму с просьбой сходить за верными сведениями. Если бы отец пошел в деревню сам, то работа бы на току остановилась, и волю остались бы без присмотра. То, о чем я рассказываю, сушая правда.

Отец выкурил трубку, постучал ею об землю, вытряхнул пепел и, заткнув ее сбоку за кушак, поднялся и сердито крикнул на меня, чтобы я вылез из собачьей ямы и стал на молотильную доску. Я вылез из своего убежища, а крестьяне поднялись, чтобы пойти каждый по своему делу.

Я побежал и, став на молотильную доску, погнал волов по разбросанным на току колосьям, направляя их тростинкой. Отец вытер лобой пот с лица, поднял вилы и принялся переворачивать колосья. Волы сделали всего три или четыре круга по току, когда из-за нашей скирды внезапно появился вестовой нашего главы Джалил-бек. Я страшно испугался, тотчас сообразив, что Джалил-бек явился за моим отцом, чтобы отвести его к начальнику.

В конце концов так и оказалось. Джалил-бек двинулся к моему отцу и высоко поднял свою плетку, но не опустил ее, вернее говоря, не смог опустить. Потому что, как только он поднял свою плетку, отец мой быстро выткнул правую руку и ухватился за ручку плетки, а левой обнял Джалил-бека и стал просить его объяснить, в чем он, то есть мой отец, виноват. О виновности моего отца Джалил-бек ничего не сказал, только приказал ему взять меня и сейчас же отправляться к начальнику.

Услышав это, я совсем растерялся и уже не помню, что случилось дальше. Опомился я тогда, когда увидел, что отец мой крепко держит меня за правую руку и тащит в сторону деревни.

У меня душа в пятки ушла. И как было мне не испугаться. Только теперь я стал понимать, что, если человек будет поступать по закону, то начальник ничего с ним не сделает. А тогда, идя за отцом, я все твердил ему, чтобы он не водил меня к начальнику, что начальник мне голову оторвет.

Еще одно: не будь моего отца, я бы не так уж боялся начальника. Что я боялся за себя, это само собой, но еще больше пугал меня отец. То есть, не то чтобы покойный нарочно нагонял на меня страх, нет, он и не понимал, что пугает меня. Когда он вел меня за руку в деревню, я не переставая спрашивал его, почему требует меня начальник, а отец в ответ на это начал обвинять меня,

что, может, я подрался с сыном главы, а тот пожаловался начальнику.

Словом, добрались мы до площади Гаджи-Намазали. Сколько было народу в селе, все были здесь. А начальник вместе с приехавшими с ним гостями был, оказывается, в доме Гаджи-Намазали.

Я еще не понимал, в чем дело, не знал, что будет дальше. И не мог набраться смелости, чтобы спросить спросить отца, но крестьяне вокруг так галдели, что ни отец не мог услышать моего вопроса, ни я его ответа. Наконец мы кое-как пробились через плотную толпу крестьян и вышли к середине площади.

Кто-то сказал, что идет начальник. Словно в болото с лягушками кинули камень. Все повернулось лицом к дому Гаджи-Намазали, и воцарилась полная тишина. Открылись ворота, и вышел оттуда сам Гаджи-Намазали. Со словами: «Раступись, раступись!» — он прошел вперед и остановился в стороне.

За ним вышел один мужчина. Он был в красной шапке и белой чохе, и я решил, что это и есть сам начальник. Но после мне объяснили, что это помощник начальника. За помощником появился вестовой главы Джалил-бек. И он со словами: «посторонитесь, посторонитесь!» — и размахивая плеткой во все стороны, прошел вперед и стал в стороне.

После этого вышел глава Пирверди-бек и, расталкивая людей и повторяя: «отойдите, отойдите!» — прошел вперед и остановился поодаль.

За главой появился какой-то русский начальник, за ним другой. Потом еще один и еще один. После них вышел молла, за ним второй молла, а после него священнослужитель селения Данабаш Молла-Хазраткули. Позже мне рассказали, что один из молл был кази. После этих молл со двора Гаджи-Намазали вышли еще разные люди. Но все мое внимание было приковано к русским начальникам, поэтому я не запомнил, кто вышел со двора Гаджи-Намазали после молл.

Все эти господа, перечисленные мною, прошли на середину площади и стали в один ряд. Перед ними стоял стол, покрытый скатертью. Первым выступил вперед кази, положил на стол какую-то книжицу в ветхом переплете и обратился к толпе крестьян:

— Эй, жители селения Данабаш! Слушайте, что я вам скажу! Внимательно слушайте!

После этих слов кази оба моллы воскликнули:

— Аминь творцу вселенной!

— Люди! — продолжал кази. — Знаете ли вы, по какому поводу сегодня пожаловал в селение Данабаш господин начальник? Дошло до слуха господина начальника, что вы, то есть жители селения Данабаш, все еще пребываете во мраке невежества. Поэтому господину начальнику стало жаль вас, и он, взяв на себя огромный труд, пожаловал сегодня в селение Данабаш, с целью открыть здесь школу, дабы этим путем как-нибудь выволить вас из мира темноты и ввести в мир света. И знаете, что сколько ни создал господь бог городов и весей, сколько ни создал он иных краев, все они до единого вышли в светлый мир. Осталось лишь одно-единственное селение Данабаш. Иншаллах, по изволению аллаха, сегодня господин начальник откроет школу и здесь, дабы и вы исполнили шербата просвещения!

Оба других моллы опять произнесли «аминь», после чего кази вынул из кармана и нацепил на нос очки, поднял обеими руками коран, поцеловал его, приложил ко лбу и, открыв на какой-то странице, принялся громко читать.

Прочитав из корана несколько заповедей, кази закрыл книгу и, когда оба моллы воскликнули: «Аминь творцу вселенной!» — положил коран на стол и опять обратился к крестьянам:

— Люди! Да не онемеют уста, произнесшие «аминь»!

После этого обращения кази первыми воскликнули «аминь» оба моллы; затем несколько крестьян, вторя им, тоже произнесли «аминь». Тогда кази поднял обе руки вверх и, держа их перед своим лицом, начал молить аллаха о испослании благодати, во-первых, обожаемому монаху, а затем его августейшей супруге и всем членам царской семьи.

Все собравшиеся, вторя друг другу, произнесли «аминь». И кази перешел к начальнику. Он стал расхваливать его, перечисляя все имеющиеся на арабском языке похвальные эпитеты. Потом он снова принялся молиться за господина начальника. Одним словом, кази долго го-

ворил, говорил, говорил без конца и заключил свою речь словами:

— Эй, жители селения Данабаш! Нам всем надлежит денно и нощно во время молитвы благодарить господа бога за то, что он даровал нам великое счастье, послав в наш край такого правителя, как наш господин начальник. Это не что иное, как благоволение и милость великого творца к нам, его грешным рабам! Аминь!

Собравшиеся, вторя кази, воскликнули: «Аминь».

Когда кази кончил свою речь, один из русских начальников, невысокого роста и с седою бородой, выступил вперед и, повернувшись к крестьянам, начал говорить что-то на своем языке. После мы узнали, что это и был начальник. Когда начальник кончил свою речь, вперед выступил еще один русский начальник и обернулся к крестьянам. Все враз воскликнули:

— Да продлит аллах жизнь господину!

— Жители селения Данабаш! Понимаете ли вы, что изволил сказать вам господин начальник? Хорошие слова он говорит, очень хорошие слова. Откройте уши и слушайте, ибо не часто доводится человеку услышать подобные умные советы. Господин начальник изволил сказать, что он очень доброжелательно относится к жителям селения Данабаш. Но изволил сказать и то, что он сочувствует этим людям, ибо это очень темные, тупые люди. Я тоже подтверждаю, что в этом отношении господин начальник совершенно прав. Я и сам вижу, что все вы темные, забытые, дикие люди. И ваша темнота и дикость доказываются тем, что вы ничего не поняли из того, что сказал господин начальник, и мне приходится объяснять вам. Итак, господин начальник изволил сказать, что ему очень жаль данабашское население, пребывающее в отсталости и темноте. Поэтому сегодня господин начальник изволил прибыть к вам, в ваше селение, чтобы открыть здесь школу и таким образом сделать вас счастливыми.

— Да продлит аллах жизнь господину! — крикнули крестьяне.

Затем начальник достал какую-то бумагу и начал читать. Читал, читал, а потом обратился к русскому чиновнику, который только что говорил по-нашему. И тот, обратившись к народу, начал:

— Жители селения Данабаш!..

Но я так и не узнал, о чем он говорил дальше. Не узнал потому, что очутился в стороне от толпы, а получилось это вот как. Я слушал русских начальников, когда кто-то сзади потянул меня за полу. Сперва мне подумалось, что за полу потянул меня мой отец, но повернувшись назад, я понял, что тянет меня не отец, а кто-то другой, и не то что другой, а наш сосед Кербелай-Исмаил. Он схватил меня за плечо и потянул с такой силой, что, опомнившись, я увидел себя уже вне толпы.

Я хотел было вырваться и подойти к отцу, но Кербелай-Исмаил не пустил. Оттащив меня на некоторое расстояние от толпы, Кербелай-Исмаил строго крикнул на меня, чтобы я шел за ним и не болтал много. Я ему ничего не ответил на это, потому что и сам был рад, что ушел из толпы, не попадусь на глаза русскому начальнику, и ничего он мне не сделает.

Мы пошли дальше к дому Кербелай-Исмаила. Ворота были на запоре. Кербелай-Исмаил постучал, и ворота тотчас отворились. Войдя во двор, я обомлел от удивления, потому что тут было целое собрание. Приглядевшись, я заметил, что большинство собравшихся здесь наши же люди. Например, находился тут и дядя мой Гаджи-Муртуза, был здесь и двоюродный брат мой Мешади-Фараджулла, был и внук моей тети Кербелай-Гасанкули. Увидел я тут даже моего отца. Каким-то образом и он оказался здесь. Остальные все были наши соседи и знакомые.

Все, что происходило вокруг, казалось мне сном.

При виде меня все собравшиеся окружили меня, а отец взял меня за руку и отвел в другой конец двора. Остальные шли за нами. Двор был окружен невысокой стеной. Отец мой вскарабкался на стену и протянул мне обе руки. Кто-то из собравшихся подхватил меня сзади под мышки и, сказав: «не бойся!», призвал на помощь аллаха и поднял меня на стену. Отец мой тоже сказал: «не бойся!» и, взяв меня под мышки, осторожно спустил со стены на другую сторону.

Это был двор дяди Мамедали. Никого здесь не было, но слышались какие-то голоса. Это были не мужские голоса, а скорее голоса женщин или детей. До этого момента я только удивлялся тому, что видел вокруг, а те-

перь, после того, как незнакомый мужчина, поднявший меня на стену, и мой собственный отец сказали мне «не бойся!», я начал уже бояться.

В дальнем углу двора дяди Мамедали стояла большая куча князя, сложенная в виде высокой башни. Отец взял меня за руку и потащил к этой башне. Входная дыра в этой башне была обращена к стене. И когда мы приблизились к этой дыре, я окончательно уверился в том, что все виденное мною не явь, а сон.

Тут сидели четыре женщины. Вначале я не узнал их, потому что все они сидели, просунув головы в дыру. Когда мы подошли, отец сказал им, чтобы они отодвинулись, и все четверо подняли головы и повернулись к нам. Хотя они, увидев моего отца, тотчас же закрылись чадрой, но я узнал их всех. Одна из них была тетя Шараф, жена дяди Кербелай-Исмаила; вторая была сестрица Сакина, невестка дяди Гаджи-Муртузы и жена двоюродного моего брата Мешади-Фараджуллы; третья была тетя Сакина, жена хозяина этого двора дяди Мамедали; наконец, четвертая была тетя Пери, жена нашего соседа дяди Гусейнали.

Все четверо женщин уважали моего отца, так что отошли в сторону, повернулись к нам задом и подняли свои чадры еще выше, от чего обнажились их ноги. В это время из отверстия в башне показалась голова мальчика, оказавшегося Джафаром, сыном хозяина этого двора дяди Мамедали. Увидев меня, Джафар вскрикнул радостно:

— Ого, Гусейнкули тоже приволокли!..

Когда он сказал это, из башни высунулась еще одна голова. Это был Гасым, внук дяди Гаджи-Муртузы и сын моего двоюродного брата Мешади-Фараджуллы. При виде меня и он обрадовался и громко крикнул:

— Эге, братец, и ты пришел?

Не успел он сказать это, как из башни показалась еще голова. А это был Керимкули, сын Кербелай-Исмаила. Он тоже встретил меня с восторгом:

— Гусейнкули, тебя тоже привели?

Повремени мы еще, наверно, из башни высунулось бы еще много голов, но отец мой торопился. Он прикрикнул на высунувшихся мальчиков и, когда они скрылись в башне, велел и мне лезть туда.

Откровенно говоря, я уже мечтал об этом и, как только отец сказал мне, чтобы я спрятался в башне, я нагнулся и ловко пролез в отверстие. Кроме троих мальчиков, которых мы уже видели, тут оказались еще трое. Вместе со мной нас стало семеро ребят.

Те трое тоже оказались наши соседи. Один — Гасан, сын Ярмамед, второй — Наджафали, сын дяди Кербелай-Курбана, третий — Юсиф, сын нашего соседа дяди Гусейнали.

Как только я вступил внутрь башни, внук моего дяди Гасым схватил меня за ворот и потянул к себе, чтобы я сел рядом с ним. Я исполнил желание Гасыма, то есть сел около него.

После того, как я скрылся в башне из кизяков, отец мой просунул голову внутрь и крепко-накрепко наказал нам ни в коем случае не выходить из башни и никуда не отлучаться и еще несколько раз повторил нам, чтобы мы сидели смиренно, не болтали и не шумели. Ни я, ни мои товарищи ничего не ответили. Только Наджафали, сын дяди Кербелай-Курбана, вдруг закрыл глаза ладонями и начал плакать.

— Ну чего нюни распустил, дурачок ты этакий! — сказал ему мой отец.

Не переставая хныкать и покачиваясь всем телом то вправо, то влево, кривляясь и ноя, Наджафали начал звать свою мать.

Отец мой отошел от нас, и мы его больше не видели. Тогда подошли опять те четыре женщины, просунули головы в отверстие и принялись нас утешать. Вначале женщины заговорили каждая со своим сыном. Так, например, тетя Шараф обратилась к Керимкули, тетя Сакина к Джафару, тетя Пери к Юсифу, сестрица Сакина к Гасыму.

Немного поговорив с нами женщины замолчали и собрались было уходить, когда Джафар, как давеча Наджафали, приставил обе ладони тыльной стороной к глазам и начал реветь. Его мать, тетя Сакина, повернулась к башне, чтобы успокоить мальчика, но в это время, вторя ему, захныкал и Юсиф. За ним начал реветь Керимкули. Потом начал Гасым. Наконец заревел и Гасан. Поглядев на этих, стал плакать и бедняга Наджафали.

Вначале я крепился, чтобы не расплакаться, и не рас-

плакался бы, но посмотрел на плачущих ребят, услышал, как жалобно говорят они своим матерям:

— Вай, мама, меня в солдаты возьмут!..

Послушав такое, я тоже не удержался, заплакал.



За несколько месяцев до этих событий было получено распоряжение правительства о том, чтобы в Эриванской губернии были открыты три школы. Расходы по их содержанию правительство брало на себя. Кроме того, было указано, чтобы они были открыты не в городах, а в сельских местностях. Открывая такие школы, власти преследовали цель — распространить грамотность среди сельского населения и посвятить его в различные науки с тем, чтобы крестьяне, прозрев, стали на путь прогресса, устроили разумно свою земную жизнь, а также, пользуясь плодами усвоенных наук и знаний, радели в молитвах и добивались близости к господу богу.

На содержание каждой из этих школ было предусмотрено отпускать две тысячи сто пятьдесят рублей в год. При таком значительном расходе властями было предложено открыть эти школы в селах крупных, густонаселенных, имеющих хорошее сообщение с окрестными селами, с тем, чтобы школы могли посещать большое количество учащихся и, чтобы были оправданы столь крупные расходы.

По этим соображениям одну из намеченных школ было решено открыть в селении Чарыхлы, наверное потому, что это селение либо крупное, либо же имеет хорошее сообщение. Вторую школу решили открыть в селении Махмуд, очевидно, по той же причине большой населенности или удобного сообщения. Третью школу наметили открыть в селении Данабаш. Хотя это селение не имеет удобного сообщения с другими селами, но зато очень большое село. Лет тринадцать тому назад во время переписи в селении Данабаш было зарегистрировано ровно шестьсот пятьдесят два дома, к тому же много домов было скрыто. И потом, за прошедшие тринадцать лет число домов должно бы увеличиться, по крайней мере, на сотню.

Об этом решении писал губернатор уездному начальнику, а тот вызвал данабашского главу Пирверди-бека, чтобы сообщить ему и устно приказать о безотлагательной подготовке подходящего под школу помещения. Далее начальник спросил главу о числе учащихся, которых пошлет в школу население Данабаш. На это Пирверди-бек ответил, что помещений для школы в селении Данабаш можно устроить сколько угодно. Насчет числа учащихся он также заверил начальника, что селение Данабаш может послать в школу по меньшей мере шестьсот детей.

Вернувшись в село, глава сообщил крестьянам о распоряжении господина начальника и предложил им ответить помещению под школу и наметить шестьсот детей.

На другой день из селения Данабаш пришли к господину начальнику двести человек, выразили ему свою покорность и попросили объяснить им, в чем они провинились перед господином губернатором и господином начальником и какое предательство совершили они перед высшими властями, что падших обрушил на селение Данабаш свой гнев и подверг его столь строгому наказанию?

В ответ на эти слова начальник принялся увещевать крестьян, говоря, что первоначально для школы совсем не надо шестисот детей, а вполне достаточно и ста человек. Затем начальник объяснил им, что данное решение исходит не от него, начальника, а от высших властей.

После этих слов начальник приказал крестьянам вернуться по домам и добавил, что через несколько дней сам приедет в село. Выпроводив крестьян, начальник особым предписанием вызвал к себе четырех человек из селения Данабаш: главу Пирверди-бека, приходского моллу Молла-Хазраткули, Гаджи-Намазали и Мирза-Гасана. В тот же день эти четверо господ отправились в канцелярию начальника. Начальник принял их в своем кабинете и попросил их, чтобы они уговорили крестьян селения Данабаш насчет школы и сами проявили усердие для беспрепятственного открытия школы.

Почтительно выслушав господина начальника, все четверо в один голос ответили ему:

— Пусть аллах продлит жизнь господина начальника! Мы готовы душой и сердцем служить господину начальнику.

Начальник остался очень доволен таким ответом. Он поблагодарил этих господ и попросил вернуться в село и успокоить крестьян. При этом он обещал через несколько дней лично прибыть в селение Данабаш.

О том, что начальник приехал в селение Данабаш, нам уже известно. Известно нам также, что и начальник и приехавшие с ним другие гости остановились у Гаджи-Намазали. Мы не знаем только гостей, которые приехали с ним. Один из них был кази, это уже известно. Другой был инспектором городской школы, третий учителем той же городской школы; далее были переводчик начальника, пристав этого участка, еще один учитель, помощник начальника и затем стражники и вестовые.

Итак, мы дошли до событий того дня, когда всадник примчался на ток к Гаджи-Намазали и увел его в деревню.

Теперь припомним по порядку события того памятного дня.

IV

Итак, в тот день все население Данабаш собралось на площади перед домом Гаджи-Намазали. Начальник с гостями, прибывшими вместе с ним, вышел к крестьянам. Первым выступил кази с проповедью и молитвами во здравие представителей власти. Затем начальник произнес речь, которую перевел его переводчик. После этого начальник взял какую-то бумажку и начал читать, а переводчик, обратившись к собравшимся, сказал:

— Жители селения Данабаш!

Мы остановились на этом.

— Жители селения Данабаш! Господни начальник изволил говорить, что иной раз до слуха его доходят удручающие и огорчительные вести. По-видимому, в крае у нас немало людей злонамеренных, смутьянов. Не дай бог, если попадет мне в руки один из подобных злоумышленников, я велю шкуру спустить с него. Господни начальник изволил говорить, что люди такого пошиба, сошедшие с пути господа бога, вечно думают только об одном, как бы совратить и других, обречь их на страдания и муки, сделать их подобными себе. Такого рода зловредные элементы, неизвестно с какой целью, вну-

шли жителям селения Данабаш, чтобы они ни в коем случае не отдавали детей в школу. Будто бы учащимся в школе поголовно будет преподаваться военное дело, их вымуштруют и пошлют в Россию с тем, чтобы умножить русское войско. Всякий, кто имеет ум, не станет молоть такой вздор!

— Нет, не станет! — раздалось множество голосов из толпы. — Пусть продлит аллах жизнь господина!

— Господин начальник изволил говорить, что по совету четырех человек, а именно, Моллы-Хазраткули, Гаджи-Намазали, Мирза-Гасана и главы Пирверди, составлен список, в который занесены имена всех жителей селения Данабаш, имеющих детей школьного возраста.

— Так точно! — опять хором ответила толпа. — Дай бог здоровья господину!

Тогда начальник передал бумагу своему переводчику, и тот продолжал:

— Люди! Слушайте внимательно, и тот, чье имя я прочту, пусть выйдет из толпы и подойдет к господину начальнику.

— Дай бог здоровья господину! — ответила толпа.

Переводчик принялся читать список:

— Кербелай-Имамкули Кербелай-Али-оглы.

Из толпы вышел человек высокого роста, с седой бородой, в высокой шапке, белых широких штанах и архаку из темной бязи. Он подошел близко к начальнику и, сложив обе руки на животе, сначала откинул голову назад, потом низко поклонился, выпрямился и уставился на начальника. Тот сказал ему несколько слов по-русски, и переводчик перевел так:

— Ступай сейчас же и приведи к начальнику твоего сына Зейнала!

Кербелай-Имамкули повернулся и с опущенной головой скрылся в толпе. Переводчик поднял бумажку и прочел:

— Кербелай-Гейдар Кербелай-Зульфугар-оглы!

Раздвигая толпу, вышел вперед крестьянин лет сорока-сорока пяти, согнулся перед начальником в три погребки, потом выпрямился и сказал:

— Господин, позволю доложить!

Переводчик не дал Кербелай-Гейдару доложить. Он не перевел его слов начальнику и не хотел даже слушать.

— Много не разговаривай! — прервал он крестьяни-

на. — Сейчас не до того, и начальнику некогда выслушивать твою болтовню и задерживать тут народ. Отложи напоследок свой разговор, а сейчас ступай и приведи к начальнику твоего сына Сулеймана.

Кербелай-Гейдар еще раз посмотрел на начальника, потом опустил голову и нехотя ушел в толпу.

— Ярмамед Кербелай-Набатали-оглы! — вызвал переводчик.

Расталкивая людей, вышел из толпы крестьянин лет сорока пяти-пятидесяти. Одет он был в старый архаку из темной бязи и грязные широкие штаны, с мохнатой папахой на голове, босой и без пояса. Ярмамед низко поклонился начальнику, потом обратился к переводчику:

— Ага, сын мой болен и находится сейчас при смерти. Если не вернешь, сейчас же пойдем, посмотри своими глазами и убедись, что я не вру. И зачем мне в мои-то годы врать? Нет, нет! И ради чего мне обманывать? Если захочу обмануть, разве мало других людей? Неужели не нашлось никого другого, стану ли я обманывать тебя? Клянусь аллахом, что...

Переводчик не вытерпел и прервал Ярмамеда:

— Не болтай лишнего и не надоедай нам, — сказал он. — Ступай сейчас же и приведи своего сына Гасана к начальнику.

Ярмамед поднял обе руки к небу, посмотрел на начальника, потом перевел взгляд на переводчика и открыл рот, чтобы сказать что-то, но переводчик одернул его:

— Говорит тебе, не рассказывай нам сказки, ступай и приведи сына к начальнику! Без разговоров!

В толпе начали смеяться, слышались голоса. Сельчане расшумелись было, но Пирверди-бек врезался в их гушу и восстановил тишину. В это время из толпы вышел какой-то старик и, подойдя к начальнику, заговорил тихим голосом, поглядывая то на начальника, то на переводчика:

— Господин начальник, позволю сказать! Господин начальник, этот Ярмамед мой сосед, у нас с ним общая стена! И не приведи аллах, чтобы я при моей седой бороде стал обманывать господина начальника. Потому что врать и обманывать большой грех. И потом, знаете ли, если я начну врать да обманывать...

Переводчик не дал старику договорить и сказал:

— Послушай, как много оказалось болтунов в селении Данабаш! Надо говорить кратко. Скорей скажи, что хочешь, и ступай отсюда.

Старик начал снова, поглядывая то на начальника, то на переводчика:

— Если хочешь, я поклонюсь кораном, что сын этого человека, то есть сын Ярхамеда Гасан сию минуту находится в постели. Потому что вчера прибежала к нам домашняя Ярхамеда и сказала вашей служжанке*, когда придет домой Кербелай-Сафар, пусть зайдет посмотреть нашего мальчика. А я как-никак сосед... Нехорошо ведь... Потому что...

Переводчик окончательно потерял терпение и, повернувшись влево, подозвал главу, чтобы тот увел старика. Глава ткнул старика кулаком по затылку и втолкнул в толпу. Снова поднялся шум. Пирверди-бек опять вошел в толпу и быстро прекратил шум и разговоры.

Переводчик продолжал читать по списку:

— Мешади-Фараджулла Гаджи-Муртуза-оглы.

Люди в толпе начали оглядываться. Никто не появлялся.

— Мешади-Фараджулла Гаджи-Муртуза-оглы! — повзвал переводчик громче.

Снова люди в толпе стали оглядываться то направо, то налево, и снова никто не вышел на зов переводчика. Но слева подошел к переводчику глава, поклонился и сказал:

— Господин, Мешади-Фараджулла очень бедный человек и занимается извозом. Мне так кажется, что Мешади-Фараджулла сегодня не должен быть в селении, потому что у него всего два-три осла, а сам он очень беден, и может быть, как раз сегодня он повез на ослах чей-нибудь груз...

После этих слов Пирверди-бека шум в толпе усилился, отовсюду доносились голоса и каждый что-то говорил. Одни кричали из толпы, что Мешади-Фараджулла сейчас в деревне и никуда не уезжал; другие, напротив, утверждали, что это вранье, что Мешади-Фараджулла нет в деревне. Крестьяне затеяли перебранку. Началась толкотня. Люди кричали, размахивали руками, задние рвались вперед; под их напором передние заполнили свободное место, отделявшее их от начальства, и очутились перед ним.

И как ни старался Пирверди-бек, ему не удалось восстановить порядок. Тогда начальник вызвал стражников, чтобы отгнать крестьян назад. Шум прекратился, и в этот момент перед начальником возник рослый пожилой крестьянин. Стало совсем тихо. Это был уже знакомый нам Гаджи-Намазали. Он приложил правую руку ладонью себе на грудь, положил на правую руку левую, низко поклонился и начал:

— Пусть удлинит аллах жизнь господина начальника, все, что было здесь сказано, неправда. Тебе самому хорошо известно, что при тебе я не позволю себе говорить неправду и лгать. Этот самый человек по имени Мешади-Фараджулла, которого только что вызвал господин переводчик, этот человек никогда не занимался извозом и не был погонщиком ослов. Он из известного рода. Его покойный дед Гаджи-Исфандияр был почетным человеком в селении Данабаш. Короче говоря, кто утверждает, что Мешади-Фараджулла погонщик ослов? Кто говорит, что его нет сегодня в деревне? Нет, все это дудки! Клянусь аллахом, что Мешади-Фараджулла живет припеваючи и сейчас находится в деревне. Только...

Сказав слово «только», Гаджи-Намазали повернулся, посмотрел налево, а потом направо.

Послушав Гаджи-Намазали и понаблюдав за его поведением, переводчик подошел к начальнику и сказал ему что-то, и тогда начальник громко позвал к себе Пирверди-бека и начал кричать на него. Переводчик перевел: господин начальник приказывает сейчас же найти и привести сюда Мешади-Фараджулла.

— Слушаюсь! — проговорил Пирверди-бек и стал прощаться сквозь толпу.

Секретарь продолжал вызывать людей по списку:

— Кербелай-Джебраил Кербелай-Наджафули-оглы.

От толпы отделился крестьянин лет тридцати-тридцати пяти, поклонился и устоялся на начальника. Переводчик приказал этому крестьянину, не медля, пойти и привести к начальнику своего сына Халила. Сказав «повинуюсь», Кербелай-Джебраил еще раз низко поклонился и скрылся в толпе.

После Кербелай-Джебраила были вызваны еще четверо: Мешади-Юсиф Кербелай-Мухтар-оглы, Кербелай-Заман Мешади-Али-оглы, Мешади-Умат Кербелай-Оруджали-оглы, Мамедали Джафар-оглы. Трое из этих

вызванных вышли вперед, и переводчик послал их, чтобы каждый без всяких разговоров немедленно привел своего сына к начальнику... Но Мамедали Джафар-оглы не явился на вызов и переводчик позвал второй раз:

— Мамедали Джафар-оглы!...

Вытянув шею, крестьяне начали озираться вокруг, но Мамедали не было. Тогда из толпы вышло несколько человек; они приблизились к переводчику и стали божиться, что Мамедали нет в деревне, что он пошел в поле собрать для продажи кенгиз на топку*. Но тут вышли вперед столько же или даже побольше крестьян, которые начали еще усерднее божиться, что Мамедали отроду ни разу не ходил за кенгизом, потому что Мамедали лавочник и собиранием кенгиза никогда не занимался.

Снова в толпе поднялся шум. Всяк твердил свое. Одни кричали, что Мамедали в деревне, другие клялись, что Мамедали пошел за кенгизом. После того, как стражники начальника силою своих плетей кое-как восстановили порядок и тишину, тот же Гаджи-Намазали опять сделал несколько шагов вперед, сложил руки на груди, низко поклонился, и со смирением и кротостью обратился к начальнику:

— Господин, разрешите мне сказать!

Начальник разрешил, и тогда Гаджи-Намазали начал:

— Ага, клянусь создателем земли и неба, клянусь святыми мучениками, клянусь двенадцатью именами, клянусь Иисусом и Мухаммедом, те люди, которых некоторые крестьяне прячут и говорят, что их нет в деревне, все эти люди находятся сейчас в селении Данабаш. Как я дожил раньше, все это просто уловка...

Не успел Гаджи-Намазали окончить свою речь, как слева появился, приложив левую руку к груди, Пирверди-бек с плетью в правой руке. За Пирверди-беком показался невысокого роста крестьянин в большой черной папахе, в коротком архалуке из темной бязи и белых штанах. На ногах у него были чарыхи. С большой кизиловой палкой в руке он вышел вперед и остановился перед переводчиком. Обратившись лицом к начальнику, Пирверди-бек протянул плеть в сторону пришедшего с ним крестьянина и начал:

— Пусть аллах удлинит жизнь господина начальника,

только я подошел к воротам Мешади-Фараджуллы, смотрю, идет с той стороны сам Мешади-Фараджулла и погоняет несколько навьюченных ослов, везет груз из Яйджи. Потому что сейчас орех и сушеный абрикос в хорошей цене в эриванских краях и погонщики не сидят без дела.

После этих слов главы толпы опять загудела, опять засвистели нагайки стражников. Тогда опять вышел вперед Гаджи-Намазали, стал перед начальником и, вытянув левую руку к Мешади-Фараджулле, правой взялся за кончик своей бороды.

— Господин, — проговорил он, — теперь ты убедился в истинности моих слов? Видишь, что все это было уловкой? Ведь только что говорил, будто Мешади-Фараджуллы нет в деревне? И что же?

Затем Гаджи-Намазали повернулся к толпе крестьян, высоко поднял обе руки и сказал громко и внушительно...

РАССКАЗЫ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Было двенадцатое ноября. Холода уже наступили, но снег еще не выпал.

Последний раз, осмотрев больную жену Вели-хана, врач заявил, что здоровье ее окрепло и через неделю можно ехать.

Хан, у которого были срочные дела в Эривани, очень спешил. Кроме того, он боялся, как бы наступившие холода не задержали переезда больной.

Хан взял перо и написал в Эривань своему другу Джафар-аге коротенькое письмо:

«Милый мой! Я собираюсь через неделю выехать с семьей в Эривань. Везу больную жену, поэтому очень и очень прошу тебя — загляни в мою квартиру, прикажи проветрить комнаты, разостлать ковры и протопить печи. Ответ сообщи по телеграфу. Все твои поручения я выполнил. До скорого свидания!

Твой друг *Вели-хан*».

Хан вложил письмо в конверт, наклеил марку, написал адрес и хотел было позвать слугу, чтобы тот отнес письмо на почту, но вспомнил, что отправил слугу по другому делу.

В этот момент постучали в ворота; хан вышел во двор и увидел крестьянина Новрузали из селения Иткапан*.

Новрузали частенько навещал хана, и не было случая, чтобы не привозил с собой каких-нибудь продуктов:

муку, домашнюю лапшу, мед, масло. И на этот раз он явился не с пустыми руками.

Увидев хана, он приставил палку к стене и стал открывать вторую половину ворот. Затем, покрикивая: «Чош, чош!» — ввел во двор нагруженного ослика, снял с него мешки и несколько पिщавших цыплят.

Поставив мешки у стены, он поднял глаза на хана и низким поклоном приветствовал его.

— Послушай, Новрузали, ну зачем ты беспокоился? — сказал хан, отвечая на приветствие.

— Что ты, хан! Какое же это беспокойство? Я твой слуга до самой смерти, — ответил тот, стяхивая с себя пыль.

«Не поручить ли Новрузали отнести письмо на почту?» — подумал хан.

Было уже за полдень, и почту должны были скоро отправить.

— Новрузали, ты знаешь, где почта? — спросил хан.

— Откуда мне, мужику, знать про пошт, хан? — ответил Новрузали.

— Ну тогда, может, знаешь, где помещается управление начальника?

— Знаю, хан, как не знать. Еще на прошлой неделе я приезжал к начальнику с жалобой на старшину. Клянусь твоей головой, хан, сильно притесняет нас старшина... И то сказать, человек он пришлый, недолгобывает нас. На прошлой неделе пропало у меня двое телят, я и пошел...

— Погоди, об этом после расскажешь, а сейчас слушай, что я тебе скажу. Как раз напротив управления начальника стоит большой дом; у дверей этого дома, на стене, висит ящик. Это — почтовый ящик; у него маленькая, длинная крышка... Так, вот, беги туда с этим письмом, подними крышку, опусти письмо в ящик и быстро возвращайся.

Новрузали робко взял обеими руками письмо, оглядел его, поднял глаза на хана, затем, отойдя к стене, наклонился, собираясь положить письмо на землю.

— Не клади туда, — крикнул хан, — запачкаешь! Беги скорей, опусти в ящик и возвращайся.

— Дорогой хан, позволь только повесить на голову осла мешок с овсом. Ведь какой путь он прошел, устал, проголодался.

— Нет, нет! Ничего с твоим ослом не случится! Письмо запоздает... После успеешь покормить.

— Тогда позволь хоть привязать его за ногу, а то он обгрызет кору на деревьях.

— Нет, нет, после. Сейчас беги! Скорее опусти письмо!

Новрузали бережно положил письмо за пазуху.

— Хан, — сказал он, — щиплята связаны. Позволь развязать их и накормить. Корм я прихватил с собой.

И он полез в карман за кормом, но хан остановил его:

— Брось, брось все это, скорее беги с письмом...

Новрузали взял палку и вприпрыжку, как ребенок, побежал к воротам. Вдруг, вспомнив что-то, он остановился и обернулся к хану.

— Ой, хан, милый! Там в платке яйца, следы за ослом, а то ляжет и раздавит их.

Хан начал терять терпение.

— Будет тебе болтать!.. Беги, не то опоздаешь!

Новрузали побежал.

— Новрузали! — крикнул хан ему вслед. — Смотри, никому не отдавай и не показывай письма, опусти в ящик и живо возвращайся.

— Что я, ребенок, что ли, — ответил на ходу Новрузали, — за кого ты меня принимаешь? Сам начальник не отнимет у меня письма! — и скрылся за углом.

Хан вернулся в комнату.

— Ну, свет моих очей, готовься к отъезду, — ласково сказал он жене. — Я написал в Эривань, чтобы квартиру привели в порядок. Благодарение аллаху, здоровье у тебя улучшилось... Наконец-то можем ехать. И врач говорит, что перемена климата поможет тебе.

Пока хан беседовал с женой о поездке, вернулся слуга и доложил:

— Хан, там чей-то осел и мешки.

— Убери мешки. Это привез нам Новрузали из Иткапана, — ответил хан.

Слуга отнес щипляты и яйца на кухню, а осла отвел в конюшню. Затем развязал мешок, взял щепотку муки и принес показать хану.

— Хорошая, хан, мука, белая...

Тот посмотрел на муку и велел подавать обед.

Только после обеда, который длился два часа, Велихан вспомнил о Новрузали. Он позвал слугу. Оказалось, что Новрузали еще не возвращался.

Хан удивился, но решил, что Новрузали, очевидно, опустил письмо и отправился на базар купить и поесть хлеба.

Прошел еще час. Новрузали все не было.

Тогда хан послал слугу на почту узнать, куда запропастился Новрузали. Не прошло и получаса, как тот возвратился и сообщил, что Новрузали нигде не видно.

Хан вышел на террасу и закурил папиросу.

«Должно быть, беда с Новрузали приключилась, иначе он бы не задержался так долго», — подумал хан, прохаживаясь.

В это время во двор вошел полицейский.

— Пристав просит вас пожаловать к нему и поручиться за вашего крестьянина, не то его отправят в тюрьму, — сказал он хану.

Это сообщение ошеломило хана. Он минуту молча смотрел на полицейского, не зная, что сказать.

— Этот крестьянин — безобиднейший человек, — проговорил, наконец, хан. — За что его арестовали?

— Я ничего не знаю, — ответил полицейский. — Пожалуйста в управление, там вам объяснят.

Быстро одевшись и ничего не сказав жене, чтобы зря ее не беспокоить, хан отправился в полицейское управление. Проходя мимо арестного помещения, он заглянул в окно и среди других арестантов увидел беднягу Новрузали, который забился в угол и плакал, как ребенок, вытирая слезы полою чохы.

Узнав от пристава подробности дела и поручившись за Новрузали, хан отвел его к себе домой.

Выйдя во двор, Новрузали первым делом нацепил на голову осла мешок с овсом, затем присел у стены и принялся плакать. Хан прошел в комнату, закурил папиросу и, выйдя на террасу, позвал крестьянина.

— Ну, Новрузали! Расскажи теперь, что с тобой приключилось? Это очень забавная история! О ней можно в книге написать. Рассказывай подробно, от начала до конца!.. Ничего не пропускай. Начни с того, как ты ушел отсюда с письмом и как потом попал в полицию...

Новрузали встал, подошел к хану и, вытирая слезы волной чохи, начал рассказывать:

— Умоляю тебя, хан, прости меня, ради детей твоих! Я ни в чем не виноват. Я — бедный крестьянин. Откуда мне знать, что такое письмо, или ящик, или пошт? Молю тебя, пожалей, не губи. Если останусь жив, отблагодарю тебя за все. Согрешила я, правда, но что же делаты! Видно, уж такова воля аллаха! До самой смерти буду твоим рабом...

С этими словами он подошел к хану еще ближе и нагнулся, чтобы поцеловать его ногу.

— Не огорчайся, Новрузали! Я ни в чем не упрекаю тебя. Да и что ты сделал мне дурного, чтобы я сердился на тебя?

— Хан, умоляю тебя! Что я мог сделать еще хуже? Этот гуур, сын гуура, взял твое письмо, положил в карман и унес.

— Какой гуур?

— Да тот русский, сын гуура.

— Куда же он унес письмо?

— А в тот самый большой дом, что с ящиком на стене.

Прямо в этот дом и вошел.

Хан задумался.

— А разве ты не опустил письмо в ящик?

— Как не опустил! Только я опустил письмо, как появился вдруг этот гуур, каким-то образом открыл ящик, взял письмо и ушел.

— А в ящике разве не было других писем?

— Как не было! Было много писем, он все и забрал...

Хан расхохотался.

— Нет, Новрузали! Расскажи-ка все подробно, от начала до конца: как ты отнес письмо, как опустил его в ящик и как подрался с этим русским.

— Дорогой хан! — начал Новрузали. — Взял я твое письмо и прямехонько отправился к канцелярии начальника. Нашел тот самый дом, о котором ты рассказывал. Подошел и поднял крышку ящика на стене. Хотел опустить письмо, но не решился. Взглянул на письмо, на ящик, задумался, — прогневить тебя страшно. Стою и не знаю, бросить письмо в ящик или нет. Запоматовал, как быть после того, как опущу письмо в ящик, вернуться обратно или стоять там. Подумал: если опустить письмо и дожидаться, то до каких же пор? Ведь сам ты видел,

хан, что я оставил на дворе голодного осла, связанных цыплят, мешки с мукой. Они до сих пор еще там; позволь, хан, позвать слугу и перенести мешки в дом, а ты пойдет дождь, намочит муку.

— Оставь, Новрузали, без тебя все сделают. Рассказывай, что было дальше.

— Не решился я опустить письмо. Закрыв крышку ящика, отошел, стою в стороне. Хотел было вернуться, переспросить тебя. Но, говоря по правде, испугался твоего гнева. Боялся, что ты подумаешь обо мне: «Экое животное это Новрузали, какой ишак!» Ну, присел я на корточки у стены отдохнуть немного. Вдруг смотрю, какой-то мальчик армянин, вот такой, лет двенадцати-тринадцати, идет прямо к ящику, поднимает крышку и бросает туда письмо, похожее на твое. Закрыв крышку и ушел. Сколько я ни звал этого бессовестного мальчишку, чтобы спросить, как же он оставляет письмо и уходит, он ничего не ответил... Не понял меня, что ли, даже не оглянулся. Не успел отойти мальчик, как быстро подбежала русская женщина, тоже опустила письмо и ушла. Тогда я осмелел; думаю, видно, письма и должны остаться в ящике. И так расхрабрился, что, прочитав молитву, смело подошел к ящику, поднял крышку и опустил письмо. Повернулся, чтобы идти назад. Но в это время к ящику подошел какой-то русский. Сначала я подумал, что и он тоже хочет опустить письмо, но, смотрю, не-ет! У плута совсем другие намерения: он запустил правую руку в ящик. Тут я смекнул, что каналья хочет утащить письма... Прости меня, хан, я надоедаю тебе болтовней... Прикажи слуге отпустить меня, уж поздно, не поспею к вечеру домой.

— Да куда я отпущу тебя? Рассказывай дальше!

— Хан, пусть мои сироты будут принесены в жертву ради твоего блага! Чтоб мне ни одного дня не прожить без тебя! Да... вижу, этот плут, не стесняясь, выгребает письма из ящика. Потом закрывает ящик и хочет улизнуть. Тут я подскочил к нему, хватя за руку и говорю: «Ты куда это, голубчик, тащишь письма? Люди оставили их здесь не для того, чтобы ты уносил: сейчас же без всяких разговоров положи их на место, не то!.. Новрузали еще не умер, не позволит; чтобы ты украл письмо, доверенное ему господином. Нехорошо поступаешь. Зачем тянуться к чужому добру? Разве в вашем шарияте

воровство не считается грехом?..» Хан, прошу тебя! Отпусти меня, а то уже поздно, темнеет.

— Да не спеши, успеешь. Рассказывай, что было дальше...

— Да... на чем же я остановился? Да... Эй, эй! Держи, держи! Осел переломает виноградники...

Новрузали кинулся было к ослу, но хан удержал его.

— Так на чем я остановился? Да... Как ни уговаривал я его, как ни просил, ни умолял, как ни уверял, что хан убьет меня, как ни требовал, чтобы он вернул хоть письмо хана, уперся проклятый, ни за что не хочет отдавать... Вижу, решил он убежать с письмами. Гнев ударил мне в голову. Схватил я гяура за плечи и так грохнул о землю, что у него кровь изо рта пошла. Бросились на меня люди из канцелярии начальника, стали избивать, потом потащили в тюрьму. Чтоб мне погибнуть у твоих ног! Не миновать бы мне Сибири, если бы ты не заступился. В тюрьме еще несколько арестованных сидело. Они мне сказали, что я избил русского чиновника. Ну, а что мне было делать! Суди сам, виноват ли я?..

Хан долго смеялся, долго и раскатисто хохотал.

Было уже темно.

Новрузали, голодный, кинул пустые мешки на голодного осла и, погоняя его кизиловой палкой, поплелся обратно домой.

На третий день хан получил из Эривани телеграмму: «Письмо получил. Квартира готова». Хан собрался и уехал в Эривань.

Через полтора месяца Новрузали вызвали в суд и за оскорбление государственного чиновника при исполнении служебных обязанностей присудили к трем месяцам тюремного заключения.

Своей вины Новрузали не признал.

Прошел еще месяц, и это известие дошло до Эривани. Узнав о происшедшем, хан призадумался...

Была зима. Стояли сильные морозы. Мы, двое сеидов из Ирана*, перешли через Аракс на русскую территорию и к вечеру добрались до селения Журналы. На родине у себя жилось нам довольно тяжело и терпели мы большую нужду. Вот мы и решили перебраться в Россию, потому что со стороны местного мусульманского населения всегда доброе отношение и возвращались на родину с обильными дарами.

Пусть благословит аллах мусульман этого края; каждый месяц мы бываем их гостями.

Придя в село, мы узнали, что вечерами крестьяне собираются в конюшню* местного аксакала и почетного человека Бала-Султана и коротают тут долгие зимние ночи за дружеской беседой. И мы направили стопы свои к дому Бала-Султана.

Одна половина конюшни была занята скотиной, и там было темно; а в другой половине было просторно и светло; народу тут было много. Когда мы вошли, все замолчали и, поднявшись на ноги, довольно приветливо и радушно усадили нас там, где было теплее да посветлее. Мы сели. Тут они стали расспрашивать нас о самочувствии. В свою очередь, и мы спросили их о житье-бытье. Короче говоря, крестьяне проявляли к нам такое внимание, будто долгие месяцы только и ждали нашего прибытия. Такое отношение к нам крестьян нас очень обрадовало.

Прежде всего, нас мучил голод. После долгого пути в такой холод мы об одном только и мечтали, чтобы найти гостеприимный теплый уголок и немного отдохнуть и отогреться. Кроме того, мы покинули свои семьи и в

лютую зимнюю пору пустились в это путешествие, чтобы собрать немного денег на пропитание и поскорее вернуться домой.

Встретив такое доброе отношение в Журналы, мы были уверены, что сумму, которую мы рассчитывали собрать, мы получим тут же от собравшихся в конюшню крестьян за один вечер и нам не придется обойти в этот холод другие села; таким образом, мы поскорее вернемся домой и порадуем наши семьи. Вот как радостно было у нас на душе!

Завязался общий дружеский разговор. Крестьяне спрашивали нас о новостях в Иране, а мы их о местных событиях. Выяснилось, что в минувшем году выдался хороший урожай хлопка и хлебов.

Напротив нас сидел какой-то эриванец, приехавший сюда для закупки кожи. За оживленной беседой прошло два часа, и мы в достаточной степени обогрелись и ожидали ужина, потому что когда мы только вошли в конюшню и уселись, хозяин дома Бала-Султан послал своего слугу зарезать петуха и приготовить для нас на ужин плов из риса «садри».

Отворилась дверь конюшни, и первой нашей мыслью, конечно, была мысль о плове. Но вошел, тяжело дыша, как после долгого бега, какой-то высоченного роста парень. Подсев к одному из крестьян, он начал что-то тихо шептать ему на ухо. Через некоторое время парень вышел.

После того, как ушел парень, крестьяне начали тихо шептаться между собой. Это явно не понравилось Бала-Султану, и он сказал недовольным тоном:

— Вам должно быть стыдно, что вы шепчетесь в присутствии наших дорогих гостей. Я никогда не ожидал от вас такого неуважения. Если имете что, скажите открыто, чтобы все мы слышали. Я не могу понять, какое у вас может быть тайное дело, чтобы надо было скрывать от нас.

— Нет, Султан-ага, — ответил один из крестьян, — особенно тайных дел у нас нет. Если такое дело и есть, то оно вас не касается.

Эти слова крестьянина не удовлетворили Бала-Султана, и он сказал, повысив голос:

— Да ты что, с ума что ли спятил? Как то есть меня

не касается? Какое может быть у вас дело, чтобы не касалось меня?

— Нет, Султан-ага, — ответил тот же крестьянин, — право, ничего особенного нет.

И дальше крестьяне опять начали шептаться между собой. Это окончательно вывело из себя Бала-Султана, и он крикнул на крестьян:

— Да уймись же наконец, невежи вы эти! Сейчас же скажите, что случилось и о чем вы шепчетесь?

— Султан-ага, — снова сказал первый крестьянин, — нет у нас другого господина, кроме тебя, и нечего нам скрывать от тебя. Только одного боимся... По правде сказать, боимся, что ты не позволишь...

— Как то есть боитесь? — сердито вскричал Бала-Султан. — Чего вы боитесь, чего я не позволю? На что вы испрашиваете позволения?

— Нет, Султан-ага, — сказал крестьянин. — И не беспокойте! Никаких у нас тайн от вас нет. А если и есть, то не стоит говорить. Мы и без того знаем, что вы все равно не позволите, так-то и говорить не к чему...

Бала-Султан привскочил, вне себя от гнева, и стал громко кричать:

— Будьте вы прокляты! Пусть накажет вас аллах! Проклятье аллаха на ваших родителей! Что вы тянете? Скажите же, наконец, что случилось! Не выводите меня из себя!..

Тогда обратился к Бала-Султану другой крестьянин и сказал:

— Султан-ага, то, что мы задумали, от аллаха не сокрыто, незачем и от тебя скрывать. Только одного мы боимся, что ты не позволишь нам идти.

— А куда вы собираетесь идти? — уже тихим голосом спросил Бала-Султан.

Ответа со стороны крестьян не последовало. Бала-Султан повторил свой вопрос. Крестьяне продолжали молчать. Бала-Султан крикнул раздраженно:

— Куда же вы хотите идти?

Тогда один из крестьян ответил так:

— Султан-ага! Вот тебе сушая правда. Все мы боимся, боимся, что ты не позволишь. Но я открою тебе всю правду. Если и буду знать, что ты убьешь меня, все равно скажу правду. Дело в том, что сейчас, вот сию минуту по почтовой дороге идет в Эривань караван верблюдов

и везет восемнадцать тюков изюма. Да еще какого изюма! Обедение! Об этом только что сообщил Кербелай-Гейдарали. Он рассказал, что один из тюков был немного поврежден и высыпался горсточка изюма на дорогу. Кербелай-Гейдарали жалелся жизнью своего сына, что такого изюма до сих пор еще не привозили из Тебриза... Султан-ага! Пусть благословит аллах память твоего покойного родителя Гусейн-Султана, умоляем тебя, уважь, окажи нам милость!

— Хорошо, а что я должен сделать? — с удивлением спросил Бала-Султан. — Какую милость оказать вам?

Крестьянин минуту молчал, колеблясь, и сказал:

— Ей-богу, Султан-ага и выговорить боюсь, но скажу! Если ты проявишь милосердие и позволишь, мы сейчас вскочим на лошадей, возьмем оружие, остановим караван и отобьем несколько мешков изюма. Привезем сюда и всю зиму будем по вечерам лакомиться по-немногу. К примеру, если привезем десять мешков, то всем нам на всю зиму хватит. Ради аллаха, Султан-ага, такой случай вторично не представится. Султан-ага, не даром же сказал поэт: случай прозевал протак, умный — не упустит. Просишь тебя, Султан-ага, пожалей нас!

— Что вы мелете? — в крайнем удивлении проговорил Бала-Султан. — С ума, что ли, сошли? Не побросали же мешки с изюмом на дороге, чтобы вы пришли да унесли. Не может быть того, чтобы при караване не было охраны или погонщика. Кто же подпустит вас к каравану, чтобы на глазах у всех вы утащили чужое добро?

Тогда выступил еще один из крестьян и сказал так:

— Как то есть не подпустят, Султан-ага? Как посмеет погонщик остановить нас? И потом нас будет не двое или трое безоружных пеших людей. Наверно, при караване будет двое или трое безоружных погонщиков, а нас будет двадцать-двадцать пять вооруженных всадников. Что нам трое жалких погонщиков в чарыхах? Мы и очнуться им не дадим. Султан-ага, напрасно ты думаешь о нас так плохо, мы вовсе не такие уж жалкие трусы!

— Послушайте, ради аллаха, откажитесь от этой мысли! От вас кровью пахнет! Как могу я при седой моей бороде разрешить вам идти на разбой. Братья мои, ей-богу, никакого проку от этой затеи не будет. Откажитесь лучше от своего намерения. Опасное это дело. Вы молодые, пойдете на них, одно слово вы им скажете, одно они

вам скажут, начнется ссора, и может случиться беда. Попробуй потом отвечать перед полицией!

— Султан-ага, — вмешался еще один крестьянин, — ты правильно изволишь говорить, в таком деле и до беды недалеко, и кровь может пролиться, потому что если какой-нибудь жалкий погонщик верблюдов посмеет возразить таким молодым, как мы, то такому погонщику рот может заткнуть только пуля. Но ты напрасно опасешься полиции. Мы все устроим так, что комар носа не подточит. Если и случится беда, мы никогда не поступим так, чтобы кто-нибудь из посторонних знал о нашем деле. Султан-ага, тебе ведь хорошо известно, что в таких делах мы большие мастера. Мы же не новички какие-нибудь. Не первый раз мы пойдем на такое дело, чтобы полиция сумела раскрыть его и причинить нам беспокойство. Клянусь твоей головой, Султан-ага, ни одна душа не узнает о нашем деле.

После некоторого раздумья Бала-Султан сказал:

— Это ты правду сказал: я знаю, что вы не новички, но все-таки боюсь, ей-богу, боюсь. И земля уши имеет, мир полон неблагонадежных людей. Будьте же осторожны, ребята!

Человек десять-пятнадцать из крестьянских парней радостно вскочили с мест и со словами:

— Пусть продлит аллах твою жизнь, Султан-ага! — убежали из конюшни.

За ними вышло еще несколько крестьян. Остальные принялись седлать лошадей, которые находились тут же, в конюшне. Выходившие крестьяне вскоре вернулись в конюшню с новыми крестьянами; все они были одеты по-дорожному и вооружены: у кого кинжал на поясе, у кого ружье в руке. Человек двадцать-двадцать пять вывели из конюшни лошадей и вскоре послышался топот копыт.

Оба мы сидели очень удрученные. Во-первых, нам стало ясно, что все наши надежды рухнули, потому что каких пожертвованных можно было ожидать от подобного рода мусульман? Во-вторых, нас очень беспокоило то, что крестьяне ушли на разбой, потому что все это могло иметь для нас самые печальные последствия.

Эти мрачные мысли не оставляли меня в покое. Видя, как я расстроен, Бала-Султан обратился ко мне и сказал:

— Эх, господа! Ей-богу, времена очень изменились!

Никто и в грош не ставит мнение аксакалов. Все твердо: послушайте, сидите спокойно, от таких затей кровью пахнет, кто занимается разбоем, тот грешит против аллаха и получает порицание от людей. Но что толку, сам говоришь и сам же слушаешь.

Бала-Султану ответил мой товарищ.

— Султан-ага, — сказал он. — Напрасно вы изволите жаловаться на времена. Я так понимаю, что если бы не последовало ваше разрешение, то молодежь не отправилась бы за изюмом.

Кроме нас двоих да Бала-Султана, в конюшне оставался еще один старик. Когда мой товарищ кончил свою речь, этот старик кашлянул, выбил пепел из трубки и, ни на кого не глядя, покачал головой.

— Нет, господа, — сказал он тихо, как бы про себя, — вовсе не так. Наша молодежь не та, как вы думаете. Да пошлет им аллах свое проклятье! Таких наглцов, как наши парни, на всем свете не найти. Если они что задумают, так их ничем не остановишь. Напрасно вы думаете, что без позволения господина Султана они не отважились бы на разбой. Они бы непременно пошли на разбой, если бы Султан-ага и не дал им согласия. Будь они прокляты, они никогда не прислушиваются к мнению других.

В эту минуту издали донесся выстрел. Мы оба вздрогнули и подскочили на месте. Уж очень испугались. Бала-Султан тоже, казалось, забеспокоился и, приподняв голову, стал прислушиваться. А что до старика, так тот, ничуть не меняя положения, преспокойно набил трубку табаком и закурил. Мне казалось, что он не слышит, но я ошибался. Покачивая головой, он пробормотал, потупившись:

— Пусть накажет вас аллах, пусть весь ваш род сгинет с лица земли! Чьих-то детей оставили сиротами?!

Прошло некоторое время, и раздался еще два выстрела. Страх охватил меня. Спутник мой, наклонившись ко мне, испуганно и тихо спросил:

— Что нам делать, Сеид-Гусейн? В какую историю мы влипли!

Я растерянно посмотрел на моего товарища, не зная, что ему ответить.

Через несколько минут издали донесся топот копыт. Немного спустя, раздался еще выстрел. После этого

выстрелили еще раз пять или шесть. Вскоре топот послышался совсем близко. И вот распахнулась дверь конюшни и парни, тяжело дыша, ввели лошадей и свалили в углу несколько мешков изюма. Бала-Султан вскочил с места и обратился к крестьянам:

— Молодцы, ребята, молодцы! Пусть аллах благоволит к вам! Да не прожнуу дня без вас!

Крестьяне молчали. Тогда Бала-Султан обратился к одному из парней:

— Джафарали, почему молчишь? Вы все чем-то расстроены? Или набедокурили?

Джафар молчал. В это время послышался еще топот. Отворилась дверь, и несколько парней втащили в конюшню какой-то тяжелый тюк. Мы подумали, что и это тоже мешок с изюмом. Но оказалось не так: парни втащили в конюшню чей-то окровавленный труп.

Бала-Султан подошел близко, посмотрел в лицо, оглядел платье убитого и проговорил с горечью:

— Пропади вы пропадом! В чем провинился этот несчастный погонщик, что вы его убили, оставили его семью без кормильца?

Никто не проронил ни звука. Тогда Бала-Султан хлопнул обеими руками по коленям и стал кричать:

— Вай, вай, вай! Будьте вы прокляты! Чего ж вы стоите! Берите лопаты и кирки и скорее вырыйте в углу конюшни глубокую яму. Бросим труп в яму и сверху прикроем навозом. За дело! Скорее! Не мешкайте! Надо спешить! Вай, вай!..

Парни стояли, понурив головы и не отвечая Бала-Султану. Один из них не сводил глаз с трупа, другие стояли потупившись.

— Чего вы стоите? — торопил их Бала-Султан. — Чего раздумываете? Теперь уж поздно думать. Скорее беритесь за лопаты!

Парни продолжали стоять, не отвечая Бала-Султану и не глядя на него.

— Оглохли вы, что ли? — рассердился, наконец, Бала-Султан. — Сколько раз можно говорить одно и то же? В самом начале я предупреждал вас, чтобы не ходили на недоброе дело, худо, беды не оберетесь. Вы не послушались меня, пошли и вот из-за нескольких мешков изюма убили человека. Но теперь уж поздно раздумывать. По крайней мере, скройте следы своего злодеяния.

Тогда один из парней положил обе руки на рукоятку своего кинжала и, закатив глаза, сказал Бала-Султану: — Султан-ага, зарыть труп в уголке конюшни дело немудреное: возьму кирку и в одну минуту выкопаю глубокую яму, зарюю труп. Что тут особенного? Но этим мы еще себя не спасем. Как бы глубоко ни закопали труп, все равно его найдут, откопают и всех нас пошлют на каторгу.

Не успел парень сказать это, как все товарищи в один голос поддержали его:

— Он прав! Кербелай-Мамед сказал сушую правду. Всех нас сошлют в Сибирь.

— А что, ребята, вас кто-нибудь видел? — с удивлением спросил Бала-Султан.

— Клянусь твоей головой, Султан-ага, — ответил Кербелай-Мамед, — ни одна душа нас не видела. При караване было всего трое погонщиков. Двоих мы убили при самом караване, а этот несчастный погнался за нами, думая отбить мешки, и добежал до самой деревни. Тут мы его и прикончили, а труп принесли сюда, чтобы никаких следов в нашем селе не осталось.

— Так чего же вы боитесь в таком случае? — спросил Бала-Султан. Вас же никто не видел. Нечего и бояться.

— Султан-ага, — ответил Кербелай-Мамед, — мы никогда в жизни не поступали так неосторожно, как этот раз. Уж наверняка завтра же утром нас свяжут по рукам и уведут в тюрьму.

— Правильно говорят! Так и будет! Наверняка уведут в тюрьму! — заголосили все остальные.

— Братцы! — истоменно воскликнул Бала-Султан. — С какой стати уведут в тюрьму? Кто на вас донесет? Среди нас ведь нет посторонних.

— Прости меня, Султан-ага, — сказал Кербелай-Мамед, качая головой, — но ты сам не знаешь, что говорить. Нет, Султан-ага, ей-богу, нам крышка! Тут уж ничем не поможешь.

Нам уже стало ясно, что крестьяне опасаются нас, боятся, что мы проговоримся где-нибудь об их преступлении или сообщим властям. Чтобы успокоить их на этот счет, товарищ мой обратился к крестьянам:

— Братья, слава творцу, все здесь присутствующие мусульмане и нет среди нас ни одного иноверца. И вы мусульмане, и мы мусульмане, к тому же еще потомки

пророка. Мы не имеем никакой возможности уверить вас, кроме как поклясться нашим святым предком и поцеловать его достославную книгу с тем, что до конца нашей жизни мы нигде ни словом не обмолвимся о том, что было сегодня здесь. И если мы нарушим эту нашу клятву, пусть аллах пошлет две тысячи проклятий на весь наш род до семьдесят седьмого колена и пусть в обоих мирах мы будем покрыты вечным позором!

Когда товарищ мой кончил говорить, Бала-Султан сказал:

— Нет, нет, господа! Напрасно вы сомневаетесь. Совершенно не беспокойтесь и ничего плохого не думайте. Мы прекрасно знаем, что вы никогда не сделаете нам ничего худого.

Бала-Султан замолчал; крестьяне безмолвствовали. Через некоторое время один из них обратился к нам:

— Знаем мы вас, господа! Знаем мы и ваших предков. Кто бы вы ни были, сейды или еще кто, все равно, человеку доверять нельзя. Три года назад двое сейдов убили на почтовой дороге армянина и вытащили у него из кармана два рубля пятьдесят копеек. Потом в Нахичевани они на чем-то сошлись, и вот один из них пошел к начальнику и донес, как они убили того армянина. Мы не можем довериться таким, как вы, сейдам и погубить себя. Пожалейте нас. Вы-то не станете кормить наших детей, когда нас сошлют в Сибирь.

Остальные поддержали говорившего и стали кричать, перебивая друг друга:

— Нет! Нет! Никогда не доверимся! Ни за что не доверимся!..

Бала-Султан снова заступился за нас и начал уговаривать крестьян:

— Послушайте, не городите чушь! Эти люди не из тех! Они вовсе не такие, как вы думаете. Зачем говорить пустое?!

Но крестьяне не поддавались уговорам и кричали в один голос:

— Ей-богу, Султан-ага, не может этого быть! Никому на свете нельзя доверять. Что нам какие-то незнакомые иранские сейды? Нет, Султан-ага, не годится так!..

Тогда мы принялись умолять их:

— Помилуйте! В чем мы провинились перед вами? Не согрешили же мы, что пришли к вам. Ради аллаха, дай-

те нам уйти восвояси. Клянемся святым нашим предком, что мы нигде не пророним ни слова о том, что видели.

Тогда крестьяне стали кричать еще громче:

— Нет, нельзя! Нет, не отпустим! Ни с места, не то пристрелим!

Что было дальше, не помню. В памяти сохранилось лишь то, что несколько парней пошептались между собой и начали медленно подступать к нам. Мой товарищ просунул голову в оконный проем, разбил головой стекло вдребезги и выбросился во двор. За ним выпрыгнул из того же окна я, и упал прямо на товарища. Послышались крики крестьян:

— Держи их!

Выпрыгнув из окна, я тут же пустился бежать, но товарищ мой, бедняга, сделав несколько шагов, упал; затем встал и, ухватившись за меня, заковылял за мной. Вот так, отбиваясь от деревенских собак, с невероятными мучениями мы выбрались из селения.

Измученные и еле живые, мы кое-как добрались до армянского села, переночевали в какой-то заброшенной конюшне и на рассвете, голодные, снова пустились в путь и поздно вечером добрались до селения Нурджаман. Мы шли очень медленно, потому что у моего товарища была ушиблена нога и очень его мучила. Мы так были напуганы, что мечтали лишь об одном: как бы скорее попасть к себе домой...

Через пару дней мы перешли Аракс и ступили на иранскую землю. Удрученные, с пустыми руками мы пришли в нашу деревню. Со страха мы никому не осмелились рассказать о наших злоключениях.

■

Спустя год после этого происшествия мы снова очутились на территории России. Мы намеревались попасть в Эривань. Обойдя стороной селение Журналы, мы заночевали в деревне Улахлы. Расстояние между этими двумя селениями равно полутора агачам. Ночью мы завели разговор о селении Журналы, о Бала-Султане и о разных событиях в этом селении, в надежде разузнать что-нибудь о прошлогоднем ограблении каравана с тюками изюма, об убийстве погонщиков и о последствиях этого дела. Каково же было наше удивление, когда никто не

мог вспомнить о подобном происшествии. В конце концов один из крестьян спросил нас:

— Господа, а не разыграли ли вас журналисты?

Только тут мы догадались, что журналисты не оставили никакого каравана, не отбивали никаких тюков с изюмом и тем более никаких погонщиков не убивали, просто они сыграли с нами «игру в изюм». Только тогда мы поняли, что журналисты затеяли с нами эту игру, чтобы спровадить нас из их села; иначе ведь, когда мы выбросились из окна и пустились бежать, они могли и пристрелить нас из ружья и, поймав, просто прикончить.

УСТА-ЗЕЙНАЛ

Армянский купец Мугдуси-Акоп получил от сына телеграмму, что тот выезжает из Тифлиса. Четыре с половиной года юноша учился в Москве и, окончив университет, ехал теперь на родину. За все четыре с половиной года, проведенные им в Москве, он лишь один раз, три года тому назад, был на каникулах у родителей.

Телеграмма очень обрадовала Мугдуси-Акопа, его жену и младшего сына. Действительно, какое счастье после трехлетней разлуки встретить сына, окончившего курс в университете.

Взяв жену за руку, Мугдуси-Акоп стал обходить комнаты своей квартиры. Осмотрев все, супруги решили: в маленькой комнате поставить кровать и превратить ее в спальню для дорогого гостя, в смежную с ней большую комнату внести письменный стол и устроить ему кабинет, самую большую комнату убрать коврами и превратить в гостиную, четвертую — отвести под столовую, пятую — занять самим, а шестую — предоставить младшему сыну.

Комнаты были в полном порядке, обои еще свежи, полы крашены недавно. Только в зале надо было заштукатурить часть потолка, обрушившуюся во время недавнего ливня.

Мугдуси-Акоп с женой решили позвать какого-нибудь штукатура, чтобы заделать потолок.

Мугдуси-Акоп не ждал сына так скоро. Выезжая из Москвы, сын телеграфировал, что погостит недели две в Тифлисе у дяди.

Поэтому Мугдуси-Акоп не торопился с ремонтом, ожидая, чтобы просох отсыревший от дождя потолок. Знал он, что сын не задержится в Тифлисе, он, конечно, не стал бы откладывать ремонт и своевременно привел бы все в порядок.

На проезд из Тифлиса потребуется три дня, и Мугдуси-Акоп с женой решили сейчас же позвать мастера, чтобы успеть за два дня произвести ремонт и убрать комнаты.

Мугдуси-Акоп знал, что по соседству с ним живет толковый и опытный штукатур по имени Уста-Джафар. Купец пошел к мастеру. На стук вышла босая женщина и сказала, что Уста-Джафар работает в доме Мамед-аги и вернется домой только к вечеру.

Это огорчило Мугдуси-Акопа. Он не надеялся, что найдет свободного штукатура, откладывать же работу до следующего дня не хотелось: вряд ли за оставшийся день можно было заделать потолок, вычистить и убрать комнату после ремонта.

Отправившись в свой магазин, он рассказал об этой неудаче соседу Гаджи-Расулу. Тот расхвалил Уста-Зейнала, недавно приехавшего из Ирана.

Вывали Уста-Зейнала и договорились, что он сегодня же начнет работу, к вечеру следующего дня заделает потолок и уберет сор. За это Мугдуси-Акоп должен был уплатить ему по два рубля в день. Сверх того, купец обещал мастеру еще шесть аршин полусукна, если тот закончит работу в срок.

Через час Уста-Зейнал с учеником Курбаном был уже в доме Мугдуси-Акопа. Оставив хурджин на балконе, мастер вошел в комнату, посмотрел на потолок и сказал:

— Хозяин, боюсь, что к завтрашнему вечеру не успею.

Мугдуси-Акоп стал убеждать его, что работа не бог весть какая и ее можно закончить в срок. Мастер еще раз взглянул на потолок и начал возражать:

— Сегодня до вечера едва ли успеем просеять и приготовить известь, принести лестницу, сколотить помост,

приготовить посуду, да мало ли дела... На все это уйдет уйма времени.

Мугдуси-Акоп не соглашался, утверждая, что это можно сделать за час, и просил мастера постараться ради него и налечь на работу.

Дав Курбану денег и послав его за известью, купец с женой и младшим сыном принялись выполнять распоряжения мастера, который, удобно расположившись на балконе, закурил трубку. Мугдуси-Акоп с сыном притащили со двора и установили в комнате лестницу. Жена Мугдуси-Акопа положила перед штукатуром пачку папирос и спички. Затем отец и сын принесли несколько досок и по требованию Уста-Зейнала заняли у соседей еще одну лестницу.

Через час во двор вошел нагруженный осел. Весь пацканый в извести, хозяин осли с помощью Курбана снял мешки, внес в комнату и высыпал известь на пол. Пустые мешки были брошены на осли, и погонщик, подбодрав животное палкой, покинул двор.

Докурив трубку, мастер выколотил ее, снял с себя поношенную чоху из полусукина, свернул, положил в сторону и попросил у жены Мугдуси-Акопа сито. Когда сито было принесено, Курбан сел в углу залы и стал просеивать известь. Уста-Зейнал с Мугдуси-Акопом принялись устанавливать помост; одну из лестниц они привалили к одной стене, другую — к противоположной; Уста-Зейнал выбрал самую длинную и прочную доску и уложил ее концы на верхних ступенях лестниц.

Приладив доску, Уста-Зейнал вышел на балкон взять папиросу.

— Хозяин, — сказал он, закуривая, — кто строил этот дом?

Мугдуси-Акоп ответил, что дом был построен еще его отцом, но какой мастер строил его, он не знает.

Уста-Зейнал снял папаху, надел на плешивую голову грязную ермолку и, поставив папаху на подоконник, снова обратился к Мугдуси-Акопу с вопросом:

— Хозяин, сколько лет твоему сыну, который едет из России?

Мугдуси-Акоп удовлетворил его любопытство, сказав,

что сыну двадцать четыре года, и еще раз попросил поторопиться с работой.

— Будь покоен, хозяин, чего ты тревожишься? Как бы медленно я ни работал, завтра к полудню все же кончу. Подумав немного, Уста-Зейнал крикнул Курбану:

— Курбан, сейчас только вспомнил! Сбегай живо домой, принеси глиняный кувшин, бадью и кружку.

Призвав на помощь алаха, Курбан встал, стряхнул одежду, обулся и медленно зашагал к выходу. Мугдуси-Акоп сказал Уста-Зейналу, что это все имеется дома и не для чего тратить время и посылать ученика.

Не зная, что ответить, Уста-Зейнал потушил папиросу о подоконник и начал успокаивать купца:

— Хозяин, Курбан живо вернется, ты не волнуйся.

Затем высунулся из окна и, осмотрев двор, спросил:

— Хозяин, а проточная вода есть во дворе?

Мугдуси-Акоп ответил, что имеется канава, в которой постоянно течет вода.

— Это хорошо! — сказал Уста-Зейнал и начал развязывать кушак.

Мугдуси-Акоп ушел к жене.

— Что делают мастера? — спросила она.

Мугдуси-Акоп ответил, что мастера не внушают ему никакого доверия, потому что уж очень медленно поворачиваются.

Часа через полтора Курбан вернулся с кувшином, бадью и кружкой. Уста-Зейнал послал его за водой для замеса извести. Курбан вышел на балкон и, взяв кувшин, спустился во двор, набрал из арыка воды и, принеся наверх, налил ее в бадью и начал возиться с известью. Уста-Зейнал снял архалук, аккуратно свернул, положил на подоконник; потом вышел на балкон, достал из хурджины лопату и, вернувшись, медленно стал подниматься на помост.

— Помогни, святой Али!..

Размешав известь, Курбан так же неторопливо поднялся на четыре ступеньки по лестнице, поставил бадью на доску и спустился вниз.

— Бисмиллах! — сказал Уста-Зейнал, зачерпнул левой рукой известь и, положив ее на лопату, начал замазывать потолок.

Увидев, что мастер принялся, наконец, за работу, Муг-

дуси-Акоп несколько успокоился, а жена с радости предложила Уста-Зейналу чаю.

Тот от чая отказался, но попросил передать ему папиросы и спички, так как у Курбана руки в извести. Мугдуси-Акоп протянул папиросы и спички, и Уста-Зейнал, закурив, продолжал заделывать потолок.

— Хозяин, сколько лет учился твой сын? — спросил он через минуту.

Мугдуси-Акоп ответил, что сын учился четырнадцать лет.

— Машаллах, машаллах! Значит, много он прочел книг?

— Конечно, много.

— Машаллах, машаллах! В таком случае, у него и почерк должен быть хороший?

— Какой почерк? — переспросил Мугдуси-Акоп, не доняв.

— Ну, письмо... как он пишет?

— Конечно, хорошо пишет.

Уста-Зейнал положил лопату на доску, зажег потухшую папиросу и присел на корточки.

— Я думаю, хозяин, что, как бы он хорошо ни писал, все же не напишет, как наши образованные мусульмане. Клянусь аллахом, создавшим и тебя и меня, есть на родине у моего брата сын лет тринадцати-четырнадцати. Нельзя сказать, чтобы он много учился... Ходил в школу при мечети лет семь-восемь, по «Гюлистану»* прошел только первую главу. Но как он пишет, какой почерк...* Да благословит его аллах, да благословит и сохранит аллах и твоего сына!

Чтобы не дать Уста-Зейналу повода продолжать болтовню, Мугдуси-Акоп ничего не ответил.

Тут Курбан сообразил, что известь в бадье высохла и уже не годится; он поднялся по лестнице, снял бадью, высоблил ее и начал замешивать новую порцию извести.

Уста-Зейнал затушил папиросу в растворе, отчего бадья зашипела, и принялся за работу.

— Хозяин, почему у вас нет падишаха? — спросил он.

Но Мугдуси-Акоп вышел из комнаты, не ответив. Вернувшись через полчаса, он увидел, что Уста-Зейнал сошел с помоста, Курбан льет воду, а мастер моет руки лад бадью.

Мугдуси-Акоп спросил, почему Уста-Зейнал прекра-

тил работу. Тот ответил, что должен сходить домой помолиться, так как настал час полуденной молитвы, и что затем он вернется и продолжит работу.

Вернувшись часа через полтора, Уста-Зейнал поднялся на помост, а Курбан начал готовить раствор. Мугдуси-Акоп сел в соседней комнате, чтобы Уста-Зейнал не отвлекался разговорами, и углубился в расписание поездов, прикидывая, каким поездом мог выехать сын и когда он будет дома.

— Готовь, раствор, Курбан! — послышался из зала голос Уста-Зейнала.

«Если поезд выйдет из Тифлиса завтра в пять утра, то к вечеру уже будет на станции Алмалы», — прикидывая Мугдуси-Акоп.

— Курбан, в какого мужтехиды ты веруешь?* — донесся голос Уста-Зейнала.

Ответа от Курбана не последовало.

«Завтра вечером поезд будет на станции Куртляр, значит послезавтра к девяти часам утра сын должен быть уже здесь», — продолжал рассуждать Мугдуси-Акоп.

— Пусть будет проклят мой отец, — разглагольствовал Уста-Зейнал, — если ваши здешние мусульмане хоть на волосок похожи на мусульман. Возьми хотя бы этого бессовестного Ага-Садыха, у которого я работал на прошлой неделе. Ведь у этого проклятого — несметное богатство! Ага-Садых, — говорю ему, — брат мой, для чего ты накопил столько денег и почему не поедешь в Кербелу на поклонение могилам святых?» Так он, бессовестный, начал клясться двенадцатью имамами, что не имеет возможности... Как это не имеешь возможности? Небось, дом строить имеешь возможность? Держать лошадь, суконную чоху носить, трех жен кормить, небось, можешь? Чем же ты после этого отличаешься от армянина? Нет, Курбан, совсем лишились благочестия ваши мусульмане... Дай-ка раствор.

А Курбан, подымаясь по лестнице за пустой бадью, говорил:

— Да благословит аллах прах твоего отца, мастер! Ага-Садых ни в чем не виноват. Что ему делать, если

ть имама не призывает его? А когда тень имама не призвет человека, как может он ехать на поклонение?..

— Не болтай глупостей, — сердито отвечал Уста-Зейнал. — Что значит — тень имама? Очень нужно тени имама призывать вероотступника, если в сердце его нет любви к имама! С какой стати станет имам призывать всяких бездельников, вроде Ага-Садыха?

— Мастер, — отвечал Курбан, подымая на лестницу бадью со свежей известью, — что ни говори, а пока имам не призвет правоверного, нельзя ехать на богомолье.

Уста-Зейнал посмотрел сердито на Курбана, присел на корточки, закурил папиросу и стал говорить, размахивая руками:

— Вот видишь меня? Как есть бедняк... Кроме лопаты и хурджина, ничего у меня нет, потому что сызмальства не имел я никакой склонности к земным благам: ведь земные блага на земле и останутся. Всемогущий аллах сказал в своем коране, что мир никому не останется. Да благословит аллах память и твоих усопших, покойный мой родитель Гаджи-Гейдар был одним из самых почетных людей в Зангяне* и имел хорошее состояние. Когда он умер, мне было двенадцать лет, и решили меня женить. Больше всего старался мой дядя Кербелай-Гуламали, который хотел выдать за меня свою дочь. А дочь у него была еще совсем почти ребенок... Возьми бадью, приготовь раствор... Ей было лет шесть или семь. Но я им сказал, что, если бы мне грозила даже петля, я и тогда не женюсь, пока не поеду на поклонение могилам святых. К тому же и девочка еще юна. Дядя не был против моего паломничества, но хотел сначала женить меня и потом уже отпустить в святой город. Но я заупрямился: «Хоть убейте, хоть морите голодом, все равно поеду!..»

Мугдуси-Акоп вошел в зал и, видя, что Уста-Зейнал, сидя на корточках, услаждает себя беседой, нахмурился и, подняв к потолку обе руки, сердито сказал:

— Уста-Зейнал, ради аллаха, займись своим делом, чтобы завтра к вечеру кончить; если не справишься за завтрашний день, придется бросить работу на половине, потому что послезавтра рано утром приезжает сын.

Уста-Зейнал встал, потрогал уже затвердевшую из-

весть и, велев Курбану замешать свежую, обратился к Мугдуси-Акопу:

— Но что мне делать, хозяин, когда такие вот бездельники сводят человека с ума, не дают спокойно заниматься делом?!

— Милые мои! — сказал раздраженно Мугдуси-Акоп. — Вы сюда зачем пришли — работать или спорить? Если вы станете заниматься спорами, кто же дело-то будет делать?

Уста-Зейнал повернулся к Мугдуси-Акопу и, дважды ударив себя в грудь лопатой, воскликнул:

— Я буду делать, я, я! Чего ты беспокоишься, хозяин? Будь уверен! Да и что это за работа, чтобы я ее к завтраму не кончил? Умер я, что ли, чтоб твоя работа осталась недоделанной? Я не возьму с тебя ни копейки, если к сроку не кончу.

— Хорошо, допустим, ты не возьмешь у меня ни копейки, мне-то какая от этого польза? Ведь потолок-то останется неоштукатуренным, и придется поместить гостя в такую комнату!

— Не беспокойся, хозяин. Аллах велик! Возложи все надежды на аллаха, который из ничего сотворил и землю и небо. Чего ты волнуешься? Если аллах поможет, не то что такую вот работу, а и в десять раз большую закончу в один миг. А если не поможет — я не виноват!.. Курбан, дай раствор!..

До вечера оставался еще час, когда мастера прекратили работу и стали мыть руки. Была заделана едва одна шестая обвалившейся части потолка. Когда Уста-Зейнал ушел, Мугдуси-Акоп настоятельно просил его явиться утром на работу как можно раньше.

— Не беспокойся, хозяин, аллах милостив!.. — обнадлежил его мастер.

На другой день, на рассвете, Уста-Зейнал и Курбан шли к Мугдуси-Акопу на работу. По дороге Уста-Зейнал говорил подмастерью:

— Знаешь, Курбан, я нарочно позвал тебя так рано, чтобы пораньше начать и закончить работу к сроку. Если мы не справимся с ней, будет срам и стыд... Во-

первых, человек ждет сына, у него будут гости, а во-вторых, мы дали слово. Мужчина должен быть хозяином своего слова. Наконец, и перед Гаджи-Расулом неудобно, все же он здесь считается почетным лицом.

Курбан промолчал. Спустя некоторое время, он спросил:

— Мастер, ты взял эту работу с условием окончить ее сегодня к вечеру. Ну, а вдруг не справишься, тогда как? Не сбавит ли нам хозяин плату?

— Что ты болтаешь? Ради Хазрат-Аббаса, не говори глупостей! Такие вещи говоришь, курам на смех! Как это не закончим? Подумаешь, какая работа, чтобы не справиться!

— Да нет же, мастер, я не говорю, что ты не кончишь, я так, на всякий случай, вдруг не поспеешь.

— Ради Имам-Гусейна, не смей меня, этого не может случиться.

Мастера подошли к дому Мугдуси-Акопа. Не прошло и получаса, как Уста-Зейнал уже возился на подмостках, а Курбан, размешивая известь, говорил:

— Мастер, кажется наш хозяин хороший человек?

— Что сказать! Да приведет его аллах на истинный путь! Человек он хороший, — отвечал Уста-Зейнал, забирая раствор правой рукой. — А что толку?

— Мастер, я одного не понимаю. Неужели армяне не видят такой ясной, очевидной вещи? Почему они не принимают ислама?

Уста-Зейнал уже начал замазывать потолок.

— Это — тайна, Курбан. Такие вещи нельзя объяснить. Это ведомо одному аллаху. Допустим на минуту, что все армяне переменили веру и стали мусульманами. Зачем тогда аллаху было создавать ад и кого бы он туда посылал? На все имеются непостижимые причины... А то армяне отлично знают, что наша вера лучше их веры. Всемогущий аллах...

— Прости, мастер, что я перебиваю тебя. Ну, пусть не переходят в нашу веру, но как им не противно есть свиному?

Уста-Зейнал положил лопату на доску и, набивая трубку, задумчиво ответил:

— Мне кажется, армяне отлично разбираются в том, что свиинна никакого вкуса не имеет. Но из упрямства не хотят отказаться от нее. Что им, несчастным, делать?

Человеческая пища — человеку, а такая — им. К тому же все это предопределено аллахом... Возьми бадью, размешай известь.

Курбан поднялся на лестницу за бадью.

— Да! — сказал он. — То-то будет зрелище, когда они пойдут по волосинке над геенной огненной*.

— Знаешь что, Курбан? — начал Уста-Зейнал, пыхая трубой. — Все дело в том, чтобы найти истинный путь. Если человек нашел истинный путь, если аллах, создатель миров...

В это время в зал вошел Мугдуси-Акоп и молча уставился на мастера.

— Хозяин, — обратился к нему Уста-Зейнал, — заклинаю тебя евангелием, скажи на милость, какой вы находите в этой дряни, что едите ее?

Мугдуси-Акоп вышел из себя и стал кричать, потрясая руками:

— Послушай, скажи на милость, тебя для проповедей сюда позвали, что ли?

— Хозяин, да приму все твои болезни, чего ты сердишься? Я спросил просто так. Дай-ка раствор, Курбан...

Мугдуси-Акоп промолчал.

Положив трубку на доску, Уста-Зейнал взял лопату и принялся за работу.

Мугдуси-Акоп хотел прервать работу, рассчитывая с мастерами и прогнать их, но жена отговорила его:

— Где ты сейчас найдешь нового мастера, который бы до вечера закончил работу? Не надо было начинать ремонта, а раз начали, надо довести его до конца.

Супруги решили, что Мугдуси-Акоп пойдет к Гаджи-Расулу и, пожаловавшись на Уста-Зейнала, попросит, чтобы Гаджи-Расул или сам пришел вразумить мастера, или через другого передал ему настойчивую просьбу обязательно закончить ремонт к вечеру. Мугдуси-Акоп обещал прибавить в этом случае мастерам еще рубль.

Купец отправился к Гаджи-Расулу и рассказал ему обо всем. Тот был возмущен поведением Уста-Зейнала и тотчас же послал к нему сына сказать «такому-то сыну», что если сегодня к вечеру он не закончит работы, то не

получит ни копейки и впредь его не будут никому рекомендовать.

Вернувшись через полчаса, сын Гаджи-Расула сообщил, что Уста-Зейнал клялся прахом отца, уверяя, что Гаджи-Расулу нечего беспокоиться; если будет благоволение аллаха, он кончит работу сегодня к вечеру. Если же не кончит, пусть ему не заплатят ни копейки.

Мугдуси-Акоп ничего на это не ответил и, опустив голову, собрался уходить, но Гаджи-Расул остановил его:

— Куда торопишься, кум Мугдуси? Посиди со мной, расскажи, какие новости, что слышно о войне?..

Остановившись в дверях лавки, Мугдуси-Акоп взглянул на часы и сказал:

— У меня дела, гаджи, да и домой надо торопиться, посмотреть, что делают мастера.

— Да оставь ты это! Заклинаю тебя твоей верой, не беспокойся. Или ты, кум Мугдуси, не придаешь значения моим словам? Раз я сказал и раз Уста-Зейнал обещал, значит он обязательно выполнит. Уж будь покоен. Посиди со мной, побеседуем.

— Откровенно говоря, гаджи, я не верю мастерам и очень боюсь, что они не доведут работу до конца.

— Мугдуси, заклинаю тебя твоей верой, не говори этого. Садись...

Сын Гаджи-Расула подал Мугдуси-Акопу стул, и тот сел. Гаджи-Расул принялся опять клясться и уверять Мугдуси-Акопа, что Уста-Зейнал крепко держит данное слово и хорошо известен ему как человек благочестивый, преданный аллаху, честный, искренний, трудолюбивый, дельный, умный, в высшей степени надежный, и не было случая, чтобы он пропустил время молитвы.

А в это самое время Уста-Зейнал говорил Курбану:

— Курбан, теперь ты раскусил этих армян? Им хоть тысячу раз клянись пророком и имамом, ни за что тебе не поверят. Сказать бы гяуру: какая тут работа, что ты мне не доверяешь и напускаешь на меня Гаджи-Расула?! Возьми бадью, дай раствор...

— Мастер, — отвечал Курбан, подымаясь за бадью, — если человек отвернулся от аллаха, стал безбожником и ни во что не верит, его трудно в чем-нибудь убедить.

Взяв кувшин, чтобы налить воды в бадью, Курбан заметил, что кувшин пуст и, что вся вода вытекла на пол. Осмотрев его со всех сторон, он обнаружил в нем трещину.

— Мастер, — сказал он, — ваш кувшин был надтреснут или треснул здесь?

— Нет, — отвечал Уста-Зейнал, — кувшин был цел. Видно, ты его стукнул.

Он слез с помоста и начал осматривать кувшин.

— Курбан, это не наш кувшин. Наш старее и немного больше...

Подумав немного, Курбан вышел на балкон и принес оттуда другой кувшин. Уста-Зейнал взял его из рук Курбана, осмотрел и, повернувшись к Курбану, сказал со вздохом:

— Да поразит тебя аллах, Курбан!

После этих слов Уста-Зейнал еще раз взглянул на ученика с укором; тот не сводил с него глаз.

— Курбан, да поразит тебя аллах! Ты принес воду в кувшине армянина и все осквернил*. Проклятье аллаха на твою голову!

Курбан смущенно смотрел на мастера и молчал. Уста-Зейнал, поморщившись, дважды плюнул на пол, потом в лицо Курбану и, выйдя во двор, присел у арыка мыть руки. Вернувшись, он велел Курбану собрать инструмент, сгреб с подоконника свое платье и, еще раз плюнув в лицо Курбану, вышел. Смущенный Курбан взял хурджин с инструментом и, опустив голову, побрел за ним.

Жена Мугдуси-Акопа подумала, что мастера пошли на обед.

В это самое время Гаджи-Расул беседовал в лавке с Мугдуси-Акопом и уверял его, что Уста-Зейнал давно известен ему как человек благочестивый, праведный, старательный, верный, дельный, умный, в высшей степени порядочный и что до сих пор не было случая, чтобы он пропустил время молитвы.

В этот день Мугдуси-Акоп с женой и младшим сыном до вечера были заняты тем, что таскали из комнаты лестницы, доски, известь и мыли полы.

Поглядывая на незаконченный потолок, Мугдуси-Акоп вспоминал Уста-Зейнала.

А жена Уста-Зейнала до вечера была занята тем, что стирала и сушила белье мужа, который сидел в комнате голышом и ждал, когда просохнет одежда, чтобы пойти в баню и смыть с себя скверну.

На другой день в девять часов утра приехал сын Мугдуси-Акопа.

У Мамед-Вели, десятилетнего сына дяди Садыха, болели глаза. Однажды мальчик сказал матери:

— Мама, у Ахмеда, сына Кербелай-Гасыма, тоже болели глаза. Вчера мы играли с Ахмедом возле канавы. Ахмед сунул в нос колючую травку, и у него пошла кровь из носа. Покапало немного, и сразу поправились глаза.

— Дитя мое, ступай и ты выпусти кровь из носа, — посоветовала мать Мамед-Вели.

Мамед-Вели пошел к канавке, нашел среди трав ту самую колючую травку, левой рукой сунул травку себе в ноздрю, а правой ударил под локоть левой. Из носа Мамед-Вели закапала кровь.

Кровь текла с полчаса. Тогда Мамед-Вели сжал пальцами кончик носа, чтобы остановить кровь, но кровь все текла. Наконец, он позвал мать. Но и та ничем не могла остановить кровь.

В это время дядя Садых принес с базара мясо в корзине. Жена позвала его:

— Поди-ка сюда! Мы ничем не можем остановить кровь из носа Мамед-Вели. Может, ты что-нибудь придумаешь.

Дядя Садых поспешил к сыну и, крепко зажав между пальцами правой руки кончик носа Мамед-Вели, остановил кровотечение. Но кровь, накопившись в ноздре, все-таки нашла себе выход и снова закапала.

— Беги на базар, — встревожилась жена. — Скорей беги к Уста-Гусейну. Он знает толк во врачевании. Скорее беги к нему, не то ребенок изойдет кровью! Не мешкай, беги скорей!

Дядя Садых смыл в арыке кровь с рук и пошел со двора. Он подошел к лавочке Уста-Гусейна в тот момент, когда щирюльник, покончив с бритьем головы своего клиента, прикладывал к порезам кусочки ваты.

Остановившись в дверях, дядя Садых поздоровался. Уста-Гусейн оглянулся и, приняв его за нового клиента, вынул из бокового кармана зеркальце и подержал перед дядей Садыхом. Дядя Садых взял зеркальце и, зажмурив глаза, произнес салават*, потом поднес зеркальце к правому плечу, затем к левому, после чего поднес к лицу и, открыв глаза, принялся левой рукой поглаживать свою красную бороду. Еще раз повторив молитву — салават, дядя Садых протянул зеркальце Уста-Гусейну и сказал:

— Уста-Гусейн, у нашего Мамед-Вели пошла кровь носом, и мы никак не можем остановить ее. Жена послала к тебе попросить у тебя помощи.

Приняв от него зеркальце, Уста-Гусейн прежде всего предложил ему войти в лавку и сесть на нары. После того, как дядя Садых вошел и сел, Уста-Гусейн подошел к нему и приподнял его шапку. Дядя Садых молча смотрел на него снизу вверх.

— Ах, ах! Вай, вай! — начал Уста-Гусейн, качая головой. — Мне жаль тебя, дядя Садых. Не знаю даже, какой конец ожидает тебя. Послушай, или назови себя армянином, чтобы весь народ знал, что ты не мусульманин, но если хочешь быть мусульманином, то, братец мой, какой же мусульманин поступает так, как ты? И не совестно тебе так обростать и не бриться? Да еще не стесняешься говорить, что у Мамед-Вели кровь из носу не останавливается. Это аллах на тебя гневается, вот что! Иначе, где видано, чтобы кровь из носу не останавливалась? Таких мусульман, как ты, постигнут еще не такие беды.

Говоря так, Уста-Гусейн налил в медную чашу холодной воды и стал обеими ладонями растирать голову дяди Садыха, чтобы смягчить волосы. А дядя Садых сидел молча с опущенной головой. Уста-Гусейн вытер руки о свою полу, взял бритву и начал править ее сначала на камне, а затем на ремне. Потом он принялся брить голову дяди Садыха, читая при этом проповедь:

— Дядя Садых, тяжелы, очень тяжелы условия мусульманской религии. Мало кто способен соблюсти их

все до единого. Знаешь ли ты, какой большой грех оставлять волосы на голове? Во-первых, у тех, кто вовремя не бреет голову, не будет никакого достатка в доме. Во-вторых, такого человека постигают всевозможные беды. Я готов поклясться, чем хочешь, что у сына твоего не останавливается кровь из носа только потому, что творец решил наказать тебя за твои грехи. Мой тебе совет: впредь не оступайся так, пожалей себя, бедный человек! Иначе свалится на тебя такое бедствие, что и раскаяньем не поможешь...

Уста-Гусейн кончил брить голову дяди Садыха. Дядя Садых надел на голову шапку, достал две копейки и, протянув Уста-Гусейну, сказал:

— Уста, пусть благословит аллах память твоего родителя!

Взяв деньги, Уста-Гусейн ответил:

— Пусть благословит аллах память и твоего родителя!

И дядя Садых направился к своему дому.

Войдя во двор, дядя Садых увидел, что у сына кровотечение из носа давно прекратилось. Оседлав длинную хворостинку, Мамед-Вели с гиканьем и ржаньем носился по двору.

Жена дяди Гасыма тетя Халима пекла хлеб. Каждый раз, когда надо было печь хлеб, тетя Халима звала на помощь двух или трех своих соседок, а иной раз сообщала и своей сестре Зибейде в селение Тазакенд, чтобы та приехала помочь ей.

На этот раз предстояло печь из десяти пудов муки. Поэтому помощь Зибейды была особенно нужна. Тетя Халима обратилась к мужу и сказала:

— Садись на осла и поезжай скорее за Зибейдой!

Всем известно, что дни, когда выпекается хлеб, — праздник для детей и собак. Почему для собак, само собой ясно: а что касается детей, то те из них, которые ходят в школу, на целых два-три дня остаются дома и присматривают за малышами. Девочки же с утра до вечера играют в камешки с детьми помогающих женщин.

Дядя Гасым завернул в платок несколько лавашей, привязал к спине и собирался уже сесть на осла, когда его тринадцатилетний сын Пирверди побежал, ухватился за хвост осла и сказал:

— Ей-богу, отец, я не отпущу тебя.

Не слушая сына, дядя Гасым сел на осла, но тот не хотел двигаться с места. Тогда дядя Гасым обернулся к сыну и спросил:

— Сынок, почему не даешь мне ехать?

— Я отпущу тебя, — ответил Пирверди, — если ты скажешь тете Зибейде, чтобы она привезла мне петушка. Иначе, ей-богу, не пушу!

Дядя Гасым сказал «хорошо» и ногами ударил осла по бокам, чтобы тот тронулся с места. Но осел продол-

жал стоять, потому что Пирверди крепко держал осла за хвост. Дядя Гасым повернулся к сыну и стал клясться:

— Сынок, клянусь твоей жизнью, я скажу тете Зибейде, чтобы она привезла тебе хорошего драчливого петушка. Дай мне ехать!

Пирверди выпустил хвост осла.

Через два часа пути дядя Гасым доехал до деревни Тазакенд и приближался уже к дому свояка Кербелай-Мухаммеда, когда встретил своего старого знакомого, тазакендского приходского моллу Ахунд-Молла-Джафара и сошел с осла. Поздоровавшись с моллой и рассказав ему, зачем приехал в Тазакенд, дядя Гасым хотел направить осла к дому Кербелай-Мухаммеда, но Молла-Джафар поднес свой посох к голове осла и стал поворачивать его в сторону своего дома, пристав к дяде Гасыму, чтобы тот был его гостем.

И то сказать, дядя Гасым очень деликатный и покладистый человек. Вот он и не мог отказать своему другу и направился к дому Молла-Джафара.

У себя Молла-Джафар попотчевал дядю Гасыма яичницей. Когда убрали посуду, молла сказал дяде Гасыму:

— Братец Гасым! Я удивляюсь тебе и твоим делам. В такую жару ты слушаешься жену и едешь за целых четыре агача из-за того только, что жена изволит печь хлеб. И тебе надо пуститься в путь, объехать все селения и собрать в селение Данабаш всех женинных родственниц, сестриц, кумушек, тетушек, бабушек. Да ты что, слуга дьявола, что ли?

Дядя Гасым сидел, опустив низко голову, и разглаживал рукой ворс ковра.

— Ахунд-Молла-Джафар, ты изволишь говорить сущую правду, — ответил он. — Только я никак не могу совладать со своей женой. Ах ты, такая, сякая. — говорю я ей, — что за трудное дело выпечь хлеб из десяти пудов муки, чтобы вызывать для этого еще свою сестру. Я-то говорю, а она ни в какую. Ничего с тобой не случится, — говорю, — если проработаешь лишний день. Да вот поди же ты, и слушать не хочет.

— Несчастный же ты человек, братец Гасым! — сказал Молла-Джафар.

Через минуту Молла-Джафар вдруг приподнялся на

колених, протянул дяде Гасыму правую руку и громко сказал:

— Братец Гасым, дай мне руку!

Ничего не понимая, дядя Гасым уставился на Молла-Джафара.

— Дай, говорю, руку, братец Гасым!

Медленно, как бы чего-то боясь, дядя Гасым протянул руку Молла-Джафару.

— Братец, Гасым, дай-ка я поженю тебя!

Дядя Гасым ничего не ответил, только помотал головой.

— Братец Гасым, давай возьмем Парнису тебе в жены браком сийга. И вовсе не мотай головой! Сам говоришь, что не можешь справиться с женой. Вот каким образом можно справиться с женой! Ей-богу, я поженю тебя на Парнисе. Правда, она не первой молодости, зато икры потолще соснового бревна!

Вначале дядя Гасым не решался, но потом согласился. Молла-Джафар послал маленькую дочку за Парнисой, прочитал молитву о браке сийга и решил, что дядя Гасым сегодня же посадит свою новую жену на осла и повезет к себе домой. Поразмыслив немного, дядя Гасым согласился и на это.

Дядя Гасым сел на осла, посадил сзади Парнису и отправился в обратный путь. К вечеру он уже доехал до своего селения. Его сын Пирверди стоял на околице и смотрел на дорогу, ожидая свою тетю, которая должна была привезти ему драчливого петушка. Завидев отца еще издали, Пирверди радостно побежал ему навстречу и, приняв женщину, сидевшую позади отца, за тетю Зибейду, схватил ее за чадру и сказал:

— Тетя Зибейда, а ты привезла мне петушка?

Парниса с удивлением повернула лицо к мальчику. Увидев вместо тети Зибейды незнакомую женщину, Пирверди вытаращил глаза и стал растерянно оглядывать ее, а потом бросился на землю и громко захныкал.



Я уже завершал этот мой рассказ, когда вошел мой друг Мозалан* и предложил пойти полюбоваться потасовкой жен дяди Гасыма. Из-за этого я не успел закончить рассказ и остановился на этом месте.

Многие женщины теряли на свете свои башмаки и во время верховой езды, и из повозки или фаятона, и даже на железной дороге.

Один мой приятель рассказывал как-то, что несколько лет назад, когда он ездил с женой в Хорасан, на поклоне гробнице святого, тридцать четыре раза падали башмаки с ног его жены из фаятона, двадцать один раз — во время поездки по железной дороге, когда его жена спускалась или поднималась по лесенке вагона, и сто сорок шесть раз — в Иране, когда они ехали верхом на лошадях.

Этот мой приятель и сейчас уверяет, что при одном упоминании о хорасанской поездке он сразу вспоминает крик жены:

— Ай киши, башмак упал!

Другой мой приятель часто говорит мне, что за всю свою жизнь он ни разу не выезжал с женой куда-нибудь, даже со двора на улицу не выходил. Когда я спрашиваю, почему, он отвечает:

— Потому, что боюсь услышать ее крик: ай киши, башмак упал!

Одним словом, у многих женщин на свете падали башмаки с ног. И в самом деле, что тут особенного, если с ноги женщины упал башмак? Дело простое, упал башмак, крикнешь: ай киши, башмак упал, и муж остановит фаятон, если вы едете на фаятоне, и принесет тебе твой башмак; если вы едете на арбе, остановит арбу, а если едете в поезде, то остановит поезд (впрочем, извозчики этих проклятых железных дорог никогда не слушают, что им говорят).

Итак, у многих женщин на свете падали башмаки с ног, но клянусь аллахом, никто еще так сильно не пострадал от этого, как тетя Фатма.

Муж тети Фатмы, житель города Пуганый Мул Кербелай-Халыкверди как-то купил лошадь в деревне Кизячное. Лошадь была хорошая, но с одним недостатком: при каждом удобном случае она покидала двор своего нового хозяина и бежала прямохонько в селение Кизячное, к своему старому хозяину Мешади-Нурали. И Кербелай-Халыкверди приходилось бегать за ней в Кизячное и приводить обратно.

Однажды тетя Фатма обратилась к Кербелай-Халыкверди с такою просьбой.

— Ай киши, будь милостив, повези меня в святое место Гейдарли. Теперь, слава богу, ты купил лошадь и не придется идти пешком.

Сперва Кербелай-Халыкверди ответил:

— Ради аллаха, отстань, жена!

Но потом согласился.

Город Пуганый Мул находится в двух часах пути от святого места Гейдарли. Дорога, идущая от города к реке Квакушки, ведет далее в селение Кизячное, но если перейти через реку, попадешь в селение Заячий Гон и через час езды будешь в святом месте Гейдарли.

Святое место Гейдарли славится своими чудесами, и о них можно было бы рассказать много интересного, но не желая обидеть шемахинцев, мы этого не делаем.

Кербелай-Халыкверди вывел лошадь, посадил тетю Фатму позади себя и поехал.

Муж и жена ехали, мирно беседуя.

— Фатма, — говорил муж, — кажется, лошадь немного хромает. Я думаю, кузнец Уста-Али загнал гвоздь в мякоть.

А жена отвечала:

— Ай киши, объясни мне, ради аллаха, как эти кузнецы, рази их гром, не боятся вбивать гвозди в копыта лошади? А если вдруг лошадь лягнет?!

На это Кербелай-Халыкверди ответил, что бережного бог бережет.

Беседуя таким образом, они ехали себе спокойно, как вдруг раздался крик тети Фатмы:

— Ай киши, башмак упал!

Кербелай-Халыкверди остановил лошадь и, обернув-

шись, стал вглядываться в дорогу, но ничего не заметил. Тогда он соскочил с лошади и сказал жене:

— Ты возьми повод и придержи лошадь, а я пойду пощупать башмак.

При этих словах тетя Фатма испуганно вскричала:

— Нет, нет, ради аллаха, я боюсь! Я не дотронусь до повода!

Кербелай-Халыкверди перебрал повод через шею лошади и сказал жене:

— Ладно, если будешь сидеть тихо, лошадь не тронется.

И пошел по дороге обратно искать башмак. Лошадь постояла немного и сделала шаг вперед. Тетя Фатма крикнула:

— Ай аман!

Лошадь сделала еще один шаг. Тетя Фатма снова крикнула:

— Ай аман!

Лошадь шагнула еще раз, и тетя Фатма опять крикнула:

— Ай аман!

Тогда лошадь пошла медленным шагом вперед. Вскоре расстояние между лошадью и Халыкверди настолько увеличилось, что крики жены уже перестали доходить до его слуха.

Вспомнив о своем старом стойле у прежнего хозяина, лошадь вскоре скакала к деревне Кизячное. Бедная тетя Фатма, в ужасе воздев обе руки к небу, неистово вопила:

— Ай аман!..

Пусть покуда лошадь мчит тетю Фатму, а мы перенесемся в селение Кизячное.

Прежний хозяин лошади Мешади-Нурали сидел на улице возле ворот своего дома и беседовал с сельским моллой Курбанкули. Кроме них, были тут еще несколько сельчан, которые слушали, что говорил им Молла-Курбанкули. А он говорил:

— Как смеет женщина выходить за ворота дома? Попадают даже такие бесстыжие мусульмане, что бе-

руг с собой жену и отправляются в гости к родственникам.

— Молла, — сказал один из крестьян, — клянусь единым творцом, создавшим нас всех, что я никуда не пойдя, извините за такое слово, мать нашего Джафара.

Другие сельчане тоже покаялись, что в жизни не совершали подобного греха.

И Молла-Курбанкули продолжал:

— Женщину следует загнать в комнату и запереть дверь на замок.

Тогда к Молла-Курбанкули обратился Мешади-Нурали и сказал:

— Молла, правильно изволишь говорить, но если понадобится, к примеру, чтобы женщина пошла к роднику за водой, как же она пойдет, к примеру, если дверь заперта на замок; она же не сможет выйти, к примеру, чтобы сходить по воду.

— Сразу видно, что за глупые слова денег платить не надо, — сердито вскричал Молла-Курбанкули. — Что это за женщина, если она будет, показываться на улице и ходить по воду? Воду надо таскать тебе самому, милейший! Как можно доверять женщине настолько, чтобы выпускать ее на улицу? Жену надо держать взаперти и ключ иметь в кармане.

Поговорив еще таким манером, Молла-Курбанкули спросил у Мешади-Нурали:

— Мешади-Нурали, кому ты продал лошадь?

Тот ответил, что продал лошадь Кербелай-Халыкверди из города Пуганый Мул. Услышав имя Кербелай-Халыкверди, Молла-Курбанкули принялся расхваливать его:

— Вот о ком ничего плохого не скажешь! Это настоящий мусульманин. Я давно знаю Халыкверди и всегда останавливаюсь у него, когда бываю в городе Пуганый Мул. Это настоящий раб аллаха. Не было еще случая, чтобы я услышал голос его жены или видел ее. Добро тебе, Мешади-Нурали, хорошему человеку продал ты свою лошадь.

Мешади-Нурали подтвердил слова Молла-Курбанкули и от себя добавил, что Кербелай-Халыкверди и в самом деле человек очень набожный и честный.

Крестьяне заняты были этой беседой, когда слы-

шался вдруг топот копыт. Они все обернулись к дороге и увидели скачущую верхом женщину.

— Проклятье тебе, слепой шайтан! — воскликнули крестьяне в один голос.

— Астафурулла! — произнес Молла-Курбанкули.

На лошади скакала тетя Фатма. Бедная женщина, боясь упасть, вцепилась обеими руками в луку седла и не могла отнять их, чтобы закрыть лицо чадрой.

При виде мужчин бедная женщина со стыда зарделась вся и виновато оглядела крестьян и моллу.

Лошадь влетела через раскрытые ворота во двор Мешади-Нурали.

В полном недоумении поглядел Молла-Курбанкули вслед лошади, сплюнул и промолвил:

— Пусть проклянет вас аллах, женщины! Пусть уничтожит аллах ваше семя на свете! Из-за вас, бесстыжих, исчезнут на свете добродетель и благодать!

Другие крестьяне тоже послали в адрес тети Фатмы тысячу проклятий и разошлись.

А лошадь тем временем подбежала во дворе к своей старой кормушке под навесом и принялась подбирать сено и солому.

Прибежала потом жена Мешади-Нурали и вместе с несколькими другими женщинами кое-как спустила с лошади онемевшую от ужаса тетю Фатму.

Через полчаса подоспел и Кербелай-Халыкверди.

Бедная тетя Фатма!..

Уворот нашей мечети сидит на выступе старик лет пятидесяти-пятидесяти пяти. Здесь он занимается своим ремеслом: пишет письма неграмотным мусульманам, чаще всего приезжим из Ирана. Зовут его Мешади-Молла-Гасан.

Мешади можно видеть перед мечетью в любое время года — летом и зимой, осенью и весной.

Летом, проходя по улице, можно видеть, как он дремлет, прислонившись головой к стене; а другой раз видишь и такое: перед мешади сидит на корточках какой-нибудь иранец, а мешади, нацепив на нос очки и придерживая на левом колене пол-листа грязной почтовой бумаги, читает, откинув голову и глядя из-под очков, написанное по-фарсидски письмо:

«...во-вторых, если вам угодно будет знать о здешних новостях, слава аллаху, мы все живы и здоровы и молимся за вас, и нет у нас иной печали, кроме разлуки с вами.

Да пошлет всеблагий создатель мира, милосердный аллах, случай еще раз увидеться с вами...»

Проходя зимой мимо мечети, видишь, как Мешади-Молла-Гасан, закутанный в абу, низко склоняется над мангалом с горячими угольями, словно хочет обнять его. Иногда же видишь — какой-нибудь приезжий, примостившись около мангала перед мешади, задумчиво копается в остывающих углях. А Мешади-Молла-Гасан, спрятав правую руку под мышку и держа в левой только что написанное послание, читает:

«...передайте от меня привет двоюродному брату моему Кербелай-Гасыму, двоюродному брату Джафару,

старшей тетке, тетке Сакине, двоюродной сестре Гюльсум; поклон от меня Гейдару, Кербелай-Али; кланяюсь Мешади-Халилу, Мешади-Искендеру, и Гусейну, и Гуламали, и Мешади-Зульфугару, и Уста-Зейналу; низкий поклон от меня дяде Мешади-Рустаму, и Наджафали, и Байраму, и Кербелай-Оруджали, и Сабзали, и Кербелай-Исманлу, и Мамеду. И передайте Мамеду, что брат его Муртуза-кули жив и здоров и работает в Эривани у Гаджи-Гамида садовником, что он здесь женился, имеет ребенка и шлет низкий поклон, а у ребенка болят глаза, но сам, слава аллаху, здоров и шлет привет...»

Мешади-Молла-Гасан — выходец из Ирана. Лет десять-двенадцать тому назад он некоторое время учительствовал в Эривани, у него было учеников семь-восемь, но они вскоре разбежались, потому что за незнание уроков учитель плевал им в лицо. Несколько раз дети жаловались отцам на такое обращение; случалось, что отцы приходили к учителю объясняться и сами плевали в него, но все это было бы еще терпимо, если бы ученики не разбежались.

Итак, ученики разбежались.

Тогда Мешади-Молла-Гасан принялся торговать книгами. И теперь еще около него на камне лежит несколько старых книг, два «Гюлистана», четыре книжки «Джамен-Аббаси»*, коран, два сильно потрепанных тома письмовника, толкователь снов с разодранным переплетом и книга «О вратах рая».

Не повезло Мешади-Молла-Гасану и в торговле. Больше семи-восьми книг за год ему продавать не удавалось.

Вот и взялся он писать письма и этим зарабатывает себе на жизнь. Не проходит дня, чтобы несколько местных крестьян или приезжих из Ирана не обратились к Мешади-Молла-Гасану с просьбой написать письмо. За письмо Мешади-Молла-Гасан берет две, три копейки, а то и целый пятак. Если заказчик слишком уж беден, он пишет и за копейку, но на бумаге заказчика.

Благодарение аллаху, хорошее ремесло. В мусульманском мире нет более прибыльного занятия, чем писание писем по заказу. В Анатолии трудно пройти мимо мечетей: улица всегда запружена мусульманами, окру-

жающими одного-двух молл, которые пишут письма. То же творится в Тегеране, Тебризе, Эривани, Тифлисе, Баку и других городах.

На каждом выступе у входа в гянджинскую мечеть сидит по одному такому же почтенному писцу, как наш Мешади-Молла-Гасан. Их окружает иной раз по двадцать-тридцать человек, ожидающих своей очереди, чтоб заказать письма. Ни войти в мечеть, ни выйти...

Благодарение аллаху! Нельзя пожаловаться на заработок.

Одно досадно: услугами этих писцов пользуются лишь бедняки.

Приходит, например, рабочий в рваной одежде.

— Дядя мешади, напиши для меня письмо!

Мешади-Молла-Гасан тотчас же протягивает к рабочему правую руку и говорит:

— Доставай деньги... посмотрим, сколько у тебя в кармане?

Рабочий сует руку в карман и вынимает две копейки.

— Мало... — заявляет мешади.

Рабочий клянется:

— Больше нет.

Мешади божится:

— Не напишу.

Рабочий уступает и занимает у кого-нибудь еще копейку.

Мешади-Молла-Гасан надевает на нос очки, открывает калемдан с тушью, подливает каплю воды и пробует кончик камышового пера на ногте указательного пальца. Затем вытаскивает из кинги грязный листок почтовой бумаги, разрезает его надвое, убирает одну часть в книгу, другую примачивает на левом колене, макает перо в тушь и начинает выводить замысловатые узоры арабского письма.

Послание он начинает по установленному образцу: «Высокочтимый господин! Во-первых... а во-вторых... низкий поклон и лучшие пожелания...», и заканчивает по-арабски: «Аминь, всевышний аллах!»

Написав обязательноеступление, Мешади-Молла-Гасан обращается к заказчику:

— Ну, теперь говори, о чем писать?

Рассказав свои нужды, клиент платит Мешади-Мол-

ла-Гасану свои копейки, получает исписанный клочок бумаги, прячет за пазуху и идет искать едущего на родину, чтобы через него переслать письмо.

Тринадцатого сентября тысяча девятьсот шестого года Мешади-Молла-Гасан написал два письма: одно для Кербелай-Мамедали из селения Арабляир в Иране, другое для тебризда Уста-Джафара.

Ах, злосчастные письма! Вы перевернули вверх дном весь мир. Иссохнуть бы пальцам, писавшим вас, чтобы они не повергли людей в несчастье!

Перейдем, однако, к делу.

Уже два с половиной года, как Кербелай-Мамедали уехал из Ирана на заработки, чтобы обеспечить свою семью, а семья его состоит из матери, жены и семилетнего сына. В первое время Кербелай-Мамедали работал чернорабочим и за два-три месяца ухитрился сэкономить три-четыре рубля, купить для своих шесть-семь аршин ситца и послать домой.

В прошлом году, когда начались армяно-мусульманские столкновения*, Кербелай-Мамедали уехал на родину и отвез немного денег. Прошло уже восемь месяцев, как он вернулся оттуда, но за все это время послал домой матери всего два рубля. Дважды мать и жена писали ему и просили через знакомых прислать им немного денег, так как им не на что жить.

Кербелай-Мамедали в ответ написал и, кроме того, передал через знакомого, ехавшего домой, что здесь неспокойно, работы мало и пусть они еще немного потерпят: на все воля аллаха, все наладится, и он пришлет денег.

Кербелай-Мамедали был прав, когда писал, что здесь, в России, неспокойно; тут действительно не было спокойно; но он лгал, говоря, что нет работы; не проходило дня, чтобы он не заработал копеек восемьдесят, а то и рубль. Нельзя сказать, чтобы Кербелай-Мамедали не любил своей семьи; ему очень хотелось послать домой деньги. Но как ни старался собрать несколько рублей, никак ему это не удавалось: в кармане всегда было пусто.

Проходило несколько дней, и он говорил себе:
— Иншаллах, отыщу сегодня земляка, едущего на родину, пошлю домой хотя бы два рубля.

Но все никак не мог исполнить свое желание.

Он не мог послать денег из-за того, что у него увеличились расходы, расходы же увеличились потому, что он, с соизволения аллаха и в согласии с шарнатом пророка, обзавелся другой женой, на правах сийга.

Эта другая была вдова и приходилась сестрой товарищу Кербелай-Мамедали, тоже чернорабочему. В первое время эта женщина стирала белье Кербелай-Мамедали.

Однажды товарищ пригласил его к себе. И тут Кербелай-Мамедали случайно увидел голые икры его сестры; они понравились ему, и вскоре после этого он женился на их обладательнице.

Вначале он жил отдельно, снимая угол в караван-сараяе «Лев», и выплачивал жене, согласно условию, рубль в месяц, но, постепенно привязавшись к Парнисе, — так звали жену, — перебрался к ней.

Однажды Кербелай-Мамедали прибежал домой радостный и еще с порога крикнул своей новой жене:

— Парниса, Парниса! Давай муштулук!

— Что случилось? — спросила она с удивлением.

— Давай муштулук! — повторил Кербелай-Мамедали.

— Да что случилось? — переспросила Парниса.

— Не дашь муштулука, не скажу, — твердил тот.

Парниса подошла к Кербелай-Мамедали и, взяв его за руки, стала просить:

— Скажи, ради аллаха, в чем дело?

Но Кербелай-Мамедали не уступал.

— Клянусь аллахом, не скажу без муштулука.

— Хорошо! Муштулук за мной, только скажи, в чем дело?

Тогда Кербелай-Мамедали торжественно объявил:

— У нас в Иране дали конституцию!

Парниса застыла в недоумении.

— Что дали? — спросила она.

— Конституцию... Неужели ты до сих пор не знаешь, что это такое?

Парниса подумала немного и спросила с удивлением:

— А что такое конституция?

Кербелай-Мамедали отвел ее руки и, отвернувшись, недоброльно сказал:

— Ну, вот... Как мне это объяснить тебе? Всему миру известно, что Ирану дали конституцию. Даже уличные мальчишки знают об этом... Сегодня консул вызывал в мечеть всех амшари — иранских подданных. Там молились за шаха, что даровал Ирану конституцию. Я тоже был в мечети. Народу собралось столько, что иголки нигде было упасть. Там был и Кербелай-Гусейнкули. Все земляки радовались. Ведь до сих пор мы, иранские подданные, не видели светлого дня, изнывали в чернорабочих. В России, посмотри, совсем нет чернорабочих из русских, все чернорабочие — бедняки из Ирана. Теперь, Парниса, даст аллах, у нас будет много денег. Ты все приставала, чтобы я купил тебе архалук из русского бархата. Теперь уж обязательно куплю. Ты сама видела, что денег не хватало. Но теперь, даст аллах, денег будет вдосталь. Все мои земляки, Кебле-Имамали, Кебле-Новруз, Гасымали, Орудж, Мешади-Байрам, так радовались, шапки вверх готовы были бросать. Говорят завтра консул соберет всех наших и начнет раздавать конституцию. Ай джан, ай джан! Да здравствует наш падишах! Ай джан!

И Кербелай-Мамедали пустился плясать, щелкая пальцами.

Парниса, радостная и счастливая, подошла к мужу и снова взяла его за руку.

На следующий день, под вечер, Кербелай-Мамедали вернулся домой мрачный и разочарованно сказал жене:

— Консул ничего нам не дал. Сказал, что нашу долю конституции мы должны получить на родине, в Иране.

Парниса насупила брови, и, помолчав, недоверчиво сказала:

— Врешь!

— Пусть будет проклят мой отец, если я вру! — начал уверять жену Кербелай-Мамедали. — Консул ничего нам не дал.

— Врешь, не может быть.

— Клянусь аллахом, ничего не дал...

— Конечно, не даст! Такое уж у меня счастье!.. Здесь не раздают ничего, чтобы все досталось твоей жене в Иране, этой старой карге. Такое уж у меня счастье!..

Посетовав на свою судьбу, Парниса сурово заявила: — Слышишь, Кербелай-Мамедали, я ничего не хочу знать. Раз я твоя жена, хоть слонни, а содержи меня!..

Два месяца я прошу у тебя бархатный архалук, ты все отнекиваешься — денег, мол, нет. А теперь рассказываешь, что консул ничего не дал, а дадут в Иране. Я не потерплю, чтобы мою долю получила и слопала твоя старая ведьма. Или сейчас же пошли письмо, чтобы твою долю старой карге не выдали, а выслали сюда, тебе, или я не знаю, что сделаю с тобой!

Кербелай-Мамедали начал уговаривать жену:

— Ради аллаха, жена, не говори глупостей! Что бы ни раздавали на родине, мою долю выдадут матери, а она пришлет сюда. Валлах, пришлет. Мать очень меня любит. Не беспокойся, ничего не пропадет. Давай лучше ужинать.

Парниса подала мужу ужин, но сама села поодаль в углу и не стала есть.

Пришлось Кербелай-Мамедали уступить и поклясться, что завтра же пошлет на родину письмо, чтобы его долю конституции прислали сюда.

Только тогда Парниса немного успокоилась.

Рано утром выйдя на улицу, Кербелай-Мамедали не знал, как быть. С одной стороны, он очень боялся Парнисы, хотя и сам не знал почему, а с другой стороны, боялся Тукезбан, жены, что осталась в Иране. Не дай аллах, если она, получив письмо, догадается, что муж просит свою долю для новой жены.

Кербелай-Мамедали тщательно скрывал, что женился вторично. Когда он уезжал из Ирана, братья жены предупреждали, что, если он женится на чужбине, они приедут туда и разобьют ему голову. А Тукезбан поклялась приехать из Ирана босиком, с непокрытой головой и вырвать волосы своей сопернице.

Раздумывая обо всем этом, Кербелай-Мамедали дошел до мечети. Как раз в это время Мешади-Молла-Га-

сан кончил письмо для Уста-Джафара из Тебриза. Оно было такого содержания:

«Во-первых... приветы и поклоны... во-вторых... благодарение аллаху... Дорогая матушка! Хотя прошло много времени с тех пор как я приехал на чужбину и тут работаю, но никогда не забываю тебя. Милая матушка! Не обижайся, что я не посылаю денег. Все хочу послать, да не удается; если бы ты знала, как дорога здесь жизнь. Раньше, когда я жил один и расходов было меньше, и мог время от времени посылать тебе несколько рублей... Но сказано в коране — нехорошо правоверному жить одиноким. Поэтому я, по воле аллаха и согласно разъяснению моллы, что неподобает мусульманину жить без жены, прости меня за такое выражение... я, с соизволения аллаха и в согласии с шариадом, женился браком сийга, извини за такое слово. Конечно, жена есть жена, требует лишних расходов. И вот все, что я зарабатываю, уходит на нашу жизнь, и ничего не остается, чтобы прислать тебе. Поцелуй за меня моего мальчика и передай привет всем родственникам».

Мешади-Молла-Гасан только что кончил писать, когда подошел Кербелай-Мамедали и, приветствовав моллу, сказал:

— Дядя молла! Напиши и для меня письмо.

— Баш уста! — ответил Мешади-Молла-Гасан и, обращаясь к Уста-Джафару, сказал:

— Возьми перо, подними.

— Пусть пока сохнет, я схожу за конвертом, потом подпишу, — ответил Уста-Джафар и ушел.

Кербелай-Мамедали присел на корточки перед Мешади-Молла-Гасаном. Тот положил письмо, написанное для Уста-Джафара, на солнышко, вынул из книги листок бумаги и, протянув Кербелай-Мамедали правую руку, сказал:

— А ну, покажи, с чем ты пришел?

Кербелай-Мамедали не спеша полез в карман, вынул три монеты по копейке и положил перед моллой. Тот поднес деньги к глазам, поглядел, потом опустил их в

карман и, подняв левое колено, положил на него бумагу. Потом, обмахнув перо, начал писать: «Во-первых... приветы и поклоны... во-вторых... благодарение аллаху!»

— Говори, что писать? — обратился он к Кербелай-Мамедали.

Тот тихо кашлянул в кулак.

— Дядя молла! Только пусть между нами... — начал он.

Мешади-Молла-Гасан собирался уже писать, но Кербелай-Мамедали схватил его за руку.

— Нет, нет, не пиши! Пока слушай.

Молла отнял перо от бумаги и стал слушать.

— Напиши, — сказал Кербелай-Мамедали, — напиши: «Дорогая мать! Говорят, Ирану дали конституцию...»

«Дорогая мать! Ирану дали конституцию...» — написал молла.

— Пиши, — продолжал Кербелай-Мамедали: — «Вчера консул объявил нам, что нашу долю выдадут на родине, в Иране».

Мешади-Молла-Гасан написал и это.

— Пиши: «Матушка, мне ничего не надо, по...» Как бы это написать, дядя молла? Совестно признаться тебе, но, видишь ли, наша домашняя*, прости за такое слово...

Мешади-Молла-Гасан хотел продолжать писать, но Кербелай-Мамедали снова остановил его, говоря:

— Не пиши! Заклинаю тебя святыми, не пиши! Как бы чего лишнего не написать... Не губи меня, дядя молла, умоляю тебя!

Мешади-Молла-Гасан отложил перо и стал слушать.

— Пиши, — опять начал диктовать Кербелай-Мамедали: «...то, что придется на мою долю, пришли сюда...»

Мешади-Молла-Гасан написал.

Кербелай-Мамедали, подумав, продолжал:

— «Хотя я и не знаю, сколько придется на мою долю, но, если даже будет немного, все равно пришли». Говоря по правде, дядя молла, я бы никогда не заговорил об этом, но разве можно переспорить женщину?

Мешади-Молла-Гасан взялся было за перо, но Кербелай-Мамедали опять его удержал:

— Умоляю тебя, что ты делаешь? Не пиши о женщине ни слова! А то вдруг напишешь, что я женился, потом не оберешься беды. Напиши только, чтобы мою долю послали сюда, и все...

Мешади-Молла-Гасан написал.

Кербелай-Мамедали стал диктовать конец письма:

— «Поцелуй за меня нашего мальчика. И как поживает наша домашняя, извини за такие слова, и еще посылаю низкий поклон всем родственникам и соседям». Напиши все это и кончай.

Мешади-Молла-Гасан написал. Тогда Кербелай-Мамедали попросил прочесть написанное. Мешади-Молла-Гасан начал:

«Во-первых... привет и поклон... во-вторых... всевышний аллах... Дорогая мать! Говорят, Ирану дали конституцию. Вчера консул сказал, что наша доля будет роздана на родине, в Иране. Прошу тебя, матушка, сколько бы ни пришлось на мою долю, пришли сюда, и еще поцелуй за меня нашего мальчика, и как поживает наша домашняя, извини за такие слова. И передай привет всем родственникам и соседям. Конеч».

Окончив чтение, Мешади-Молла-Гасан положил письмо на солнышко рядом с тем, которое сушилось. Тем временем Уста-Джафар принес грязный конверт. Мешади-Молла-Гасан взял его письмо и протянул вместе с пером, чтобы тот подписал.

Уста-Джафар увидел письмо, написанное для Кербелай-Мамедали, и стал его рассматривать.

— Дядя Мешади-Молла! Говоря между нами, то письмо написано красивее. Почерк на моем письме не так хорош.

И, взяв оба письма, стал их сравнивать. Кербелай-Мамедали, выткнув шею, тоже стал молча разглядывать их. Молла взял оба письма из рук Уста-Джафара и, любуясь ими из-под очков, воскликнул:

— Пах-пах-пах! Вот это — почерк! Вот это — письмо! Одно написано лучше другого.

После этого он по ошибке протянул Уста-Джафору письмо, написанное для Кербелай-Мамедали, а письмо, написанное для Уста-Джафара, снова положил сушиться на солнце.

Ничего не подозревая, Уста-Джафар взял из рук моллы письмо, написанное для Кербелай-Мамедали, и, положив его на левое колено, начал выводить свою подпись. Добрых десять минут он пытался и сопел, пока, наконец, нацарапал какие-то каракули. После этого он взял ще-

потку земли, посыпал на написанное и, спрятав конверт с письмом в карман, встал, попрощался и ушел.

Когда Уста-Джафар скрылся с глаз, Мешади-Молла-Гасан предложил и Кербелай-Мамедали принести конверт, но тот решил, прежде чем отправить письмо, показать его Парнисе.

Мешади-Молла-Гасан сложил письмо Уста-Джафара вчетверо и, передавая Кербелай-Мамедали, сказал:

— Найшу адрес, когда принесешь конверт.

Кербелай-Мамедали взяла письмо и, напрягаясь, потянул пером какие-то каракули, отдаленно напоминавшие его имя — «Мамедали». После этого он снова сложил письмо вчетверо, сунул в боковой карман и ушел.

Дома он протянул письмо жене:

— Вот, Парниса! Письмо уже написано. Теперь надо его отправить матери. Тут сказано, чтобы мою долю конституции прислали сюда. Если веришь, ладно, а если не веришь, дай кому хочешь прочесть.

Парниса взяла письмо, развернула, повертела и, снова сложив, положила на полку. Вечером она положила письмо в карман и пошла к брату — Кербелай-Рза.

— Братец! — сказала Парниса, передавая письмо брату. — Ради аллаха, дай кому-нибудь прочесть это письмо, проверить, что тут написано.

Расспросив сестру, о чем письмо, Кербелай-Рза немного задумался, потом сказал:

— Послушай, Парниса, ты совсем свихнулась.

— Почему, братец? — удивилась Парниса.

— Глупышка! Где видано, чтобы из Ирана сюда присылали конституцию?

Парниса стала возражать:

— Почему ты так думаешь, братец? Разве уж так далеко до Ирана, чтобы нельзя было прислать? Селение Арабляр на берегу Аракса, совсем близко, каких-нибудь три-четыре дня пути.

— Арабляр-то недалеко, но как пришлют конституцию оттуда?

Парниса стала сердиться:

— Ах, братец, ради аллаха, не говори так! Отлично могут прислать. Почему бы и нет? Ты вечно насмехаешься надо мной, всякое мое слово считаешь глупым. Раз не

хочешь, отдай письмо, я сама найду человека, который мне прочтет его...

Кербелай-Рза не дал письма и сказал со смехом:

— Ну, ладно. Завтра я отдам его прочесть. Пусть Мамедали пошлет, и ты сама убедишься, что я прав! Где слыхано, чтобы из Ирана возили сюда конституцию? Оттуда доставляют хну, сабу, очищенный миндаль, табак, чай, опиум и прочие подобные товары, но за всю жизнь я ни разу не слышал, чтобы оттуда привозили конституцию. Никогда и не торговали таким товаром...

Немного подумав, Парниса снова попросила брата, чтобы он нашел кого-нибудь, кто сможет прочесть письмо, и брат обещал завтра же исполнить ее просьбу.

На следующий день Кербелай-Рза отнес письмо к Молла-Оруджали. Года два тому назад этот Молла-Оруджали открыл здесь свою школу и, набрав с десятком учеников, обучает их грамоте.

Молла-Оруджали взял письмо, внимательно взгляделся в почерк и сказал:

— Это письмо написано почерком «тарассул», при том очень неразборчиво. Я этого почерка не читаю. Попроси кого-нибудь другого, кто знает.

Кербелай-Рза отнес письмо к учителю русско-азербайджанского училища Мирза-Гасану, который окончил учительскую семинарию и преподавал азербайджанский язык.

Поглядев на письмо, Мирза-Гасан проворчал:

— Чтоб отошли пальцы у того, кто это писал. Почерк такой мелкий и неразборчивый, что ничего не поймешь...

Получив такой ответ, Кербелай-Рза не знал уже, к кому еще обратиться. Тут он вспомнил про Мешади-Гусейна, который хотя и торговал восточными пряностями, но слыл за очень ученого человека, любил рассуждать о шариа, философии и прочих умных вещах. Слушая его, Кербелай-Рза всегда говорил про себя: «Ну, и ученая же голова этот Мешади-Гусейн».

Когда Кербелай-Рза подошел к лавке Мешади-Гусейна, тот отпуская покупателя леденцы и назидательно рассказывал:

— Покойный дед мой, да благословит аллах твоих покойников, беря меня в малолетстве на руки, говорил отцу: «Сын мой, Кербелай-Неманл, береги этого мальчика, глаза его излучают свет науки, он станет ученым». Теперь я убеждаюсь в мудрости дедушки, который еще тогда предвидел мое будущее. Но наука не лезет сама в голову человеку, науку надо изучать, надо кости на этом деле поломать, без этого ничего не выйдет! Пока одолеешь науку, успеешь изрыгнуть молоко матери. Если бы ты знал, какой ценой досталась мне эта наука, сколько меня били по пяткам, сколько колотили, все глаза на ней испортил и только после стольких мучений выбился наконец в ученые. Да, милый мой, это не шутка! Кроме того, надо иметь способности, талант надо иметь. Не всякий, кто учится, может стать ученым.

Кербелай-Рза шагнул через порог и, воспользовавшись паузой, протянул письмо.

— Дядя мешади, да благословит аллах память твоего родителя, прочти, пожалейста, что здесь написано?

Отпустив покупателя, Мешади-Гусейн внимательно посмотрел на письмо.

— Кто это писал? — спросил он.

Кербелай-Рза не знал точно, кто его написал.

— Должно быть, писал молла, что сидит перед мечетью.

Начало было писано по персидски и более или менее разборчиво.

— «Во-первых, главное наше пожелание, чтобы вы были живы и здоровы, а во-вторых, если вам угодно будет знать здешние новости, то, слава аллаху, все мы живы и здоровы и молимся за вас, и нет у нас иной печали, кроме разлуки с вами. Да поможет нам творец вселенной поскорее лицезреть вас! Аминь, всевышний аллах».

Дочитав до этого места, Мешади-Гусейн стал записывать:

— На чужбине... потому что...

Пыхтя и обливаясь потом, он вертел листок бумаги, рассматривал его на свет, но разобрать больше ничего не мог. Наконец бросил его на чашу весов и воскликнул:

— Я знаю, кто это писал. Это не кто иной, как Мешади-Молла-Гасан. Этот злодей, сын злодея пишет так,

что никто не может разобрать. Ученый человек Мешади-Молла-Гасан. Я думаю, что даже в Тебризе не найдется такого... Мало кто в состоянии прочесть то, что написано им! Честь и хвала писцу! Клянусь аллахом, редкий дар у этого человека! Ты посмотри на почерк! Вот это почерк!

Говоря все это, Мешади-Гусейн снова взял письмо в руки и стал любоваться им.

Кербелай-Рза положил письмо в карман и направился домой. Проходя мимо мечети, он увидел Мешади-Молла-Гасана, который сидел на выступе у входа в мечеть и, нацепив очки, писал какому-то крестьянину. Подойдя к нему, Кербелай-Рза поздоровался:

— Салам-алейкум, дядя молла! Ради аллаха, скажи, писал ли ты вчера письмо Кербелай-Мамедали?

Взглянув на него поверх очков, Мешади-Молла-Гасан спросил:

— Какому Кербелай-Мамедали?

— Да тому самому, что просил прислать ему с родины его долю конституции.

— Да, да! — ответил Мешади-Молла-Гасан. — Я писал это. Вчера писал. Хорошо написал, толково, буду спокоен, наверняка приплют. Кажется, это ты и был.

— Нет, то был мой зять.

— Да, да! Не беспокойся, обязательно приплут...

— Да благословит аллах память твоего родителя. До свидания!

Успокоенный, Кербелай-Рза пошел домой, и передавая письмо Парнисе, побожился, что был у самого моллы, который писал письмо, и узнал от него, что все написано в точности, как говорил Кербелай-Мамедали.

Вечером Парниса отдала письмо мужу, чтобы он переслал на родину.

Кербелай-Мамедали отправился в лавку макинского купца Гаджи-Али и оставил там письмо, чтобы его отправили с кем-нибудь из едущих в Шахтахты, откуда через содержателя чайханы Мешади-Искендера письмо должно было быть переправлено в селение Арабляр, его матери.

Прошел месяц. Каждый вечер, когда Кербелай-Мамедали возвращался домой с работы, Парниса встречала его неизменным вопросом:

— Ну как? Есть что-нибудь?
— Пока нет ничего! — отвечал Кербелай-Мамедали. Первое время Парниса не верила, думала, что муж обманывает ее.

Тогда Кербелай-Мамедали начинал божиться:

— Клянусь двенадцатью имамами, не обманываю!

— Обманываешь! — утверждала Парниса.

Тогда Кербелай-Мамедали говорил:

— Пусть будет проклят мой отец, если я обманываю!

— А может, ты вообще и не отправлял письма? — продолжала допытываться недоверчивая Парниса.

— Если не веришь, пусть Кербелай-Рза спросит мажиди Гаджи-Али, послал я письмо или нет, — отвечал Кербелай-Мамедали.

Последнее время каждый раз, когда Кербелай-Мамедали говорил, что на письмо все еще нет ответа, Парниса набрасывалась на мужа с бранью.

— Наверное, уже есть ответ, ты скрываешь от меня!

И Кербелай-Мамедали ничего не оставалось, как клясться еще и еще раз.

Однажды Парниса, проснувшись очень рано, стала прикажи будить Кербелай-Мамедали. Когда тот, сев на постели, стал протирать кулаками глаза, она сказала:

— Кербелай-Мамедали, сегодня обязательно получим ответ на письмо. Что ты мне тогда подарить?

— Что захочешь! — с готовностью ответил Кербелай-Мамедали.

— И ответ будет благоприятный! — продолжала Парниса.

— Откуда ты знаешь?

— Я во сне видела, — сказала Парниса и на вопрос мужа, что же ей приснилось, ответила:

— Тебе какое дело? Я, наверное, знаю, что сегодня обязательно будет ответ.

Кербелай-Мамедали стал упрямиться:

— Ради аллаха, расскажи, что тебе приснилось?

— Не могу рассказать, — отнекивалась Парниса. — Если расскажу, сон не сбудется.

Когда после полудня прошло два часа, Кербелай-Мамедали вернулся домой, Парниса встретила его вприсом:

— Ну, что нового?

— Ничего нет, — отвечал муж.

Парниса достала хлеб и сыр и, положив перед мужем, села рядом.

Отрезав кусок хлеба, Кербелай-Мамедали спросил:

— Ну что, как же твой сон? Ты уверила, что сегодня обязательно будет ответ...

— Кербелай-Мамедали, — отвечала Парниса, — повторю — сегодня придет благоприятный ответ: если мне снятся арбузы, — это к радости. На той неделе сестре Саре приснились арбузы. Когда ее муж Мешади-Ахверди рассказал молле, тот объяснил: видеть во сне арбуз — это к удаче. И я в этом давно убедилась сама. Вчера мне снилось, что покойная тетка Шахрабану приехала к нам в гости (чтоб теперь ей не приехало!). Она меня очень любила (чтоб теперь не любила!). Ехала она на осле, а справа и слева вносили мешки, большие-пребольшие, ну, прямо с дом...

Кербелай-Мамедали расхохотался:

— Да что ты болтаешь? Что это за мешки с дом величиной, ха-ха-ха!

Парниса стала божиться:

— Пусть будет проклят отец того, кто лжет! Клянусь аллахом, не вру. Вот с этот дом. Да... я вышла навстречу тетке и сказала (чтоб не выйти мне теперь и не сказать!): «Тетя, — сказала я, — ради Хазрат-Аббаса, чего ты побеспокоилась...» Покойница обняла меня (чтоб теперь не обнять), поцеловала в одну щеку, поцеловала в другую щеку и дала мне самый большой арбуз. Да благословит ее аллах! Покойная очень меня любила (чтоб не любить ей теперь!)...

Когда Парниса рассказывала все это, Кербелай-Мамедали слышалось, что кто-то останавливает осла:

— Оккуш, оккуш!

Он и Парниса повернулись к окну и увидели медленно входящего во двор осла. На нем сидела женщина, рядом шел какой-то мужчина.

Парниса и Кербелай-Мамедали не узнали прибывших, а Кербелай-Мамедали даже пошутил:

— Вот и сбился сон, тетка Шахрабану везет тебе арбузы...

Разглядывая издали гостей, Парниса и в беспокойстве поднялась. А Кербелай-Мамедали, всмотревшись, вдруг

вскрикнул: «вай!» — и бросился в угол комнаты, чтобы спрятаться.

Парниса, растерявшись, кинулась за мужем... Кербелай-Мамедали метнулся к окну, намереваясь разбить стекло и выскочить во двор. Но, выглянув, передумал, стремительно открыл дверь и пустился бежать по двору без оглядки.

Приехавшая женщина, схватив в каждую руку по камню и ругаясь, кинулась вдогонку за Кербелай-Мамедали.

— Собачий сын, мало было тебе заводить тут вторую жену, еще издеваешься надо мной в письме?!

Мужчина, сопровождавший женщину, тоже бросился за Кербелай-Мамедали. Женщина кинула камень, но попала в курицу. Мужчина швырнул палку, но угодил в стену. Кербелай-Мамедали успел перемахнуть через низкий забор и был таков.

Парниса, оставшись в комнате, кричала, звала на помощь... А со двора доносилась такая отчаянная ругань, какую можно услышать лишь на улице, когда семнадцати-восемнадцатилетние парни играют в альчики.

Женщина, гнавшаяся за Кербелай-Мамедали, была его жена из селения Арабляр, а мужчина — ее брат.

Чем кончилась эта скандальная история, я уж не знаю.

Да благословит аллах твою память, Гоголь!

Сначала по селу прошел слух, что едет уездный начальник, затем выяснилось, что сегодня именины жены пристава.

Крестьяне переполошились. Никто в этот день не вышел в поле. Одни высыпали на окрестные холмы и стали смотреть на дорогу, не едет ли высокий гость, другие толпились у дома пристава. Сюда же, услышав о приезде начальника, собирались крестьяне из других деревень.

Двор пристава был так набит народом, что, кроме старост, писарей и стражников, туда больше никого не пускали.

На дворе происходило настоящее столпотворение; от крика и шума звенело в ушах: блеяли барашки, кудахтали связанные за ноги куры, ржали кони старост.

Вислоухие собаки пристава с оглушительным лаем кидались то на какого-нибудь старосту — гав! то на главу — гав!..

На балконе то и дело появлялась жена пристава. визгливо кричала: «Тише!» — и снова удалялась в комнаты.

Повара в белых фартуках выбегали из кухни и кричали кому-нибудь из старост:

— Эй, достать побыстрей полфунта шафрана!

— Повинуюсь! — следовал почтительный ответ.

И староста, которому давалось поручение, на минуту задумывался, потом, обращаясь к своему писарю, приказывал:

— Мирза-Гасан, гони сейчас же человека в город, пусть раздобудет полфунта шафрана!

Спустя некоторое время выскакивал другой повар

держа нож для рубки котлет; подозвав одного из старост, говорил:

— А ну-ка, доставь сотни четыре-пять яиц, да поживее!

— Да что четыреста, аллах с тобой? Тут больше тыщи будет! — радостно кричал тот, тыча пальцем в корзины с яйцами, стоявшие в углу двора.

И вдруг все забегали: передали, что начальник едет. Старосты кинулись к воротам, собаки бросились за бежавшими, ханум вышла на балкон. Через некоторое время все стихло, словно в озеро с лягушками кинули камень, оказалось, — приехал не начальник, а пристав соседнего участка.

Он соскочил с коня у ворот, поднялся на балкон, сказал что-то по-русски ханум, засмеялся, рассмешил ханум, и оба вошли в комнаты.

И снова стук ножей, топот ног, ржание лошадей, кудахтанье кур, крики старост, тявканье собак слились в оглушительный шум.

Здесь только что приехавшие старосты слезают с коней, снимают и кладут на землю хурджины, полные всякой снеди; там крестьяне тащат посуду, котлы, ковры и пазасы; в глубине двора режут и свежуют ягнят, оцищивают шывлят и кур.

И вдруг снова началась беготня: опять сообщили, что едет начальник. Старосты бросились к воротам, собаки погнались за людьми, ханум с гостем оказалась на балконе, но прошло некоторое время — и снова кинули камень в озеро с лягушками. Подъехавший был не начальник, а казачий офицер.

Он соскочил с лошади, избежал на балкон и, целуя ручку хозяйке, справился о ее здоровье; затем все вошли в комнаты.

Спустя некоторое время повторилась та же история. Сказали, едет начальник, поднялся переполох, но и на этот раз тревога оказалась ложной. Когда люди раступились и гость вошел во двор, все увидели Курбаналибека, известного помещика из селения Капазлы*.

Войдя во двор, он остановился, посмотрел по сторонам. К нему подошел пес и, вилая хвостом, стал лизать его сапог. Курбаналибек нагнулся и погладил собаку.

— Маладес, сабак!

Затем, подняв голову и увидев на балконе ханум, крикнул:

— Издрасти! — И, подняв высоко над головой папаху, закричал: — Ур-р-ра!..

Вступив на балкон, бек склонился перед ханум в глубоком поклоне. Хозяйка протянула руку. Пожимая ее, бек восторженно воскликнул:

— Ханум, пока я жив, я твой слуга!

Ханум рассмеялась.

— Спасибо!

Бек вздохнул, и они ушли в дом.

Спустя некоторое время приехали ветеринарный врач, судебный пристав, два учителя, еще один офицер и врач, оба с женами.

Прошло еще некоторое время, снова началась суматоха: «Начальник едет!..»

С околицы прискакал один из старост, быстро спешился и, перебежав двор, подошел к хозяйке:

— Начальник едет!

Ханум кинулась в комнату, потом снова появилась на балконе; гости вышли из комнаты и, спустившись во двор, поспешили к воротам.

Топот, стук, возгласы, крики: «стой!», «не лезь!», «осади!», «станьте сюда!»

Наконец во двор вошел тучный мужчина в погонах. Он подошел к ханум и, приподняв левой рукой фуражку, поцеловал ей руку. Поздоровавшись с гостями и пожав каждому в отдельности руку, начальник поднялся на балкон и вошел в дом.

После начальника приехало еще несколько гостей, из них некоторые с женами.

Все собрались в зале. На столах были разложены печенье, пирожное, сладкие сухари, конфеты, лимоны, апельсины, сушеные фрукты и прочие яства. В стороне, на отдельном столике, кипел огромный самовар. Прислуга обносила гостей чаем.

Начальник сидел на мягком диване рядом с ханум и беседовал с ней, помешивая ложечкой в стакане. Вокруг них толпились гости.

С улицы через открытое окно донеслось конское ржание, в ответ громко заржала другая лошадь. Некоторые из гостей подошли к окну. Ржание усилилось.

Курбанали-бек, высунувшись из окна, кричал:

— Эй, Кербелай-Гасым, собачий сын, уведи коня по-дальше, а то еще вырвется...

Через некоторое время послышалось еще более неистовое ржание. Курбанали-бек стал орать на слугу, застывая лошадиное ржание. Теперь все гости толпились у окон.

На улице, недалеко от конюшни, стражник водил на поводу белую лошадь уездного начальника.

Поодаль слуга Курбанали-бека прогуливал рыжего бекского коня. Несколько крестьян вываживали в стороне других лошадей. Толпа крестьян перед домом приставляла глаза к окнам.

Лошадь начальника громко ржала, била копытом землю и, косясь на коня Курбанали-бека, гневно грызла удила. А конь Курбанали-бека с заливистым ржанием становился на дыбы, чуть не подымая с земли крепко державшего его под уздцы Кербелай-Гасыма, который покрикивал:

— Но-о-о... Но-о-о... Смотри у меня!

Догадавшись, что рыжий конь принадлежит Курбанали-беку, начальник спросил о возрасте коня. Курбанали-бек, закуривая папиросу, ответил, что коню недавно пошел четвертый год.

Начальник подошел к окну и стал любоваться конем Курбанали-бека.

— Красивый коняга! — похвалил он.

Конь Курбанали-бека действительно был красив. Приложив обе руки к груди и поклонившись, Курбанали-бек ответил:

— Примите его в дар!*

Начальник поблагодарил и, продолжая любоваться конем, спросил:

— А как на скаку?

— Господин начальник! — ответил Курбанали-бек. — Если в уезде найдется лошадь, которая обгонит его, я сбрею себе усы!*

Через полчаса гостей пригласили в столовую, где стоял длинный стол, уставленный всевозможными блюдами и напитками.

Именинница села за столом на почетном месте. Справа от нее сел начальник. Остальные гости также заняли места за столом.

Начальник взял бутылку и налил по рюмке водки себе, соседке, потом другим дамам и остальным гостям. Поднявшись, чокнулся с хозяйкой и поздравил ее:

— С днем ангела, ханум!

После начальника поднялись с мест дамы и господа и произнесли те же слова поздравления. Мужчины за столом опорожнили рюмки и сели.

Именинница подняла рюмку и, поблагодарив гостей, хотела выпить, но вдруг заметила, что рюмка Курбанали-бека не тронута.

— Почему вы не пьете? — спросила она с упреком.

Курбанали-бек улыбнулся и, притворяясь смущенным, молча опустил голову.

Начальник взглянул на него и, расхохотавшись, сказал:

— Неужели вы такой же фанатик, как и все мусульмане?

Некоторые из гостей засмеялись и стали уговаривать Курбанали-бека выпить.

Тогда Курбанали-бек поднял рюмку и сказал:

— На что это похоже, господа? По-моему, это — наперсток, который женщины надевают на палец, когда шьют. Из такой штуки у нас не пьют...

Послышался смех.

— Да, да! Верно! — воскликнула жена пристава. — Это — моя вина. Ведь Курбанали-бек не пьет водки из рюмки!

Она взяла чайный стакан и, наполнив, поставила перед Курбанали-беком.

— Ну, вот это другое дело, — сказал бек, подымая стакан.

— А то поставили наперсток, как будто...

Гости опять рассмеялись; Курбанали-бек одним духом опорожнил стакан и, взяв кусок хлеба, поднес его к носу. Гости стали закусывать. На улице заиграла зурна.

Через два часа все встали из-за стола и собрались у окон.

Весна была в разгаре. Благоухали цветы и травы. Журчали родники. Щebetали птички. Пронзительно звенела зурна, заглушая все остальные звуки. Когда умолкла зурна, вновь слышались оживленные голоса.

На лужайке, у речки, разостлали ковры, разложили подушки. Кипели три огромных самовара; а вокруг была

расставлена посуда со всякой снедью: стаканы, блюда, тарелки, сахарницы, вазы с вареньем, пирожное, лимоны и апельсины, конфеты, печенье, масло, каймак, сушеные фрукты и прочие вкусные вещи.

Старосты плетками сгоняли крестьян плясать «яллы». Когда гости после обеда показались в окнах, крестьяне, прокричав «ура», стали кидать вверх шапки, потом, взявшись за руки, принялись танцевать «яллы». Жена пристава предложила гостям выйти на лужайку пить чай.

Дамы и господа сошли вниз, к речке, а крестьяне снова закричали «ура» и снова плясали «яллы».

Кербелай-Гасым, слуга Курбанали-бека, стоял в стороне и, заложив руки в карманы, издали смотрел на господ. Встретившись взглядом с Курбанали-беком, он низко поклонился ему. Достав папиросу, бек пальцем поманил слугу. Кербелай-Гасым подбежал и, достав спички из кармана, дал беку закурить.

— А ты, дурацкий сын, чего не танцуешь? — спросил Курбанали-бек.

— Я уже стар, ага! — ответил Кербелай-Гасым, низко кланяясь. — Не пристало мне танцевать.

Курбанали-бек пустил вверх табачный дым, взял Кербелай-Гасыма за плечо и потащил к плясавшим крестьянам:

— Валяй, собачий сын! Не то, клянусь аллахом, умрешь под плетью.

Кербелай-Гасым нехотя вошел в круг. Курбанали-бек также присоединился к пляшущим и принялся подпрыгивать.

Жена пристава стала хлопать Курбанали-беку. За ней, поочередно, захопал в ладоши и начальник. Его примеру последовали остальные гости.

А Курбанали-бек, задрав голову и смеясь во всю глотку, орал:

— Ханум! Я хочу выпить за ваше здоровье! Прикажи-те подать вина! Ур-р-ра! Ур-р-ра!

Слуги кинулись за вином.

Выпив, Курбанали-бек опять пустился в пляс. Потом снова потребовал вина.

— За здоровье ханум! — крикнул он, выпил и закружился.

Наконец, запыхавшись, отошел в сторону и, наполнив стакан вином, подошел к Кербелай-Гасыму.

— Пей! — приказал он.

— Ты же знаешь, ага, что я не пью! — возмущился Кербелай-Гасым. — Не заставляй меня пить, прошу тебя! Пожалей мою старость ради детей твоих!

Бек хотел настоять на своем, но, видя, что слугу не переупримишь, вылил на него часть вина, остальное выпил сам.

Гости принялись пить чай. Курбанали-бек подсел к ним и, обращаясь к начальнику, сказал:

— Мой слуга, Кербелай-Гасым — совершенный лопух. Никак не могу заставить его выпить хоть каплю вина. «Дурак ты, дурак, — говорю ему, — ведь виноград-то ты ешь? А почему вина не пьешь? Это же виноградный сок!» Но сколько ни бьюсь, не пьет.

Начальник ответил, что Кербелай-Гасым невежествен и потому не соображает... Но Курбанали-бек возразил:

— Как не соображает? Прекрасно соображает! Разве он не знает, что вино делают из винограда? Знает. А не пьет потому, что кишка тонка.

С полчаса гости пили чай и беседовали. Крестьяне продолжали плясать. Одна из дам часто затыкала уши и шепотом жаловалась мужу:

— От этой зурны оглохнуть можно.

Пристав, заметив это, велел музыкантам прекратить игру.

Но едва замолчали, Курбанали-бек повернулся к ним и крикнул:

— Играйте, бездельники!

Пристав объяснил беку, что музыка беспокоит дам. Но Курбанали-бек пристал:

— Очень вас прошу! Пусть играют, я танцевать хочу!..

И, не дождаввшись, приказал музыкантам:

— Играйте! Сыграйте «Узундара»!

Музыканты хотели было играть, но начальник встал и, надевая фуражку, сказал:

— Потом потанцуйешь, бек! А сейчас пошли за конем, хочу посмотреть его.

— Начальник, — произнес Курбанали-бек, приложив правую руку к глазу. — Пожалуйста, я к вашим услугам.

И, подождав слугу, приказал:

— Кербелай-Гасым, выведи коня, начальник желает посмотреть его.

Кербелай-Гасым побежал в конюшню, вывел коня. Начальник, пристав, Курбанали-бек и некоторые из гостей прошли к коню.

Подойдя к коню, Курбанали-бек стал гладить его. Начальник посмотрел на коня сзади, потом подошел к нему спереди, чтобы посмотреть его зубы, но конь задрал голову и отступил.

— Стой, дурень! — крикнул Курбанали-бек.

Начальник отошел в сторону. Курбанали-бек схватил лошадь за губу и, обнажив зубы коня, обратился к начальнику:

— Пожалуйста, посмотрите! В этом году ему пошел четвертый год. Если не верите, посчитайте сами!

Когда начальник подошел, чтобы взглянуть, конь опять отдернул голову. Взбешенный Курбанали-бек замахнулся на коня кулаком. Конь встал на дыбы и чуть не вырвался из рук Кербелай-Гасыма, который повне на поводу и крикнул:

— Сто-ой! Смотри у меня!

Начальник приказал Кербелай-Гасыму поводить коня. Тот повел коня в сторону. Следуя за слугой, конь терся лбом о его спину и тихонько ржал, озираясь по сторонам.

Затем начальник осведомился о резвости коня. Курбанали-бек посмотрел на начальника и, ничего не ответив, подозвал слугу, вскочил на коня и дал шпоры. Лошадь прыгнула, рванулась и поскакала к дороге. За полминуты она скрылась с глаз. Через несколько минут Курбанали-бек примчался обратно и, влетев на лужайку, чуть не наехал на гостей. Дамы с криком повскакивали с мест и разбежались. Осадив коня, Курбанали-бек соскочил на землю и стал перед начальником.

— Молодец! — похвалил начальник.

— Господни начальник, — произнес Курбанали-бек, — это еще что? Вы не видели другого моего коня. Этот ничто по сравнению с тем!

Кербелай-Гасым увел коня.

Когда зажгли свет, гости сели играть в карты.

К одиннадцати часам гостей пригласили к ужину.

Съев несколько кусочков жареного цыпленка, начальник взял бутылку с вином, налил себе и соседям. Потом встал и протянул бокал, чтобы чокунуться с женой пристава:

— Виновицей сегодняшнего торжества являетесь вы! — сказал он. — По сему случаю поднимаю бокал и пью за ваше здоровье!

Он чокнулся с женой пристава и, осушив бокал, сел. Со всех сторон к хану потянулись бокалы.

Курбанали-бек, подойдя к ней и чокнувшись, сказал:

— Я счастлив, что нахожусь в этом обществе! Пусть продлит аллах дни вашего мужа Михаила Павловича, чтобы он всегда служил в нашем участке! Пока здесь не было Михаила Павловича, и крестьяне наши были несчастны, и я был несчастен... Не знаю, почему-то к прежним приставам я был расположен меньше, чем к Михаилу Павловичу. Правда, несколько лет тому назад был у нас один пристав — хороший парень, можно сказать — рубаха-парень... Он даже собаку мне подарил... Да продлит аллах его дни, и ваши дни, и наши дни! Пью за ваше здоровье, ханум! Ур-ра!

Он выпил и перевернул стакан вверх дном, показывая, что в стакане не осталось ни капли. После этого сел на свое место.

Когда бокалы были снова полны, жена пристава сказала, обращаясь к начальнику:

— Я считаю приятным долгом поблагодарить вас за внимание, оказанное нам, и извиниться за беспокойство, которое вы причинили себе, проехав такой дальний путь.

И поднесла бокал к губам. Гости встали и чокнулись с начальником. Курбанали-бек, подняв стакан, подошел к нему.

— Господни начальник, — сказал он, — пью этот стакан за ваше здоровье! Аллах свидетель, что хотя в нашем уезде и перебивало много начальников, но никого из них я не любил так, как вас. Господни начальник, ты — господни наших жизней. Все население уезда готово положить за тебя свои головы. Я сам по твоему приказанию пойду в огонь, и, пока жив, я — твой слуга, твой раб. Пью за здоровье начальника! Ур-р-ра!

Курбанали-бек выпил, снова опрокинул стакан и вернулся на свое место. Гости продолжали есть.

Через несколько минут поднялся хозяин дома, налил вина в свой бокал, затем наполнил бокалы гостей.

— Милостивые государыни и милостивые государи! — начал он. — Всем известно, что в случае нападения врага нас защитит наша доблестная армия. Поэтому позвольте поднять сей бокал за здоровье офицера нашей армии Николая Васильевича и его супруги Анны Ивановны.

Сказав это, пристав протянул свой бокал к одному из офицеров и к даме, которая сидела рядом с ним. Остальные также чокнулись и выпили. Тогда встал Курбанали-бек и протянул полный стакан к офицеру и его супруге.

— Господин офицер! Ханум! — сказал Курбанали-бек. — Пью за ваше здоровье! Да сохранит аллах навеки вашу тень над нами! Пусть будет вечно остра ваша сабля против врага. Не думайте, что я боюсь врага. Нет, какой враг посмеет выступить против меня? Вот этим кинжалом я проткну его! Врагов я не боюсь! Пока вы стоите на защите нас, никакие враги не страшны... Пока я жив, я — раб твой, ханум! Да здравствует Анна-ханум! Ур-р-ра!

Бек выпил свой стакан до дна.

Затем пили по очереди за здоровье всех присутствующих господ и дам. И каждый раз Курбанали-бек говорил речь и выпивал стакан до дна.

Под конец Курбанали-бек изрядно напился.

После всех подняли бокалы и за его здоровье. Чокаясь с дамами, он был на седьмом небе от счастья. Растроганный, подняв стакан высоко над головой, он воскликнул:

— Господа, раз вы выпили за мое здоровье, я готов отдать за вас жизнь. Пока я жив, никогда не забуду этого дня. Господа! У меня к вам просьба, умоляю не отказать мне в ней. Прошу вас всех пожаловать завтра ко мне. Клянусь аллахом, клянусь прахом отца, я не знаю, как отблагодарить вас за внимание ко мне! Я готов провалиться сквозь землю от смущения, что за мое здоровье пили такие прекрасные ханум... Кто я, чтобы они пили за меня? Я не достоин быть прахом на башмаках этих ханум. Клянусь аллахом, клянусь прахом отца, если завтра вы не приедете ко мне в гости, я покончу с собой! Я хочу лично прислуживать вам, быть вашим слугой. Если завтра вы не будете у меня, я вот этим кинжалом

проткну себе живот. Господин начальник, очень прошу тебя! Ханум, прошу тебя также! Я прошу и господина офицера и Анну Ивановну! Я готов жизнь за тебя отдать, ханум. Господа, я всех вас прошу. Кто не приедет — тот не мужчина. Умоляю вас! А то убью себя! Да здравствуют все ханум! У-р-р-ра! У-р-р-ра!

И, выпив залпом, бек опрокинул стакан.

Закуривая сигару, начальник сказал, обращаясь к жене пристава:

— А что, если мы в самом деле завтра всей компанией нагрянем к Курбанали-беку?

Ханум переглянулась с мужем.

— Я поеду с большим удовольствием. Мне очень интересно, познакомлюсь с женой бека, посмотрю ее туалеты, — сказала она.

Офицер спросил у своей жены, поедет ли она. Та ответила, что поедет.

Кто-то из гостей шутя заметил:

— Что же, можно поехать, если бек обещает угостить нас хорошим пловом.

Услышав о плове, Курбанали-бек вскочил.

— Плов? Вы хотите плов? — закричал он. — Клянусь прахом отца, я угощу вас таким пловом, что пальчики оближете! Кто может потягаться в этом деле с моим поваром? Если не верите, спросите Кербелай-Гасыма. Где Кербелай-Гасым? — И, повернувшись к дверям, Курбанали-бек стал громко звать, будто Кербелай-Гасым стоял в ожидании его зова: — Кербелай-Гасым! Кербелай-Гасым!

Один из слуг пристава вошел и доложил, что Кербелай-Гасыма нет в доме. Курбанали-бек рассердился и приказал немедленно позвать «этого сына дурака». Слуга вышел. Курбанали-бек порывался сам пойти на поиски, но жена пристава удержала его, говоря, что не стоит беспокоиться, слуга сам разыщет Кербелай-Гасыма.

Бек опять начал хвастаться:

— Держу пари, если кто скажет, что когда-нибудь ел такой плов, какой будет у меня, пусть плюнет мне в лицо!

Гости посмеялись.

— Бек, конечно, покажет нам и свою хваленую лошадей! — заметил начальник.

Курбанали-бек подошел к нему и, приложив в знак почтения руки к глазам, произнес:

— Слушаюсь и повинуюсь, господин начальник! Какая больше понравится — пешкеш тебе! Говорю прямо, без всякой лести и угодничества, честно говорю. Какую любибуйшь, клянусь прахом отца, — подарю тебе.

Слуга вернулся и доложил, что Кербелай-Гасым спит. Бек вначале молча уставился на слугу, потом вдруг схватился за рукоятку кинжала и заорал:

— Поди скажи этому злодею, сыну злодея, что, если он сейчас же не явится сюда, я проткну ему живот вот этим кинжалом.

Слуга ушел.

— Зачем будить беднягу? — заметила жена пристава. — На что он вам?

— Как на что, уважаемая ханум? — ответил бек. — Как он смеет засыпать так рано? Пусть придет и подтвердит, что никто не может соперничать с моим поваром в приготовлении плова.

Гости опять стали смеяться. Тараща распухнувшие от сна глаза, явился Кербелай-Гасым.

— Кербелай-Гасым, я зарежу тебя! — сказал ему бек, схватившись за рукоятку кинжала.

Гости рассмеялись, а Кербелай-Гасым, сложив руки на груди, тихо спросил:

— За что, ага?

— Еще спрашиваешь, за что? — ответил сердито бек. — А ну, послушай, что говорят эти господа! Я им сказал, что никто не может сварить плов лучше, чем наш Али, а они не верят.

Кербелай-Гасым по-прежнему тихо ответил:

— Да, ага! Али хорошо готовит плов!

— Ну, что, слышали? — торжествующе воскликнул Курбанали-бек, обращаясь к гостям. — Что скажете?

Гости закивали головами.

— Верно, верно. Верим!..

Кербелай-Гасым ушел.

не. Опустив голову, бек дремал в седле. Порой просыпался, придерживал коня и, обращаясь к Кербелай-Гасыму, грозил:

— Я проткну тебе живот кинжалом!

Кербелай-Гасым больше отмалчивался и только изредка коротко отзывался:

— За что, ага?

Бек ничего не отвечал. Потом снова вскрикивал:

— Кто сумеет сготовить плов так, как Али?

Наконец после двух часов пути подъехали к селению бека. Несколько собак с лаем кинулось на Курбанали-бека. Конь бека метнулся в сторону, чуть не сбросив седока. У бека свалилась папаха, и Кербелай-Гасым, спешившись, поднял ее и подал хозяину. Курбанали-бек, выхватив кинжал, направил коня на собак, и те разбежались.

У ворот бекского дома всадники остановились. Кербелай-Гасым поднял камень и стал стучать в ворота. На шум выбежал мужчина в большой мохнатой папaxe и взял под уздцы коня Курбанали-бека. Бек замахнулся на него кинжалом.

— Али, я проткну тебе живот!

— Все в твоей власти, ага! — покорно отвечал тот.

Бек грузно слез с лошади, пересек двор и поднялся по лестнице. Его встретила старая служанка.

— Почему так поздно, ага? Ханум очень беспокоилась!..

— Гюльперн, я проткну тебе живот! — отвечал бек, показывая ей клинок.

Старуха молча посторонилась. Бек прошел в спальню. Жена спала, уткнувшись головой в подушку. Подойдя к ней и подняв кинжал, бек пригрозил:

— Проткну тебя кинжалом!

Но та не проснулась. Тогда он швырнул кинжал в один угол, папаху — в другой и стал раздеваться, разбрасывая одежду по комнате. Выпив воды, он лег в постель и скоро захрапел.

Встав рано утром и видя, что муж спит, жена Курбанали-бека бесшумно оделась и на цыпочках вышла из комнаты. Старуха служанка подметала двор. Кербелай-

Через полчаса гости начали разъезжаться. Отправился домой и Курбанали-бек в сопровождении Кербелай-Гасыма, который трусцой ехал за ним на кля-

Гасым перед конюшней просеивал ячмень для лошадей. Около кухни повар Али возился с самоваром. В углу двора копошились куры; вокруг них прыгали воробьи, хватая зерна, и при малейшем шуме срывались всей стайкой и рассаживались на ветках тутового дерева.

Увидев хозяйку, служанка с венником в руке подошла и поклонилась ей.

Протирая глаза, хозяйка спросила, когда вернулся бек? Старуха ответила, что очень поздно.

Хозяйка позвала Кербелай-Гасыма. Тот подбежал к ней и поклонился. Хозяйка спросила, почему они вернулись так поздно?

— Ужин затянулся, — ответил слуга, — потому и запоздали.

— А много было гостей у пристава?

— Много, госпожа!

— А кто именно?

— Откуда мне знать, ханум? Много было знатных гостей, много было и ханум. И начальник был. Много было гостей.

— Кербелай-Гасым, — продолжала свои расспросы хозяйка, — а что, женщины сидели вместе с мужчинами или отдельно?

— Вместе, госпожа, вместе сидели...

Услышав это, старуха в ужасе пробормотала:

— Спаси нас, аллах!..

Усевшись на ступеньку лестницы, жена бека стала допытываться у Кербелай-Гасыма о подробностях вечеринки.

— Расскажи, пожалуйста, чем угощали гостей, что делал твой господин, с кем беседовал, о чем говорил? Пожалуйста, Кербелай-Гасым, все расскажи подробно...

Кербелай-Гасым вытер рот и нос полой чохи и, услышав сердитое ржание из конюшни, обернулся и по привычке крикнул:

— Но!.. Н-о-о-о... Смотри у меня!..

— Да говори же, Кербелай-Гасым, — торопила хозяйка.

— Что мне рассказывать, ханум? Много было гостей, и сам начальник был.

— А о чем разговаривали женщины с мужчинами? — не отставала хозяйка.

— Ханум, — отвечал Кербелай-Гасым, — откуда мне

знать, о чем они говорили? Я по-ихнему ведь не понимаю.

— Скажи правду, Кербелай-Гасым, твой господин тоже разговаривал с русскими женщинами? — выпытывала жена бека.

Кербелай-Гасым снова повернулся к конюшне и крикнул на лошадей, потом ответил ханум:

— Господин с женщинами мало говорил. Он больше с начальником.

Повар Али принес самовар и поставил на верхнюю ступеньку лестницы. Служанка приставила венник к стене и, взяв самовар, понесла его в комнату.

— Ханум, что приготовить сегодня на обед? — спросил повар Али, подойдя к хозяйке.

Хозяйка подозвала служанку:

— Курбанали-бек вчера ничего не заказывал на обед?

— Бек вернулся ночью такой сердитый, что хотел зарезать меня! — ответила подошедшая с чайником в руке старуха.

— Ну что ты болтаешь! — удивилась хозяйка. — С ума сошла, что ли?

— Клянусь аллахом, ханум, едва вошел в комнату, как вынул кинжал и закричал: «Сейчас зарежу тебя!»

Ханум немного помолчала, потом обратилась к Кербелай-Гасыму:

— Кербелай-Гасым, почему господин был сердит?

— Да он не был сердит, — ответил слуга. — Просто в деревню на нас набросились собаки и испугали лошадей.

Жена бека встала.

— Кербелай-Гасым, он опять был пьян?

— Нет, ханум, он не был пьян!

Жена бека тихо вошла в комнату и, убедившись, что Курбанали-бек спит крепко, вернулась на балкон и, передавая повару шестнадцать копеек, сказала:

— Купи два фунта мяса и свари бозбаш!

— Повинуюсь! — сказал Али, взяв деньги и вместе с Кербелай-Гасымом пошел на кухню.

■
Солнце поднялось высоко.

Было уже полдень. Расположившись на дворе под тутовым деревом, Кербелай-Гасым кидал камешки в птиц,

клевавших тут, и, подбирая упавшие спелые ягоды, отправлял их в рот. К нему присоединилась и служанка.

Вскоре подошла хозяйка и, поглядев на ветки, полные спелых ягод, велела Кербелай-Гасыму влезть на дерево, натрясти ягод. Служанка принесла из дома большое полотнище. Повар Али, давно закончив приготовление незамысловатого обеда, приблизился к ним.

— Держите полотнище на весу, а я влезу на дерево, — предложил он.

Жена бека, служанка и Кербелай-Гасым развернули полотнище, Али взобрался на дерево, и тотчас градом посыпались крупные, спелые ягоды.

Покончив с нижней веткой, Али полез выше. С верхушки дерева местность была видна, как на ладони. С одной стороны подымались Салпычские горы с селением Сапыч, которое было ясно видно. Под селом белело озеро Ахмед-хана. У озера виднелись мельница и лес Гаджи-Гейдара. Между селением Гапазлы и мельницей полосками пестрели пашни, луга. Кое-где еще пахали.

Окинув взглядом окрестность, Али вдруг заметил возле мельницы Гаджи-Гейдара группу всадников, ехавших к селению. Не обратив на них внимания, он стал было трясти ногой ветку, но, взглядевшись, заметил, что ехавшие не похожи на крестьян. Тогда, наклонившись, он крикнул:

— Кербелай-Гасым, к нам в село едет множество всадников, но это не крестьяне.

Кербелай-Гасым, хозяйка и служанка в недоумении переглянулись.

— Кербелай-Гасым, — сказала хозяйка, — поднимись на крышу кухни, посмотри, кто это едет?..

Тот влез на низенькую стену, окружавшую двор, оттуда на крышу кухни и, затенив рукой глаза, стал внимательно смотреть на дорогу.

Два всадника рысью скакали к селу. Кроме них, никого не было видно. Но вскоре из-за ивняка показалась группа всадников. Пестрели шляпки дам, ярко сверкали на солнце пуговицы на кителях начальника и приставов.

Соскочив с крыши, Кербелай-Гасым побежал к хозяйке и взволнованно сказал:

— Ханум, кажется, это вчерашние гости.

— Что им здесь надо? — спросила ханум, опустив конец полотнища на землю.

— Не знаю, ханум! — ответил, недоумевая, слуга.

В эту минуту на улице поднялся шум, послышались лай собак, беготня, конский топот. В ворота постучали.

Жена бека побежала в комнаты и, выглянув в окно, увидела, что улица перед домом запружена всадниками.

Это были русские чиновники и дамы, приехавшие верхом. Подойдя к воротам, Кербелай-Гасым узнал вчерашних гостей пристава.

Жена бека быстро спустилась во двор, позвала Али и велела сказать приехавшим, что бека нет дома.

Али кинулся к воротам, а хозяйка побежала будить Курбанали-бека. Промычав что-то, бек повернулся на другой бок.

— Эй, муж, вчерашние гости приехали! Курбанали-бек опять замычал. Потом, открыв глаза, послал жену к черту и снова закрыл глаза.

Наконец Курбанали-бек проснулся и, сев на постели, спросил:

— Ну, что случилось?

Жена сообщила, что приехали вчерашние гости пристава. Бек вскочил и заметался по комнате.

— Пусть скажут, что меня нет дома!

Жена бека вышла, а бек, завернувшись с головой в простыню, побежал в конюшню и залез в кормушку.

Когда слуга доложил гостям, что хозяина дома нет, начальник очень удивился. Гости тоже недоумевали. Крестьяне стали прогуливать лошадей.

— А куда же он уехал? — спросил начальник, закуривая папиросу.

— Не знаем! — отвечали слуги.

— Раз он должен был уехать, зачем было приглашать гостей? — воскликнул в досаде начальник, помолчав немного.

— Не знаем! — повторяли слуги.

Одна из дам попросила пить. Кербелай-Гасым быстро сбежал в дом и принес в большой чаше воды.

Гости стояли в нерешительности, поглядывая друг на друга.

— Чего мы ждем? Едем обратно! — предложил кто-то.

И все собрались было ехать, но начальник, вспомнив о лошадях, спросил слугу:

— А лошади бека в конюшне?

Кербелай-Гасым ответил утвердительно. В это время одна из лошадей заржала из конюшни.

— Ну что ж, раз мы проделали такой путь, давайте хоть лошадей посмотрим! — предложил начальник.

Все согласились.

— Можно пройти в конюшню? — спросил начальник Кербелай-Гасыма.

— Пожалуйста! — пригласил слуга.

Начальник, оба пристава, ветеринарный врач, казачий офицер и еще две дамы вошли во двор и направились к конюшне.

При виде их жена Курбанали-бека бросилась в комнату, а гости вошли в конюшню.

Увидав ближайшую лошадь, начальник сказал:

— Ну, это вчерашний конь бека.

Пройдя в глубь конюшни, гости остановились перед рыжей лошастью.

— Вот эта и есть хваленая лошадь бека? — спросил начальник Кербелай-Гасыма.

— Так точно! — ответил слуга.

Гости стали со всех сторон разглядывать лошадь. Начальник подошел спереди, чтобы посмотреть ей зубы. Оказавшись у кормушки он вздрогнул.

— Черт возьми! — вскрикнул он и отскочил в сторону.

Странная фигура, завернутая в простыню, как в саван, белела в кормушке.

Схватив за руку пристава, начальник с опаской приблизился к кормушке и, внимательно всмотревшись, узнал Курбанали-бека.

Он засмеялся и, захлопав в ладоши, воскликнул:

— А-а, приятель, вот ты где!

Подойдя ближе, гости стали с любопытством разглядывать бека. Потом они отошли и остановились в стороне.

Курбанали-бек застыл без движения.

Гости вышли на улицу, сели на лошадей и уехали.

Кум Кебле-Мамед-Гусейна прислал ему из деревни в подарок барашка.

Кебле-Мамед-Гусейн хотел было зарезать барашка, но, потрогав его худую спину, с досадой отбросил нож.

— Кожа да кости! — сказал он жене.

Та посоветовала пустить барашка попасться в сад, нагулять жирок. Барашка втолкнули в сад, но животное даже не притронулось к сочной зеленой траве.

Из соседнего дома Азиз-хана доносилось пение. Зычный голос самого Азиз-хана выводил:

Словно чистый снег, белеешь на горе!
Груди, как гранат, созревший на заре!..

Оставив барашка, Кебле-Мамед-Гусейн вернулся в комнату, повязал кушак, надел чоху, сунул в карман кисет с табаком, заткнул трубку за кушак и сказал жене:

— Я возьму барашка.

— Куда? — спросила жена. — За него и рубля не дадут.

— Нет, не продавать. Понесу хану, авось выгадаю на этом что-нибудь...

И, подхватив барашка под мышку, он зашагал к дому Азиз-хана. Песни и хлопанье в ладоши слышались все явственней:

Словно чистый снег...
Груди, как гранат...

У больших ворот ханского дома стояла группа крестьян, во дворе тоже стояли крестьяне и о чем-то громко спорили. В саду, под тутовыми деревьями, паслось несколько барашков. В углу двора, под навесом, была привязана неоседланная белая лошадь. Из кухни доносился стук ножей. Слуги шныряли между кухней и домом, пронося из кухни полные блюда, а в кухню пустую грязную посуду.

Кебле-Мамед-Гусейн поднялся по лестнице и, войдя в переднюю, обратился к одному из слуг:

— Братец Садых! Доложи хану, что Мамед-Гусейн принес ему барашка.

Через несколько минут изрядно пьяный Азиз-хан, вытирая салфеткой губы, вышел в переднюю и, увидев выглядывавшего из-под мышки Кебле-Мамед-Гусейна барашка, начал гладить его, приговаривая:

— Барашек, барашечек! Какой славный, какой красивый барашек! Бара... бараш... бэ-бээ...

И от переполнившей его душу нежности стал целовать барашка в глаза. Не теряя времени, Кебле-Мамед-Гусейн начал расхваливать барашка:

— Ах, какой прекрасный барашек, хан! Можно сказать, благородный барашек! Вижу, несет его крестьянин на базар. Кое-как уговорил продать мне его за три рубля. Знал я, что у вас гости, и решил, что он пригодится для плова. Отменный барашек!

Хлопанье в ладоши в соседней комнате усилилось. Один из русских гостей появился в дверях и стал звать Азиз-хана. Хан пошел за ним, но, сделав несколько шагов, обернулся, посмотрел на Кебле-Мамед-Гусейна, вынул из кармана трехрублевую бумажку, подержал, хотел положить обратно в карман, раздумав, протянул Кебле-Мамед-Гусейну, затем снова отдернул руку и, наконец, бросил бумажку на пол и побежал к гостям.

Кебле-Мамед-Гусейн поднял деньги и, спустившись во двор, хотел пустить барашка пастись с теми, которые щипали травку в саду. Но увидев, что крестьяне все еще продолжают громко спорить о каком-то арыке, прислуга по-прежнему снует взад и вперед и на него никто не обращает внимания, Кебле-Мамед-Гусейн накрыл барашка полкой чохи и направился к воротам.

Придя домой, он зарезал барашка и съел.

Барашек и в самом деле оказался очень тощим...

||

Прошло недели две. Как-то раз, слоняясь без дела, Кебле-Мамед-Гусейн подошел к дому Азиз-хана. Во дворе слуга вытряхивал ковер. Увидя в воротах Кебле-Мамед-Гусейна, он оставил ковер и подошел к нему. Началась беседа о том о сем. В глубине двора были видны два барашка. Кебле-Мамед-Гусейн начал выговаривать слуге за то, что тот оставляет ворота открытыми: барашки могут выйти на улицу, и мальчишки-сорвиголовы утащат их...

— Будь покоен! — отвечал слуга. — Какой собачий сын осмелится утащить у хана барашка?..

Потом Кебле-Мамед-Гусейн стал расспрашивать о здоровье хана. Ему хотелось разузнать, когда предполагается очередной кутеж. Слуга как-то сказал в разговоре, что послезавтра у хана будут гости: мировой посредник и жена русского врача. Кроме них, придут и пристав с Демир-тепе, и Гулам-хан, и Сефи-хан...

Через два дня в доме Азиз-хана опять стоял страшный шум. На этот раз были специально приглашены и музыканты с певцом. В воротах толпились мальчишки со всей улицы.

Кебле-Мамед-Гусейн растолкал мальчишек и начал стучать в ворота. Ворота были открыты, но он не хотел входить во двор.

Песня и музыка, хлопанье в ладоши, крики слуг во дворе — все сливалось в оглушительный шум.

— Братец Великули, братец Великули! — окликнул Кебле-Мамед-Гусейн проходившего с подносом слугу. — Подойди-ка на минутку...

Великули отнес посуду и подошел к Кебле-Мамед-Гусейну. Поздоровавшись с ним и спросив о здоровье, Кебле-Мамед-Гусейн сказал:

— Братец Великули! Надо же совесть иметь! Я человек бедный! Как-нибудь попроси хана, чтобы отдал мне три рубля за барашка... Клянусь жизнью, у меня безвыходное положение... Уже две недели я все хожу и никак не могу получить свои деньги. И совестно как-то...

— Хорошо, передам! Только хану теперь не до тебя. Завтра скажу.

И Великули хотел уже уходить, но Кебле-Мамед-Гусейн схватил его полу и, обняв за шею, начал упрямиться:

— Нет, нет, очень прошу, скажи сейчас, сейчас же скажи.

— Да что ты в самом деле? Как я могу говорить хану сейчас о таких вещах; сам видишь, что он занят гостями. Кебле-Мамед-Гусейн рассердился.

— Велик аллах! Что это значит? Я за свои деньги пришел, при чем тут гости? Братец, заклинаю тебя Хазрат-Аббасом, поди к нему сейчас же и принеси мои деньги.

В эту минуту повар позвал Великули. Обещав как-нибудь уладить дело, Великули побежал в кухню и, взяв большой круглый поднос с пловом и другими блюдами, понес в дом.

Один из молодых ханов танцевал перед музыкантами. Гости хлопали в ладоши. Сделав круг, танцующий остановился перед женой врача и поклонился, приглашая ее. Дама отказывалась, уверяя, что не умеет танцевать. Гости окружили ее и стали упрямиться. Наконец она сдалась и попросила музыкантов сыграть трепака. Гости стали хлопать еще усерднее. Жена врача начала плясать. Азиз-хан наполнил бокал, вышел на середину и выпил за здоровье ханум. Потом достал из кармана три рубля, всунул в папаху одного из музыкантов и принялся хлопать в ладоши.

Не дождавсь Великули, Кебле-Мамед-Гусейн прошел в переднюю и стал смотреть на танцующих.

Азиз-хан вынул еще трехрублевку и вложил в папаху другого музыканта, игравшего на кеманче.

Собрав пустые тарелки, Великули вышел из зала и направился к кухне, но Кебле-Мамед-Гусейн загородил ему дорогу и умоляюще зашептал, обняв тарелки:

— Не губи меня, возвращайся сейчас же и принеси мне одну из тех трешниц!

Великули растерялся, не зная, как быть.

— Не губи бедного Гуси, исполни мою просьбу, — продолжал Кебле-Мамед-Гусейн.

Великули поставил посуду на подоконник и, вернув-

шись в зал, почтительно подошел к хану и прошептал ему на ухо:

— Хан! Жалко этого Кебле-Мамед-Гусейна, у него болен ребенок, надо позвать врача. Он просит уплатить ему за барашка.

Азиз-хан в это время усердно бил в ладоши и пел во все горло:

Словно чистый снег, белешь на горе...

Продолжая петь, он вышел в переднюю:

— Ну что, Мамед-Гусейн, зачем пришел?

— Пришел, хан, просить денег за барашка.

— А что, опять принес барашка?

— Нет, хан. Прошлый раз приносил. У вас тогда не оказалось мелочи.

Азиз-хан сунул руку в карман, пошел было к гостям, но остановился, повернулся к Кебле-Мамед-Гусейну и, еле ворочая языком, стал расспрашивать:

— Неужели до сих пор не заплатил? Почему?.. Хорошо, отдам, иди, иди... Какой барашек, что за барашек?.. Теперь нет мелких... Великули отдаст, я прикажу...

Словно чистый снег...

И пьяный хан, продолжая петь, вошел в зал, достал из кармана пачку денег, вложил одну трехрублевку в папаху третьего музыканта, бывшего в бубен, а другую бросил Великули для Кебле-Мамед-Гусейна.

Получив деньги, Кебле-Мамед-Гусейн вышел во двор.

К полуночи гости начали расходиться. Но Азиз-хан, сильно охмелев, давно уже спал.

III

Прошло несколько месяцев.

Как-то Кебле-Мамед-Гусейн шел мимо дома Азиз-хана. Ворота были открыты. На улице стояли два фазтона. У хана шел кутеж. Приехали на фазтоне еще гости — два русских чиновника — и вошли в дом.

Постояв у ворот и поглазев на прохожих, Кебле-Мамед-Гусейн сел у стены на корточки и закурил трубку.

Просидев с полчаса, он медленно подошел к воротам и стал смотреть, что делается во дворе. Потом в раздумье побрел на базар.

Через несколько дней Кeble-Мамед-Гусейн как-то сидел на бульваре. Был полдень. Азиз-хан и следовавшие за ним несколько крестьян шли мимо конторы нотариуса. Кeble-Мамед-Гусейн подошел сзади к хану и вежливо поздоровался. Когда хан повернулся к нему, он сложил на животе руки и почтительно сказал:

— Хан, стыдно мне говорить об этом, но деньги за барашка до сих пор не уплачены.

— За какого барашка? Разве я не уплатил? — удивился хан.

— Правда, хан, вы достали тогда три рубля, чтобы дать мне, но отдали их музыканту. Слава аллаху, кеманчист Азим не умер! Если не верите, велите позвать его и спросить. И что такое три рубля, чтобы я стал обманывать вас! Слава аллаху...

— Почему до сих пор деньги не уплачены тебе? — сердито прервал его хан. — И что это за деньги? Какой там еще чертов барашек? Останавливаешь посреди улицы, пристаешь с каким-то барашком и музыкантами! Стыда у тебя нет? Несешь чепуху о каких-то барашках... Еще какой-то там собачий сын музыкант, дурак—дурацкий сын!.. Барашек... Не знаю, что за барашек. Я тут занят, у меня тысяча разных дел, а ты лезешь на улице с каким-то чертовым барашком... дьявол его поберет!..

И, сердито бормоча что-то бессвязное, хан пошел дальше.

— Хан! — воскликнул Кeble-Мамед-Гусейн, смело подняв голову. — Эти три рубля меня не обогатят; потеряв их, я не стану и беднее. Пусть пропадают, лишь бы тебе не расстраиваться.

Сделав несколько шагов, Азиз-хан остановился, вынул три рубля и подозвал Кeble-Мамед-Гусейна.

— На, возьми за барашка!

Кeble-Мамед-Гусейн взял деньги и, пряча их в карман, сказал только:

— Да продлит аллах дни хана!

Под минабаром сидел незнакомый мне приезжий молла. По окончании марся, когда народ стал расходиться, я тоже вместе с другими вышел на улицу. Тут я заметил, что виденный мною в мечети молла следует за мной. Когда я обернулся, он почтительно произнес:

— Ахунд Молла-Насреддин*, сегодня я ваш гость.

— Гость от аллаха, — ответил я, и мы направились ко мне.

Звали его ахунд Молла-Фазлалли. Ему можно было даже лет сорок пять-пятьдесят; был он высокого роста и немного худощав.

По дороге разговорились, и я узнал, что он по профессии марсяхан и недавно приехал из Ирана, чтобы подработать в месяце мухараме*, после чего был намерен вернуться на родину. В разговоре молла дал мне понять, что рассчитывает с моей помощью устроиться в какой-нибудь мечети. Я обещал сделать все возможное, повторив, что, пока он здесь, я считаю его своим гостем.



Был вечер. Жена приготовила ужин. Поели, выпили чаю, побеседовали. Настроение ахунда приподнялось, он даже спел для меня немного. Пел он неплохо: как-никак всю жизнь был марсяханом и достаточно поработал над голосом.

Ахунду приготовили постель в соседней комнате, и он лег спать.

Ночью — не знаю, в котором часу, — слышу: жена ворчит. Кого-то бранит, но кого, за что, — не могу понять. Прошло некоторое время. Слышу, она опять бранится, бормоча себе под нос:

— Пепел тебе на голову, молла!..

В полном недоумении я стал прислушиваться.

И тут до меня донесся припев «джонум-джоонум», который мурлыкал ахунд Молла-Фазлали.

Это и мешало жене спать. Но я через несколько минут уже крепко спал.

Проснулись мы рано. Напились чаю, позавтракали и, мирно беседуя, пошли на базар, а оттуда — в мечеть. В тот же день я поговорил с кази, и было решено, что Молла-Фазлали до десятого мухарама будет петь в мечети Пирджаван.

Вечером, когда мы вернулись домой, я сказал жене, что гость наш устроился, что ему более не о чем беспокоиться и, вероятно, он проспит ночь спокойно, не тревожа нас.

Накормив и напив моллу, постлали ему постель. Потом погасили лампу в нашей комнате.

Чувствую сквозь сон — кто-то толкает меня. Проснулся.

— Жена, в чем дело?

Она сердито показала на окно.

— Посмотри, что делает твой гость.

Была лунная ночь. В окне тихо шевелились ветки тутового дерева.

— Может быть, это ветер, — сказал я, но воздух был неподвижен.

Я подошел к окну и высунул голову: наш гость, пригнув из окна своей комнаты ветку туты, срывал ягоду за ягодой и отправляя в рот, тихо напевая «джонум-джоонум» и жалуясь самому себе:

— Ах, как я несчастлив!.. На чужбине в лунную ночь должен спать один...

Я бесшумно отошел от окна и шепнул жене на ухо:

— Слушай, жена, у каждого свое горе. Ахунд Молла-Фазлали тоже, видно, страдает... Но заклиная тебя жизнью наших детей — закройся с головой одеялом и не лишай меня сладкого сна.

Утром я почему-то проснулся раньше обычного. Велел постлать ковер под тутовым деревом. Туда же принесли самовар, и мы с гостем стали пить чай. Спелая, сочная белая тутовая ягода упала около моего стакана, и я вспомнил ночную сцену.

— Ахунд Молла-Фазлали! — обратился я к гостю. — Боюсь, что я не оказал достаточного гостеприимства такому почтенному лицу, как вы; еще вчера днем я имел в виду потрусить туту и подать вам поднос самых спелых ягод, чтобы, вкусив их, вы могли сравнить нашу туту с иранской. Прошу простить меня. Когда у вас появится желание, прикажите подать туту, чтобы ночью не пришлось вам беспокоиться и лишать себя сладкого сна.

— Ахунд Молла-Насреддин! — ответил Молла-Фазлали, помешивая ложкой в стакане. — Я тысячу раз благодарен аллаху, что на чужбине встретился мне такой человек, как вы, и, пока я ваш гость, нет ничего на свете, в чем бы я чувствовал недостаток. Что же касается туты, то, конечно, это самая вкусная и самая нежная из всех ягод, но я не чувствую никакого влечения ни к туте, ни к какому-либо другому плоду. Тем более что, да благословит аллах ваш дом, если бы мне захотелось туты, я попросил бы ее у вас вчера или сегодня. Нет, не отсутствие туты вызвало мою бессонницу, нет... Вам, слава аллаху, ведомы все тайны и, должно быть, также известно, что каждый человек, заброшенный далеко от домашнего очага, чувствует себя не вполне хорошо. В особенности такой набожный человек, как я, который всю жизнь, в чужих ли краях, у себя ли дома, никогда не жил без семьи и никогда не ложился в постель один-одинешенек. Но да благословит вас создатель, и да пошлет он вам благоденствие! Надо терпеть; ведь за каждой

ночью следует день, и каждую зиму сменяет весна, иншаллах! Видно, для меня наступили темные дни. Не избежать того, что суждено! Эх! Лишь бы вы были здоровы. Аллах велик! Да не пожалеет всевышний создатель для вас своих благ!..

■
Все было ясно.

В этот день я под каким-то предлогом не пошел с ахундом в мечеть и, оставшись дома, сказал жене:

— Вот что, жена! Я знаю, что ты хочешь спать спокойно. Клянусь аллахом, я тоже хочу этого. Мне нет нужды просыпаться среди ночи, чтобы звать возлюбленную и срывать туту. Знаю, что тебе также этого не нужно. Но имей в виду, что, пока мы не устроим нашего гостя, он не даст нам спать.

— А что мы должны сделать, чтоб ахунд спал спокойно? — спросила жена.

Тогда я прямо сказал, что нашего гостя надо женить.

■
Краткость лучше всего.

У моей жены была двоюродная сестра по имени Хейраниса, вдова лет сорока-сорока пяти. За одну платые и шестнадцать рублей деньгами Хейраниса стала женой ахунда Молла-Фазлала. Я сам прочитал молитву сыйга*. В тот же вечер с помощью родственниц и соседок мы переселили Хейранису в комнату ее нового мужа — ахунда Молла-Фазлала.

Все прошло отлично.

Правда, один глаз у Хейранисы был с изъяном, но что поделаешь: такова, видно, судьба!

■
Благодарение аллаху!

Со спокойной совестью мы встретили вечер.

— Слава аллаху! — говорю я жене. — Гость наш обрел желанное, и мы, наконец, можем спать спокойно.

Послали молодоженам ужин и легли спать.

■
Велик аллах! Проклятие шайтану!

Ночью опять просыпаюсь от стука. Открываю глаза, но не могу ничего сообразить. Прислушиваюсь: кто-то негромко стучит к нам в окно. Приподымаюсь, протираю глаза, вижу, кто-то с чалмой на голове и с абой на плечах стоит перед окном. Приглядываюсь: наш гость Молла-Фазлала.

Чрезвычайно удивленный, я спрашиваю:

— В чем дело, ахунд?

Гость тихо и как-то таинственно шепчет:

— Идем в баню!^{*}

— Сейчас! — отвечаю я.

Я одеваюсь и сопровождаю ахунда в баню Гаджи-Джафара, что неподалеку от нас.

Никому не уйти от судьбы, и знать будущее доступно лишь всевышнему.

Мне казалось, в отношении ахунда Молла-Фазлала я исполнил все, что было в моих силах, и мог надеяться, что эти несколько дней он будет чувствовать себя в полном благополучии, а я и жена будем теперь спать спокойно.

Но вышло не так.

В следующую ночь ахунд Молла-Фазлала снова разбудил меня и, подняв с постели, потащил в баню.

■
Что делать! Побольше терпения! Все в мире имеет конец. И такому поведению гостя тоже конец наступит.

Но и в третью ночь сквозь сон я услышал стук. Проснулся и увидел Молла-Фазлала, стоящего за окном. И снова:

— В баню!

Всему бывает конец! Пришел конец и моему терпению. Высунув голову в окно, я сказал:

— Ахунд Молла-Фазлала! Ты уж извини меня. Я очень перед тобой виноват. Заклинаю тебя пророком, прости мой грех. Мне почти шестьдесят лет. У меня недостаточно сил, чтобы быть тебе товарищем. Я не в состоянии каждую ночь ходить в баню. Слава аллаху, достояние туда ты уже знаешь. Сходи на этот раз один, без меня.

Сказав это, я отошел от окна и с головой накрылся одеялом.

Ахунд Молла-Фазлалли пошел в баню один; но утром он переселился в дом Хейранисы. По-видимому, был обижен, так как, покидая нас, даже не простился с нами.

Через неделю я узнал, что он рассчитался с Хейранисой и уехал к себе на родину, в Иран.

В третьем номере тифлисской гостиницы «Исламийе» остановились двое приезжих. Оба были нахичеванцы. Один — мануфактурщик Мешади-Гейдар, другой — разносный торговец Мешади-Гулам-Гусейн.

В тот самый день остановился в гостинице еще один человек, житель Ширвана по имени Мешади-Мамед-Багир. Свободного места в других номерах не оказалось, поэтому с разрешения уже названных мешади в третьем номере поставили еще одну кровать, и в номере поселился третий жилец.

Из-за европейской войны* город был наводнен приезжими, и гостиницы были битком набиты. Поэтому никто уже не мечтал о просторе и удобствах, все как-то успели привыкнуть к стеснениям. А дороговизна — своим чередом.

Третий жилец, Мешади-Мамед-Багир, был человек просвещенный и имел в Тифлисе множество знакомых. В первый же вечер пришли к нему двое молодых образованных мусульман: один, Мирза-Риза Тебризли, репортер газеты, человек довольно сведущий и деятельный, а другой, поэт и литератор Гасан-бек Гянджали, получивший русское и мусульманское образование.

В третий номер потребовали самовар, и пятеро господ, успев уже достаточно сблизиться, завязали оживленную беседу. Не прошло и получаса, как к нахичеванцам в тот же третий номер пришел еще один гость. Это был учитель Мирза-Мамед-Кули.

Господа увлеклись разговором, чаевничая. Положив сахар в свой стакан, Мирза-Мамед-Кули обратился к своим землякам и сказал:

— Мешади-Гулам-Гусейн, я очень беспокоюсь о доме. С неделю назад брат мой писал из Нахичевани, что наш Садых нездоров. Вообще-то бедный ребенок хил от рождения, но брат писал в таких выражениях, что я всерьез забеспокоился. Я отправил письмо, а затем не выдержал и послал телеграмму. По сей день ни на письмо нет ответа, ни на телеграмму. Тут я узнал о вашем приезде и прибежал расспросить, может, вы что-нибудь знаете. Может быть, видели на базаре или где-нибудь еще нашего Джафара, или слышали что-нибудь о нашем доме. Одним словом, я очень беспокоюсь!

Мешади-Гулам-Гусейн и Мешади-Гейдар ответили, что о болезни Садыха в Нахичевани не слышали и Джафара на базаре не встречали. И оба очень сожалели, что об этом ничего не знают.

Господа были заняты этим разговором, когда дверь комнаты тихонько приоткрылась и снова закрылась. Из тех, кто был занят в номере беседой, лишь один, или, быть может, двое обратили внимание на то, как открылась и закрылась дверь. Остальные же собеседники вовсе ничего не заметили, а если кто и заметил, то не придал этому значения.

А дверь открывал и закрывал полицейский агент, который, переодевшись в штатское, отирался среди народа и вел себя так, чтобы никто не догадался, чем он занимается. Этот самый агент, прогуливаясь на улице, обратил внимание на вошедшую в гостиницу «Исламийе» мусульман, и у него возникло подозрение, что это все неспроста и что они, наверно, собрались в третьем номере с целью обсуждать политические вопросы или решать какие-нибудь национальные дела, и бог знает, еще какими опасными делами могут заниматься иные молодые люди.

Осторожно приоткрыв дверь, полицейский агент, конечно, увидел тех, кто сидел в комнате, но, естественно, не мог понять, о чем они вели разговор. Задерживаясь в коридоре, он тоже считал неудобным, потому что хозяин гостиницы или работники могли его спросить, кто он такой и что угодно. По этим соображениям агент медленно пошел к выходу на улицу.

А между тем в третьем номере все выражали сочувствие нахичеванцу Мирза-Мамед-Кули, которого мучило

беспокойство, потому что они сами видели, в какой степени страдает этот бедняга. Ширванец Мешади-Мамед-Багир придвинул к себе второй стакан чаю и сказал, обращаясь к Мирза-Мамед-Кули:

— Я хорошо понимаю, Мирза, что ты переживаешь сейчас, потому что и сам когда-то пережил такое. Это правда, скверная вещь беспокойство. Не приведи бог никому! В прошлом году, точнее, месяцев семь-восемь назад, на лето я отправил семью в деревню, а сам остался в городе. Жара была невыносимая. Вечером сидели мы как-то за чаем. Был у меня писатель Хазми. Вдруг открывается дверь и входит наш слуга Гасым. Я вскопчил: «Что случилось, Гасым?» А он: «Ханум велела передать, чтобы ты поскорее поехал в деревню!» — «А что случилось? Говори правду, может, ребенок заболел?» — «Нет, барин! Ей-богу, никто не заболел, только младший ребенок до утра не спал, все плакал. Не знаю, животик болел у него или что. Ханум послала меня сказать тебе, чтобы, не задерживаясь, тотчас же ехал в деревню». «Гасым, — говорю ему, — наверно, случилось что-нибудь, ты скрываешь от меня. Скажи мне всю правду, ничего не скрывай. Может, с ребенком что случилось?» Однако слуга так ничего мне и не сказал. Но ведь человеку на что-то разум дан! Вот я и начал рассуждать про себя, что если бы не было ничего серьезного, не было бы большого несчастья, то жена едва ли так срочно вызвала бы меня к себе. Ведь вернулся-то я из деревни всего неделю назад! Словом, сколько ни раздумывал, ни к чему не пришел. Тут же я нанял фаэтон, взял Гасыма и пустился в путь. Едем. Начало смеркаться. А меня одолевают всякие страшные сомнения. То мне кажется, что с ребенком что-то стряслось, то думаю, что мать захворала, и слуга скрывает от меня. Короче говоря, доехал я до деревни ни жив, ни мертв. И что же оказывается? С вечера у ребенка заболел немного животик, дали ему ложечку касторки, и все прошло. Прямо скажем, прескверная вещь беспокойство!

Когда Мешади-Мамед-Багир кончил свой рассказ, все присутствующие подтвердили в один голос:

— Да, ничего нет на свете тяжелее беспокойства!

Поэт и литератор Гасан-бек Гянджали встал, положил в свой стакан два куска сахара и начал, наливая себе чай из самовара:

— Это еще что, мешади! Пусть аллах не причинит никому того беспокойства, которое пришлось пережить мне! Года три или четыре тому назад, этого точнее не помню, наш Бахшали-бек ехал в Гянджу. Я отвез его на вокзал, купил ему билет, проводил чин чинном. На другой день в Тифлисе стало известно, что на железной дороге произошло крушение поезда и среди пассажиров есть несколько раненых и убитых. У меня душа в пятки ушла. Хотя и не знал я, какой именно поезд потерпел крушение, но как будто кто-то меня уверил, что потерпел крушение как раз тот поезд, которым ехал Бахшали-бек. Я тут же отправил в Гянджу брату телеграмму. Слава богу, ответ получил я в тот же день. Отвечал сам Бахшали-бек: не беспокойся, мол, доехал до Гянджи благополучно. А после того я так и не узнал, какой же поезд потерпел крушение, тот, что шел в Батуми, или тот, что шел в Баку. Словом, что бы ни говорили, нет в мире ничего хуже беспокойства!

В этот момент дверь номера снова приоткрылась и опять закрылась, но из сидевших в номере никто не обратил на это внимания.

— Это верно, — слышались голоса, — нет ничего хуже беспокойства!..

Нахичеванец Мешади-Гейдар бросил окурочку на пол, затоптал и начал рассказывать:

— У тебя, Гасан-бек, обошлось еще неплохо. Аллах тебя пожалел, и тебя мучило беспокойство только один день. А что, если целую неделю не спать и не есть от беспокойства? После минувшего новруз-байрама я ездил в Эривань и остановился у Мешади-Селима, сына дяди Гаджи-Масума, потому что покойный Гаджи-Маеум был очень близким другом покойного моего дяди Гаджи-Немата. Как только я приехал в Эривань, встретился мне младший сын гаджи Мешади-Алекпер и насильно повел меня к себе. Ну, тут, конечно, хлеб да соль, честь и почет... Не об том речь! Вечером мы поужинали и легли спать. Я-то, признаюсь, не очень верю во всякие вещие сны, но в ту ночь приснилось мне, что наш Мешади-Кязим скончался. Наутро проснулся, встал, но никому ни слова. Выпили чаю и вместе с Мешади-Алекпером вышли на базар. Я всячески старался забыть о сне, не придавать ему значения, но ничего не получилось. Что бы ни делал, чем бы ни занимал себя, а сон все не выходил из

головы. Видя такое, я взял да послал в Нахичевань срочную телеграмму. До самого вечера я бродил как потерянный, не зная, что и поделать. И еда мне отравна, и питье мне не впрок! Одним словом, кое-как провел ночь, наступило утро, а ответной телеграммы нет как нет. Прождал до полудня. Уже к обеду вошел почтальон и передал мне телеграмму. Распечатал, читаю. Телеграмма из дому, написана от имени матери и гласит: немедленно выезжай в Нахичевань. Тут я совсем остолбенел. Ну, зачем вас мучить, скажу вкратце, что в тот же день собрался я и пустился в путь. На другой день вечером я был уже в Нахичевани. Ну и бессовестные же люди!.. Оказалось, что и Мешади-Кязим жив и здоров, и все остальные находятся в полном здравии. У нас должна была состояться одна сделка насчет сада; хозяин сада хотел отдать его другому. Если бы я приехал с опозданием, то наверняка мы лишились бы сада. Вот и представьте себе, что я пережил за эти несколько дней. В общем, одно скажу, самое тяжелое в жизни — это беспокойство!

Прошло часа четыре. Трое гостей встали и, попрощавшись с хозяевами, вышли из гостиницы и пошли своей дорогой. И, идя по улице, каждый из них все повторял про себя:

— Да, ничего нет на свете тяжелее беспокойства!

Оставшиеся в гостинице Мешади-Гейдар, Мешади-Гулам-Гусейн и Мешади-Мамед-Багир разделались и легли спать, при этом они повторили друг другу:

— И в самом деле, препротивная вещь беспокойство!

А что касается переодетого полицейского агента, то он довольно долго слонялся вокруг гостиницы, чтобы выяснить, с какой целью собрались эти ревнители нации в гостинице, какие политические проблемы они обсуждают и какие затевают заговоры. Но как он ни усердствовал, ничего не мог понять и угадать и находился поэтому в сильнейшем беспокойстве.

Вонстину, ничего нет на свете более невыносимого, чем беспокойство!..

После обеда я прилег, но не мог уснуть. Тогда я умылся и, несколько освежившись, вышел на улицу и медленно поплелся в городской сад. Сел на скамейку и от нечего делать стал разглядывать публику.

Невдалеке пожилая русская женщина учила ребенка ходить, держа его за руки. У ребенка в каждой ручонке было по бублику, и он то и дело ронял их. Женщина герпеливо поднимала бублики и, обтерев, снова отдавала их ребенку.

Прошел русский солдат под руку с русской женщиной. Вдали мелькали фигуры гулявших.

Все это было малоинтересно.

Я хотел уже встать и уйти, но вдруг... ведь это он! Из боковой аллеи неожиданно вышел мой приятель Рзакули, учитель. Я очень обрадовался ему. Мне сейчас же представилось: в моей комнате за столом сидим я и Рзакули и, забыв все на свете, играем в шахматы.

Я подошел к Рзакули, схватил за руку и, не говоря ни слова, потащил из сада. Он стал упираться.

— Куда?

— Идем, — говорю.

— Да куда ты меня тянешь?

— Пойдем, пойдем! У меня дома самовар кипит, и шахматы ждут нас.

— Клянусь твоей драгоценной жизнью, — отвечает на это Рзакули, — вот уже несколько дней я собираюсь сразиться с тобой в шахматы и с лихвой оплатить за недавний предательский мат. Теперь послушай, что я тебе скажу; мы сделаем так: зайдем по дороге к консулу, выразим ему соболезнование по поводу смерти жены, а

оттуда, не задерживаясь ни минуты, прямо отправимся к тебе и будем играть хоть до утра.

Я задумался. Предложение Рзакули было мне не совсем по душе.

— Рзакули, — сказал я, — есть вещи, которые должен понимать всякий сознательный человек; вот ты говоришь, что у консула умерла жена. Да помилует аллах всех умерших! Конечно, следует навестить опечаленную семью, но ты должен понимать, что идти надо к тем, кто нуждается в твоём посещении. А иранский консул, как и консулы всего мира, персона, слава богу, важная. Ты старайся не забыть тех, которые ждут тебя и которых огорчит твоё невнимание. Небось во дворе консульства расставлены сейчас котлы с пловом. И благодаря этим котлам вся знать города и народ собрались в консульстве, и, может быть, тебе не протолкаться и не попасть на прием. И то сказать, братец, будем откровенны, куда нам до консула? Мы — люди маленькие, всего лишь учителя, он же — лицо высокопоставленное. Сказано: голубь дружит с голубем, а не с петухом. Брось лучше эту затею и идем ко мне.

Но эта проповедь не подействовала на Рзакули. Высвободив руку, он направился к консульству. Когда он отошел шагов на пятьдесят, я побрел за ним. Рзакули обернулся и, заметив меня, остановился. Подойдя к нему, я сказал:

— Так и быть, Рзакули, идем вместе. Но обещаю как мужчина, что мы прочитаем фатиху**, даже не присаживаясь, и тотчас же уйдем.

Он обещал, и мы двинулись.

Дом консульства находился недалеко от городского сада. У ворот мы заметили одного только человека: вооруженного винтовкой стражника, всегда стоявшего здесь на часах.

Мы были немало удивлены, что в такой знаменательный день у консульских ворот не томятся посетители. Подойдя близко, мы стали расспрашивать стражника, долговязого рябого парня. Это было существо в такой же степени молчаливое, как и безобразное, и мы ничего от него не добились...

К счастью, тут подошел младший консульский сотруд-

ник наиб Джафар и приветствовал нас. Мы справились, дома ли консул? Джафар сообщил, что дома. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Наконец Джафар спросил:

— Вы, вероятно, пришли к консулу по какому-нибудь делу?

Пока я собирался ответить, Рзакули заявил:

— Да, по делу.

Я решил, что мужчина должен быть более решительным, и, собравшись с духом, спросил Джафара, почему в такой день здесь нет народа. Джафар ответил, что господин консул Хюллак-уль-Мемалик, обремененный делами, а также ввиду своего преклонного возраста, не принимает после обеда просителей.

— Но, — добавил он, — раз вы побеспокоились и пришли, подождите немного, я сейчас доложу.

И он скрылся; мы остались ждать у ворот.

Почему, однако, сегодня, — в день смерти жены консула — здесь нет никого? Ведь скончалась жена консула, мать консульских детей... Как же могло случиться, что здесь не толпятся посетители?..

Тут Джафар позвал нас. Через проходную комнату мы вошли в зал у дверей. Наиб Джафар любезно предложил нам сесть. С опаской опустился я в мягкое плюшевое кресло и провалился так глубоко, что невольно подумал: «Никак не встать без посторонней помощи...» В таком же положении, видимо, был и Рзакули.

Просторный консульский зал устлала дорогие ковры. Большой стол был накрыт бархатной скатертью. На столе стояла лампа. Около нее — четыре пепельницы. Кроме нас, в зале не было никого. В полнейшем недоумении я шепотом спросил Рзакули:

— Для чего мы пришли сюда?

Рзакули моргнул, давая понять, чтобы я молчал.

Открылась дверь, и из смежной комнаты вышел высокого роста иранский сановник лет пятидесяти-пятидесяти пяти, в погонах и медалях. Мне случилось однажды видеть его мельком: это и был консул Хюллак-уль-Мемалик.

Мы поднялись с мест. Консул приветствовал нас

весьма благосклонно, справился о нашем здоровье, все время что-то аппетитно пожевывая.

Я не знал, с чего начать. Рзакули также был растерян. Господин консул предложил нам сесть и спросил, почему мы молчим. Я продолжал безмолвствовать. Рзакули тоже. Наконец он торжественно начал:

— Господин консул! Вам, конечно, известно, что мы приходим в этот бранный мир не для того, чтобы прожить тысячелетия и избежать смерти!.. Увы, это не так! Вы, слава аллаху, знаете это лучше нас. Каждому своему созданию творец определил срок жизни, назначив день его смерти. Каждое живое существо должно в положенный час выпить смертную чашу. Это так, и вы лучше нас понимаете, что на все воля аллаха. И несчастье, которое обрушилось на вас сегодня...

Услышав это, консул вскочил.

— Какое несчастье? — воскликнул он, подходя к Рзакули. — Может быть, до вас дошли недобрые вести из Москвы о моем сыне?.. С ним что-нибудь случилось? Говорите, в чем дело?..

При этих словах консула в соседней комнате поднялся невообразимый вой. Жена консула, пожилая женщина, ударяя себя руками по коленям, ворвалась в зал, но, увидев нас и опомнившись, поспешно вышла, громко вопя:

— Пусть погибнет ради тебя твоя мать, о Султан-бала! (Так звали сына консула). О-о, неужели сын мой умер? Неужели я лишилась Султан-бала! Вай! Вай!

Затем вошел мальчик лет восьми-девяти с огрызком яблока в руках и стал реветь так, точно его резали на куски. Консул позвал наива Джафара. Тот влетел в комнату и вытаращил на нас глаза. Консул велел ему звать мунши Мирза-Гасана, чтобы тотчас же послать в Москву телеграмму.

Я совсем растерялся. Но Рзакули оказался смелее меня. Он подошел к консулу и сказал:

— Клянусь жизнью дорогих мне людей, высококочный господин хан, что о вашем сыне, который в Москве, мне ничего не известно. Но сегодня я слышал от жены учителя Иванова, что... извиняюсь за выражение, простите... мне сказали, что сегодня скончалась ваша жена...

Наиб Джафар, подойдя ближе, поднял руку и весело, словно сообщая что-то радостное, сказал:

— Да, да, хан, ради Хазрат-Аббаса, не огорчайся! Сейчас я успокою тебя. Сегодня (он кинул взгляд на двери смежной комнаты и продолжал тихим голосом), хан, умерла Альма.

Тогда хан заорал так яростно и громко, что я опомнился, лишь когда очутился у дверей...

— К черту! К дьяволу! Что за народ пошел (жест в нашу сторону). Надо сначала узнать, кем приходилась мне эта женщина... Может быть, в таком большом городе у меня на каждой улице по сийге* (при этих словах консул оглянулся на дверь в соседнюю комнату). Надо сперва толком понять, кем мне была покойная. Что за народ пошел!.. А еще называют себя учителями!.. Чем только занимаются!..

Не помню, как я попал в переднюю. Рзакули шел за мной.

У выхода, сам не знаю почему, я ласково сказал стражнику:

— Будь здоров!

Но он ничего не ответил, как будто подозревал, что мы — отъявленные бездельники.

Молча прошли мы порядочное расстояние, направляясь к моему дому. У улицы Гаджи-Халила Рзакули вдруг повернул в сторону.

— Куда ты? — спросил я его.

Рзакули остановился и взглянул на меня исподлобья. Лицо его пылало, словно он только что вышел из бани. И, помолчав минуту, он сказал:

— Во-первых, да будет проклят отец жены учителя Иванова, что поставила меня в такое дурацкое положение, а во-вторых, да будут прокляты и покойная и живая жены консула!

И он трижды плюнул.

Хотя и нехорошо выражать такие пожелания, в особенности по адресу покойников, но они были полезны тем, что Рзакули, облегчив душу, немного успокоился.

Я молча взял товарища за руку и повел к себе. Но за шахматы мы так и не сели: ни у меня, ни у Рзакули не было настроения играть.

В половине четвертого пополудни я возвращался домой. Очень устал и был голоден. Я уже подходил к дому, когда шагнул ко мне какой-то человек, поздоровался и взял меня за правую руку.

— Дядя Молла, наверно, не узнаешь меня?

И вправду я не узнал его. Стал всматриваться, не знал, что сказать.

— Ишь ты! Как не узнаешь! Я же твой земляк. Разве ты не знаешь Гаджи-Новруз-агу? Так я племянник его, сын брата Гаджи-Новруз-аги. Своего земляка не узнаешь?

— Извини, — говорю, — ей-богу, не узнаю.

— Как же? — начал незнакомец, повысив голос. — Ты не знаешь Гаджи-Новруз-агу из квартала Кала? Сам ты сколько раз бегал к нам в детстве? Мы же с тобой росли в одном квартале!

— Ей-богу, голубчик, не узнал сразу, — стал извиняться я. — Но раз ты говоришь, мы росли в одном квартале, пусть будет так. Ладно. Милости прошу, зайдем к нам, будь гостем!

Мой новый земляк схватил другую мою руку и сказал:

— Нет, братец, я к вам не пойду. Сперва ты должен пожаловать к нам, а потом уж я приду к вам. Клянусь твоим здоровьем, иначе не пойду. До нашего дома рукой подать.

Говоря это, он стал тянуть меня за обе руки.

— Спасибо, спасибо! — сказал я. — Премного благодарен, но сейчас я никак не могу, потому что очень устал. Бог даст, в другое время обязательно приду.

Услышав эти слова, земляк мой как будто взволновался:

— Клянусь твоей жизнью, не отпущу! Ты должен пойти к нам. Сейчас самовар дома кипит. Клянусь твоей жизнью, ты должен пойти со мной. И Гасым-ага у нас, и Мирза-Абас у нас. Я оставил их дома и пришел за тобой. Они очень хотят тебя видеть. Мне сказали, без Моллы не возвращайся.

Я не знал, кто такой Гасым-ага. Не знал, что это за Мирза-Абас. Но если бы я заикнулся об этом, то мой друг принял бы тут же рассказывать длинные истории об их отцах и дядях. Кое-как я вырвал руки из рук моего земляка и юркнул в свой подъезд, только повернул голову и извинился. Поднимаясь по лестнице, я слышал громкий голос моего приятеля, но слов не мог разобрать...

Поднялся к себе и сел обедать. Маленькая моя дочка сказала, расставляя тарелки, что кто-то приходил звать меня в гости. Я ничего не ответил (рот был занят). Ставя на стол солонку, дочка сказала:

— Приходивший говорил, что его зовут Курбанкули-бек и что он племянник Новруз-аги. Говорил, что Молла-Насреддин его земляк. Он поджидал тебя на улице. Вот и сейчас он прохаживается по мостовой.

Вечером, когда я пил чай, кто-то позвал меня с улицы. Я поднял голову и увидел Курбанкули-бека, который вытянув шею и подбоченясь, не сводил глаз с нашего окна.

Я отозвался.

— Салам-алейкум, дядя Молла! Пожалуй к нам на стаканчик чаю!..

— Бек, у нас чай уже на столе, — ответил я. — Пожалуй к нам ты сам! — и послал мальчика отпереть подъезд.

— Дядя Молла, клянусь твоей дорогой жизнью, не придуй! Пока ты первым не пожалуешь к нам, я к вам не придю.

Я повторил свое предложение, но по поведению моего друга понял, что ни за что к нам не зайдет. Я надел шапку и спустился на улицу, но как ни настаивал мой земляк, я не смог пойти к ним и извинился.

И все-таки мой друг изрядно меня утомил, потому что в течение пяти минут он выпалил, может быть, тысячу пятьсот слов. Начал он все с того же, что он сын брата Новруз-аги, что дядю его назначили старшим секретарем, а его самого губернатор взял к себе старшим секретарем, что старший его брат Халил-ага стал начальником телеграфа, а младший брат Мамед-Гасан-бек — офицер, что из Эривани приехал Мешади-Джафар и едет в Москву, Мешади-Курбанали приехал в Тифлис делать себе зубы, из квартала Сарванлар прибыло много паломников, едущих в Мешхед, заболел врачам, между русскими и турками привезли его показать врачам, между русскими и турками ведутся переговоры насчет Карса и отношения между ними стали натянутыми, Гачак**.-Пирверди приговорили к восьми годам Сибири, в Нахичевани немного подорожал сыр и еще много перечислил таких новостей, перебирая по пальцам.

Я попросился и хотел было удалиться, но Курбанкули-бек снова удержал меня за руку, но я вырвал руку и спасся бегством.

Он что-то продолжал тараторить мне вслед, но я был уже далеко.

■
День спустя, под утро мне показалось во сне, что кто-то говорит мне:

— Дядю Новруз-агу назначили урядником, брат стал начальником телеграфа, Мешади-Курбанали приехал вставлять себе зубы...

Открыл глаза, вижу — светает. Поглядел немного по сторонам и понял, что кто-то разговаривает на улице. Я тотчас узнал голос моего друга Курбанкули-бека и несколько удивился даже. В одной сорочке я подошел к окну и увидел как Курбанкули-бек, все так же подбоченившись, стоит на мостовой и, поймав такого же, как и я, смиренного раба божьего, громко рассказывает:

— Отношения между русскими и турками натянутые, Гачак-Пирверди дали восемь лет Сибири, Мохсинна, сына Гаджи-Гасан-аги, привезли показать врачам...

Я предупредил домашних, чтобы никто не подходил к окну и, если будут спрашивать меня, сказать, что ушел в редакцию.

Я молча выпил стакан чаю, съел кусок хлеба и готовился выйти из дому. Но как? Как мне выйти, чтобы этот чертов сын меня не заметил? Второго выхода в доме не было.

Мне помог аллах, и каким-то образом мой земляк печез с улицы.

Я осторожно вышел на улицу и пошел своей дорогой.

■
Прошел день. Земляка своего я больше не видел на улице. Не знаю, то ли он был занят чем-нибудь, то ли уехал из города.

На третий день опять в три-четыре часа пополудни, голодный и усталый, шел я домой и был немного задумчив, но о чем думал, не помню.

Только дошел я до своей улицы, как сердце у меня екнуло: Курбанкули-бек по-прежнему, подбоченившись, расхаживал посреди улицы и о чем-то переговаривался с прохожим по-русски.

Я думал было незаметно проскочить к себе, но не вышло: злодеев сын точно обладал нюхом охотничьей собаки. Еще издали, завидя меня, он крикнул:

— Салам-алеюкум, дядя Молла! Давненько мы не видимся, братец! Кажется, ты лишил нас своего расположения, не интересуешься тем, кто из наших краев приехал, кто туда уехал. Дядя мой Новруз-ага назначен командиром конницы, а сам я сейчас секретарем у губернатора. Халил-ага стал начальником телеграфа, а из Эривани приехал Мешади-Джафар и едет в Москву. Мешади-Курбанали приехал в Тифлис делать себе зубы. Много паломников прибыло из Сарванлара. Заболел сын Гаджи-Гасан-аги Мохсин, привезли его показать врачам. Отношения между русскими и турками расстроились. Гачак-Пирверди приговорили к восьми годам Сибири...

Я в самом деле был голоден и очень устал. Я знаю и то, что при всех даже очень трудных обстоятельствах, человек должен проявлять терпение и ни в коем случае не нарушать правил вежливости и чуткого обращения. Все это я знал и, зная это, все-таки, ей-богу, не смог выдержать и молча вошел в подъезд, поднялся к себе наверх и попросил подавать обед.

Я буду в ответе перед своей честью и совестью, если

солгу, что примерно полчаса длился мой обед и еще полчаса я пил чай и разговаривал с детьми. В продолжение этого часа друг мой Курбанкули-бек все еще продолжал стоять, подбоченившись, на улице и, останавливая мирных прохожих, одному говорил, что дядю его Новруз-агу назначили командиром конницы, другому сообщал, что Мешади-Курбанали приехал в Тифлис заказывать себе зубы, а третьему — что его брат Мамед-Гасан-бек произведен в офицеры...

■
Вчера встретился я в редакции с одним из моих земляков и вспомнил об этом происшествии.

— Поздравляю тебя, — сказал я ему. — Из нашего прекрасного края прибыл к нам еще один земляк!

— Ты о ком говоришь? — спросил он.

— О Курбанкули-беке, племяннике Новруз-аги.

В ответ на это мой земляк сказал всего одно только слово о Курбанкули-беке, и я никак не пойму, что за тайна, что не могу забыть это слово. Он сказал:

— Послушай, дядя Молла! Каким образом нашел тебя этот пустохлыст?

— Кого ты называешь пустохлыстом? — спросил я.

— Пустохлыстом я называю того самого человека по имени Курбанкули-бек, который является племянником Новруз-аги и детищем нашего прекрасного края.

— Повтори-ка! — попросил я.

— Пустохлыст! — сказал он.

Никак не забуду...

Нак-то раз я услышал, что мой сосед Мешади-Мамедали собирается выдать дочь за мясника Шамиля.

Потом я узнал, что он раздумал.

Последнее время поговаривали о том, что Мешади-Мамедали опять согласился на брак дочери с мясником Шамилем.

Наконец вторично прошел слух, что Мешади-Мамедали обиделся на мясника Шамиля и отказал ему в руке дочери.

Несколько дней тому назад ко мне зашел мясник Шамиль. Оказывается, у нас с ним существует даже какое-то дальнее родство (по словам самого Шамиля). Он рассказал, что дочь Мешади-Мамедали очень ему приглянулась, но почему-то отец опять не хочет выдать ее за него. Шамиль просил меня выступить в этом деле посредником, авось мне удастся уговорить и смягчить Мешади-Мамедали.

— Мешади-Мамедали мне не откажет, — сказал я, — и если девушка сама не против, то я надеюсь, что сумею уладить это дело.

Выяснилось и то, что трижды Мешади-Мамедали соглашался выдать свою дочь замуж за Шамиля и трижды, за что-то рассердившись на него, брал свое согласие назад.

И вот однажды я послал передать Мешади-Мамедали, что в четверг вечером зайду к нему покушать с ним боз-

баш. Я думал уговорами и увещеваниями смягчить Мешади-Мамедали и, если у него не окажется веских возражений, раз навсегда связать его с мясником Шамилем крепкими узами родства.

Пошел. Настроение было приподнятое, потому что я надеялся как-нибудь уладить дело бедного Шамиля, а с другой стороны — я знал, что жена Мешади-Мамедали родом из Ирана и, должно быть, мастерица варить бозбаш.

В передней комнате была уже разостлана на полу скатерть, на которой была расставлена посуда, тут же были приготовлены лук, редька и тонкие покупные лаваши.

Сели.

Я решил, не откладывая, начать свою краткую проповедь о замужестве дочери хозяина и исполнить обещание, данное мяснику Шамилю.

— Друг мой, братец мешади! — начал я. — Ты знаешь, конечно, что я твой доброжелатель и никогда не решусь указать тебе такой путь, который, сохрани тебя аллах, может привести к раскаянию... Не обижай ты этого раба божьего, Шамиля. Сам знаешь, что он человек хороший, и породниться с ним ни с какой стороны не должно быть для тебя зорным. Если нет каких-либо серьезных препятствий, отдай дочь за него и покончи с этим делом.

— Братец молла! — ответил Мешади-Мамедали очень мягко. — Клянусь кораном, который ты читаешь, что никаких возражений не имею. Я отдал бы ему дочь — и конечно. Только ты усовести этого бесстыдника и скажи ему, что раз он хочет стать моим зятем, пусть будет хоть немного повнимательнее ко мне, пусть будет хоть сколько-нибудь предупредителен со мной, пусть хоть малость отличается своего тестя от прочих покупателей. Вот послушай! Перед курбан-байрамом* я просил его прислать мне жирного барана на убой. Я и деньги ему передал — шесть с полтиной. Не задаром просил. Ну что же, каналья, почитай меня даже за совсем постороннего человека. Клянусь единым аллахом, он прислал мне такого тощего барана, что, кроме шкуры и костей, в нем ровным счетом ничего не было. Я же в конце концов не камень! Не так ли? Ну, и разгневался. Послал ему передать, что наше родство не может состояться... Но все это в прош-

лом. Ты будь покоен, братец молла. Я тут разговариваю, а ты, наверное, есть хочешь. Ты об этом не беспокойся, раз ты мне советуешь, я не стану возражать, отдам девушку за него, и все тут. Да сохранил тебя аллах другом и соседом мне во веки веков. Пойду-ка посмотрю, как с обедом.

Мешади вышел и вскоре принес большую миску с бозбашем, от которого шел густой пар. Накрошил хлеба в бульон, помешал. Когда все было готово, мешади предложил мне приступить.

Сказав «биесмиллах», я протянул руку и, проглотив первый кусок, сразу почувствовал, что бозбаш неплох. Не то чтобы очень вкусен и не так, чтобы совсем невкусен, бозбаш как бозбаш.

Это на мой вкус.

Что же касается моего соседа, то у него вкус оказался совершенно иной. Отправив в рот второй кусок, мешади пробормотал негромко, как бы про себя:

— Не очень жирно!

Спустя минуту, он сказал уже громче:

— Каналья, опять отпустил нежирное мясо!..

И, съев еще один кусок, вовсе отказался от бозбаша и, повернувшись к окну, громко крикнул жене:

— Эй, Тукезбай, Тукезбай! Сейчас же пошли мальчишка сказать этому наглецу, что я окончательно решил не отдавать свою дочь за него.

Я был поражен. Даже о голоде позабыл. Хотел было начать наставления и даже похвалить бозбаш, но на лице моего соседа было написано такое возмущение, что я сразу понял бесполезность всяких наставлений. И все же я счел своим долгом вмешаться в дело, считая, что, быть может, еще не все потеряно.

— Братец мешади, — начал я, — ведь бозбаш не так уж плох, почему ты сердиться?

Но Мешади-Мамедали был настолько разозлен, что как будто и не слышал моих слов.

— Эй, жена! — крикнул он в дверь. — Это мое последнее слово, слышишь? Я не шушу. Не выдам, ни за что не выдам дочь. Заруби себе на носу.

У мешади дрожали руки. Я сидел смущенный и раскандался, что пришел сюда. Вытерев руки, я отодвинулся от скатерти и произнес благодарственную молитву.

В этот момент мешади как будто очнулся от сна,

словно понял внезапно всю свою нелюбезность. Вспомнив о том, что я остался голоден, он сразу остыл и позабыл о своем гневе.

— Ради аллаха, братец молла, — сказал он мне приветливо. — Прости меня. Я сейчас закажу для тебя яичницу, ты же голоден!

И он уже без нотки гнева крикнул жене:

— Тукезбай, приготовь-ка скоренько яичницу. Братец молла отказался от бозбаша, остался голоден. Да проклянет аллах родителей скверного человека! Из-за него мы остались голодными.

Я, извинившись, от яичницы отказался. Аппетита у меня уже совершенно не было, к тому же я вообще не любитель яичницы. Я хотел встать, но Мешади-Мамедали быстро бросился ко мне и, положив обе руки мне на плечи, усадил силой.

Мне пришлось покориться.

Через некоторое время мешади принес яичницу, после которой мы выпили чаю и даже побеседовали немного о том о сем.

Наконец я собрался уходить и, прощаясь, посмотрел на Мешади-Мамедали, думая заговорить о деле Шамиля, — быть может, удастся смягчить разгневанного мешади; но я тут же отказался от своего намерения, решив, что бедняга Шамиль просто не пользуется расположением мешади, а тощий баран да нежирное мясо — все это не более как предлог.

И тогда же я понял, что тут ничем нельзя помочь, что если сегодня Мешади-Мамедали помирится и расцелует с мясником Шамилем, то завтра снова рассорится с ним из-за постного мяса.

Это уже стало его привычкой.

Через месяц или полтора мне передали, что Мешади-Мамедали справил свадьбу дочери и выдал ее за мясника Шамиля.

На свадьбу был приглашен и я, но по случаю болезни не мог пойти.

Со станции Евлах, расположенной между Тифлисом и Баку, шоссе идет через Барду в Агдам и оттуда поднимается к городу Шуше. Из Агдама шоссе заворачивает налево, к Карабулаху, или, как называют его по-русски, к Карягино. Отсюда оно идет к Джебранлу и, наконец, выходит на берег Аракса, к известному Худаферинскому мосту, по которому переходят в Иран.

Несколько лет назад мне привелось перейти через этот самый мост и подняться в иранские горы. Здесь начинается Карадагская провинция, простирающаяся до самого Тебриза. Влево от нее живут шахсеваны*, вправо, по берегу Аракса, тянется граница кавказского Азербайджана.

Было начало лета. Стояла нестерпимая жара. Перейдя мост, мы поднялись в горы и переночевали в деревне Ларджан, у Кули-хана, наутро продолжали подъем. Чем выше, тем прохладнее становился воздух и живописнее — горы.

После двухдневного путешествия мы дошли до известного селения Келейбер и, проведя здесь два дня, собрались двинуться через город Эхер к Тебризу. Но правитель этой провинции Назарали-хан Икрам-уд-Довле* прислал за нами трех вестовых с приглашением погостить у него на зйлаге. Отказать хану было неудобно, и мы отправились к нему.

Господин Икрам-уд-Довле проводил лето в селении Герме-Чатах, которое вместе со всеми окрестными селениями составляло собственность хана и находилось от селения Келейбер на расстоянии двух-трех часов пути верхом. Это селение, расположенное на склоне самой высокой горы, левее селения Меразли, представляло собой небольшую прекрасную дачу.

Жителей было всего человек около двухсот. Чудесная ключевая вода и богатые пастбища делают это место особенно привлекательным для летнего отдыха. Но частые столкновения между отдельными ханами не дают, к сожалению, возможности населению снокойно пользоваться щедро рассыпанными богатствами природы.

Мало того, несколько лет тому назад здесь свирепствовал тиф и голод, погибла половина населения, все пришло в запустение и ветхость, и на каждом шагу попадались полуразрушенные пустые строения, зиявшие черными провалами окон и дверей.

Одним словом...

Господин Икрам-уд-Довле принял нас с исключительным гостеприимством. Мне кажется, что едва ли можно встретить где-нибудь такое гостеприимство, как в Иране.

По распоряжению хана, нам был отведен дом, на плоской крыше которого для нас разбили две вместительные и удобные палатки, чтобы мы могли расположиться свободнее.

Среди карадагских ханов Назарали-хан Икрам-уд-Довле был известен своей добротой и обходительностью; среди подданных хана, с которым мы разговаривали, не было ни одного, кто бы хоть капельку был недоволен ханом.

И в то же время, наблюдая, как он обращается с населением, мы убеждались, что трудно было представить себе более бесчеловечное и жестокое обращение с людьми, хотя внешне как будто не было ни явной жестокости, ни, тем более бесчеловечности, и населению, можно сказать, жилось привольно.

Определенного правопорядка в крае не существовало, не было также ничего такого, что напоминало бы прави-

тельство. Полномочным представителем власти являлся Назарали-хан. С административными центрами иранского государства — Тебризом и Тегераном — не было никакой связи. И Назарали-хан был неограниченным властителем провинции, мог казнить и миловать по своему усмотрению. Он был и судья, и власть, и закон.

В каждом селе был старшина, который и правил селом. А всеми старшинами распоряжался непосредственно Икрам-уд-Довле. Вот и все.

Визирей Назарали-хана заменял отряд феррашей, которые обходили дома и дворы и, щелкая бичами, объявляли населению волю хана.

Главным везиром при хане считался Мирза-Садых Мунши, известный среди крестьян просто как Молла-Садых.

Обоим им, и Назарали-хану, и Мирза-Садыху Мунши, было лет по шестьдесят, а может быть, и все шестьдесят пять.

Назарали-хан казался добряком, в личном его обращении с населением мы не заметили никакой жестокости, но ферраши были грозой крестьян. После всего виденно мною в этом селении за несколько дней у меня составилось убеждение, что нет на свете более злых и бездушных людей, чем ферраши карадагского хана.

Утром, едва проснувшись, мы слышали неистовые крики, доносившиеся из какого-нибудь крестьянского дома.

Выяснялось, что один из феррашей, по имени Али-Джафар, явился к крестьянину Кербелай-Мусе за двумя фунтами свежего коровьего масла для ханского стола. Хозяина нет дома, а жена, призывая в свидетели всех святых, клянется, что молоко выпили дети, и масла она не сбывала.

Обругав женщину, ферраш Али-Джафар уходит и вскоре возвращается с четками хана. Теперь у крестьянки уже нет выхода... Хотя из земли, а надо достать масло и сдать феррашу. Ибо четкам хана нельзя отказывать.

Посылая через кого-нибудь поручение, в древние времена обычно подкрепляли его каким-нибудь вещественным знаком. Особенно это бывало и бывает необходимо, когда посылающий или получающий поручение не знают грамоты. Например, посылая кого-нибудь к себе домой с поручением, хозяин дома снабжает посылку своим

карманным ножиком или каким-нибудь ключом, чтобы рассеять всякие сомнения насчет его полномочий.

Назарали-хан Икрам-уд-Довле установил у себя такой порядок: в первый раз с тем или иным требованием к крестьянину должен был обращаться ферраш. Если его требование исполнялось, то все обходилось благополучно, если же нет, то он наносил отказчику несколько ударов плетью и уходил с тем, чтобы вернуться с четками хана. Теперь уж требование должно было быть исполнено во что бы то ни стало, иначе ферраш имел право поступить с непокорным, как ему заблагорассудится; если бы он вынул кинжал и отрубил голову тому, кто не подчинился воле повелителя, я не знаю, что произошло бы, вернее всего, ничего бы не произошло.

Однажды я был очевидцем магического действия четок.

К одному крестьянину явился ферраш и потребовал для хана барана. У крестьянина барана не было. Ферраш Али-Джафар ушел и вернулся с четками. В ту же минуту крестьянин обменял у соседа единственную свою скотину — осла — на барана и козу и передал барана феррашу, а козу пустил во двор пасти.

Четки хана состояли из небольших черных зерен, названных на красную шелковую нитку, и ничем особенным не отличались, если не считать того, что они были атрибутом власти господина Назарали-хана Икрам-уд-Довле.

Дом, отведенный нам, принадлежал вдове Кербелай-Гейдара, у которой было несколько ребятишек. Звали эту женщину Пери. Мы занимали сени и крышу дома, а Пери с детьми ютилась в задней комнате, где помещалась также и скотина, так как из-за воров даже летом было рискованно держать скотину во дворе или в поле.

Все благосостояние бедной женщины составляли осел, корова и несколько овец и коз.

Иногда по утрам, когда Пери, подовв корову, садилась на корточках у очага варить для детей кашу, я заходил к ней. Закрыв рот платком и помещивая кипевшее молоко, она рассказывала о местных делах.

Я с большим интересом слушал ее бесхитростные рассказы. Пери было за пятьдесят, но она хорошо сохранилась: смуглолицая, высокая, стройная, здоровая, она не отличалась красотой, но и дурнушкой ее назвать было нельзя.

Однажды утром я застал у очага Пери Мирза-Садыха Мунши, который беседовал с ней, покуривая трубку.

Вскоре я увидел его там же вторично: он так же курил трубку и разговаривал с вдовой. Заметив меня, он на этот раз поманил меня рукой; я подошел и приветствовал его.

Пери положила на пол для меня старый детский тюфячок, и по приглашению Мирза-Садыха я сел.

— Господин Молла-Насреддин! — начал Мирза-Садых Мунши, попыхивая трубкой. — Я пригласил тебя сюда, как благочестивого и богобоязненного мусульманина, чтобы ты своими ушами слышал мои справедливые речи и по возвращении к себе на родину не писал о том, что в Карадаге ханы и визирь притесняют население. Вот я при тебе обращаюсь к этой женщине, не имеющей мужа, и предлагаю ей по всем правилам шариата вступить со мной в сыйга, чтобы я мог иногда приходить сюда и со спокойной совестью предаваться беседам с тобой, чтобы и ты, как приезжий, не испытывал скуки одиночества*.

Не успел Мирза-Садых Мунши произнести слово «сыйга», как Пери подскочила на месте, словно наступила на горячие угли.

— Молла-Садых Мунши! — вскричала она, размахивая руками. — Молла-Садых Мунши! Не говори этого! Не говори этого!

Я вскочил с места и хотел бежать отсюда... Я не убежал, но потихоньку вышел из комнаты.

За мной молча последовал Мирза-Садых Мунши.

Но спустя некоторое время Мирза-Садых вернулся в сопровождении ферраша Али-Джафара, который, став у ворот, начал звать Пери. Когда она показалась в дверях, ферраш Али-Джафар высоко поднял четки хана и громко выразительно произнес:

— Пери, Пери! По жалобе Мирза-Садыха Мунши, хан прислал показать тебе свои четки. Смотри на них...

Смотри хорошенько. Это те самые четки, которые два года назад сбросили с высокой скалы мельника Мехти, того самого, который не подчинился приказу хана, да так сбросили, что дети мельника не смогли найти даже его труп. Это те самые четки, которые сожгли дом Оруджали и обрушили его стены на головы его детей. Смотри хорошенько, те ли самые это четки, или нет?..

Пери, у которой нижняя часть лица была закрыта платком, стояла у порога и молча, внимательно смотрела на четки. Тут же, столпившись, стояли соседи.

Никто не проронил ни слова: ни женщина, ни Мирза-Садых, ни соседи. Выслушав ферраша, все молча разошлись.

После этого я несколько раз видел, как Мирза-Садых Мунши приходит к Пери и, сев на тюфячок у очага, мирно беседует с ней*.

Перед самым отъездом он встретил меня и сказал: — Молла! Наша Пери обещала сварить сегодня молочный плов. Если будет угодно, прошу пожаловать на обед.

Но я почему-то не смог воспользоваться любезным приглашением главного визиря.

Во время пребывания моего в Тебризе* в нашем квартале на базаре «Уста-Шагирд» я коротко сошелся с одним бакалейщиком.

Спустя года полтора после того, как я переселился в Баку Мешади-Рагим вдруг появился в редакции «Молла-Насредина»*.

Оказалось, что Мешади-Рагим свернул свою бакалейную торговлю в Тебризе и, приехав в Баку, открыл новую бакалейную лавку на набережной.

Прошло некоторое время, и я позабыл о Мешади-Рагиме.

Как-то проходил я по бульвару и вижу — друг мой Мешади-Рагим сидит в аккуратненькой лавочке и бойко торгует. Я вошел. Мешади-Рагим встал, подошел ко мне, обнял, придвинул стул. Бедняжка чуть не плакал от наплыва чувств.

Оставив меня, Мешади-Рагим побежал в другой конец лавки и принес на ладони несколько аланы**. Я, было, отнекивался, но Мешади-Рагим упрямил-таки меня съесть целых три штуки. Затем он принес яблок, сколько могло поместиться у него на ладонях, и разложил их передо мной.

— Это антоновские яблоки, — сказал он. Разреши мне послать из этих яблок на дом, пусть дети лакомятся.

И Мешади-Рагим принялся тут же наполнять большой бумажный куль этими яблоками. Потом взвесил на весах.

Покопчив с яблоками, Мешади-Рагим оглядел свою

лавку и принес мне на ладони два финника, подержал передо мной и сказал:

— Это из Багдада. Пусть положат в приправу к плову. Вот поешь, тогда поймешь всю прелесть этих финников.

Он взял бумажный мешок и начал наполнять его финниками.

Конечно, надо было принять во внимание, что я зашел сюда не для покупок. Во всяком случае, я не собирался покупать эти вещи, да и денег при мне не было достаточно. А Мешади-Рагим так суетился, будто собирался сию же минуту положить на весы всю лавку и продать мне.

— Не надо, Мешади-Рагим, — попытался я остановить его, — не утруждай себя. Ничего из этих вещей мне не надо, и я давно отвык от финников в приправе к плову. И потом, мне просто нечем платить за все эти вещи.

Мешади-Рагим в упор посмотрел на меня, но посмотрел так, что я не мог понять, доволен он моими словами или сердится за них. Поглядев на меня еще с минуту, он сказал:

— Дядя Молла! Не говори мне таких слов, потому что они меня обижают. Аллах свидетель, столько лет мы с тобой как члены одной семьи. Я и денег от тебя не хочу. Разреши мне отвесить тебе этих вещей, отнеси домой, пусть лежат про запас. Сегодня не понадобятся, завтра пригодятся. Дом есть дом. Могут быть гости, мало ли что. Такие вещи не всегда найдешь. Вот положу я тебе этой фисташки фунта два, недавно получена из Мазангарана, и стоит очень дешево. В этом году урожай на фисташки. Фунта три-четыре дам тебе этого сыра, гянджинского, такой сыр, что пальчики оближешь. Каштанов отвешу фунтов десять. Их привез только что из Нухи мой друг Мешади-Садых. Вот этого риса садри возьми, хочешь, пуд, а нет, так полпуда. Его прислал из Решта мой брат Мешади-Керим. Рис отборный, но не забудь предупредить дома, чтобы за день до варки положили в воду. При варке этот рис становится пыльным.

Говоря все это, Мешади-Рагим наполнил и взвесил яблок, затем мешок фисташек, отвесил сыру, каштанов,

в два больших мешка насыпал и взвесил рис. Он потянулся за новым бумажным мешком.

— Ты что, Мешади-Рагим, — остановил я его. — Ты шутишь или в самом деле взвешиваешь и готовишь все это для меня?

Друг мой снова посмотрел на меня в упор и сказал:

— Вот что, дядя Молла, заклинаю тебя нашей дружбой, если дома у тебя сахару достаточно, то пусть, но если нет, то возьми фунтов десять этого ярмарочного сахара. Положу две пачки, каждая по пять фунтов, две пачки составят как раз десять фунтов...

■

Все эти вещи Мешади-Рагим сложил в корзину, позвал с улицы носильщика, отдал ему из своего кармана десять копеек и сказал:

— Али-Гусейн! Отнеси эту корзину к дяде Молле, выложи товар и принеси корзину обратно.

Я был поражен.

— Что ты делаешь, Мешади-Рагим?.. — взмолился я. — Я не могу понять, что это все значит?..

Конечно, я мог бы оставить все эти вещи в лавке и уйти, но я не сделал этого и только потому, что Мешади-Рагим уж очень просил, очень наставлял и мне просто стало жаль человека.

Взвалив корзину себе на спину, носильщик выжидающе взглянул на меня, как бы предлагая пойти вперед, а мне хотелось, чтобы он пошел без меня, но тут оказалось, что этот злодей не знает моего адреса. Делать было нечего.

Когда мы приближались к нашему дому, нам повстречалась соседка, русская женщина. Увидев шагавшего за мной, согнувшегося под тяжестью носильщика, она с улыбкой проговорила «здрасьте» и прошла мимо.

Что она могла подумать? Либо то, что у кого-нибудь из членов нашей семьи именины, либо же то, что я живу на широкую ногу. А между тем, оба эти предположения были неверны и далеко не соответствовали действительности.

Уже у самого дома заговорил и носильщик:

— Дай бог тебе здоровья, дядя Молла, хороших вещей закупил. Наверно, гостей ждешь!..

Тут мне стало очень стыдно перед носильщиком. Стыдно стало потому, что в эту минуту в таком положении я, старый литератор, уподобился какому-нибудь чревоугоднику мешади.

■

Впоследствии я послал Мешади-Рагиму часть денег. Остальную же часть своего долга я покрыл совсем недавно.

О, да! О, да! Гляди, как эта женщина идет!
Гляди, гляди, как эта женщина бредет!

*Из драмы, которая представляется
в наших литературных кругах.*

Братец Молла, зайди как-нибудь ко мне!
Приглашал меня к себе один из старых моих друзей, но называть здесь его имя я не считаю нужным. Встретив меня еще раз-другой на улице, друг мой повторил свое приглашение, и вот однажды вечером я зашел к нему.

Дома были сам хозяин, его жена ...ханум (имени ее не называю) и еще старший их сын, учащийся техникума.

Когда я вошел, все они встали.

— Добро пожаловать, добрый вечер, прошу садиться!
— Благодарю покорно!..

Я сел. Ханум вышла. В комнате, где мы сидели стоял у передней стены красивый книжный шкаф. В верхней его части красовалась табличка, на которой изысканным почерком было выведено арабскими буквами: «Энадилли ше'р», что означает «соловьи поэзии».

Говоря по справедливости, этот шкаф вполне был достоин своего хозяина, потому что этот самый мой друг по праву входит в число ревнителей нашего просвещения и культуры.

Книги, аккуратно расставленные за стеклами шкафа, недвусмысленно говорили:

— Это мы и есть соловьи поэзии!..

Я встал, подошел к шкафу и остановился перед ним. Поднялся и хозяин дома, достал из кармана ключ и, подойдя, отрыв дверку шкафа. Потом повернулся ко мне.

— Видишь? — спросил он.

— Вижу, — ответил я.

Тут подошел и сын моего друга. Я протянул руку, чтобы взять одну из книг и посмотреть.

Хозяин дома удержал меня:

— Братец Молла, ради бога, погоди!

Я немного удивился, но он мне сказал:

— Я готов все эти книги выложить сейчас перед тобой, но не в этом дело. Я хочу сообщить тебе нечто очень важное, затем я и позвал тебя сюда.

— А что именно? — спросил я.

— Я достал две редкостные книги, но пока ты не наградишь меня, я их тебе не покажу!

Сын его расхохотался и повернулся ко мне:

— Ну как, дядя Молла, попали в историю?

— Я обязуюсь наградить тебя, — сказал я хозяину, — но и ты должен доказать, что приобретенные тобою книги действительно стоят награды.

Друг мой закурил и повернулся к столу, чтобы положить спичку в пепельницу. В это время я опять хотел было протянуть руку к шкафу, но друг мой поспел вовремя:

— Умоляю тебя, потерпи! Клянусь твоей головой, пока не получу награды, не дам дотронуться до книг.

Я промолчал, но сын хозяина, кажется, пожалел меня и обратился к отцу:

— Отец, ради аллаха, не мучай дядю Моллу, покажи ему свои новые книги!

Друг мой снова посмотрел на меня, потом, шуря глаза от едкого табачного дыма, протянул руку, снял с верхней полки какую-то книгу в ветхом переплете и подержал передо мной. Я взял ее посмотреть, что за книга.

Она была написана от руки и было похоже, что ее отпечатали в прошлые века на литографском камне. Я перелистал несколько страниц и взглянул на титульную страницу. Среди путаных, извилистых письмен я никак не мог разобрать название книги.

Видя мою беспомощность, друг мой протянул руку за книгой и сказал со смехом:

— Дай-ка сюда!

Он взял у меня книгу и сказал торжествующе:

— Эта книга — диван одного из древне-азербайджанских поэтов по имени Эльдан. Сколько лет я искал эту книгу!..

Я спросил его, каким же образом он раздобыл ее теперь, и он рассказал мне историю книги:

— Эта книга принадлежала персидскому принцу Бахман-Мирае. Рассказывают, что когда принц бежал из Персии в Карабах, то носил эту книгу в боковом кармане. Года два тому назад я выдал одному посреднику некоторую сумму денег и по секрету сказал: если он достанет мне эту книгу, то получит от меня еще и суконовую чоху. Он оказался молодым, принес мне книгу и получил чоху.

Тут я снова взял книгу и, открыв в середине, стал перелистывать. Везде были одни стихи. Я надел очки и с большим трудом прочитал на одной из страниц полстрочки, но дальше уже не мог читать и, ясное дело, ничего из прочитанного не понял.

Хозяин книги взял ее из моих рук и сказал:

— Теперь давай сидем.

Сели.

— Ты в каком месте читал?

Я склонился над книгой и показал. Сын хозяина тоже вытянул шею.

— Братец Молла, — начал мой друг, — видимо, ты не привык читать такие книги. Вот я почитаю, а ты слушаешь. И так, где ты читал?..

И принялся читать. Он прочитал один бейт из какого-то стихотворения, посмотрел на меня, помолчал и сказал:

— Я могу поклясться своей честью, что ни один из известных азербайджанских поэтов не создал до сих пор подобного стиха, рассчитанного на вечность!.. Bravo, bravo! Клянусь вашей жизнью, это нечто неподражаемое! Но слушай дальше!..

Я тут ничего не сказал. И не сказал потому, что признайся я, что из рассчитанного на вечность стиха этого необыкновенного поэта я ничего не понял, тогда и друг мой и сын его сочли бы меня невеждой, как это тысячу раз бывает в обществе азербайджанцев, где прочитываются рассчитанные на вечность стихи подобных необыкновенных поэтов, а слушатели ни единого слова в них не понимают, и лишь некоторые из них, то ли из тщеславия, то ли из робости, как я, притворяются понимающими и поддакивают чтену.

Вот почему я смолчал: не хотелось выказывать свое невежество.

Я думал об этом, когда старая, бедно одетая женщина в головном платке, закрывавшем часть ее лица, внесла чай. За нею пришла и ханум. Когда женщина поставила стаканы и с пустым подносом в руке собралась уходить, ханум сказала ей вслед:

— Зейнаб, присмотри за самоваром, чтобы он не остыл.

Похоже, что женщина эта была служанкой. Она ушла, а ханум села.

Не отрывая глаз от книги, друг мой протянул в мою сторону указательный палец и принялся читать. Прочитав один бейт, он тут же начал переводить и комментировать его.

— Это значит, что у себя в цветнике я посажу цветок «гебр», и когда появятся душистые бутоны и распустятся, я сорву этот цветок и отнесу в дар моей прекрасной возлюбленной. Соль в том, что слово «гебр» при различном чтении дает совершенно различные понятия. В одном случае оно будет означать кожуру лука, в другом же случае кончик верблюжьего хвоста. А тут означает душистый цветок!.. Теперь слушайте дальше.

И он прочитал газель, из которой никто из нас равным счетом ничего не понял. Потом прочитал еще газель, после чего ханум зевнула и встала. А сын исподволь усмехался. Мне очень хотелось знать, чему он усмехается, но спросить было неудобно.

Палаша-газеломан снова уткнулся в книгу и, по-прежнему, протянув в мою сторону указательный палец, принялся с воодушевлением читать дальше. Прочитав бейт, в котором только в первой строке пять раз повторялся в различных сочетаниях звук «дж», он восхищенно воскликнул:

— Ну и ну!.. Как тонко! Чудеса творит дьявол! Ты обрати внимание на его искусство: какие глубокие мысли переданы обыгрыванием одной только буквы «дж»! Вот это да!.. Чудо, чудо поэзии!..

Мой друг выражал свой восторг с пеной у рта, и брызги слюны разлетались вокруг, попадая в стаканы и блюдца.

Ханум, продолжая зевать, повернулась уходить и только сказала:

— Как жаль, что я ничего не понимаю...

Ее поддержал и сын:

— И в самом деле, отец; ты даешь на эти книги уйм денег, так хоть бы объяснял нам, что там написано и что хочет сказать автор.

И я открыл было рот, чтобы присоединиться к матери и сыну, но хозяин дома, не дав мне заговорить, спросил:

— Как ты находишь Эльдан, братец Молла? Какие чудеса творит, а?

Мне опять стало стыдно, и я мог только сказать:

— О да!..

Друг мой закрыл книгу, положил на стол и, подойдя к шкафу, достал из него другую такую же старую книгу. Подняв ее обеими руками над головой, он восторженно сказал:

— Видишь, братец Молла! Эту книгу носил по базару некий перс и кому ни показывал, никто ни гроша за нее не давал, потому что где быку понять прелесть розы и как курду оценить вкус фисташки! За эту книгу я заплатил столько денег, что не составит и десятой доли подлинной цены ее; заплатил я за нее тридцать два рубля и после того, как получил ее, мне показалось, что я нашел ее на улице. Эта редчайшая книга представляет собой диван гениального поэта доисламской эры Секер-уль-Кадери. По одним данным, Секер-уль-Кадери родился в азербайджанском селении Данакырт за двести двенадцать лет до переселения пророка из Мекки в Медину и до девяти лет прожил в родном селе, затем переселился в Багдад, где учился науке стихосложения у такого выдающегося ученого, как Бетабин-уш-Шеджери. Впоследствии своими стихами он вошел в число лучших арабских поэтов, и это дало повод арабам по незнанию и по ошибке считать его своим поэтом. Как известно, этому Секер-уль-Кадери принадлежит одна из «Муаллакат», вот почему тысячи паломников, связанных религиозным обетом, время от времени приходят к нему на поклонение. Вот один бейт из его стихотворений...

И он громко и с воодушевлением прочитал двустишие на арабском языке.

— Пах-пах-пах! В самом деле, какой у этого злодея плавный слог, и как он возвысил азербайджанских тюрок* среди арабов, а может быть, и во всем исламском мире! К слову, я могу заметить, что арабы присвоили, кроме него, еще нескольких наших поэтов. К примеру, как ты думаешь, кто такой Хатем-Тан? Я могу сослаться на ряд документов и многие источники, которые неопровержимо доказывают, что Хатем-Тан принадлежит к роду Хатемхан-аги с этого берега Аракса и эмигрировал некогда в Аравию. Ныне арабы гордятся его несравненными и непрезойденными произведениями. Я хочу сказать тебе, братец Молла, что у меня большие сомнения и насчет автора «Муаллака» Имру-уль-Кайсал.*

Молодого студента техникума уже не было возле нас. Очевидно, ему наскучило, и он бежал (потому что не понял прелесть беседы).

Друг мой не отводил глаз от страниц книги, и похоже было, что он собирается прочитать из нее еще что-нибудь.

Признаюсь чистосердечно, что я немного устал, но постеснялся хозяина дома и не хотел показать свою усталость, напротив, раза два я даже поддакнул ему.

Но тут произошло одно событие, от которого и усталость моя прошла, и стыдливость мою как рукой сняло.

Как только друг мой открыл рот, чтобы продолжить чтение, погасло электричество.

И мы остались в темноте.

Друг мой тотчас же позвал сына:

— Сынок, сынок, пожалуйста, почини-ка поскорее свет!..

Ханум принесла свечку и поставила на стол. А сын взял молоток, клещи и куски провода и побежал в прихожую.

Любитель поэзии придвинул поближе свечку, чтобы

продолжать чтение, но письмо оказалось настолько мелким, что он не мог разобраться и принялся курить.

Дверь в другую комнату оставалась открытой, и я видел и слышал, как сидит в той комнате ханум, возле нее устроилась маленькая девочка, а на полу сидит старуха Зейнаб и что-то рассказывает. И ханум и девочка слушали ее. Зейнаб рассказывала такую сказку:

— Жил-был падишах, и еще был у него визирь. Визирь был человек очень умный. Однажды он спал у себя дома, и вдруг среди ночи постучали в дверь. Визирь проснулся и хотел выйти на стук в исподнем. Но тут жена удержала его:

— Визирь, не выходи в исподнем. Оденься, возьми оружие, в дверях может оказаться недруг.

Визирь послушался совета жены, оделся, взял оружие и пошел открывать дверь. И видит, что стучится какой-то богатырь, на поясе кинжал, в руке — ружье. Увидел визиря при оружии и говорит ему:

— Поблагодари свою жену. Если бы ты вышел ко мне в исподнем да без оружия, то был бы сороковым игом, которому я отрубил голову.

Одним словом, богатырь говорит визирю:

— Идем!..

— Куда идем?

— Тебе нет до этого дела. Говорю, идем!

Словом, пошли. Шли, шли и остановились у какой-то двери. Богатырь говорит визирю:

— Ты останешься здесь. Жди меня. Если я крикну, знай, что я победил, и беги ко мне на помощь, а если не услышишь моего голоса, значит, я побежден. Тогда ты можешь возвращаться домой, но кто бы из моей родни и близких ни спросил обо мне, ни в коем случае не говори о моем поражении. Всем говори, что ничего не знаешь, что где-то меня потерял. Хорошенько запомни, слышишь, запомни это! Ни в коем случае не говори, что богатырь повержен!..

До этого места и ханум внимательно слушала, и девочка слушала, и я слушал.

Тут я вспомнил о моем друге, который сидел возле меня. Мне подумалось, что он опять углубился в свои книги и только потому молчит. Повернулся к нему и

вижу, он тоже поглощен сказкой Зейнаб и забыл обо всем.

Дверь в комнату закрылась, и мы больше не слышали голоса Зейнаб.

В нашей комнате в эту минуту воцарилась такая тишина и меня охватило такое волнение, что на минуту и перестал видеть горящую свечу, и в эту минуту в темноте перестал существовать для меня и азербайджанский поэт Эльдаи, исчез в темноте и Секер-уль-Кадери, и даже арабизированные стихи всех соловьев моего друга потонули в густом мраке и навсегда перестали существовать для меня.

Для меня в эту минуту единственным проблеском была свеча, при свете которой я слышал из уст простой женщины Зейнаб понятную и увлекательную азербайджанскую сказку.

■

Зажглись электрические лампочки и вывели меня из состояния меланхолии.

Студент-электрик прибежал радостный и со смехом сказал отцу:

— Ну что, отец! Хотя бы раз зажгли этот свет твои замечательные поэты!..

Отец смотрел на сына с удовлетворением, и было видно, что он в душе очень гордится его знанием.

■

Я извинился перед хозяином дома и собрался уходить. Молодой человек пошел проводить меня до ворот, и, спускаясь по лестнице, сказал мне:

— Дядя Молла, вот уже девять лет я прохожу уроки родного языка, но все же не могу понять этих поэтов.

В ответ на его признание я сказал, прощаясь с ним: — Я хочу сказать тебе кое-что, но с условием, чтобы отец не знал.

Он поклялся. И тогда я сказал ему:

— Языка этих поэтов — кумиров твоего отца и моего друга я тоже не понимаю!..

Молодой человек стоял пораженный.

В году тысяча восемьсот девяносто четвертом по рождеству Христову путешественник Рейнгартен пришел из России на Кавказ, чтобы перейти в Иран, а оттуда в Индию, Китай, Японию. Из Японии он должен был отправиться морем в Америку, оттуда в Англию и далее во Францию и Германию, после чего должен был уже с запада вернуться в свой родной город Ригу.

Рейнгартен предполагал проделать это путешествие за четыре года, но я хорошо помню, что о возвращении Рейнгартена на родину русские газеты сообщили только шесть лет спустя.

В Нахичевань пришел Рейнгартен весной, в начале апреля. Каким-то образом я оказался в числе доброжелателей и почитателей этого господина и даже превзошел их, так как присоединился к путешественнику, и мы вышли вместе из Нахичевани и по кратчайшей дороге достигли Джульфы за пять-шесть часов.

Здесь встречали Рейнгартена очень тепло, особенно местные служащие, чиновники.

Пробыв здесь день, Рейнгартен на пароме переправился через Аракс на иранскую землю. Среди провожающих был и я. Хорошо помню, как начался сильный ливень, и мой кратковременный, но бесподобный друг с хурджином** на плече и с палкой в руке пешком двинулся по туманной тебризской дороге. Как мы ни уговаривали его сесть в повозку или на лошадь, но, как и следовало ожидать, он отказался, потому что весь смысл его путешествия и заключался в том, что он шел пешком.

В тот день я остался ночевать у моего старого приятеля и земляка Мешади-Гулам-Гусейна.

Многие годы этот Мешади-Гулам-Гусейн вел торговлю в русской Джульфе и занимался коммерческим посредничеством. Доход он имел приличный. Семьи при нем не было, а готовил ему иранец по имени Мешади-Имамали, который помогал ему и в торговле. Мешади-Гулам-Гусейн был уже в летах и, хотя и красил бороду хной, но ему было не менее пятидесяти. Правда, с виду он больше был похож на человека благочестивого и религиозного, но на самом деле был ценителем земных удовольствий, вместе с тем отличался преданностью и добротой. Так или иначе, наша с ним дружба была многолетняя и крепкая. Несмотря на большую разницу в летах, мы с ним хорошо сошлись характерами и без конца шутили и смеялись.

Я переночевал и наутро собирался вернуться в Нахичевань, но Мешади-Гулам-Гусейн не отпустил меня. Я бы не остался, но приятель мой обещал на следующий день отправиться в Нахичевань вместе со мной. Это предложение и соблазнило меня.

Я провел в Джульфе и этот день, но как провел? До самого вечера Мешади-Гулам-Гусейн смешил меня, и я помню, что ночью, лежа в постели, я вспоминал разговоры Мешади-Гулам-Гусейна и принимался вновь хохотать. Особенно рассмешил меня один случай, о котором рассказал мне тогда Мешади-Гулам-Гусейн. По возвращении в Нахичевань я записал его рассказ, но потерял тетрадь и теперь передаю то, что уцелело в памяти.

Речь идет о русской девушке, которой и посвящается этот рассказ.



Утром я проснулся несколько позднее обычного. Самовар Мешади-Гулам-Гусейна пел в соседней комнате, но самого приятеля не было видно. Возле самовара возился Мешади-Имамали.

Я встал, оделся, напился чаю. Приятель мой был в таможне. Я вышел во двор и с полчаса погулял там. Пришел Мешади-Гулам-Гусейн с какими-то бумагами.

Разобрался в них, покончил с делами, распорядился насчет обеда и предложил мне выйти в город. Мы пошли по берегу Аракса вниз по течению, медленно повернули обратно. Погода была прекрасная, подувал легкий ветерок. Перед новыми, выстроенными в ряд домами изредка показывались русские жильцы. То были члены семей таможенных служащих. Мы пошли в какую-то лавочку, купили папиросы и снова пошли гулять. Но приятель мой Гулам-Гусейн вдруг, кого-то увидев, вернулся в лавку, наскоро бросив мне:

— Я буду в лавке, а ты хорошенько разгляди эту девушку.

Я остановился посреди улицы и стал смотреть. Ко мне приближалась русская девушка лет шестнадцати-семнадцати. Одета она была просто и даже бедно. Вглядевшись в нее, я заметил, что девушка и в самом деле очень красива; высокого роста, с белоснежной, как бумага, кожей, она была очень нежна, очень привлекательна.

Когда девушка прошла и скрылась с глаз, появился Мешади-Гулам-Гусейн и, взяв меня за руку минуту помолчал, потом спросил, заглядывая мне в глаза:

— Ну как?

Я ответил, что девушка прелестна.

Приятель мой подумал о чем-то, потом потянул меня за руку, посадил на камень в стороне от дороги, сел сам и начал рассказывать:

— Дорогой мой, о том, как я люблю тебя, ты знаешь. Знаешь ты и о том, что никаких секретов от тебя я не имею. Сейчас я расскажу тебе кое-что, но боюсь, что не поверишь. Я клянусь тебе нашей дружбой, клянусь жизнью моих родных, что недели две тому назад я целовался с этой русской девушкой так сладко, как целуются возлюбленные после долгих лет разлуки.

И в самом деле, я хотел было усомниться, но с одной стороны, его торжественная клятва, а с другой — его неизменная искренность по отношению ко мне поставили меня в такое положение, что я совершенно растерялся.

Я не успел предупредить, что Мешади-Гулам-Гусейн был не только стар, но и довольно-таки некрасив. Почти все передние зубы у него выпали, а сохранившиеся почернели и вытянулись так, что нельзя было разобрать, которые из них верхние, которые нижние. Мне кажется,

не то что шестнадцатилетняя русская красавица, но даже шестидесятилетняя мусульманская уродка с отращенным бежала бы от него.

И я ответил моему приятелю Мешади-Гулам-Гусейну, сказав так:

— Вероятно, девушка была сильно пьяна, когда целовалась с тобой.

— Нет, клянусь твоей драгоценной жизнью, она была совершенно трезва; к тому же девушка эта никогда не бывает пьяна и даже не пьет никогда.

— Быть может, ты поцеловал ее, когда она спала и ничего не знала, — стронл я догадки.

— Нет, она не спала, клянусь твоим здоровьем!

— В таком случае этот поцелуй ты получил за очень большую цену, — сказал я.

— Клянусь нашей дружбой, что он не стоил мне ни копейки, — ответил он.

— Друг мой, тогда я ничего не понимаю! — развел я руками.

Мой приятель пошел вперед, и мы медленно повернули домой. Для обеда было еще рано. Придя домой, мы застали готовый чай. Мешади-Имамали подал нам чай, с вкусным персидским печеньем, фисташками, миндалем.

Почему-то рассказ о русской девушке не выходил у меня из головы. Если бы я не знал хорошо Мешади-Гулам-Гусейна, то мог бы подумать, что он бахвалится, но я был уверен, что мне он солгать не может. С другой же стороны, я не мог поверить, чтобы только что увиденная мною русская красавица была равнодушна к этому старому и противному мужчине.

Я положил сахар во второй стакан чаю и, помешивая ложкой собирался было возобновить разговор о русской девушке, но мне мешал Мешади-Имамали, который то и дело входил к нам.

Мы покончили с чаепитием, и Мешади-Гулам-Гусейн послал Имамали в таможню позвать на обед его друга Мешади-Абдулала. Воспользовавшись удобным моментом, я обратился к Мешади-Гулам-Гусейну и сказал:

— Я жду!

— Чего? — спросил он.

— Конца рассказа о русской девушке, — ответил я.

Мешади-Гулам-Гусейн улыбку, но ничего не сказал. Он закурил и подумав немного, проговорил:

— Слушай!..

— Слушаю! — ответил я.

Приятель мой снова задумался, помолчал немного, и сказал:

— Давай забудем об этом разговоре.

— Нет, Мешади-Гулам-Гусейн, — возразил я. — Если ты рассказал об этом только ради шутки, чтобы посмеяться и убить время, разумеется, нам больше нечего продолжать и лучше поговорим о другом. Но если то, что ты рассказывал о русской девушке, правда, то я прошу тебя во имя нашей дружбы, покорнейше прошу открыть мне эту тайну.

— В таком случае, слушай внимательно, — проговорил мой приятель.

— Я готов! — сказал я.

Мешади-Гулам-Гусейн начал свой рассказ так:

— Эта русская девушка, как я уже говорил тебе раньше, дочь таможенного досмотрщика Иванова. Отец ее служит в нашей таможне уже четыре года. Это очень хороший человек, часто оказывает мне услуги в таможенных делах, и я тоже не остаюсь в долгу, когда бываю у меня удачные сделки, посылаю ему то отрез, то сухофрукты. У него такая же, как и он сам, добрая жена, и они часто зовут меня к себе в гости.

По правде сказать, ходил я к ним всегда очень неохотно, потому что как ни мирись со всем прочим, но эти нечестивые люди никак не могут отказаться от свинины!

Кроме этой красавицы, у них еще две дочери поменьше, одной лет семь-восемь, а другой еще меньше. Прежде, когда я ходил к ним, у меня ничего не было в мыслях, но впоследствии я начал присматриваться к этой девушке и понял, какая она красавица. Но что пользы: в мои-то годы дружба с такой турией была немислима... Словом...

Недели две-три тому назад христиане справляли свой праздник пасху. Как и в былые годы, я пошел по домам знакомых моих из армян и русских с праздничными поздравлениями. В первую очередь, был я у таможенного начальника, потом у начальника почты, короче говоря, в конце концов, я явился к этому самому Ива-

нову. Из дома доносилось пение. Я вошел и увидел трех-четырех русских мужчин, хозяйна и хозяйку дома и их дочерей, которые сидели за столом, ели, пили и пели песни. При виде меня все стали, вскричали ура и пошли навстречу. Начались объятия и поцелуи. И каждый из них, целуясь со мной, говорил:

— Христос воскрес!

Я было хотел уклониться от их объятий, но вспомнил, что сегодня у них праздник, а целоваться в этот день вошло в обычай христиан; я понял, что было бы невежливо и даже грешно нарушить их обычай. Я боялся кровно и навсегда обидеть хозяина дома, а это было не в моих интересах.

(Первыми расцеловались со мной Иванов) и трое гостей мужчин. Двоих я знал, один из них был тоже до-смотрщиком в нашей таможне по фамилии Васильев, а другой — знакомый молодой человек.

(После них подошла ко мне сама жена Иванова и точно также, как и мужчины, поцеловала меня соответствующим образом в губы и отошла. Затем... Ага... Смотрю, та самая красавица! Вот... Приближается... Клянусь твоей драгоценной жизнью, клянусь прахом моего родителя, та самая красавица, которую ты видел, потянулась ко мне своими алыми, точно мак, губками и со словами: «Христос воскрес!» прижалась к моим губам и так меня поцеловала, что я чуть не лишился чувств..

Я уверен, что ты меня достаточно хорошо знаешь, поэтому считаю лишним еще клясться и божиться..)

Послышались шаги Мешади-Имамали, и наш разговор на этом прервался.

Мешади-Имамали накрыл на стол и угостил нас очень вкусно приготовленным пловом-мусамма и медовой яичницей.

Ночь мы поспали с тем, чтобы наутро вместе с Мешади-Гулам-Гусейном отправиться в Нахичевань.

■
Мы поднялись рано утром и, позавтракав, сели в почтовую карету и отправились в путь. Кучер наш, старик в большой мохнатой шапке, всю дорогу дремал. Было довольно холодно, но у реки Алинджа воздух так

нагрелся, что мы мечтали о каком-нибудь облаке. Мешади-Гулам-Гусейн говорил мало.

— Мешади-Гулам-Гусейн, — сказал я ему тихо, — ты хорошо знаешь, что на всем свете нет у меня и двух таких друзей, как ты. Теперь во имя этой нашей дружбы, ты должен мне сказать чистосердечно, почему ты спрятался, когда увидел на улице ту самую русскую девушку, и еще сказал мне, чтобы я хорошенько посмотрел на нее? Почему ты не хотел, чтобы девушка увидела тебя?

Тут Мешади-Гулам-Гусейн посмотрел на меня, но смолчал. Потом вдруг расхохотался, и хохотал так долго и так громко, что возница наш проснулся, повернулся к нам, поглядел немного и принялся погонять лошадей. Стук колес заглушил смех Мешади-Гулам-Гусейна. Друг мой задымил папиросой, держа ее в кулаке, потом нагнулся к моему уху и сказал:

— Мне стыдно!

И снова расхохотался. Я тоже начал смеяться, но сказать по правде, и сам не знал, чему смеюсь.

Через полчаса мы доехали до деревни Чешмабасар. Возница остановил лошадей, слез с козел, подергал лошадей за одно, потом за другое ухо. Затем он бросил кнут в повозку, принес откуда-то охапку клевера и положил перед лошадьми. Он достал у лошадей удила и вошел в чайную.

Мы тоже сошли с повозки и, отойдя несколько шагов в сторону, сели на небольшом возвышении.

Мешади-Гулам-Гусейн положил руку мне на колено и сказал:

— Теперь ты должен поклясться мне жизнью дорогих тебе людей, что до конца дней ты нигде и никому не откроешь того, что я тебе расскажу сейчас.

Я поклялся, и Мешади-Гулам-Гусейн начал:

— Пусть простит аллах грехи всех грешников, в том числе и мои! Доложу я моему господину, в день праздника я вышел от Иванова и отправился прямо домой. Было время обеда. Мешади-Имамали принес блюдо и поставил передо мной. Но мне совсем не хотелось есть. Вечером я выпил стаканчик чаю и насилу проглотил кусок хлеба. Так и лег спать, а утром встал спозаранку и пошел к берегу Аракса. Мутные воды реки медленно текли, бурля и перекатываясь. И не было им никакого дела до живущих на земле людей, потому что ни русско-

го праздника пасхи не знали, ни сладости поцелуев русских девушек не понимали.

Возвращаясь с берега Аракса, вдруг я заметил, что иду прямо к дому Иванова. Смело вошел я во двор и постучался к Иванову. Открылась дверь. Передо мной стояла та самая дочь гура.

Сейчас я не помню подробностей, но одно помню, что я раскрыл объятия и хотел обнять и поцеловать девушку: Христос воскрес!..

В этом месте рассказа Мешади-Гулам-Гусейна я уже не мог не удержаться и громко расхохотался, но Мешади-Гулам-Гусейн не смеялся.

— Но эта дочь злодея, дочь гура, — продолжал он, — подняла обе руки к моим глазам и только сказала: пошел к черту!..

При этих словах Мешади я расхохотался так громко, что наш возница вышел из чайханы и стал смотреть на меня..

...Мы сели в повозку и через полчаса были в Нахичевани.

Года два тому назад я ездил в деревню Пир-Сакгыз в гости к Гасан-беку. Был последний месяц весны. Дни стояли погожие, от частых дождей трава поднялась выше колен. Хорошо взошли и хлеба. Но самое большое счастье заключалось в том, что вокруг деревни Пир-Сакгыз не было обнаружено никаких следов саранчи.

Однако, как известно, земледельца вечно преследуют какие-нибудь невзгоды и очень редко бывает так, чтобы его хозяйству не угрожало то или иное бедствие.

Гостил я у Гасан-бека недели две и там услышал о том, что в этом году с хлебами неладно. Дело было в том, что совершенно здоровые колосья вдруг ни с того ни с сего ломались и падали на землю. Крестьяне рассказывали, что колосья, прочно возвышавшиеся вечером на своем стебле, к утру точно подрезанные ножницами, валяются на земле. И самое удивительное было в том, что на полях не было никаких признаков ни саранчи, ни других вредителей. Не могло быть речи и о полевых мышках, потому что в деревне Пир-Сакгыз земли орошаются водой из кягризов, а на таких землях, как всем известно, полевые мыши не водятся (тонут в воде).

Об этом бедствии крестьяне сообщили в город, и вот на другой день после моего приезда было получено сообщение, что сюда едет ученый агроном, или «посевной доктор», как его называли крестьяне.

Принять доктора было негде, поэтому было решено, что он будет устроен у Гасан-бека.

Доктор, рыжебородый мужчина, приехал в автомобиле с двумя уездными чинами и остановился у Гасан-бека. Познакомившись с нами, приехавшие после легко-

го завтрака поехали вместе с крестьянами осматривать посевы.

После их ухода Гасан-бек занялся приготовлениями к обеду. Прежде всего зарезали барана, но я не заметил, откуда и кто его приволок. Затем послали человека в соседнюю армянскую деревню за вином. Наблюдая со стороны за этими приготовлениями, я в душе одобрял эти заботы, потому что никакую заботу о людях науки и знания нельзя считать лишней, особенно когда речь идет о науке, приносящей пользу сельскому населению.

Прошло немногим более двух часов, а на веранде Гасан-бека гостей ожидал уже накрытый обеденный стол.

Издали донесся гудок автомобиля, и мы поняли, что гости едут. Через несколько минут «безлошадная арба» сказочным драконом — «аждахой» — ворвалась во двор. «Посевной доктор» стоял в автомобиле во весь рост, и, вытянув руки к нам, кричал ура.

Приехавшие живо повысыпали из автомобиля и подошли к нам. Во дворе начали собираться крестьяне. Держа в руке что-то завернутое в бумагу, «посевной доктор» кричал:

— Спирт!.. Спирт!..

Подойдя ближе, мы разглядели завернутую в бумагу божью тварь, похожую немного на скорпиона, немного на сороконожку, немного на рака и немного на крупную стрекозу, но отличную от них всех.

Спирта в доме Гасан-бека не оказалось, а в другом доме его тем более не могло быть. Поэтому вместо спирта доктор налил в стакан немного водки, которую привезли к обеду из армянского села, и бросил туда принесенное с поля насекомое. Бедная божья тварь, недолго побарахтавшись, опрокинулась на спину, лапками вверх и, уже безжизненная, начала плавать в водке.

Согласно определения «посевного доктора», это и был тот самый вредитель, который подрезал стебли колосьев, обрекая их на гибель.

Ах, ты злодеevo семя!..

Все были голодны, особенно те, что вернулись с поля.

Подали обед, и Гасан-бек, подняв бокал с вином, предложил тост за здоровье доктора.

После Гасан-бека произнес тост один из уездных работников и выпил за здоровье мужей науки и знания. Все мы тоже выпили. Затем встал с места ученый агроном и, подняв высоко стакан с насекомым, сказал несколько слов о животном мире, из области зоологии. Он подразделил всех животных на типы, потом на классы. Рассказал раньше о млекопитающих, потом о птицах, к четвертому классу он отнес двух живородящих, затем, вскользь упомянув об органической природе, перешел к миру насекомых, всяких жуков, червяков и прочих. Указав на плававшее в водке насекомое, он принялся описывать строение его туловища:

— Вот смотрите, господа. Туловище этого насекомого состоит, как и у паука, из двух частей. Большой частью обитает в посевах зерновых. На головке имеет шесть пар рогов, шесть пар ртов и пять пар верхних конечностей. Брюшко у него продолговатое с очень маленькими и слабыми нижними конечностями.

После этого говорил он об органах чувств, о дыхательных и пищеварительных органах насекомого. Затем он дотронулся соломинкой до ротового отверстия насекомого и объяснил, что это зловерное насекомое — самый лютой враг зерновых, после саранчи.

Окончив разъяснения, доктор крепко перевязал стакан; потом, выйдя из-за стола, он осторожно поставил стакан на подоконник и заявил, что повезет это редкостное насекомое в центр, доставит в агротехническую лабораторию и организует необходимую борьбу с этим опасным вредителем.

Считаю нужным заметить, что произнося свою речь, лекарь подносил стакан с насекомым то к Гасан-беку, то ко мне, то к уездным работникам, а насекомое, перевернувшись в водке вверх лапками, продолжало себе плавать.

Наша обеденная трапеза привлекла всех крестьян села. Одни из них молча слушали наши разговоры, а некоторые просто смеялись, только я не понял, что мог означать этот откровенный смех.

Что касается меня, то я чувствовал себя великолепно. А почему бы и нет? Шашлык в доме Гасан-бека был приготовлен отменно, а тут еще красное каракендское

вино. Что же до этого злосчастного жучка, который поедает хлеба беззащитных и добрых крестьян и сейчас кувиркается в водке, то разумеется, уничтожение его относится к числу самых благих из всех благих дел. Но будет ли какая-нибудь польза этому священному делу от нашей трапезы, то это ведомо одному лишь великому и всезнающему создателю. Одним словом, чем бы все это ни кончилось, пока что в наличии мы имеем на столе шашлык из свежей баранины и красное натуральное вино.

Это все относится лично к моему настроению, а что переживали мои сотрапезники, до этого мне нет дела.

Автомобиль остановился перед верандой и оглушительно загудел. Лекарь посевов встал и начал готовиться к отъезду.

— До свидания! Счастливо оставаться! Будьте здоровы! Живите долго! До свидания! Спасибо!..

Громко гудя, автомобиль выехал на улицу и скрылся с глаз.

Тут вдруг поднялись на веранде крики:

— Лекарь забыл насекомое! Насекомое осталось! Скорее за автомобилем! Бегите! Догоните! Насекомое осталось!..

Только что автомобиль выехал со двора, и тут же оказалось, что стакан с плавающим в нем вверх лапками жучком-вредителем остался на подоконнике.

Двое парней вскочили на лошадей и помчались вслед за автомобилем. Но пусть умрет мать того, кто избрал автомобиль, если всадник в состоянии догнать его!

Будь то Гасан-бек, или я, или крестьяне и сельские работники, все мы должны были верить и на самом деле верили, что где бы в пути ни спохватился «посевной доктор», специалист-зоолог, так бережно опустивший вредителя посевов в стакан с водкой, и вспомнил о забытом на подоконнике стакане, он тут же велит повернуть автомобиль и ехать обратно, или же на худой конец обязательно пошлет человека.

Я прожил в деревне Пир-Сакгыз у Гасан-бека еще тринадцать дней. И все эти дни редкий и ценный научный экземпляр «посевного доктора» продолжал плавать с задранными вверх лапками в стакане с водкой на веранде Гасан-бека.

■ В прошлом году Гасан-бек сам приезжал в Баку и гостил у нас. Он рассказывал, что прошел месяц — другой и жучок-вредитель начал постепенно разлагаться в водке.

В конце концов Гасан-бек решил выбросить насекомое вместе со стаканом.

И так и сделал.

Приемные экзамены на восточном факультете университета окончились 12 сентября 1920 года, а на другой день, то есть 13 сентября, молодой аджарец* Халил Абульгасан-заде, явившись в университет, понял, что он опоздал, так как одни, успешно сдав экзамены, остались, а другие, не сдав, разъехались по домам.

Абульгасан-заде был несколько расстроен и, просматривал всевозможные объявления, прибитые к побеленным стенам длинного университетского коридора, надеясь найти список принятых на восточный факультет, но такого списка не могло быть еще на стене по той простой причине, что совет профессоров должен был состояться только в этот день вечером и утвердить список принятых и непринятых на факультет.

Не найдя ничего утешительного для себя, Абульгасан-заде Халил направился в профессорскую. Навстречу ему оттуда вышел профессор медицинского факультета известный медик Иванов. Разумеется, Халила он не интересовал, ему нужен был кто-нибудь из профессоров восточного факультета, например, профессор Сулейман-бек или другой кто-нибудь. Поэтому Халил вынужден был спросить о них в профессорской.

В этот момент, к счастью для Халила, вышли из профессорской Сулейман-бек и еще преподаватель восточного факультета Ахмед Заки-эфенди (прекрасный человек) и тут же в коридоре, выслушали молодого человека. Профессор Сулейман-бек сразу ответил, что уже поздно. Халил начал усиленно просить и умолять, и кажется, преподаватель Ахмед Заки смягчился. Он приблизился к профессору Сулейман-беку и что-то сказал ему впол-

голоса. Два педагога несколько минут пошептались между собой и подозвали Халила Абульгасан-заде.

— Теперь ты сам видишь, что экзамены кончились, — сказал ему преподаватель Заки-эфенди, — и ты опоздал, упустил время. Но, по правде сказать, и мне, и профессору Сулейман-беку жаль тебя. Если ты подготовился к экзамену, то мы зададим тебе тему и ты напишешь сочинение тут же при нас. Напишешь хорошо и докажешь нам свои знания и способности, включим твою работу в число тех, которые были написаны вчера, и перешлем в комиссию Наркомпроса. Если там найдут твою работу достойной, то, может быть, и примут тебя.

Радости Халила не было конца. Все трое вошли в аудиторию, и профессор Сулейман-бек подошел к черной доске, взяв двумя пальцами мел и написал по-азербайджански:

«Что посеешь, то и пожнешь».

Написав эти слова, он повернулся к Халилу и сказал: — Напиши статью на эту тему, не очень длинную и не очень короткую, ну, примерно, страницы четыре или около того.

Халил кивнул головой и сел писать. Профессор Сулейман-бек и преподаватель Ахмед Заки-эфенди вышли в коридор, достали папиросы и начали курить.

Обычай задавать учащимся темы для письменных работ перешел к нам от русских педагогов.

Тема — это содержание статьи, сочинения. Например, в какой-нибудь книжке говорится о тифе, значит, тема этой книжки тиф. Кто-то берется писать о каком-нибудь поэте, так этот поэт и будет содержанием или темой данной работы. Кто-нибудь, избрав для себя тему по определенному вопросу, пишет целую книгу, например: «Влияние монархического строя на нравственность», или «Влияние климата страны на психический уклад местного населения» и тому подобное.

Разработать какую-нибудь тему, то есть написать работу на заданную тему, с одной стороны, довольно трудно, а с другой, совсем легко. Трудно потому, что часто не знаешь, что писать, с чего начать, на чем кончить. Тема-то состоит всего из двух слов, а тебе надо выдумать и написать, по крайней мере, две тысячи слов. К примеру, ставят перед тобой два слова и говорят — пи-

ши: «Поэт Набати и книга». А ну-ка, попробуй написать, посмотрим.

В русских школах учащиеся второй ступени задают, например, такие темы: «Поэт Лермонтов и Кавказские горы». Помню, однажды задали даже такую тему: «Писатель Тургенев и золотистые косы русских девушек». Попробуй-ка, напиши, хоть лопни. Разложи на столе все семнадцать томов тургеневских романов, ищи и найди именно тот, в котором злодеев сын описал золотистые косы русских девушек.

Последнее время на выпускных экзаменах средних школ задавались такие темы: «Последствия угнетения», «Мамедали-шах и увлечение мутрибами в Иране», «Нынешние отцы и нынешние дети». А в прошлом году в одной из бакинских школ (не называю, в какой) была задана такая тема: «Кого я другом ни назвал, врагом души моей тот стал».

С другой стороны, нет ничего легче написать работу на какую-нибудь заданную тему, только надо быть посмелее и, выражаясь по-русски, иметь богатую фантазию, воображение, и все!

Теперь вернемся к нашему рассказу.

Абульгасан-заде Халил оказался, как это выяснилось впоследствии, вовсе не таким уж несообразительным. Когда господин профессор с преподавателем в течение почти получаса погуляли по коридору с папиросой в зубах и хотели сесть на скамью, из аудитории появился Халил с тетрадкой в руке и очень вежливо поднес тетрадку профессору Сулейман-беку.

— Кончил? — спросил преподаватель Ахмед Заки-эфенди.

— Да! — ответил молодой студент.

Протерев свежевыглаженным белым платком стекла своих очков, профессор Сулейман-бек подержал тетрадь перед глазами и начал читать. Не доходя до последних строк, он медленно перевернул лист и стал смеяться. Халил тоже заулыбался. Но преподаватель Заки-эфенди, кажется, удивился, что профессор смеется, и тоже стал смотреть в тетрадь Халила. Господин профессор не мог уже сдержаться и, захохотав громко, сказал Заки-эфенди:

— Вот послушай, я прочту с самого начала.

Молодой наш студент Абульгасан-заде Халил написал на заданную тему следующее сочинение:

«13 сентября 1920 года.

Что посеешь, то и пожнешь.

Мы видим, что наши покойные предки, и в самом деле, хорошо сказали: что посеешь, то и пожнешь. Например, и в самом деле, как мы видим, крестьянин сначала приходит в поле и вспахивает почву плугом, потом ее боронует, чтобы разрыхлить землю, после этого сеет семена. Через некоторое время семена начинают прорастать. Проходит еще некоторое время, и тогда появляются колосья, потом эти колосья начинают желтеть, наливаясь до того, что вот-вот рассыпаются. Потом крестьянин жнет это, молотит на току, отделяет зерно и сыплет в мешки, а мякину собирает в саманник, чтобы зимой кормить скотину.

В зимнюю пору, и в самом деле, мякина идет на вес золота, а летом никто на нее и смотреть не хочет. Крестьянин промывает зерно, очищает, сушит и, погружив на осла, везет на мельницу. Там зерно мелют и превращают в муку, и он привозит ее домой. Жена просеивает муку через сито, месит тесто и выпекает в тандире, получается хлеб. Семья собирается вокруг скатерти. Все едят этот хлеб и благодарят бога. Поэтому-то таких трудящихся и бог любит, поэтому и наши отцы сказали: что посеешь, то и пожнешь. Вот ты посеял тут пшеницу, пшеницу и собрал, а если посеял что-нибудь другое, то и собрал бы это другое. Например, допустим, что ты посеял тут не семена пшеницы, а семена арбуза, тогда...»

Читая эти слова, профессор Сулейман-бек смеялся, преподаватель Ахмед Заки-эфенди тоже смеялся, даже автор сочинения Абульгасан-заде Халил тоже улыбался. Однако, когда дело дошло до арбуза, тут Халил наклонился к профессору и с тревогой сказал:

— Я еще не кончил..

Услышав эти слова, преподаватель Заки-эфенди расхохотался так громко, что несколько студентов подошли к ним, а из профессорской вышли два старых профессора в очках и стали с удивлением смотреть на смеющихся. Вытирая платком слезы на глазах, Заки-эфенди говорил Сулейман-беку:

— Надо было дать ему дописать и об арбузе.

Молодой абитуриент Абульгасан-заде Халил слушался так незаметно, что когда профессор Сулейман-бек и преподаватель Заки-эфенди, насмеявшись вдоволь, пришли в себя, его и след простыл.

Прежде чем начать мой рассказ, я хочу предупредить, что иные дети имеют дурную привычку, взяв огрызок карандаша, тут же расписывать стены домов. Иные пользуются для этого даже углем или мелом. Что там уголь и мел, я знаю таких испорченных детей, которые берут в руки гвоздь или ножик и давай царапать и уродовать стены.

Я очень недолюбливаю детей, которые пачкают стены, потому что, если ты хороший мальчик и хочешь писать, возьми листок бумаги, карандаш, присядь где-нибудь и пиши в свое удовольствие.

Перейдем теперь к нашему рассказу.

Мне всегда казалось, что мои дети, в отличие от других, не очень подвержены страсти исписывать стены. Я много раз говорил им об этом, и они дали мне слово не пачкать стен. Но последнее время я как-то заметил, что за дверью на веранду, в укромном местечке на стене нарисовано нечто, напоминающее голову животного с ушами, даже с одной-двумя ногами, а пониже несколько палочек и пять шесть кружков. Все это было изображено карандашом и так неумело и грубо, что никому другому, кроме детей, нельзя было бы приписать это.

Очень расстроенный, я вызывал своих мальчиков.

— Вы что, опять пишете на стене?

Все трое мальчиков стояли передо мной.

— Кто из вас писал?

Все трое начали отказываться.

— Тогда, значит, шайтан написал?

— Отец, ей-богу, я не писал!
— Отец, я тоже не писал!
Младший Курбан тоже пролепетал:
— Я не писал! — и расплакался, прижав обе руки к лицу.

Браня детей, я взял тряпку, тщательно вытер написанное на стене и, недовольный, ушел к себе. И услышал за спиной, как Гейдар говорит Теймуру:

— Это ты писал!
А Теймур возражает Гейдару:

— Ты сам писал!..

Тут прибежал ко мне плакавший сын мой Курбан и сообщил, словно важную весть:

— Отец, это писал Гейдар! Ей-богу, отец, Гейдар написал.

Примчался Гейдар и, угрожающе замахиваясь на брата, стал отрицать свою вину.

Я накричал на них, и все трое, притихнув, повернулись уходить. Я их остановил и сказал:

— Больше всего меня расстраивает не то, что вы исписали стену, а то, что вы не признаетесь; меня огорчает то, что вы со страха говорите неправду. Ясно, что на стене писал один из вас троих, а вы все трое божитесь и клянетесь, что не вы писали. Но кроме вас, ведь нет в нашем доме других детей!

Тут мальчики опять принялись божиться, клясться и перебраниваться друг с другом.

Прошло некоторое время. И вдруг на том же месте стены за входом на веранду я заметил те же самые каракули: что-то похожее на животное, а пониже несколько палочек и кружочков.

Я вышел из себя, позвал мальчиков. Опять те же клятвы, божба; каждый сваливал вину на другого; снова слезы. Я был так расстроен всем этим, что весь день не мог прийти в себя и кусок не лез в горло. Меня огорчало то, что один из наших мальчиков явно начинал проявлять дурные наклонности. Во-первых, он нарушает мое требование и пачкает стену, а во-вторых, божится и клянется, пытаясь обмануть меня, и тем обнаруживает свою трусость.

Прошло время, и через месяц — другой эти неприятности стали забываться.

Но однажды я опять был огорчен. Выходя на веранду, я вдруг заметил на стене те же каракули, тот же рисунок, отдаленно напоминающий голову животного, а под ним несколько палочек и кружков.

На этот раз я ничего не сказал детям, подумав про себя, что если один из сыновей из упрямства нарочно решил изводить меня, то лучше промолчать, авось он сам поймет, что поступает дурно.

С другой стороны, меня занимала проблема педагогическая: какой недостаток в моей системе воспитания дает такой отрицательный результат, какую ошибку в воспитании моих детей допустил я, старый педагог, и в какую сторону необходимо мне изменить мое обращение с детьми...

Жизнь в большом городе имеет свои несомненные удобства. Особенно важно то, что всегда можно достать в магазинах и на рынках из съестного все, что душе угодно. Кроме того, нет ни одного продукта, который бы не разнесли на руках или не доставляли тебе на дом: фрукты, зелень, овощи, масло, мед, сыр и прочее.

У нас тоже был поставщик, который в месяц раз — другой заходил к нам с ведром масла в левой руке, с корзиной яиц в правой и с перекинутыми через плечо весами. Кряхтя и отдуваясь, он поднимался по лестнице, приветствовал нас и обычно говорил кратко:

— Давайте посуду!

Каждый раз его встречала жена с детьми, иногда и сам я выходил к нему. Мы приветствовали его, спрашивали о его здоровье, после чего осматривали принесенные продукты и спрашивали цену.

— Да на что вам цена? — каждый раз отвечал он. — Несите посуду.

Затем наш поставщик отвешивал на своих весах несколько фунтов масла, отсчитывал какое-то количество яиц и получал у нас деньги, если они у нас были, или уходил без денег, когда мы их не имели, с тем чтобы рассчитаться в следующий раз.

Звали нашего поставщика Кербелай-Азим. Это был мужчина высокого роста, лет сорока-сорока пяти, безобидный бедняк, выходец из Ирана.

Вчера Кербелай-Азим снова приносил нам масло и яйца. Масло он очень расхваливал, говоря, что оно дербентское, при растопке дает очень мало отходов, янтарно-желтого цвета, ароматное и вкусное; а про яйца говорил, что они из селения Горнашен, где куры кормятся исключительно травой и полевыми цветами.

За масло и яйца мы остались должны ему какую-то сумму, потому что мелких денег у нас не оказалось (впрочем, и крупных-то у нас не было).

Кербелай-Азим забрал свои вещи и вышел. Я ушел к себе и вспомнил вдруг, что собирался просить Кербелай-Азима сообщить мне, если будет приезжий из Ардебилля: я хотел расспросить об ардебильском ученом Мирза-Алекпере (сам Кербелай-Азим тоже был из Ардебилля). Я поспешил к Кербелай-Азиму и застал его за дверью веранды; сунув кончик огрызка карандаша в рот, он о чем-то думал. Ведро с маслом и корзина с яйцами стояли на полу. На стенке было нарисовано нечто, напоминающее животное, а пониже выведены несколько палочек и кружочков.

Я был поражен неожиданным открытием. Кербелай-Азим заметил мое удивление и сказал, не дожидаясь моего вопроса:

— Дядя Молла, я не учился грамоте, вот и рисую тут эти знаки, чтобы счет не спутать.

Я расхохотался. Наш поставщик тоже слабо улыбнулся. Я только спросил, что означают нарисованные им знаки. И он объяснил: он пытался нарисовать корову, а под нею обозначить палочками, сколько рублей остался я ему должен в счет масла; а кружочки должны были подсказать ему сумму моего долга за яйца.

Я снова рассмеялся и позвал детей:

— Мальчики, мальчики, идите сюда!

Они прибежали и, сразу заметив каракули на стене, остановились пораженные.

— Отец, кто это написал? — спросили они.

— Дети мои, — ответил я им. — Эти каракули написал такой же ребенок, как и вы, с той только разницей, что у него есть борода, а у вас нет бороды.

Мальчики рассмеялись. Их радостный смех имел важную причину, которая должна быть понятна читателю.



Прошло с тех пор года три-четыре, а мои мальчики все еще помнят эту историю с боролатым ребенком. А может, и всю жизнь будут помнить.

В Баку я провел два летних сезона.

Каждому известно, что летом усидеть дома невозможно и потому всякий спешит на бульвар.

И я, подобно другим живым существам, ежедневно выходил на прогулку, спасаясь от невыносимой бакинской жары под свежим дуновением морского ветерка.

И каждый раз, расхаживая по бульвару, я смотрел по сторонам в надежде встретить знакомого и убить с ним время в мирной беседе. По вечерам из-за разных дамочек невозможно ни гулять, ни сидеть, и я выходил на бульвар днем, гулял себе свободно, а к вечеру возвращался домой, потому что у меня, право, нет никакого настроения проводить время в садах и на бульварах с дамами.

А днем я мог встретить на бульваре только таких, как я, литераторов или работников театра.

Годков этак пять тому назад, гуляя в жаркие летние дни по бакинскому бульвару, я часто наблюдал такую любопытную сцену: в одном из укромных уголков бульвара, ближе к набережной, сидели под деревом четверо мусульман. Обычно один из них держал в руках развернутую газету и читал, а остальные внимательно слушали. Одно обстоятельство казалось мне, однако, несколько странным: точно провинившиеся в чем-то, они постоянно оглядывались по сторонам, не то чего-то опасаясь, не то ожидая кого-то.

В конце концов все выяснилось, я с ними познакомился, узнал их близко и стал их собеседником. А случилось это вот как.

Однажды (я даже в точности помню — это было двенадцатого июня тысяча девятьсот двадцать третьего года) я искал по какому-то делу известного азербайджанского артиста Балакадаша, игравшего в сатирагит-театре. Я заходил к нему домой, но не застал и отправился на бульвар, надеясь случайно встретить его там.

Гуляющих было мало, так как время было рабочее. Я прошелся по берегу моря и повернул к Трамвайной улице. Еще издали я заметил этих четырех, сидевших, как всегда, в сторонке.

Говоря откровенно, они были мне несколько подозрительны, и я хотел было повернуть обратно, но увидел в конце бульвара шедшего мне навстречу Балакадаша.

После обычных приветствий я обратил внимание Балакадаша, коренного бакинца, на эту четверку и спросил, не знает ли он их. Балакадаш посмотрел в их сторону и стал смеяться:

— Ага, дядя Молла! Вот прекрасный случай... Идем к ним.

— Не пойду, — решительно возразил я.

Балакадаш с удивлением посмотрел на меня и продолжал:

— Клянусь твоей жизнью, это такая интересная публика, что ты обязательно должен с ними познакомиться.

Я не хотел было соглашаться, но мой друг так настойчиво тянул меня за руку, что я уступил, и мы направился в ту сторону. Один из сидевших встал и окликнул Балакадаша; мы подошли, поздоровались. Они поднялись все и предложили нам сесть. Сели.

Балакадаш, представляя меня, сказал:

— Это мой хороший старый приятель, дядя Молла-Насреддин; конечно, вы не раз читали его юмористический журнал, читали, смеялись, и, читая, смеялись*.

Все они внимательно разглядывали меня и поддакивали Балакадашу.

После этого Балакадаш повернулся ко мне и стал рассказывать о каждом из наших собеседников:

— Дядя Молла! Ты сам посуди о превратности и коварстве судьбы-изменницы. Всего несколько лет тому назад эти самые наши друзья миллион-два за деньги не считали, а теперь... от аллаха не скрыто, от тебя незачем скрывать... а теперь советская власть поставила их в такое положение, что у них нет денег даже на папирасы. Эх, судьба неверная!

Затем Балакадаш стал знакомить меня с каждым из этих «несчастливых» в отдельности.

Из его рассказа выяснилось следующее: один из них — Гаджи-Хасад* имел до Октябрьской революции четырнадцать караван-сараяв и сто тридцать семь строений; все это имущество отобрано правительством, обреченным старика на полуголодное существование.

— Сидящий с ним рядом — сабунчинец Умидбеков*. Наверное, ты про него слышал, всякий его знал; в прежние времена он имел годового дохода от одних только нефтяных источников полмиллиона рублей.

Вот этот молодой человек с газетой — сын знаменитого миллионера-мукомола Талафхан-бека. Должно быть, и о нем ты слышал. Во всех крупных городах России работали его мельницы, кроме того, он имел еще несколько пароходов. Я сам видел эти пароходы, плавающие и теперь вот в этом самом море.

А сидящий со мной рядом — мой старый приятель, гянджинский помещик Гаджи-Султан. В николаевские времена он прогремел по всей России. Градоначальнику Мартынову он как-то влил на улице такую пощечину, что эхо ее дошло до самого Петербурга, а все-таки никто тогда не посмел тронуть Гаджи-Султан-агу; да не может же быть, чтоб ты об этом не слышал...

Окончив представления, Балакадаш наклонился к одному из них и таинственно шепнул:

— Гаджи-Хасад-ага, ни одной минуты не задумывайтесь... Клянусь вашей головой! Не сумеют сохранить, все вернут...

Я спросил Балакадаша, кто не сумеет сохранить и что именно вернут?

Мой друг артист ответил:

— Дядя Молла, сегодня какое число? Двенадцатое?.. Запомни это, но пусть останется между нами (он понизил голос), у «друзей» дела плохи, англичане опять взя-

ли Чичерина за ворот и говорят — или уплати долги, или уйди с дороги.

Я заметил, что мои новые знакомые от души радуются сообщением Балакадаша.

Я молчал, потому что не знал людей, с которыми только что познакомился.

Балакадаш продолжал, обращаясь к ним:

— Талафхан-бек-заде*, похоже на то, что у тебя есть какие-то новости; ты слишком углубился в газету. Если нашел что-нибудь интересное, прочитай нам, а насчет дяди Моллы не сомневайся...

Сын Талафхан-бека воровски огляделся кругом и тихо спросил меня:

— Дядя Молла! Сегодняшнее известие знаешь?

— Какое известие? — спросил я.

— Как же! О юте английского правительства Москве ничего не слышал?

— Нет, я ничего не слышал.

Сын Талафхан-бека опять посмотрел вокруг и вынул из кармана потрепанную газету. Я пригляделся и узнал выходившую в Баку газету «Бакинский рабочий».

Балакадаш наклонился к Талафхан-бек-заде и тихо сказал:

— Да не бойся, никого нет, почитай — послушаем.

Талафхан-бек-заде принялся читать. Вот что было напечатано в газете:

«На запрос депутата рабочей партии в английском парламенте о том, каковы в данный момент англо-советские отношения, лорд Керзон ответил, что, ввиду отказа советского правительства от разрешения вопроса о царских долгах, надежд на улучшение англо-советских отношений не имеется».

Слушатели радостно воскликнули:

— Видите? Послушайте, ей-богу, долго не протянется. Балакадаш, привыкший к сценическим позам, обратился к сидящим и патетически воскликнул:

— Вот я назначаю срок: до середины осени, дальше не дотянут.

Все шепотом подтвердили:

— Иншаллах! Иншаллах!

Посидев с полчаса и побеседовав на те же темы, мы распрощались со словами: «Иншаллах, иншаллах».

■

Вот каким образом я познакомился с этими четырьмя контрреволюционерами. Они знали, что советское правительство отобрало у моей жены четыре тысячи десятии поливной земли* и потому, считая меня товарищем по несчастью, ничего от меня не скрывали и сообщали все сенсационные новости.

Встречая меня на бульваре, они всячески выражали мне свои симпатии, усаживали рядом и заводили беседу.

Я не могу сказать, чтобы общество этих четырех господ было особенно мне приятно, но я не мог отказать себе в развлечении послушать «сенсации» вроде того, что польские войска перешли советскую границу и захватили несколько городов; английские суда вошли в порт Архангельск; правительства Антанты начали блокаду Советского Союза; в самой Москве неурядица и тайные волнения...

■

Однажды эта компания, встретив меня на бульваре, пригласила посидеть с ними.

— Ну что, дядя Молла? Нет ли у тебя каких-нибудь новостей?

Я отвечал, что, кроме газетных, никаких новостей не знаю.

Умидбеков хотел что-то сказать, но, осмотревшись вокруг, прикусил язык: в это время проходило несколько школьников. Когда школьники отдалились, Умидбеков еще раз посмотрел по сторонам и спросил:

— Дядя Молла, неужели, читая эти газеты, ты не находишь в них никаких намеков?

— Я не понимаю, о чем ты говоришь... — ответил я.

Умидбеков достал из кармана помятую газету, все тот же «Бакинский рабочий», и прочел:

«Начальник Азнефти Серебровский выезжает в Америку для закупки усовершенствованных машин для бурения».

Я сказал, что никаких намеков в этом сообщении не вижу. Умидбеков засмеялся и стал объяснять мне:

— Дядя Молла, Серебровский не за машинами едет

в Америку, а для продажи бакинских нефтяных источников американскому миллионеру Рокфеллеру.

Остальные три собеседника подтвердили толкование Умидбекова и спросили меня:

— Что ты думаешь об этом?

— Ничего не думаю, — ответил я.

■

Никак не могу забыть последнюю встречу с обиженными судьбой четырьмя моими собеседниками.

Выйдя однажды прогуляться по бульвару, я опять встретил Балакадаша. Побродив по центральной аллее, мы хотели было присесть отдохнуть, но тут заметили своих знакомых «политиков»; они сидели в сторонке и тихо между собой беседовали.

Балакадаш расхохотался и стал тянуть меня к ним. Я с удовольствием подчинился ему.

Пошли. Как всегда, любезно поздоровались и, после обоюдных приветствий, уселись. На сегодня у них были такие сенсации: во-первых, лорд Керзон предъявил Чичерину новый ультиматум, во-вторых, английские военные суда появились около Батума, и можно думать, что на днях начнется бомбардировка города, население которого бежит в Турцию.

Побеседовав на эти и подобные темы, я встал, за мной поднялся Балакадаш, и мы стали прощаться. Тут то Гаджи-Хасад-ага, пожимая мне руку, сказал:

— Эх, аллах милостив, авось и возвратят!

Эти слова Гаджи-Хасад-аги остались у меня в памяти.

Распрощавшись с четырьмя нашими друзьями, мы свернули на главную аллею. Балакадаш, привыкший на сцене петь и плясать, тут же, на глазах прохожих, стал щелкать пальцами и, танцуя, приговаривать:

— Авось и возвратят, авось и возвратят!

Смесь, мы вышли с бульвара и простились у Паралета*.

Вдруг Балакадаш окликнул меня, и когда я обернулся, этот бессовестный малый еще раз крикнул:

— Авось и возвратят...

Я улыбнулся и пошел домой.

Послесловие

Я уже начинаю терять надежду... И многие из подобных мне ее потеряли и потихоньку начинают подыскивать какое-нибудь подходящее занятие...

А было время, когда я и мои четверо знакомых каждый день, каждый час прислушивались к чему-то, ожидая, что вот волею случая четыре тысячи десятины поливной земли вернутся к моей жене, а моим четверем друзьям возвратят их миллионное имущество и нефтяные источники.

Ждали, ждали и ничего не дождалось.

Ежедневно встречались, беседовали, копались в газетных сообщениях, чтобы найти хоть какой-нибудь скрытый намек. Расспрашивали приезжавших из Европы или из Турции, ждали, что кто-то придет и разрешит наши вопросы.

И в самом деле, где же справедливость?

Конфисковать у Ага-бека или Джангир-хана все десять тысяч десятины и не вернуть им хотя бы по тысяче десятины? Или отобрать у Мусы Нагиева* двести тридцать семь великолепных зданий и не возвратить его наследнику хотя бы пять-десять домов, чтобы этот бедняжка не срамился перед народом и не вынужден был заняться непривычным для него трудом?

Одним словом, мы часто сходились, я и мои знакомые, беседовали, делились своим горем, утешали друг друга и всегда при прощании обнадеживали себя, что, иншаллах, дождемся лучших дней; иншаллах, дело повернется так, что, может быть, и вернут наше имущество...

— Авось и возвратят!

Вот слова, которые не сходили с наших уст.



А теперь... теперь советская власть прочно укрепилась, а я и четыре бывших богача — мои приятели — потеряли все надежды.

Поэты, вроде Вахида*, написали стихи о возврате старым владельцам четырех тысяч десятины поливной земли, ста семнадцати строений, четырнадцати парохо-

дов и нефтяных промыслов; композиторы переложили их на музыку, и в каждом клубе, на свадьбах, на собраниях музыканты играют, а певцы поют:

Авось и возвратят,
Авось и возвратят!

А молодежь прищелкивает пальцами в такт.

В 1921 году, втором году большевистской революции в Баку, новое коммунистическое правительство прилагало все усилия и старания к тому, чтобы вывести страну из разрухи.

Жил я тогда в доме одного из родственников. Прежде всего я решил подыскать себе квартиру. С помощью друзей и при поддержке властей квартира нашлась, но в трех комнатах, которые были мне предоставлены, не было ни стола, ни стула, чтобы присесть и заняться письмом, ни какой бы то ни было другой обстановки.

И где было все это достать?

Нет ни магазинов и лавок, где бы можно было купить за деньги, нет и больших денег, чтобы за дорогую цену через посредников раздобыть все, что нужно.

Словом!..

От забот об обстановке также избавило меня одно из знакомых мне учреждений. Там мне выдали бумажку в государственный склад на Большой Морской улице в доме № 13, где должны были отпустить мне (конечно, бесплатно!) следующие вещи: два шкафа (для книг и для посуды), два стола (большой и малый), три стула, две кровати (железную и деревянную), один чайник (вместо самовара) и одну кастрюлю (варить бозбаш).

Должен еще отметить тут же, что, выдавая мне эту бумажку, сотрудник учреждения предупредил, чтобы я предъявил бумагу заведующему складом и сказал, чтобы он выдал мне не рухлядь, а хорошую мебель. Хотя эти слова несколько насторожили меня, но я поблагодарил и ушел. Отыскал на Большой Морской этот самый склад. Заведующим складом оказался рыжебородый

мужчина. Я показал бумажку. Заведующий взял ее, прочитал, покачал головой и, не говоря ни слова, взял перо, написал что-то на этой бумаге и, возвращая мне, буркнул:

— Нету!

Я вышел на улицу и посмотрел на бумагу. Там красными чернилами было надписано в верхнем углу:

«В наличии не имеется».

Я принес бумажку в учреждение, которое выдало ее мне, и отдал секретарю. Тот тоже прочитал надпись и с усмешкой сказал:

— Врет!

Красными чернилами он тоже написал на бумажке что-то и вернул мне.

— Отнеси бумажку и получай вещи.

Я ему возразил, что сам заведующий написал ведь, что вещей нет, но секретарь снова усмехнулся и повторил:

— Врет!

— Но как же быть? — спросил я.

Секретарь подумал и, взглянув на меня, сказал:

— Если заведующий станет упрямиться и не захочет выдать вещи, ты скажи, что сам пойдешь по складу проверять.

Я вышел. Хотелось есть. Отправился домой, поел кусок хлеба с сыром, и с матерью моего сына мы отправились на Большую Морскую. Заведующий и в этот раз посмотрел на бумагу и замотал головой, но немного погодя сказал:

— Ладно, отпущу, что найдется, но некоторых вещей нет.

Он взял карандаш и перечеркнул в списке кастрюлю, сказав при этом: «нету», и один из шкафов. Потом посмотрел на меня, перевел взгляд на бумажку. Было похоже, что заведующему стало жалко нас. Он встал и предложил:

— Идем!..

Из передней комнаты мы перешли в заднюю, оттуда в другую, потом в третью; и заведующий, и мы проходили по комнатам, поглядывая направо и налево; ни одного предмета из моего списка в этих комнатах не было увидено.

Не найдя здесь нужных нам вещей, заведующий повел нас еще в одну комнату и сказал:

— Я вижу, ты человек пожилой и порядочный и устал бегать сюда. Эти вещи отобрал вчера заместитель кассира и оставил здесь, чтобы я никому не выдавал. Но я беру на себя риск и могу отпустить вам кое-что. Вот этот шкаф, этот стол, вот эти стулья, потом, если хотите, вот и эту табуретку, она сойдет и за стул, и за тахту, можно накрыть ковром и сидеть. Вот вместо чайника могу отпустить вам и эти пять-шесть тарелок.

Мы закончили отбор вещей и решили позвать носильщиков, чтобы доставить их домой.

С матерью моего сына мы вышли на улицу и, чтобы договориться, подозвали одного из носильщиков, которые стояли на улице.

Мы начали говорить с одним, но в мгновение ока нас окружила целая ватага носильщиков. Это все были иранские курды. Мы хотели сперва показать вещи и договориться о плате, но носильщики, — их было, примерно, человек пятнадцать-двадцать, — увидя вещи, перестали нас слушать и принялись сообща вытаскивать их на улицу. Стоявшие в стороне носильщики тоже собрались здесь и начали нагружаться каждый чем попало. Но на каждого не приходилось по предмету, поэтому за один предмет хваталась несколько человек: например, один за ножку, другой за дверку шкафа. Мы не понимали, что они делают, почему так делают и куда собираются нести все это?

Разумеется, нам было не до шуток. Если бы они отнесли вещи, не договорившись заранее о плате, то мы бы не знали, сколько они потребуют с нас денег. Поэтому надо было вперед договориться, а потом уже нагружаться. Но никто не обращал на меня внимания, и некоторые вещи были уже на плечах носильщиков, а вокруг остальных возились другие носильщики, вырывая их друг у друга из рук, и при этом так галдели, что меня совсем не было слышно.

Я пошел к заведующему складом выяснить, что за суматоха и почему здешние носильщики мучают людей, но заведующий беспомощно пожал плечами. Видно было, что и сам он растерян и ничем не может помочь.

Тут подошли к нам нагруженные носильщики и предложили идти вперед и показывать дорогу. Я вынужден

был заявить, что раз они нас не слушают, нам их услуги не нужны. Я не успел кончить свою речь, как носильщики, перейдя в решительное наступление, стали угрожающе кричать нам:

— Эй, хозяин! С нами нечего шутить! Вы уж не можете издеваться над нами, мы вам не слуги. Мы носильщики. Вы не имеете права заставлять нас работать даром. Идите вперед и не беспокойте нас, не то плохо вам будет...

Ну и влипли же мы в историю! Мы оглянулись вокруг, быть может, милиционер покажется, или какой-нибудь начальник появится, но никого не было. Бедная жена, желая успокоить их, начала объяснять им, что тут у нас мало предметов, если их понесут двадцать пять носильщиков, то тут должны же мы заранее знать, сколько они потребуют с нас денег и наберем ли мы такую сумму, чтобы уплатить им, или не наберем...

Куда там! Никакого действия на этих рабов божьих резонные слова жены не возымели. Тогда я стал кричать, упрашивать их:

— Ради бога, товарищи! Мы вовсе отказываемся от вещей, унесите их к себе домой!..

Братцы мои! В ответ эти божьи создания подняли такой крик, такой вой, что прохожие на Большой Морской остановились и стали глазеть на нас. Братцы мои, что за бедствие свалилось на нас невзначай! Тихонько я сказал жене:

— Идем!..

И мы пошли вперед. На перекрестке Торговой улицы навстречу нам мчались несколько автомобилей, за собой тоже мы слышали гудки автомобилей. По мостовой маршировало с пением подразделение солдат. По тротуару шло столько народу, что за ними мы видели лишь одного-двух носильщиков. Остальных не было видно. На углу Красноводской улицы я тронул жену за руку, и мы тихонько свернули в какие-то ворота. Во дворе играло несколько детей.

— Вам кого надо? — полюбопытствовал один из ребят.

Я спросил дворника. Отозвалась со стороны какая-то русская женщина:

— Вам чего?

— Доктор Васильев здесь живет? — спросил я.

Женщина ответила, что в этом дворе нет ни одного доктора.

— А нам дали этот адрес! — сказал я.

— Какой номер дома? — спросила она.

— Тридцать второй, — ответил я.

— Этот дом номер сорок пять. Вам надо перейти на другую сторону улицы.

Конечно, все это было затеяно для того, чтобы дать носильщикам уйти подальше. Помедлив здесь минут пять-десять, мы точно воры медленно пошли к воротам. Народу на улице по-прежнему было много. Мы свернули налево и, ориентируясь на море, вскоре очутились на бульваре. Тут мы посидели с полчаса; созерцание морского простора, несомненно, явилось для нас отдыхом. Потом спокойно, без преклонений мы добрались до дома.

Нужные вещи мы раздобыли случайно у того, у другого, а частью купили за деньги на Кубинке*, но еще долгое время после того я как-то настораживался, заходя на улице носильщика.

Теперь эта настороженность уже прошла; потому что и в самом деле, если и приходится в жизни иной раз кого-нибудь бояться, то ни один трус не имеет и не должен иметь оснований бояться созданного аллахом беспомощного племени носильщиков.

Прежде чем начать рассказ, я должен подчеркнуть, что в нашем газетном деле есть важный вопрос, на который до сих пор не обращается должного внимания, чтобы его урегулировать.

Это — вопрос об уездных корреспондентах. Как известно, из какого-нибудь отдаленного уезда приходит вдруг письмо, в котором некий молодой человек пишет:

«Я такой-то, живу там-то, имею такое-то образование, меня знают такие-то товарищи».

Довольствуясь этими данными, редакция газеты посылает молодому человеку корреспондентское удостоверение, после чего корреспонденции и заметки нашего нового корреспондента «проходят через камень», печатаются без всякой проверки, пока, наконец, не выясняется, что означенный молодой человек лишен каких бы то ни было литературных способностей, обзаводясь удостоверением корреспондента, он преследовал цель рассчитаться с кое-какими своими соседями, что корреспондентом он вздумал сделаться исключительно из личных интересов и больше ничего. В результате появляется порой клевета, которая доставляет редакции газеты тяжелые минуты раскаяния и горечи.

При подобных обстоятельствах недостойное поведение иных недобросовестных корреспондентов бросает тень и на подлинных и правдивых корреспондентов; как говорится, в огне сухих дров сгорают и сырые. После этого и редакция не знает, кому верить и кому не верить.

В данном случае меня вынуждает коснуться этого вопроса корреспонденция о празднике обрезания у Кя-

зима, которую, быть может, уважаемые читатели видели на страницах наших газет.

Дело в следующем.

В номере тридцатом газеты «Нобахар» от 16 февраля была напечатана корреспонденция под названием «Праздник обрезания у Кязима».

Автор сообщал, что в Карабахе, в Агдамском уезде, в деревне Кяхризли проживают два таких близких друга, что их, как говорится, водой не разольешь. Один из друзей — председатель сельсовета Акпер Курбанов, а другой — житель названного села Кязим Мамед-оглы.

Дружба между ними не столь уж старинная и не очень-то новая. Она началась годика два или три тому назад, с того времени, когда Акпер Курбанов еще не был председателем сельсовета, а ходил в простых сельских тружениках. Но когда этот наш товарищ труженик увидел, как кланяются крестьяне каждому председателю сельсовета, подчиняются ему и, кроме того, при случае носят ему всякие подарки, когда он все это мысленно взвесил, то пришел к твердому убеждению, что быть председателем сельсовета гораздо выгоднее, чем крестьянином: ни тебе убытков и потерь, ни налогов и взносов, не страшны тебе пожары, не приходится тебе неделями стоять в очереди и горевать по поводу голодающей скотины, которая никак не дожидется, пока дойдет очередь и взвесят твой хлопок, определяют сортность и отпустят с богом тебя и твою скотину.

Приняв все это во внимание, товарищ Акпер Курбанов незадолго до выборов приходит к местным кулакам, потому что еще предки наши сказали: «повидай старшину и грабь село!» Акпер убеждается в том, что без кулаков не обойтись. Наметив себе «опору» в каждой деревне, Акпер Курбанов обеспечивает себе успех.

При содействии Кязима Мамед-оглы в одном лишь селении Кяхризли Акпер Курбанов получает столько голосов, что пост председателя сельсовета остается за ним.

Таким образом, Акпер Курбанов стал председателем сельсовета.

Сделавшись председателем сельсовета, товарищ Курбанов замечает, что он уже не простой и безвестный

батрак, что нынче он очень даже большой человек: везде ему почит и уважение, все ему подчиняются, у порога его целыми днями жалобщики ожидают, то барашек блеет, то куры — цыплята пищат, бывает, что и деньги приносят.

Следовательно, за все эти блага надо быть благородным, не забывать о добре, потому что все это достается отнюдь не даром. Не следует забывать в такой день друзей вроде Кязима Мамед-оглы, не следует проявлять неблагодарность, надо помнить, что сказано отцами: «за добро добром платить — долг мужнины», или «что посеешь, то пожнешь», или «положи мне сюда, положи тебе туда», или «друг тебе кашу, а ты ему бозбашу» и так далее.

Однажды товарищ Курбанов, покончив со служебными делами, приезжает в селение Кяхризли и направляет лошадь прямо к Кязиму. Чай, обед, приятные беседы, и выясняется, что недавно у Кязима родился сын.

— Да что ты говоришь?

— Да, да, аллах даровал мне сына.

— Поздравляю, поздравляю! Свет твоим очам!.. А как ты его назвал?

— Севдималы.

— Да сохранит его аллах до старости лет.

После чая, обеда товарищ председатель, посасывая трубку, говорит своему другу Кязиму:

— Кязим, у меня появилась идея!

— Какая идея?

— Надо устроить Севдималы праздник обрезания.

— Что мне сказать, — говорит Кязим, улынувшись. — А ребенок не слишком мал?

— Да я о празднике говорю, причем тут возраст ребенка?

— Что я могу сказать. Дело твое. Хочешь, устраивай праздник, хочешь, возьми ребенка за руку, отведи и отруби ему голову или брось в колодец. Ребенок принадлежит тебе, он твой слуга!..

В тот же день вечером в доме у сельского подрядчика по таким праздникам Гасана Насир-оглы собираются совет. Начинается подготовка к празднику. Составляются списки. За маслом и рисом посылают человека в Агдам. За музыкантами едут всадники.

И двадцать четвертого числа начинается во дворе

Кязима праздник обрезания. Ставят на огонь большие казаны. Режут баранов. Назначают распорядителя по празднику. А гости прибывают бесконечной чередой, так что в течение трех дней в селении Кяхризли уши гложут от ржания коней.

Режиссером на празднике был сам Гасан Насир-оглы, его замом (помощником) Шамхар Алибала-оглы. Непосредственным распорядителем на празднике был Джамал Мамед-оглы, а исполнителем его приказов Имран. Играли, пели, плясали, боролись, вели хороводы и от криков «урра» сотрясалось небо.

И была собрана кругленькая сумма. Потому что каждый знал, что праздник этот устраивает не кто иной, как сам председатель сельсовета товарищ Курбанов, поэтому никто не жалел выложить побольше. Знали, что это не пропащие деньги.

А сбор денег производился по системе штрафов. Например, Абдул-Керим неважно перевязал рану такого-то больного, — оштрафовать его на десять рублей. Дядя Фатали не прислал Севдималы каймак, — пять рублей штрафа. Алиш перемолол пшеницу для праздника и взял плату, — штраф десять рублей. С кого-то пятнадцать рублей штраф, с маломощных по пять рублей, по три рубля, с совсем бедных по рублю, по два рубля, даже по пятьдесят копеек. С каждого по возможности. За три дня таким образом было собрано пятьсот шестидесять один рубль четырнадцать копеек.

Пусть приумножит аллах!

Надо принять во внимание и экономическое положение крестьян, которые не в состоянии вовремя внести даже государственные налоги. Собрать такую сумму денег дело, конечно, нелегкое.

Еще раз, да приумножатся дары аллаха!

После опубликования этой статьи в газете «Нобахар» товарищ председельсовета и его приятель Кязим Мамед-оглы начинают искать автора статьи, чтобы рассчитаться с ним по-своему. Подозрение падает на двоих. Прежде всего подозревают они сельского учителя и начинают его преследовать, не отпускают воду для его ого-

рода, жалуются на него заведующему школой, вынуждая его часто ездить в Агдам. Доходит до того, что забирают из школы детей мамедовского рода (то есть объявляют школе бойкот), но на запрос об авторе статьи из редакции газеты «Нобахар» получается ответ, что автором статьи является некто по имени Гази. А Гази, оказывается, сын старого помещика из этой деревни, ныне комсомолец. Этот начинает клясться и божиться, что никакого отношения к газете не имеет.

■
Так или иначе, но дело сделано. Статья напечатана, а известен ли ее автор, написал ли ее Гази, никакого значения для нас не имеет. Мы хотим только напомнить, что каждый корреспондент, который берет перо в руки, чтобы написать о жизни в деревне, никогда не должен забывать двух условий.

Во-первых, он не должен задевать таких уважаемых лиц, как председельсовета и Кязим Мамед-оглы*. Что касается праздника обрезания у Кязима, нам кажется, что описывать в газете подробности такого события не имеет никакого смысла. И по двум причинам.

Первая причина в том, что это задевает таких почетных людей, как председельсовета и Кязим Мамед-оглы.

А вторая — в том, что если такой праздник и вправду состоялся, то в этом нет ничего предосудительного, потому, что если собирая с каждого по пять или десять рублей, человек становится богачом, что ж такого, это тоже один из законов экономики.

На этот счет и отцы наши сказали: если вырвать по волоску из каждой жидкой бороды и дать густобородому, то борода его станет еще гуще.

И еще отцы наши сказали: если с каждого голого собрать по нитке, то у человека с рубашкой появится еще одна рубашка...

В молодости я служил в канцелярии уездного полицейского начальника в Эривани и занимал должность переводчика. Обязанности мои заключались в том, чтобы переводить начальнику жалобы приходивших к нему крестьян и вести с ними переговоры. Когда не бывало жалобщиков, я писал приставам и старшинам приказы и отношения, представляя их на подпись начальнику, после чего канцелярия рассылала их по назначению.

Однажды я сидел в канцелярии.

Большинство моих сослуживцев были русские, хотя было несколько писарей и из мусульман. Каждый был занят своим делом. Время шло к полудню. И тут-то произошло событие, о котором я хочу рассказать.

Подняв голову, я увидел через окно толпу крестьян, собравшихся во дворе управления. Собственно говоря, ничего убедительного в этом не было — на то и управление уездного начальника, чтобы туда ходили крестьяне. Но меня удивило, что толпа была очень уж многочисленная, и, кроме того, крестьяне держали в руках какие-то предметы, напоминавшие длинные чубучные мундштуки; подойдя к окну, я увидел, что они держали свирели, то есть дудки, на которых обычно играют пастухи.

Вот тебе раз! Неужели все пастухи сбежались к начальнику? Зачем им было идти сюда целой толпой и со свирелями! Кто их вызвал сюда?

Как переводчик начальника, я считал долгом выйти и разузнать, в чем дело. Крестьяне окружили меня.

— Ага! Пусть пожалеет нас господин начальник, — начали они жаловаться. — Мы из селения Керме-Чатах. Вы требуете свирели, а мы больше достать не можем. Клянемся аллахом, это все, что удалось раздобыть. Большинство пастухов уже перекочевало в горы, они унесли свои свирели. Мы послали людей в селение Сарванлар, где, по слухам, умеют вырезать свирели. Они обещали сделать еще, а пока во всей Эривани нашли только эти свирели.

Как я ни напрягал память, но не мог вспомнить, чтобы управление начальника требовало от села Керме-Чатах свирели. Да и к чему они управлению? Когда я сказал об этом крестьянам, они мне объяснили, что керме-чатахский старшина получил от уездного управления распоряжение о том, чтобы собрать у населения пятьдесят четыре свирели и доставить сегодня же, то есть второго июня, в Эривань для казачьей части.

Мое недоумение росло.

— А где приказ начальника? — спросил я. — И почему не пришел сам старшина?

В этот момент показался в воротах казачий офицер, сопровождаемый несколькими казаками; за ними шли керме-чатахский старшина Абдулкерим с плетью в руке, его стражник Гейдарали и, наконец, несколько керме-чатахских аксакалов. Вся эта группа, шумно толкая о чем-то, подошла к управлению. Казачий офицер сердито спросил, тут ли начальник, и, не дожидаясь ответа, прошел прямо в его кабинет. За офицером последовала и его свита.

Меня удивило то, что один из казаков нес четыре флейты. Это были не простые деревянные свирели, а настоящие флейты: черные, с пуговками и клапанами, такие, которые имеются в каждом военном духовом оркестре.

Что за чертовщина? Тут крестьяне, там казаки несут в управление свирели и флейты!..

Мои размышления прервал сердитый голос начальника:

— Мирза-Аббас...

Это он звал меня.

Я бросился в кабинет. Казачий офицер сидел рядом с начальником. Пришедшие крестьяне выстроились у стены. Начальник смотрел на меня налившимся от гне-

ва глазами, словно собирался съесть меня. Он указал рукой на стол и спросил:

— Это что такое?

Я стоял как пьяный. Вначале я ничего не видел, а потом различил сквозь туман четыре флейты, принесенные казаками.

— Это что такое? — повторил начальник.

— Флейты, — едва дыша, ответил я.

— Раз ты пьяница, — закричал начальник, — как ты смел поступить ко мне на службу?

— Господин начальник, — ответил я обиженно, — по шарияту, вино мусульманам запрещено. Я никогда не пил и не пью...

Тут он вскочил и, схватив со стола какую-то бумагу, сунул ее мне под нос.

— Читай! — крикнул он.

Сейчас я не могу вспомнить, как я прочитал эту бумагу, потому что был как в тумане.

Содержание бумаги было таково:

«Предписание.

Керме-чатахскому старшине. От Эриванского уездного начальника.

Предписываю Вам второго сего июня месяца собрать у вверенного Вам населения и доставить в город Эривань в распоряжение командира казачьей части полковника Афанасьева пятьдесят четыре свирели (флейты), которые должны будут доставить казачью часть на дачу в селение Канакир. Предписание подлежит беспрекословному под Вашу личную ответственность исполнению.

Эриванский начальник *Петров*».

Предписание послано из нашего управления, подписано нашим начальником Петровым, а написал его...

Кто же писал это злосчастное предписание?

Я, несчастный, горемычный Мирза-Аббас Фарзалиев, переводчик его высокородия Эриванского уездного начальника.

Да! Постепенно проясняется сознание, и я начинаю отличать сон от яви, начинаю понимать, кто виновник всей этой неразберихи.

А все дело заключается в следующем. Кто хочет узнать суть этой истории, пусть потрудится прочитать сле-

дующие строки. Клянусь аллахом и всеми святыми, будь я на месте начальника, схватил бы этого проклятого переводчика Мирза-Аббаса за горло (это я о себе говорю) и так сжал бы, чтобы он задохнулся, и тогда, после смерти, пришел бы в себя.

■
Месяца два тому назад, с разрешения начальника, я ездил в деревню повидаться с матерью. Я пробыл там всего одну неделю. Но что это была за неделя?

Благодаря двоюродному брату Пирверди наше село, как мне запомнилось, показалось мне райским уголком. Пирверди так искусно играл на свирели, что слушая его, я забывал даже о еде.

Мой двоюродный брат содержал овец, которых пасли чабаны — курды. Но и сам он постоянно находился при отаре и, как все чабаны, научился играть на свирели. Играл он с особенным мастерством. Слушать его приходили даже из соседних сел. Что касается меня, то я целиком был захвачен его игрой. Наконец я решил тоже научиться играть, авось, аллах даст, я буду играть не хуже Пирверди. Узнав о моем намерении, двоюродный брат преподнес мне свою свирель. И когда кончился мой недельный отпуск, я аккуратно уложил свирель в коробку и обложил ее ватой, чтобы в дороге она не сломалась.

Я вернулся в Эривань. Войдя в свою комнату, я первым делом извлек бесценный подарок и, не почистив платье от пыли, не отдохнув с дороги, прижал свирель к губам. Но... сколько ни дул, свирель безмолвствовала... Я складывал губы на все лады: то прижимал к ним инструмент, то держал поодаль. Сопит свирель — и только! Утомившись порядком, я спрятал ее в ящик и, огорченный, ушел на работу.

Вернувшись с работы и еще не пообедав, я опять взялся за свирель и опять начал дуть в нее. Тщетные усилия! Я решил, что свирель в дороге испортилась, но внимательно осмотрев ее со всех сторон, убедился, что она цела и невредима.

Велик аллах! Свирель цела, но не издает ни единого звука.

Я отложил ее в сторону, пообедал и вышел погулять.

Вернувшись, я опять взялся за инструмент, но он продолжал только сопеть.

Великий творец, что это за несчастье! И за что ты лишаешь меня удовольствия, которым обладает любой чабан? Чем я согрешил перед тобой?

Эти страстные обращения к аллаху тоже не помогли, — как я ни бился, свирель не звучала. Я стал до мельчайших подробностей припоминать, как играл Пирверди; воспроизвел все его движения: как он держал свирель, как складывал пальцы, сжимал губы... Стараясь в точности подражать двоюродному брату, я не упустил ни одной мелочи, но проклятая свирель продолжала упорно молчать в моих руках.

Однажды утром, встав с постели и одевшись, я наспех выпил стакан чаю, чтобы бежать на службу, но перед тем как выйти, на всякий случай опять поднес свирель к губам...

Ах, какое блаженство! Свирель зазвучала, она издала один из тех звуков, какие извлекал из нее Пирверди...

Ах, брат мой, где ты? Я бы крепко обнял и расцеловал тебя, мой добрый, мой любимый брат!

Взглянув на часы, я обнаружил, что уже на полчаса опоздал на работу. Несколько раз я поцеловал свирель, осторожно положил ее в коробку и выбежал на улицу. Ах, как прекрасен мир! Солнце, жара, уличная пыль, люди, горы, камни, травы, деревья — все они в это прекрасное утро выглядели как-то по-особенному и словно поздравляли меня, весело улыбаясь. Моя свирель запела!..

Прибжевав в канцелярию, я радостно приветствовал сослуживцев, а некоторым шепнул на ухо, что свирель моя зазвучала.

Я сел на свое место, достал бумаги и начал писать. Но я плохо соображал, что пишу, разговаривая с сослуживцами, не понимал, что говорю. Все мои мысли были сосредоточены на свирели. Я положил часы на стол и трепетно следил за стрелками, мысленно гоня их к трем, чтобы схватить шапку и бежать домой.

В этот момент меня вызвал начальник:

— Сейчас же напиши керме-чатахскому старшине приказ, чтобы собрал у населения пятьдесят четыре повозки

и второго июня доставил в Эривань в распоряжение командира казачьей части полковника Афанасьева. На этих повозках казачья часть выедет в лагерь в деревню Канакир. Напиши, что приказ подлежит обязательному исполнению в срок, иначе старшине нагорит...

Выслушав распоряжение начальника, я ответил: «Слушаюсь!» — и ушел в канцелярию. Составив бумагу, я принес ее начальнику на подпись. А он, прочитав две строчки в начале и несколько слов в конце приказа, взял перо и подмахнул подпись. Возвращая мне подписанную бумагу, он только сказал:

— Отправить срочно, сию же минуту!

Приказ был тотчас зарегистрирован, положен в пакет и отправлен по адресу.

Но какие там повозки? Какие казаки? Разве могли уместиться в эту минуту в моей голове такие вещи! Я был занят только свирелью, и, кроме нее, для меня ничего не существовало. И я настолько был захвачен в этот день мыслями о свирели, что вместо повозок написал в приказе: свирели-флейты.

Получив злополучный приказ, старшина передал его прочитать писарю, а потом объявил населению, что начальник требует пятьдесят четыре свирели, то есть флейты. Все пришли в удивление. Как можно сразу собрать такое количество свирелей, и для чего, наконец, казакам столько свирелей? К тому же ведь на свирелях не поедешь, это не лошадь, не осел! В конце концов старшина и сельский писарь, как лица наиболее сведущие в таких делах, объяснили крестьянам, что правительство, вероятно, хочет возложить на население расходы по комплектованию военных оркестров.

После долгих толков и пересудов решили послать в город трех аксакалов поискать там на базаре свирели и закупить их. Остальные свирели решили собрать у пастьухов. Кроме того, было решено подать губернатору прошение о том, чтобы впредь расходы по комплектованию военных оркестров с крестьян не взыскивались, так как население в Керме-Чатахе малочисленно.

Квартировавшая в городе Эривани казачья часть собиралась второго июня выступить в Канакир на дачу. Для перевозки части командир затребовал у начальника

пятьдесят четыре повозки. В ответ была получена бумага от начальника, что к назначенному дню требуемые повозки будут присланы.

В этот самый день, второго июня, когда ожидалась повозка, полковнику Афанасьеву докладывают, что керме-чатахский старшина принес пятьдесят четыре флейты.

Удивленный полковник не принял флейт и потребовал повозок. Старшина стал утверждать, что ничего о них не знает, и в оправдание предъявил приказ начальника, где ясно было написано о флейтах.

Яростно затопав ногами и выругав по-материному старшину, полковник забрал его, есаула и флейты и в сопровождении нескольких казаков поспешил в управление начальника выяснить в чем дело.

■ Вот и вся история.

В конце концов игра на свирели, принесшая мне столько горьких переживаний, не дала никаких результатов. Как выяснилось вскоре, я не получил от аллаха таланта, которым обладал мой двоюродный брат Пирверди, — извлекать из деревянной трубки чарующие звуки и волновать слушателей.

Прошло некоторое время, и мое увлечение музыкой настолько остыло, что я вовсе забросил злополучную свирель.

Мне было лет четырнадцать или немного больше; захворала моя тетка. К ней пригласили врача Гаджи-Мирза-Саттара. Я решил, что тетка больна не очень тяжело. И сделал я такой вывод вот почему.

В те времена, то есть лет сорок тому назад, в нашем городе практиковали два мусульманских врача: Гаджи-Мирза-Саттар и Мешади-Нурмамед.

Слыли они мусульманскими врачами не потому, что были мусульмане. Их называли так потому, что медицинское образование они получили в мусульманских странах: Гаджи-Мирза-Саттар получил образование в Тебризе, а Мешади-Нурмамед изучил медицину, не выезжая из нашего города. Он прочитал пару-другую старых лечебников и набил руку на практике. Все врачевание их заключалось в том, что они щупали у больного пульс и назначили хину или слабительные пилюли, которые тут же извлекали из кармана.

Кроме них, в городе было еще два русских врача. Называли их русскими врачами потому, что они получили образование в России или в каком-нибудь европейском городе.

Обыватели были убеждены, что в медицинских науках русские врачи сильнее, чем мусульманские, и лучше умеют распознавать и лечить болезни. И потому их обычно приглашали к тяжелобольным. Этой возможности, конечно, были лишены бедняки, которые не могли позволить себе роскошь платить сорок копеек за извозчика, рубль — врачу, да еще полтинник или шесть гривен за лекарство в аптеке. И как бы тяжело ни был болен немощный человек, он обращался к Гаджи-Мирза-Саттару

или Мешади-Нурмамеду, визит которых, считая и лекарства, обошелся не дороже двадцати пяти, тридцати копеек.

Выходило так: если состоятельные люди приглашали к большому мусульманского врача, значит болезнь не опасна. Если же вызывался русский, значит, больной в очень тяжелом состоянии.

Спустя полчаса после того, как Гаджи-Мирза-Саттар, осмотрев больную, ушел, к дому подъехал старый фэзтон, в котором сидели муж тетки Мешади-Зульфугар и какой-то русский в шляпе. Это был доктор. Тогда я понял, что дела тетки плохи.

Стоя в сторонке, я наблюдал, как врач осматривал больную. Кончив свой осмотр, он что-то сказал дяде и пошел к ожидавшему его фэзтону. Дядя подозвал меня и, дав копейку, сказал:

— Беги живо на базар, купи льда и принеси матери! Только не задерживайся, милый, лед нужен сейчас же... Беги как можно быстрее!

Потом, что-то шепнув моей матери и взяв два пустых пузырька, сел в фэзтон против врача. Уже отъехав, он выскочил из фэзтона и крикнул нам:

— Смотрите, не забудьте насчет льда!

Фэзтон скрылся, мать скинула чадру и напустилась на меня:

— Ну, чего ты стал? Сказано тебе, беги за льдом.

Оказалось, что русский врач велел положить больной на сердце лед и держать его до тех пор, пока она не почувствует облегчения.

Я отправился на базар.

— Эй, Муса! — крикнула вдогонку мать. — Ради аллаха, поторапливайся и нигде не задерживайся! Скорее принеси лед.

Говоря по совести, я не очень спешил, хотя и помнил, как тетка, взглянув на меня запавшими глазами, с трудом прошептала:

— Милый мой мальчик, сердце прямо разорваться готово, принеси лед поскорее!

Я зашагал к базару.

Когда я проходил мимо ворот дома Гаджи-Байрама, во дворе залаяла собака. Вооружившись двумя увес-

стыми камнями, я благополучно миновал ворота. Собака не высочила на улицу и продолжала лениво тявкать во дворе; не показываясь и Ширали. Перестав обращать внимание на собачий лай и вспомнив молящие глаза тетки, я почувствовал к ней жалость и ускорил шаг.

Придя на базар, я протянул продавцу льда Кербелай-Фараджу свою копейку.

Тот вытащил из накрытой листьями и соломой ямы большой кусок грязного льда, взвесил его на руке и, разломив на два куска, бросил один обратно, в яму, а другой, завернув в капустный лист, протянул мне.

Кусок был фунтов в пять. Взяв его, я вышел из прохлады крытого бакалейного ряда на солнышек. Был разгар лета. Стояла невыносимая жара. Если бы полуденное солнце чудом сорвалось с неба, оно упало бы как раз мне на голову. Я изнывал от зноя. С лица крупными каплями струился пот, лед в руках таял. Взяв чистый камень, я стал откалывать кусочки льда и глотать.

Когда я снова подошел к воротам дома Гаджи-Байрама, собака уже не лаяла. Ширали по-прежнему не было видно. У ворот я остановился, зачем — и сам не знаю. Улица была пуста. По-видимому, все спасались от невыносимой жары в тени.

Привычка — упорная вещь. Всегда случалось так, что у этих ворот мне попадался пес или я встречал Ширали. И надо сказать, их появление доставляло мне большое удовольствие. Я бросал в собаку камнями, ругался, а то и дрался с Ширали. А на этот раз я не знал, как быть.

Недолго думая, я поднял два круглых камня и, отойдя на несколько шагов от ворот поближе к своему дому, чтоб успеть в случае чего ударить, кинул камень в ворота дома Гаджи-Байрама и отбежал. Собака залаяла и не хотя вылезла из ворот, продолжая лаять лениво, точно по обязанности.

Я запустил в собаку второй камень.

Он пролетел над ней с треском ударился в ворота. Пес, видно облизавшись, кинулся к камню, потом повернулся и побежал за мной. Я пустился наутек. Обернувшись, я увидел Ширали, который бежал за собакой.

Не подумайте, что я хоть чуточку боялся их. Ничуть не бывало! Я знал, что собака стара и беззуба, а что касается Ширали, я мог без труда с ним справиться.

Положив на землю уже порядком растаявший лед и

набрав камней, я стал швырять их в Ширали, который отвечал мне тем же. Собака бестолково бегала вокруг, бросаясь за камнями, которые кидал я, и не оказывала никакой помощи своему хозяину.

Швыряясь камнями, мы громко переругивались, вспоминали и мать, и сестру, и всю родню.

Наконец я выругал Ширали такими обидными словами, что он даже расплакался и виле себя от злости повторил ругательство. В это время в воротах показался его отец, Гаджи-Байрам, вероятно, услышавший ругань. Он подошел Ширали, взял его за ухо, отвел домой, потом, вернувшись, крикнул мне:

— Ты чего, подлец, не идешь своей дорогой?

Ничего не отвечая я, присел на землю у стены. У меня так пересохло в горле, что я готов был схватить лед и сунуть его целиком в рот. А лед все продолжал таять. Наконец я не выдержал: отколов от него большой кусок, начал жадно сосать его.

Остался кусок не больше яблока. Я хотел опять положить его на землю, но тут вспомнил больную тетку, вскочил, чтобы бежать домой и донести хотя бы остаток льда.

В это время из ворот вышел Ширали и стал смотреть на меня. Я отвернулся и зашагал домой. Но Ширали кинул мне вслед такое оскорбление, что я не стерпел и остановился, чтобы ответить ему. Он крикнул:

— Ага, струсил, собака!..

Велик аллах! Какие обидные слова! Я не отозвался бы ни на какое другое обидное слово и донес бы злополучный кусок льда моей больной тетке: все же я несколько поблизался мужа тетки, немного боялся матери и в известной степени жалел тетку... Но как было мне поступить? Ведь слова Ширали были слишком оскорбительны! Он не должен был произносить их.

Я обернулся и крикнул:

— Ах ты сукин сын, не тебя ли я боюсь?

— Сам ты сукин сын и собачий сын!

Мы двинулись друг на друга. Я собирался снова положить лед на землю, но, разжав пальцы, обнаружил, что вместо льда у меня на ладони лишь несколько капель холодной воды. Стало быть, льда уже не было.

Я и Ширали сближались, обмениваясь самыми замыс-

ловатыми ругательствами. Сойдясь вплотную, мы схватились врукопашную.

Мы стали царапать и тузить друг друга и вошли в такой азарт, что не заметили, как вокруг нас собралась толпа. Я очутился в объятиях какого-то старика. Женщина в чадре и двое парней тащили Ширали к воротам.

Я силился вырваться из рук старика, чтобы снова вцепиться в противника, как вдруг сильный удар в спину заставил меня остановиться. Я оглянулся: то был мой дядя Мешади-Зульфугар. Он занес кулак, чтобы вторично опустить его на мою спину, но я увернулся и бросился бежать домой. Мешади-Зульфугар не стал меня догонять. Видимо, он отправился на базар. Позже я узнал, что он пошел за льдом.

Я не смел со стыда показаться на глаза тетке. Мать напустилась на меня, крича еще издали:

— Чтоб тебе сожгло нутро, как жжет у бедной больно!

Тетка очень любила меня и, оказывается, даже упрекнула мать за эти резкие слова:

— Шахрабану, заклиная тебя Хазрат-Аббасом, не проклинай мальчика, жалко его!

■

Через несколько дней тетка скончалась. Как и все племянники, у которых умирают тетки, в тот день я не очень плакал и не слишком горевал.

Но об одном я не мог забыть и, вероятно, никогда не забуду... о льде.

■

В знойное лето, когда при нашем климате жажда мучает не только больных, но и самых здоровых людей, я всегда вспоминаю про лед.

Когда в томительную жару вижу, как везут на повозках прозрачные, холодные глыбы льда, мне вспоминается моя бедная тетка, и я говорю про себя:

«Каким счастливец достанется этот лед? Мороженое, холодный лимонад, замороженное шампанское, — кто-то будет ими наслаждаться? А моя бедная тетка за два дня до смерти, изнемогая от сжигающей ее лихорад-

ки, не могла дожидаться даже маленького кусочка льда, чтобы облегчить страдания.

А по чьей вине?

Увы, по моей!

Или, может быть, виноват не я, а кто-то другой?

Но кто он, этот другой?»

Я не ищу ответа на эти вопросы и не выдвигаю никаких проблем детского воспитания...

Этих целей я не преследую.

Но в жаркие летние дни, видя нагруженные льдом повозки, я думаю о тех счастливых людях, жажду которых щедро утолит этот лед.

И вспоминаю то далекое время, когда я, четырнадцатилетний драчун, оставил безо льда умирающую тетку.

Пока я был мал, я не понимал всего этого.

А теперь эта история со льдом стала для меня самым горестным воспоминанием.

Умер Гаджи-Мирзали-ага. Приходился он дальним родственником нашей домашней*, и мне пришлось пойти на его похороны и проводить покойника до самого кладбища, а вечером отправиться на поминки. Отправился сам и взял с собой нашу домашнюю.

Мужчины собрались в первой комнате, и жена, войдя во двор, отделилась от меня и прошла во внутреннюю комнату (как родственница, она знала расположение комнат в доме).

Я вошел к мужчинам, сделал общий поклон и сел. Двое молл в чалмах сидели на почетном месте у стены напротив входа. Когда я сел, один из них громко произнес «фатиха», и тогда все присутствующие, начав со слов «бисмиллах» или «алхамдулиллах», стали читать про себя молитвы, беззвучно шевеля губами*. Посредине комнаты сидел, поджав под себя ноги, еще один молл без чалмы; возле него лежало несколько переплетенных книжек, и он читал одну из них, близко держа ее у глаз. Некоторые из сидевших тут мужчины держали в руках такие же книжки и читали, бормоча под нос.

Книжки эти представляли собой отдельные части корана, а их, этих частей, в коране целых тридцать.

Старший сын покойного Кебле-Таги стоял удрученный, низко опустив голову, у входных дверей. Каждый, кто входил в комнату, приветствовал собравшихся и садился. Тогда и Кебле-Таги медленно опускался на колени на том месте, где стоял. А когда кто-нибудь вставал уходить, то Кебле-Таги тоже быстро поднимался на ноги. Уходящий обращался к новому хозяину дома

со словами утешения и соболезнования. Одни говорили кратко:

— Пусть благословит аллах память усопшего!

Другие останавливались дольше и произносили несколько дополнительных слов:

— Не очень тужи, Кербелай! Никто не останется вечно на этой земле. Мир этот — неверный и коварный мир. Каждый сотворенный имеет один конец — смерть. Такова воля аллаха. И нас это не должно касаться. Не огорчайся!

Прочитав соответствующую молитву из корана, я тихо сказал:

— Пусть благословит аллах память покойного!

После того, как я ел, несколько минут царил молчание, никто не заговаривал. Вошел еще один посетитель и сел. Молла опять провозгласил «фатиха», и опять все присутствующие вполголоса прочитали молитву, после чего опять стало тихо. Только сидевший на лево от меня Мешади-Зульфугар обратился к моллам и сказал:

— Ахунд Молла-Ахмед, кажется, этот месяц должен быть коротким*.

Молла поднял голову от части корана и ответил:

— Да, должен быть коротким.

Я тоже повернулся к Мешади-Зульфугару и проговорил:

— Да, должен быть коротким.

Я попросил у моллы без чаю одну из частей корана, открыл ее и начал читать.

Я уже не помню, в какой части мира я пребывал, когда увидел вдруг хозяина дома Кебле-Таги, который опустился передо мной на корточки и будил меня ото сна.

Оказалось, что я крепко заснул над кораном. Посмотрел в книгу и понял, что прочитал-то я всего только две страницы из начатой мною части. С большим трудом я дочитал часть и произнес про себя «фатиха». Я повторил первую суру корана «хамд», поцеловал книгу, вернул молле без чаю и встал уходить.

— Кебле-Таги, пусть уготовит аллах покойному лучшее место в своем раю и сохранит тебя, чтобы не погас очаг в его доме!

Мы вышли в прихожую, и Кебле-Таги громко позвал:

— Скажите сестрице Бильгенс, что дядя Молла уходит. Пусть идет.

Бильгенс — имя матери моих детей. В прихожей зажгли мой ручной фонарь и дали мне в руки. Я спустился во двор и заметил женщину в чадре, которая вышла из женской половины и, следуя за мной, вышла из ворот. И я пошел вперед с фонарем в руке.

Было не так-то уж темно и все же мой фонарь несколько освещал дорогу. Мы прошли улицу Гаджи-Мурсала и вышли к мосту Алимурада. Тут я прошел через мост и вдруг заметил, что Бильгенс, закутавшись в чадру, стоит на месте и смотрит в мою сторону.

Я удивился и немного даже рассердился.

— Что ты стоишь? Гадаешь, что ли? Уж поздно. Иди за мной!

Жена стояла на том же месте без движения. Я позвал ее еще громче и произнес, кажется, несколько неприятных слов.

А женщина продолжала стоять на том же месте. Удивление мое еще более усилилось и во мне вскипел гнев; я выругал жену:

— Дочь проклятого, шутишь со мной, что ли? Разве тут место для шуток? Иди же за мной!

Ба!.. Я был поражен, когда увидел, что женщина молча повернулась и пошла обратно.

Мне захотелось поднять с земли камень, дognать женщину и разбить ей голову. Но я овладел собой и подумал: «Субханаллах! Может, я сплю и все это мне только снится?»

Тут я услышал голос, который словно пробудил меня от сна: издали мужской голос громко звал:

— Бильгенс! Бильгенс!..

Голос стал приближаться, и смотрю, братец Мешади-Джафар идет вперед нашей домашней Бильгенс, а та покорно следует за ним.

Тут все разъяснилось. Оказалось, что за мною пошла Бильгенс, жена брата Мешади-Джафара, который, не найдя среди женщин свою Бильгенс, взял мою и привел, чтобы поручить мне и увести свою.

Так он и сделал: своими ушами я слышал, как он отчитывал свою жену, уводя ее за собой; а наша Биль-

генс пошла за мной; я тоже повел ее домой, сурово отчитывая и даже браня ее.

Дети еще не спали. Маленькая Хаджар, увидя нас, сказала радостно:

— Паночка, куда вы ходили?

Я ответил в сердцах:

— В ад ходили! К черту ходили!

Девочка умолкла.

Вопрос, о котором будет идти речь ниже, может показаться на первый взгляд старым и тысячу раз пережеванным, так как вопросы брака и развода были неоднократно затронуты как в художественных рассказах, так и в статьях в нашей периодической печати, о них много раз писали, читали и слышали.

Тем не менее происшествие, о котором я хочу рассказать, относится, мне думается, к разряду довольно редких и вместе с тем весьма интересных и поучительных.

Теперь, накануне десятой годовщины Октябрьской революции, такое происшествие может показаться неправдоподобным, а рассказ о нем ни чем иным, как сказкой.

Но это — действительное происшествие, и его свидетелем был я, грешный.



Город, в котором произошло это событие, азербайджанский город, расположен на берегу Аракса. Жители этого города, находящегося в непосредственном соседстве с религиозным Ираном, ни на шаг не отстают от прочих благочестивых и правоверных мусульман. Можно сказать, поголовно все население города аккуратно исполняет установленные аллахом молитвенные повинности, своевременно совершает намаз, не откладывая даже необязательных молений.

Так же добросовестно выполняет это набожное население во всех деталях условия, предписанные для ме-

сяца рамазана*, и требования относительно паломничества в Мекку и прочие священные города, а в месяце мухараме эти правоверные достойно вспоминают борьбу и мучения имамов в Кербеле и всегда выходят на перлюэ место среди других мусульман*.

Незадолго до Октябрьской революции, то есть лет десять-двенадцать тому назад, проживал на родине этих религиозных и набожных людей некий божий раб по имени Гаджи-Рамазан.

Я говорю «проживал» потому, что этот божий раб в настоящее время уже не жив; несколько лет тому назад я слышал, что он умер.

Гаджи содержал баню, арендуя ее у Гейдар-аги. Мне вспоминается, что как-то он выдал хозяину бани за год шестьсот рублей арендной платы и примерно столько же осталось ему самому за труды.

Гаджи-Рамазан был моим ближайшим соседом, поэтому мне были известны не только размеры его доходов от бани, но и более интимные происшествия в его доме, и я смею уверить уважаемых читателей, что свою жену Шахрабану он очень любил, настолько любил, что дважды даже плакал по ней тайком; очевидцем этого был я сам.

Первый раз это было тогда, когда он, за что-то рассердившись на жену, дал ей развод; а второй раз плачущим я видел гаджи, когда он, помирившись с женой, вторично на нее разгневался и снова дал ей развод.

Тогда бедный гаджи пришел к моему отцу и стал умолять его:

— Братец Мешади-Алескер, заклинаю тебя одиноким Имам-Рзой*. И я одиноко сижу у себя дома и, словно чужеземец, стенаю и плачу. Прими на себя труд, пойдя к Гаджи-Асаду и скажи, что Гаджи-Рамазан совершил глупость и теперь сильно раскаивается.

Гаджи-Асад — это отец Шахрабану, жены Гаджи-Рамазана. После второго развода с женой Гаджи-Рамазан был настолько удручен, что не вынес одиночества и пришел к моему отцу высказать свое горе и просить у него посредничества и помощи.

Гаджи-Рамазан был высокий мужчина лет сорока пяти-пятидесяти.

Жене его Шахрабану было лет тридцать пять или немного больше. Это была красивая женщина.

Детей у них не было, не было с самого начала супружества.

Внешне они жили дружно, и Гаджи-Рамазан, как уже было сказано выше, в достаточной мере любил свою жену. Тем не менее по какой-то неведомой причине в течение двух лет гаджи дважды разводился с женой и после второго развода, раскаявшись, пришел к моему отцу просить заступничества.

Гаджи-Асад приходился нам дальним родственником и, как бы то ни было, не отказал бы моему отцу в его ходатайстве. Вот почему Гаджи-Рамазан возлагал на моего отца большие надежды.

Словом, на этот раз дело также кончилось миром.

Моя тетка пошла и привела женщину к мужу. Гаджи-Рамазан на этот раз был предупредителен, чтобы обошлось с женой мирно и не создавал лишних хлопот для себя и для других.

Прошел год. И снова пополз слух, что Гаджи-Рамазан не поладил с женой, а потом выяснилось, что гаджи опять развелся с ней.

На этот раз уже не нашлось охотников мирить их, и всякий, кто слышал о разводе супругов, отделялся усмешкой и называл Гаджи-Рамазана и его жену сумасшедшими.

В конце концов супруги снова помирились, так как, в сущности, не имели никакой вражды друг к другу, а ссориться и разводиться вошло у них в привычку.

Но на этот раз с ними приключилось такое, что из-за склонности к частым ссорам и разводам они не только осрамили себя в глазах всего народа, но дали тему ашугам и литераторам, которые разнесли их позор по всему свету.

А приключилось с ними следующее: все моллы нашего города единогласно пришли к заключению, что согласно канонам ислама нет никакой возможности вернуть жену Гаджи-Рамазану и снова сочетать их законным браком. Для этого необходимо, чтобы Шахрабану вышла замуж за другого, стала его женой, затем по всем пра-

вилам шарната развелась с ним и по истечении установленного срока после развода вышла за своего старого мужа, как совершенно посторонняя женщина.

Вначале я не поверил правильности такого толкования и обратился за разъяснением к нашему соседу Гаджи-Молла-Али, который рассеял все мои сомнения; оказалось, что в коране имеется совершенно недвусмысленное указание на этот счет.

Гаджи-Молла-Али открыл коран и в какой-то главе, сейчас я ее не помню, прочитал, что если какой-нибудь мусульманин дважды разведется с женой и вернет ее к себе, а потом разведется и в третий раз, то на этот раз лишается права снова стать ее мужем.

Дословный перевод этого стиха гласит следующее: пока такая женщина не выйдет замуж за кого-нибудь другого, не может вернуться к прежнему мужу.

Я понимаю так, что если в каком-нибудь деле нет никакого иного выхода, кроме одного-единственного, если в каком-нибудь запутанном вопросе возможно только одно-единственное решение, то тут особенно кипятиться или ломать голову не стоит.

Раз перед тобой положили такой неоспоримый документ, как стих из корана, и доказали, что ты должен следовать по этому, а не по какому-либо иному пути, тут уж ничего не поделаешь. Хочешь не хочешь, ты должен идти по указанному пути.

Как ни было ужасно для Гаджи-Рамазана толкование этого стиха корана, но для него, истого мусульманина, другого толкования и не могло быть.

Стало быть, Шахрабану должна временно сделаться женой другого.

Кого же?

Мне кажется, что такой вопрос поставит в затруднительное положение любого мужа, имеющего жену.

Как может Гаджи-Рамазан спокойно взирать на то, чтобы его любимая жена вышла замуж за другого мужчину?

Ведь он же от своей жены не отказывается! И не только не отказывается, а по ночам даже страдает по ней и не может уснуть.

Но вот наш Гаджи-Рамазан вспомнил о чем-то, и вздох облегчения вырвался из его груди. Вздох этот был

настолько целительным, что все горести, заставлявшие болеть его сердце, весь груз, давивший на него своей неимоверной тяжестью, были сразу устранены, и перед гаджи открылся путь к спасению.

Гаджи-Рамазан про себя решил женить на своей жене истопника бани Кебле-Имамали.

Это был тихий старик, иранец, лет шестидесяти, вечно грязный, угрюмый, отвратительный. С утра до вечера он занят был тем, что из всех караван-сараяв города таскал к бане навоз, разбрасывал его на крыше бани сушиться, а затем сгребал сухой навоз в банную печь и грел воду.

Кебле-Имамали не имел ни семьи, ни дома и спал в предбаннике. Был очень беден и потому старался всячески угождать Гаджи-Рамазану, дни и ночи возился с навозом, чтобы не лишиться куска хлеба, который он получал за свой труд.

Идея, пришедшая в голову Гаджи-Рамазану, показалась ему очень легко осуществимой. Но на деле получилась иначе.

Гаджи полагал, что формально будет заключен брак между Кебле-Имамали и Шахрабану, та станет по закону женой Кебле-Имамали, и больше ничего. Кебле-Имамали будет продолжать свою возню с навозом и печью, а Шахрабану останется жить, как и сейчас, у своего отца Гаджи-Асада.

Пройдет некоторое время, брак по всем правилам будет расторгнут, и, когда наступит установленный срок, Гаджи-Рамазан снова оформит свой брак с Шахрабану и возьмет ее к себе домой.

И таким образом дело будет улажено.

Увы! Какие обманчивые надежды!

Все моллы и улемы города сошлись на том мнении, что, пока Кебле-Имамали не будет близок с Шахрабану, то есть не сделает ее своей не только формальной, но и фактической женой, этот брак не будет рассматриваться как подлинный и, таким образом, Гаджи-Рамазан лишится возможности вернуть ее себе.

Рассказывали, что это обстоятельство создало для Гаджи-Рамазана большие хлопоты.

Он обращался к отдельным моллам, спрашивал знаатоков шарната, изучил все возможные пути обхода кагона, растратил массу денег, наконец, решил поискать

спасения у самого Кебле-Имамали, о чем-то долго втайне с ним договаривался.

Мне думается, что никакого выхода он так и не нашел.

Как-то я обратил внимание, и все соседи видели, что Гаджи-Рамазан снял в своем районе временную комнату для Кебле-Имамали, обставил ее необходимыми вещами, обновил одежду Кебле-Имамали и тогда только привел к нему Шахрабану.

После этого часто случалось, что мальчишки нашего района, видя Кебле-Имамали идущим к себе в новую комнату, поднимали его на смех и так приставали к нему, что тот, выйдя из себя, брал с земли камень и бросал в мальчиков.

Самое смешное, однако, было в том, что Гаджи-Рамазан, хотя и не оставался, да и не имел права оставаться ночью с Шахрабану, днем по старой, уже укоренившейся привычке покупал на базаре мясо, хлеб и с корзиной в руке приходил к Шахрабану. Остановившись в дверях, он вызывал ее. Та подходила к двери, закутанная в чадру, как посторонняя женщина, и, приняв через полуоткрытую дверь корзину, уносила в комнату.

По словам близких соседей, гаджи только спрашивал Шахрабану:

— Ну, как поживаешь?

В самом начале гаджи поставил Кебле-Имамали условие, чтобы тот поскорее дал развод Шахрабану. Не знаю, что там у них произошло, но дело с разводом затянулось на несколько месяцев.

Поговаривали, что Кебле-Имамали не хочет более разводиться с Шахрабану, потом пошел слух, что он требует от Гаджи-Рамазана несколько сот рублей отступных. Были и такие разговоры, что между мужьями произошла сильная стычка из-за Шахрабану.

В конечном итоге все же дело как-то уладилось.

В один прекрасный день сказали, что Кебле-Имамали дал развод Шахрабану, а через некоторое время

стало известно, что Гаджи-Рамазан заключил брак с Шахрабану и привел ее к себе домой.



Этим своим рассказом я преследовал одну цель.

Я хочу заметить, что такие дела, когда муж после третьего развода со своей женой не может снова жениться на ней, пока ее не выдадут за постороннего мужчину, не новость. Известно, что среди благочестивых мусульман такие случаи бывали довольно часто, и никто тогда не удивлялся этому, никто не возражал и не возмущался*.

Также известно, что наша эпоха — другая эпоха. Теперь муж с женой может и поссориться и помириться, и ни шариятский брак или развод, ни посредничество Кебле-Имамали им не нужны.

Не нужны потому, что теперь уже люди нашли путь свободы, научились жить свободной жизнью.

Двадцать третьего августа мне стало известно, что вскоре должны начаться вступительные экзамены в педагогический техникум в городе Закатала. Узнавши об этом, я взял свою дочь и двадцать четвертого августа рано утром прибыл на станцию Евлах. Здесь с несколькими другими пассажирами мы сели в автобус и к одиннадцати часам добрались до города Нухи. Тут мы задержались около часа на станции и уже к полудню, сев в тот же автобус, к трем часам доехали до Закатала.

Я думал остановиться в гостинице, потому что здесь я не мог припомнить ни одного близкого человека. К тому же вообще я предпочитаю останавливаться в гостинице, чтобы не беспокоить знакомых. Вот почему я ничего не сказал носильщику, который без какого бы то ни было предложения с моей стороны взвалил мою кладь себе на спину, и вместе с дочерью молча последовал за ним. Пройдя некоторое расстояние, я на всякий случай решил спросить носильщика:

— Ты куда нас ведешь?

Носильщик ответил, что в гостиницу. Я промолчал. Пошли по широкой тенистой улице, и носильщик вошел в первую гостиницу, но тут свободного номера не оказалось.

Мы двинулись дальше. Носильщик привел нас в другую гостиницу на той же улице, но там шел ремонт.

Носильщик постоял в задумчивости. Наконец, вытерев платком пот со лба, он повернул налево и вскоре вошел во двор одного из ближайших домов.

— Идите! — сказал он нам.

За ним и мы вошли во двор. Носильщик вошел в прихожую и, пройдя ее, открыл дверь в первую комнату. При этом он повернулся к нам и сказал:

— Пожалуйста! Пожалуйста!

Мы вошли. Однако, это несколько не походило на гостиницу и больше напоминал частный дом-особняк. Из комнаты вышел мальчик лет двенадцати-четырнадцати и сказал нам:

— Пожалуйста!

Это оказался армянский мальчик, и дом был армянский, и семья была армянская.

Нас провели через первую комнату во вторую. Тут стояли три кровати, аккуратно застеленные чистыми постелями и белоснежными подушками, накрытые чистенькими летними одеялами. Посредине стоял довольно большой стол, накрытый плюшевой скатертью. На столе — письменный прибор с двумя стеклянными чернильницами, ручки, карандаши, подсвечники, пепельницы, стеклянный графин для воды. Вокруг стола и возле кроватей стояли стулья в достаточном количестве. В углу висел на стене рукомойник, тут же лежала мыльница и висело полотенце.

Носильщик поставил вещи на пол и сказал, обращаясь ко мне:

— Вот и хорошо! Лучшего места не найдешь.

Это было намеком на то, чтобы я рассчитался с ним, но все-таки не знал, как поступить. Это не было похоже на гостиницу и на самом деле не было гостиницей. Поэтому, прежде чем отпустить носильщика, я должен был решить для себя кое-какие вопросы, чтобы действовать уверенно.

Кроме уже названного мною мальчика, тут были еще две женщины.

Одна, довольно-таки дряхлая и согнутая в дугу, вошла с чем-то в уголке; другая была сравнительно моложе, лет этак сорока пяти или чуть поболее.

Я сунул руку в карман за кошелек, чтобы носильщик не подумал обо мне, будто я неохотно расплачиваюсь; но все же я почел нужным спросить у него, куда он меня привел, разве это гостиница?

На мой вопрос я получил ответ сразу с двух, даже с трех сторон:

— Да, да!

Так ответил мне носильщик, мальчик и армянка лет сорока-пятидесяти.

Выяснилось, что эта квартира принадлежит армянской семье Петросян. Несколько лет назад скончался хозяин квартиры. Семья лишилась кормилицы и перешла жить в первую комнату, а вторую обставила для сдачи в наем. С тех, кто снимает комнату на месяц или на год, берут по двадцать рублей в месяц, а с тех, кто занимает ее на день или несколько дней, по рублю за сутки, независимо от того, сколько человек поселится в комнате: один, двое или трое. За каждый самовар берут двадцать пять копеек, потому что в городе уголь дорог. Уборка комнаты лежит на обязанности хозяев квартиры.

Я остался очень доволен и даже дал носильщику сверх положенной платы еще лишний двугривенный, и он ушел, благословляя меня. Я был доволен, потому, что сама квартира и ее хозяйка внешне произвели на меня очень хорошее впечатление; а что до платы, то я решил не задерживаться здесь ни одного дня после того, как устрою дочь в техникум, и плата в один рубль за сутки настолько незначительна, что об этом и говорить не стоит.

Я открыл чемодан, достал свое полотенце и мыло. Я и моя дочь почистились от дорожной пыли, умылись. И тут сразу появился на столе подносик с двумя стаканами отличного чая. Принес его все тот же мальчик. Я спросил его имя. Он назвался Оганом. Когда мы сели пить чай, хозяйка принесла в одной руке вазу с вареньем, а в другой — нарезанные дольки лимона.

Эта женщина была матерью Огана и хозяйкой дома. Она была настолько к нам внимательна, что это начинало несколько стеснять меня. И это потому, что я не представлял себе, каким образом и чем сумею я отплатить ей за все ее заботы о нас. Я просто не мог понять, ради чего она утруждает себя, стремится ли оказать обычное гостеприимство, или предполагает получить с меня особую плату за лишние свои труды. Радужине этой хозяйки дошло до того, что она подсадела к моей дочери, расцеловала ее и сама бросила в ее стакан сахар и лимон, положила ей варенье на блюдце.

После второго стакана чая я поднялся, чтобы пойти в техникум, разузнать о начале вступительных экзаме-

нов. И так как в этом городе я был впервые, то подумывал о том, чтобы взять с собой Огана в качестве проводника. Как только я высказал это мое намерение, и мальчик и его мать с радостью приняли мое предложение, чтобы Оган пошел со мной и проводил меня в техникум.

Мы вышли вместе, нашли этот самый техникум и выяснили, что я привез свою дочь слишком рано, так как экзамены должны были состояться через несколько дней. Но поскольку у меня были неотложные дела в Баку и я не мог задерживаться в Закаталах, заведующая техникумом согласилась оставить мою дочь в техникуме и до экзаменов поместить ее с другими девушками в общежитии. На тот случай, если дочь моя не выдержит экзаменов и не попадет в техникум, уважаемая заведующая обещала на один год подготовить дочь в последний класс начальной школы и подготовить ее к поступлению в техникум в следующем году.

Таким образом, я был удовлетворен, и мы порешили, что эту ночь дочь моя останется со мной, а на утро перейдет в общежитие техникума, а же уеду в Баку.

Выйдя из техникума, я с Оганом прошлись еще по некоторым улицам города и, когда начало смеркаться, по большой и оживленной центральной улице вернулись домой.

После заката прошло часа два. Войдя в комнату, я застал дочь лежащей на кровати. Оказалось, что она спит. Но что вызвало у меня недоумение, так это то, что на другой кровати была раскрыта постель и у изголовья была положена не одна, а две подушки рядом, как если бы тут должен был спать не один человек, а двое.

Я нашел это неуместным и убрал одну из подушек, потом разбудил дочь. С большим трудом она открыла глаза и нехотя села на кровати. Я положил вторую подушку на кровать, где спала дочь, сел за стол и начал читать газету.

Мать Огана, с прикрытой головным платком нижней частью лица принесла мне стакан чая. Потом ушла, вернулась с новой подушкой и положила на кровать дочери, а ту, которую я снял с другой кровати, отнесла на старое место и так бережно поместила обе подушки рядом, что у меня не осталось никакого сомнения в том, что она готовит эту кровать именно для двоих.

Немного посидев на кровати и поглядев вокруг сонными глазами, дочь моя повалилась набок. Армянка ушла и принесла еще стакан чаю для моей дочери, под села к ней на кровать и принялась что-то шептать ей на ухо.

Через некоторое время я снова заметил, что дочь крепко спит. А чай ее успел остыть. Я еще раз подошел разбудить дочь, чтобы она поднялась, поужинала и, сделав себе постель, легла спать, но она снова села на кровати, растирая руками глаза, потом закрыла глаза и одетая повалилась на кровать. Пришла и мать Огана и пыталась разбудить девушку. Она ласково просила ее встать, выпить чаю, поесть что-нибудь, но та оказалась настолько усталой, что чаю и ужину предпочла сон.

Было уже девять часов. Я выпил два стакана чаю, поел немного хлеба с сыром и подумывал уже о том, чтобы раздеться и лечь в постель, но две подушки, положенные рядом в изголовье, продолжали занимать мои мысли. С какой стати понадобилось матери Огана положить мне вместо одной подушки две и то рядышком? Да еще постелила мне постель на широкой двуспальной кровати? Еще больше удивляло меня то, что женщина порой подходила к этой кровати, поправляла на ней одеяло, приглаживала подушки, положенные рядом, улыбалась мне и подходила к дочери, пытаясь разбудить ее.

Наконец, я сказал женщине, что она свободна от забот о нас, и может идти спать, оставив в комнате стакан воды.

Сказав это, я подошел к своей кровати, взял и отложил в сторону одну из подушек и начал было раздеваться.

Странное дело! На одну минуту я как-то отвлекся и вдруг вижу, снова на моей постели две подушки рядом, а армянка стоит в дверях и с улыбкой, даже игриво смотрит на погруженную в глубокий сон мою дочь.

Вот тебе раз! Боже мой, почему эта женщина не идет себе спать? Ведь только что, выходя во двор, я видел, как спит и Оган, спит и старая его бабушка. Так почему же не идет спать эта женщина? Положим, это ее личное дело, спать или не спать, но зачем она так настойчиво кладет мне две подушки рядом? Разве же я не один? Кто же будет спать рядом со мной и для кого женщина кладет вторую подушку и кто еще тут

имеется, кроме меня? Тут только моя дочь, но и по армянским и по нашим обычаям не принято, чтобы дочь спала с отцом в одной постели. А кроме дочери тут никого нет, разве что сама хозяйка. Но не будет же она ложиться со мной!

Женщина ушла, но дверь не закрыла. Откровенно говоря, я не понимал намерений женщины.

Я далек был от мысли подозревать ее в чем-либо. Судя по квартире и по живущей в ней семье, женщина ничуть не была похожа на продажную или на женщину легкого поведения, способную влюбиться в такого, как я, пятидесятивосьмилетнего мужчину. Так кто же будет спать со мной в этой постели с двумя, положенными рядом, подушками?

Признаюсь, когда женщина, прикрыв головным платком нижнюю часть лица, остановилась в дверях и стала с игривой улыбкой глядеть на мою дочь, в душу мою закралось сомнение.

Это правда, среди армянок я очень мало встречал легкомысленных женщин, но как можно поручиться? В жизни с чем только не встретишься! Но говоря по совести, я вовсе не был подготовлен к такого рода или, точнее говоря, к любого рода любовным похождениям; если бы против всякого ожидания мать Огана решила прийти ко мне, я готовился просить у нее извинения по ряду причин: во-первых, я человек женатый; во-вторых, женщина, впервые мне встретившаяся, как бы удовлетворительна ни была ее внешность, должна быть известна мне и по своим нравственным качествам; наконец, в-третьих, поскольку мне уже стукнуло пятьдесят восемь лет, то подобные вещи не могут уже доставить мне большое удовольствие.

Между тем, сон одолевал меня, потому что с дороги я был очень усталый. Не знаю, откуда появилась у меня такая смелость, но я плотно закрыл дверь и, заметив на ней довольно внушительный крючок, накрепко зацепил его за кольцо. Потом разделся и лег спать.

Наутро к девяти часам я отвел дочь в педагогический техникум, а к одиннадцати часам Оган принес мне с автобусной станции билет на автобус. Я решил поехать в

Нуху и несколько дней провести там. Я попрощался с хозяевами, расплатился за комнату и вышел на улицу.

Оган поднял мой чемодан и пошел рядом.

Я посмотрел на мальчика и вспомнил о его матери. Две подушки, положенные рядом, снова начали занимать мои мысли.

Через каких-нибудь десять-двадцать минут я расстался и с Оганом, как расстался с его бабушкой и матерью. И кто знает, увидимся ли мы еще или нет. Следовательно, если я решу занимавший меня вопрос за остающиеся минуты, то все будет ясно, а нет, значит, все останется для меня вечной загадкой.

И тут произошло чудо. Будь на моем месте верующие в providение, наверняка сказали бы, что от сердца к сердцу пролегают невидимые пути; они утверждали бы, что армянскому мальчику было внушено свыше то, что занимало меня. Одним словом, когда мы собирались уже ехать, Оган спросил меня смущенно и очень стесняясь:

— Хозяин, эта девушка, что повели сегодня в школу ваша «харс», или дочь?

Довожу до сведения моих читателей, что я хорошо знаю армянский язык, на котором «харс» означает «невеста», то есть «жена».

— А что? — заинтересовался я.

— С мамой мы целое утро спорили, — ответил Оган, — мама говорила, что эта девушка ваша «харс», а я говорил, что «ахчик».

При этих словах Огана я, как говорится, прикусил палец и сказал:

— Разве у такого старика может быть такая маленькая «харс»?

Самое поразительное заключается в том, что слова мои как будто удивили Огана и он ответил коротко:

— Может!

Я рассмеялся, а армянский мальчик сказал:

— В Закаталах у мусульман старики имеют еще поменьше «харс», чем ваша дочь. Ей-богу!..

Когда я садился в автобус, отчего-то у меня стало беспокойно на сердце. Я вспомнил о двух подушках, положенных рядом, и перед глазами ожила вчерашняя армянская женщина. Пристраивая в моем изголовье две подушки рядышком, мать Огана думала, а может, думает и сейчас, что тринадцатилетняя девочка — моя жена.

И готовила нам постель, чтобы мы спали в ней вместе, в обнимку.

Я не знал, как поступить. Думал отозвать Огана в сторону и поручить передать матери, но отказался от этой мысли.

Гудок автобуса отвлек меня от раздумья. Я подал руку Огану и сел на свое место в автобусе. И опять мне захотелось подозвать Огана и потихоньку сказать ему, что стыдно дочь старого человека принимать за его жену, но это мне не удалось, потому что, пока я думал об этом, автобус уже двинулся, и нас с Оганом разделило расстояние в двадцать-тридцать шагов.

Долго я ехал в тяжелом настроении.

Значит, армянка приняла меня и мою дочь за мужа и жену, потому что среди мусульман Закаталы много таких мужей и жен!

Стыдно!

ПЬЕСЫ

МЕРТВЕЦЫ

Комедия в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Шейх-Насрулла, 45 лет.

Шейх-Ахмед — его помощник, 50 лет.

Гаджи-Гасан — гаджи, почетное лицо в городе, 60 лет.

Кербелай-Фатма-ханум — его жена, 40 лет.

Искендер — сын Гаджи-Гасана, 25 лет.

Джалал — младший сын Гаджи-Гасана, 10 лет.

Назлы — дочь Гаджи-Гасана, 12 лет.

Зейнаб — служанка в доме Гаджи-Гасана, 20 лет.

Али — слуга Гаджи-Гасана, 18 лет.

Гаджи-Бахшали

Гаджи-Керим

Гаджи-Кязим

} благочестивые горожане, 45—50 лет.

Мешади-Орудж, 35 лет.

Тюкезбан — его мать, 50 лет.

Мир-Багир-ага, 35 лет.

Гейдар-ага — телефонист, 45 лет.

Али-бек — переводчик, 30 лет.

Мирза-Гасан — учитель, 40 лет.

Кербелай-Вели, 35 лет.

Три девочки — жены Шейх-Насруллы, по 13—14 лет.

Гости, больные, женщины, народ.

Действие первое

Комната в доме Гаджи-Гасана. Железная кровать, перед ней стол, на котором лежат несколько книг. Около стола стул. На ковре, поджав ноги, сидят друг против друга сын Гаджи-Гасана Джалал и учитель Мирза-Гасан.

Джалал (*читает с трудом, запинаясь*). Какой подарок ты нам привез...

Учитель (*громко*). Принес.

Джалал. Принес. Тот ответил... Я имел... имел и виду, дойдя до цветных...

Учитель (*громко*). Цветочных...

Джалал. Цветочных кустов, исполнить...

Учитель (*громко*). Наполнить.

Джалал. Наполнить полу дарами... дарами друзей... друзей. Когда же я достиг, аромат цветов настолько

меня одурманил, что пола из рук выскользнула...

Учитель (*громко*). Выскользнула.

Джалал. Выскользнула. О птица утра, любви учись у бабушки...

Гаджи-Керим (*вбегают еле дыша, громко*). Дядя Гаджи-Гасан дома?

Джалал (*Гаджи-Кериму*). Отец ушел на базар.

Гаджи-Керим стремительно уходит. Учитель провожает его удивленным взглядом.

Джалал (*продолжает читать*). У бабушки... у бабушки... что с горем...

Учитель (*громко*). Читай правильно. Нельзя калечить стихи. Учись любить у бабочки, что сгорев, лишилась жизни, звука не издав...

Джалал. Что, сгорев, лишилась жизни, звука не издав.

Со двора доносятся галго Искендера. Он входит в комнату и зовет за собой собаку.

Искендер. Марс! Марс!

Джалал (*Искендеру*). Уйди, братец, у меня урок.

Схватив собаку за уши, Искендер пытается втащить ее в комнату. Пес упирается.

Прошу тебя, братец, оставь в покое собаку. Не мешай нам заниматься.

Отпустив собаку, Искендер весело швыряет шапку на кровать и свертывает папиросу.

Учитель (*Искендеру*). Здравствуйте, Искендер-бек! Вот кстати пожаловали. Очень прошу вас воздействовать на Мирза-Джалала, чтобы он усерднее учился.

Искендер (*садясь на кровать*). Хорошо, хорошо. Попробую на него воздействовать. Только вот беда — никто меня не слушает. Даже собака и та знает меня не хочет! Как ни звал ее, не пошла. (*Смеется*).

Учитель. Нет, напрасно вы так говорите! Мирза-Джалал мальчик умный, он вас послушает. Уж я ли не стараюсь! Отец не жалеет денег на его образование. Мирза-Джалал должен быть прилежным, чтобы наш труд не пропал впустую. Разве он сам не видит, что человек без образования не стоит ни копейки? Необразованного никто не уважает, никто с ним не считается.

Искендер (*с громким хохотом*). Разве Мирза-Джалал не видит, что человек без образования не стоит ни копейки? Ха-ха-ха! Как же не видит? Прекрасно видит. Разве он не видит меня? А я называю человеком того, кто ни образования не имеет, ни уважением не пользуется. Ха-ха-ха! Вот вроде меня! Ха-ха-ха!

Учитель (*Джалалу*). Нет, нет! Искендер-бек — шутит. Конечно, шутит.

Джалал (*учителю*). Мирза, клянусь аллахом, брат опять пьян.

Искендер (*подбегает к Джалалу*). Кто пьян? Я? Я пьян? (*Наклоняясь к нему, дышит в лицо*). Разве я пьян?

Джалал (*отворачивается, морщась*). Ей-богу, брат, ты опять пил вино.

Искендер (*со смехом*). Вот и ошибся, ей-богу, ошибся. Я пил не вино, а водку. Видишь, ошибся! Ха-ха-ха!

Гаджи-Бахшали (*вбегают в комнату, тяжело дыша*). Дядя Гаджи-Гасан дома?

Джалал (*Гаджи-Бахшалу*). Его нет дома.

Гаджи-Бахшали стремительно уходит. На дворе лает собака.

Искендер (*подбегает к дверям, науськивает собаку*). Куси, куси! Ха-ха-ха! Фьють, фьють! Ха-ха-ха! Марс! Марс!

Джалал (*Искендеру*). Братец, клянусь, я скажу отцу, что ты науськивал на людей собаку.

Искендер (*взглянув на Джалала*). А я ему скажу, что ты не знал урока, ха-ха-ха! (*Несколько успокоившись, подходит к Джалалу*). Ладно, не скажу. Ты ведь знаешь, как я люблю тебя. (*Треплет Джалала по щеке*). Нехорошо, только, что ты не слушаешься своего брата. Вот, к примеру, сидишь над этой книгой (*берет у него книгу*) и читаешь. Наверное, отец заплатил за нее целый рубль, а ты, дурень, читаешь ее. Отнес бы эти деньги

Карапету, он дал бы тебе две бутылки водки, а ты принес бы их мне, своему братцу Искендеру. Я положил бы их в карманы. Одну распивал бы с утра до вечера за здоровье вот этого господина учителя. Вы были бы здоровы и изучали науки, а я пил бы водку в свое удовольствие. *(Обращаясь к учителю)*. Скажи, мирза, разве не прав я?

Учитель. Простите, Искендер-бек. Может быть, с моей стороны это дерзость, но я думаю, не подобает говорить ребенку такие вещи. Вы должны наставлять брата, чтобы он прилежно изучал науки, а вы вместо этого советуете бог знает что.

Искендер. Ха-ха-ха! Изучать науки! Ха-ха-ха! Изучать науки!..

Джалал хочет взять у него книгу.

Постой, постой. Послушай, что я тебе скажу...

Гаджи-Кязим *(вбегая в комнату)*. Дядя Гаджи-Гасан дома?

Искендер. Дома, дома.

Джалал *(Гаджи-Кязиму)*. Брат говорит неправду. Отец ушел на базар.

Учитель *(Гаджи-Кязиму)*. Что случилось, гаджи?

Гаджи-Кязим, не отвечая, убегает.

Искендер *(с книгой бежит за ним)*. Постой, не уходи, гаджи дома. Не уходи. *(Зовет собаку)*. Марс! Марс! Ату его... Куси, куси... Так его, так! Фьють... фьють... *(Топает ногами)*.

Учитель. Ну, прощайте. *(Уходит)*.

Искендер *(смеясь, вслед учителю)*. Не уходи, мирза! Ну, пожалуйста, останься, просвещай Джалала. Пусть сделается ученым.

Джалал *(подходя к Искендеру)*. Отдай книгу, брат!

Искендер *(очень громко и сердито)*. Уйди прочь!

Джалал в испуге убегает из комнаты, Искендер некоторое время смотрит вслед ему, потом садится на кровать, достает из кармана бутылку с подкой, из другого кармана стаканчик, наливает и пьет. Затем раскрывает книгу.

Знаю тебя. И я по тебе немного учился *(читает)*. «Этот совет оказался падишаху полезным, он помиловал его и не казнил...»

Мой учитель так же долбил мне: «Дитя, будь прилежен, учи уроки, станешь ученым!» Но ни один из этих балбесов не сказал: «Дитя мое, будь человеком». Все твердят: «Изучай науки, будь ученым», — и никто не может объяснить, что же такое наука? По-моему, наука — это уметь залпом выпить всю эту бутылку. *(Пьет)*. Паф, пуф! *(Морщится)*. Вот это наука!

Джалал *(выглядывая из-за двери)*. Ей-богу, братец, я обо всем расскажу отцу, когда он придет.

Искендер *(прячет бутылку в карман)*. Джалал, Джалал! Поди-ка сюда, послушай, что я тебе скажу.

Джалал. Не пойду, ты пьян.

Искендер. Джалал, знаешь, что говорил Сократ?

Джалал. Кто твой Сократ?

Искендер. Сократ — это человек, живший в древние времена. Он говорил: «Пока я не учился, мне казалось, что я кое-что знаю, но когда я изучил науки, понял, что не знаю ничего». Ха-ха-ха!.. То есть не знаю даже, как водку пить. Джалал, а Джалал! Ты сейчас удираешь от меня, говоришь — я пьян. Но придет время, и ты, окончив учение, будешь пропадать в винном погребе, как твой брат Искендер. Ха-ха-ха!

Назлы *(показываясь в дверях)*. Братец, ради аллаха, поменьше пей эту отраву.

Искендер. Слушаюсь, слушаюсь, моя сестричка! *(Подносит руку к глазам)*.

Назлы. Ей-богу, обманываешь!

Искендер. Ей-богу, не обманываю. Пока ты стоишь здесь, я не выпью ни капли. Но когда уйдешь, выпью.

Назлы *(подходит, берет его за руку)*. Тогда я ни на шаг не отойду от тебя.

Искендер *(обнимает Назлы)*. Милая моя сестричка! Целями днями сидишь ты дома и учишься у твоих теток искусству выйти замуж. Ты не бываешь со мной, чтобы послушать про те города, в которых я бывал, и узнать, что делается на свете. Вот смотри. За окном сверкает солнце, но на что оно, если ты лишена его света? В поле выросла трава, расцвели деревья, но на что эти цветы и зелень без тебя? Твои плешивые братья гуляют на воле, собирают в садах и едят свежую зелень. А ты сидишь дома и жуешь жвачку. Или, взявшись за

руки, ты и твои подружки-грязнули прыгаете на одной ноге и приговариваете:

Прыг-скок, прыг-скок,
У меня есть женишок.
Долгополый, прыг-скок.
Развеселый, прыг-скок!

(Прыгает на одной ноге. Джалал и Назлы смеются).
Нежная моя сестренка! Дай руку, уйдем из этого края.
Зачем медлить?

Перестань колебаться, стесняться, робеть!

И не надо скорбеть!

У тебя нет изъяна в румяных щеках.

И в бровях, и в губах, и в медовых устах.

Густы кудри твои. Светит пламя в очах.

Так к чему же скрываться, стесняться, робеть?

К чему медлить тебе?*

Тяжело дыша, входит крайне взволнованный Гаджи-Гасан.
Назлы и Джалал выходят.

Искендер. Что случилось, отец?

Гаджи-Гасан (в глубоком раздумье, подымая голову). Говорят, Кербелай-Фатулла воскрес.

Искендер (вытягивает шею, пораженный). Как?

Гаджи-Гасан. Кербелай-Фатулла воскрес.

Искендер (удивленно). Какой Кербелай-Фатулла?

Гаджи-Гасан. Сын дядя Гаджи-Рустама, Кербелай-Фатулла.

Искендер. Тот, что умер в Хорасане?

Гаджи-Гасан. Да, да, тот самый Кербелай-Фатулла.

Искендер. Как же это — воскрес?

Гаджи-Гасан. Просто воскрес. Как еще можно воскреснуть?

Искендер. То есть совсем ожил и вышел из могилы?

Гаджи-Гасан (нетерпеливо). Да, да, ожил.

Искендер отворачивается, силясь сдержать смех, но это ему не удается, и он, присев, выбегает из комнаты. Отец с гневом и удивлением смотрит ему вслед.

Будь ты проклят! Вот вам и образованный. Опять, верно, пьян. Да если и трезв, все равно в такие вещи ве-

рять не станет. Ни во что не верит. Ни аллаха не признает, ни пророка. А ведь если взвесить деньги, что потрачены на его учение, они его перetyнут. Где только он не учился! А теперь вот, радуйтесь! И ведь находятся еще бесстыдники, которые смеют упрекать честных мусульман — почему, мол, не даете детям образования? Вот вам и образование! Пусть придут полюбуются на образованного... Да проклянет меня аллах, если я пошлю второго сына учиться далеко, среди гяуров. Я-то, несчастный, знал, чем это кончится, да не дают ведь покоя! Ей-богу, не дают человеку поступать по своему разумению. Где встретят, сейчас начинают приставать со своими советами: «Гаджи, пожалей свое дитя: слава аллаху, средства у тебя есть... Отправь его учиться, вернется чиновником, или инженером, или следователем, или еще каким дьяволом». Вот и научился, приехал. Круглые сутки пьян. Проклятие на головы советчиков!

Гаджи-Бахшали (вбегают, едва дыша). Гаджи, правда, что Кербелай-Фатулла воскрес?

Гаджи-Гасан (встает). Правда, воскрес. Даже письмо собственноручное прислал. Я совсем потерял голову. Присаживайся, гаджи.

Гаджи-Бахшали. Гаджи! Все власти аллаха. Ведь и мертвый кому-то подчиняется. Без сомнения, есть сила, которая может воскресить его.

Гаджи-Керим (вбегают, запыхавшись). Гаджи! Говорят, Кербелай-Фатулла воскрес. Что за слухи? Как это могло случиться.

Гаджи-Гасан. Да, да, правда! Гаджи, присаживайся. Гаджи-Бахшали-ага, чего ты стоишь, садись, пожалуйста.

Все садятся на ковер.

Гаджи-Кязим (вбегают, тяжело дыша). Гаджи-Гасан-ага! Говорят, сын Гаджи-Рустама воскрес!

Гаджи-Гасан (встает навстречу). Да, гаджи-ага, это верно — воскрес.

Входит Мешади-Орудж, окруженный толпой горожан. Все очень изумлены.

Мешади-Орудж (держа раскрытое письмо, подымает руки к небу, призывая аллаха). Всемогущий ал-

лах! Не хватает слов, чтобы воздать хвалу твоему могуществу. Благодарю тебя, повелитель неба и земли.

Некоторые из присутствующих заглядывают в письмо.

Гаджи-Керим и Гаджи-Бахшали (*вместе*). Это и есть письмо Кербелай-Фатуллы? Прочитай, послушаем, что он пишет?

Гаджи-Гасан (*Мешади-Оруджу*). Мешади-Орудж! Лучше всего, прочитай письмо вслух, чтобы все слышали. Это — неслыханное событие. Бедному смертному этого не понять.

Мешади-Орудж (*с плачем поднимает к небу руки и, вытерев слезы полной архадики, принимается за чтение письма*). «Дорогой и любезный брат мой Мешади-Орудж! Как ты получишь это письмо, прежде всего по здравью дядю Гаджи-Гасана.

Гаджи-Гасан плачет.

Потом, если жива еще матушка, прижми ее к сердцу и скажи: «Матушка, не горюй, твой сын Кербелай-Фатулла воскрес». Затем возьми на руки нашего маленького Мамедали и скажи: «Бедное дитя, не грусти, ты больше не сирота, отец твой воскрес и через несколько дней привезет тебе из Хорасана красные башмаки». Потом, прости за такое слово, скажи матери Мамедали...» Ну, это пропустим. «... Дорогой и любезный брат мой Мешади-Орудж! Быть может, некоторые несчастные станут сомневаться в моем воскресении. Да будут тысячу раз прокляты те, кто сомневается во всемогуществе алаха...»

Все (*в один голос*). Да будут прокляты!

Мешади-Орудж! Я и еще сто четырнадцать человек, вместе со мной воскресших и покинувших могилы, должны в течение недели возносить благодарственные молитвы. Если на то будет воля алаха, через неделю я уже выеду на родину. А пока спешу сообщить тебе, что в святом Мешхеде появился старец, и высокое имя его — Шейх-Насрулла, да благословит его великий алах! Этот почтенный шейх многие годы провел в Исфагане, изучая там науки о таинствах. Затем посетил Хорасан. Здесь несколько месяцев он предавался труду и молитвам, углубляя и приумножая познания в области магии и овладевая ее тайнами. Наконец, решился он с

благословения всевышнего испытать свои знания в вызывании духов.

Дорогой брат мой Мешади-Орудж! При встрече я расскажу подробности этого потрясающего события, и ты будешь поражен. Но знай одно: в восемнадцатый день месяца джумада-уль-ариха, когда луна близилась к закату, пришел святой шейх на кладбище в святом Мешхеде, где погребены паломники, приехавшие из дальних стран на поклонение гробнице имама. Совершив надлежащий обряд для вызова духов и прочтя соответствующую молитву, он обратился к мертвецам с призывом: «Мир вам, жители могил! Встаньте, о покорные творения алаха!» И покойники, услышав эти слова, пришли, по воле алаха, в движение...»

Все собравшиеся начинают плакать.

«Что еще сказать, любезный брат? Поднял я голову, вижу: у могильного камня стоит смуглолицый святой человек с черными глазами, сияние исходит от него. И высокое имя его — Шейх-Насрулла Исфагани*...»

Все (*хором*). Благодарение тебе, создатель!

Гаджи-Кязим. Всемогущий алах! Будь милостив к своим бедным созданиям!

Мешади-Орудж (*продолжает чтение*). «Мой добрый брат Мешади-Орудж! Пишу это письмо, чтобы предупредить тебя: несравненный ученый и великий благодетель Шейх-Насрулла в начале месяца раджаба* выезжает из святого Мешхеда. Он едет через Джульфу в Тебриз, а оттуда в Наджаф-уль-ашраф*. Почтенный шейх намеревается остановиться по пути на несколько дней в нашем городе и, помолвившись на кладбище, проехать дальше.

Как только получишь это письмо, сообщи всем братьям согражданам нашим, особенно уважаемому дядю гаджи, чтобы в седьмой день месяца раджаба они вышли встречать благочестивого шейха и оказали ему достойные почести. Пусть и мои сограждане воспользуются благостью и могуществом почтенного шейха. Конеч. Подписал письмо житель города такого-то, Мешади-Фатулла Гаджи-Рустам-оглы. Писано 19 дня, месяца джумада-уль-ахира в святом городе Мешхеде». (*С плачем поднимает руки к небу*).

Все плачут.

Благодарение тебе, создатель!

Гаджи-Бахшали (*с радостным удивлением*).
Значит, господин шейх пожелает и к нам?

Гаджи-Гасан. Да, так сказано в письме.

Гаджи-Керим. Будет в нашем городе?

Мешади-Орудж. Конечно. Побудет у нас, а потом выедет в Тебриз.

Гаджи-Керим. Когда же он пожелает?

Мешади-Орудж. Написано, что он пожелает к нам седьмого или восьмого дня месяца раджаба.

Гаджи-Бахшали. А какое сегодня число? Значит, господин шейх прибудет к нам через два дня?

Мешади-Орудж. Да, так выходит.

Гаджи-Гасан. Чего же мы стоим в таком случае? Ведь господин шейх уже в пути. Нельзя терять время! Гаджи-Кязим! Гаджи-Керим! Гаджи-Бахшали! Мешади-Орудж! И все вы! Чего стоите?... Надо готовиться! (*Громко*). Эй, Гейдарали! Где наши слуги?

Из-за гостей высовывается слуга Али.

Эй, ты! Засыпь лошади овса. Приготовь седло и сбрую. И вы, господа гаджи и мешади, готовьтесь. Нельзя мешкать. Надо собираться в дорогу, ехать навстречу.

Все суетятся, прощаются и собираются уходить.

Голоса. Пойдем готовить лошадей.

Гаджи-Гасан. Эй, Гейдар! Передай там, чтобы разостлали в комнатах ковры — придут гости.

Гаджи-Кязим (*Гаджи-Гасану*). Гаджи, разреши мне принять на себя труд, пусть Шейх-Насрулла будет нашим гостем. Я не хочу, чтобы вы беспокоились.

Гаджи-Гасан. Нет, нет, Гаджи-Кязим, не говори так. Ради аллаха, не говори так! Хлопоты ради такого высокого гостя — это удовольствие, большое удовольствие.

Гаджи-Бахшали. Нет, Гаджи-Гасан-ага! Пусть господин шейх будет моим гостем.

Гаджи-Керим. Ни за что! Я буду сам служить господину шейху. Клянусь, не позволю!

Гаджи-Гасан (*Гаджи-Кериму*). Клянусь твоей головой, не соглашусь. Мы так обязаны господину шейху...

Гаджи-Кязим. В таком случае, гаджи-ага, не бу-

дем медлить, надо собираться в дорогу. Господа гаджи! Давайте пойдем подготовимся к встрече!

Все уходит, приглашая друг друга словами: «Пожалуйста, пожалуйста!» Гаджи-Гасан остается один в комнате. Из-за двери выглядывает Кербелай-Фатма и входит, в страхе вытирая шею.

Кербелай-Фатма. Ай, гаджи, что это за слухи? Говорят, Кербелай-Фатулла ожил и едет сюда?

Гаджи-Гасан. Кербелай-Фатма, сейчас не до разговоров... Скорей прибери комнаты. Свет перевернулся вверх дном. В Хорасане воскресло много народа, в том числе и Кербелай-Фатулла. На днях он будет здесь. А сейчас едет сюда воскресший его шейх. (*Хочет уйти*).

Кербелай-Фатма. Ай, гаджи, да благословит аллах память твоего отца! Скажи на милость, он и у нас будет воскрешать мертвых?

Гаджи-Гасан (*в дверях*). Жена, ради самого аллаха, теперь мне некогда разговаривать с тобой. Не знаю, будет или не будет воскрешать. Это зависит от благорасположения господина шейха. Я и сам как потерянный. Не могу постичь, как это он будет воскрешать мертвых. (*Вдруг повышает голос*). Жена, я тебе сказал: не торчи здесь, ступай займись своим делом. Я уйду. (*Уходит*).

Кербелай-Фатма (*поднимает к небу руки, плачет*). О ты, из ничего создавший небо и землю! Полтора года ты заставляешь меня проливать слезы. Ты отнял у меня румянолицую дочь. Ты нанес мне неизлечимую рану. Милостивый и милосердный аллах! У тебя прошу мою Сару! О, воскресший Кербелай-Фатулла! Прояви и ко мне милосердие! Воскреси и мою дочь! Аллах! Аллах! (*Падает ниц, рыдает*).

Искендер (*входит тихо, останавливается около матери, опустив голову, грустно*). Бедная мать!

Действие второе

Гостиная в доме Гаджи-Гасана. Кербелай-Фатма-ханум и служанка Зейнаб убирают комнату. Назлы весело рассказывает, шапает, пляшет.

Назлы (*матери*). Мама, мамочка, милая! Говорят, наш гость умеет воскрешать мертвых. Дорогая, милая мамочка, скажи, это правда? (*Обнимает мать*).

Кербелай-Фатма. Не знаю, дочка. Так же, как и ты, ничего не знаю. Да пусть же, не тормози меня. Скоро явятся гости. Не мешай нам. Торопись, Зейнаб, носи мутаки, клади сюда. Подтяни ковер. Двигайся живее.

Назлы. Ей-богу, мамочка, не знаю, что мне делать — плакать или смеяться? Вот послушай, мама, о чем я думаю. Мне не дает покоя одна мысль... я должна сказать тебе. Мама, ей-богу, я попрошу нашего гостя... буду на коленях умолять его, чтобы он воскресил сестру Сару. *(Плачет)*.

Кербелай-Фатма. Не знаю, детка, не знаю... *(Садится на ковер и тоже плачет, закрыв лицо головным платком)*.

Зейнаб. Ах, ханум! Заклинаю тебя, не плачь. Аллах велик. *(Плачет сама)*. Ах, ханум, что это за человек, что оживляет мертвых? *(Помолчав)*. Ради аллаха, ханум, я хочу спросить тебя об одном, — он и бедняков воскрешает? Ей-богу, ханум, наш маленький мальчик... сегодня не выходит у меня из головы. Словно сейчас умирает у меня на глазах... *(Плачет, вытирая слезы концом головного платка)*.

Кербелай-Фатма. Ей-богу, я и сама ничего не понимаю. Аллах милостив, он пожалует нас. Ну, Зейнаб, двигайся. Скажи Али, чтобы принес воды, и посмотри, хорошо ли горит огонь в очаге.

Зейнаб уходит.

Назлы. Мама, ей-богу, я не выдержу. Хоть бы еще раз увидеть сестру Сару!.. Мама, ты ведь знаешь, как я ее любила. Ах, дожить бы до того дня, когда сестричка Сара войдет в эту дверь. Я бросилась бы ей на шею и сказала: «Сестрица моя, ты истлевала в земле!..» Мамочка, я, кажется, схожу с ума. Не знаю, плакать или смеяться? Клянусь аллахом, клянусь пророком, даю священный обет — раздать бедным и нищим все, что имею. Платья, золотые украшения, все, все! Вот сейчас пришащу их сюда. *(Хочет бежать)*.

Кербелай-Фатма. Не торопись, девочка. Подожди, посмотрим. Не разбрасывай здесь своих вещей. Скоро соберутся гости. Поди поторопи Зейнаб.

Назлы уходит.

Искендер *(входит, напевая)*. Ну, мать, как дела?

Кербелай-Фатма. Какие дела — сплошное мученье. Тебя одного достаточно, чтобы зачихнуть с горя. Сыновья других тоже учились. Вышли в люди, служат. Лишь ты стал пьяницей — днем пьян, ночью пьян. Ей-богу, ты срамишь нас перед всем миром. Пьешь эту проклятую отраву, болтаешь все, что взбредет в голову, ни аллаха не признаешь, ни старших не стыдишься. Что это еще ты говорил вчера Назлы? «Дай мне руку, пойдем гулять...» Недоставало только, чтобы девочки ходили гулять повсюду, как мальчики... Когда я узнала об этом, готова была своими руками вырыть могилу и лечь в нее, чтобы навсегда избавиться от тебя.

Искендер *(с хохотом обнимает мать)*. Нет, шутишь! Теперь тебе и после смерти не избавиться от меня. Вон едет этот, как его, Шейх-Насрулла. Ты умрешь, а он тебя воскресит. Ха-ха-ха! Теперь и смерть тебя не спасет. Ха-ха-ха!.

Входит Зейнаб и Назлы. Искендер пытается сесть на мутак, Зейнаб не позволяет.

Зейнаб. Не мни мутаки. Не для тебя положены. Видишь, гостей ждем.

Искендер. Ах, Зейнаб! Ей-богу, я понимаю твою хитрости. *(Встает)*. Ты стараешься ради гостя, чтобы он воскресил твоего мужа Кербелай-Новруза. Я тебя насквозь вижу... Ха-ха-ха!

Кербелай-Фатма *(Искендеру)*. Жалкий человек, камень тебе на голову! Во что ты веришь, чтобы поверил и в это! Уходи лучше отсюда, не мешай нам работать. Зейнаб, поправь ковер.

Назлы. Пожалуйста, братец, хоть сегодня веди себя хорошо. Ей-богу, стыдно, ведь гости будут...

Входит Мир-Багир-ага, снимает обувь, здоровается. Назлы закрыв лицо, выбегает.

Кербелай-Фатма. Алейкессалам. Садись, пожалуйста, ага.

Мир-Багир-ага садится.

Искендер *(бежит за Назлы)*. Назлы, Назлы! Поздравляю тебя, жених пришел.

Кербелай-Фатма (*Искендеру*). Молчи. Не болтай глупостей.

Мир-Багир-ага скромно опускает голову.

Искендер (*становясь перед ним*). Молю тебя, дай руку. Если ты свой парень, дай руку. Ей-богу, у тебя недурной вкус. Ровно девять лет! И чтобы ни чуточки не больше. Молодой барашек — свежий, чистый, нежный, чтобы пахнул молочком. Прямо прелесть! Ей-богу, ты со вкусом. Дай руку, если ты свой парень!

Мир-Багир-ага. Стыдно, стыдно говорить такие слова. Хотя бы матери постеснялся.

Кербелай-Фатма. Будь у него совесть, разве стал бы говорить такое?

Мир-Багир-ага истаёт, собираясь уходить.

Искендер. Ха-ха-ха! Не обижайся! Если ты свой парень, не сердись! Садись, садись! Я сейчас приведу тебе твою невесту. (*Идет к двери, зовет*). Назлы, Назлы!..

Мир-Багир-ага (*гневно, громко*). Замолчи пьяница. (*Уходит*).

Кербелай-Фатма. Боже мой, что с ним делается? Совсем спятил с ума. (*Зовет громко*). Али, Али, уведи скорее этого сумасшедшего!

Назлы (*входя*). Братец, ты просто срамишь нас. Какие ты говоришь вещи? И тебе не стыдно?

Искендер (*прищелкивая пальцами, пляшет и поет*).

Я пленен красою редкой,
Длиннобровой малолеткой,
Ай, джан! Ай, джан!..

Браня сына, Кербелай-Фатма выходит.

Назлы (*громко*). Замолчи, братец!

Искендер (*останавливается, задумавшись, берет Назлы за руку и подводит к окну*). Кто это? Смотри!..

Назлы (*застенчиво*). Откуда мне знать... Сам знаешь, кто.

Искендер. Всмотрись хорошенько. Кто это?

Кербелай-Фатма (*появляясь в дверях*). Довольно же, перестань, образумься... Подумай хоть о себе. Как не стыдно было говорить ему такие вещи! Как бы там ни было, ведь он — сеид, наш родственник. Нельзя же болтать все, что взбредет в голову! Наконец, и его жаль: он одинокий человек; кроме нас, у него нет близких в этом городе.

Искендер (*щелкая пальцами, указывает на Назлы*). В этом городе у него есть такая миленькая невеста, как Назлы!

Назлы. Братец, клянусь аллахом, я не выйду за Мир-Багир-агу.

Искендер. Ха-ха-ха! (*Подойдя к сестре, берет ее за руку*). Сестрица моя! Ты — еще ребенок. Невинный, неопытный, наивный ребенок. В один прекрасный день приду я и увижу, как ведут тебя в дом мужа, неся перед тобой зеркало*. Допустим, что ты начнешь упираться (*кричась*). Допустим, не захочешь идти. Тогда тебя подтолкнут в спину и зашлепнут над самым ухом: «Двигайся живее, не мешкай!» Обернешься и увидишь, что тебя подталкивает твой отец Гаджи-Гасан. Да... Потом снова остановишься, не захочешь идти. И кто-то опять начнет тебя подталкивать в спину: «Пошевеливайся, иди быстрее!» Обернешься и увидишь свою мать Кербелай-Фатму-ханум. А если уж очень начнешь сопротивляться и шуметь, все окружающие — твои тетки, дяди, родные, соседи, сеиды, моллы, знакомые, подружки — со всех сторон накинута на тебя: «Замолчи, не то нечестый тебя унесет». И с криками, песнями, с музыкой поведут тебя, втолкают к чужому мужчине. Где ты найдешь меня тогда? (*Поет, прищелкивая*):

Настанет день, покинешь ты меня
И дружбу заведешь с волками!
Ах, заведешь, сестра моя!
Подруга, заведешь!..

(*Умолкает. Задумчиво смотрит на мать*). Мать! Может быть, все это я говорю спяна?

Мать молчит.

Назлы (*обнимая Искендера*). Брат! Я тебя, даже и пьяного, никогда не послушаюсь...

Слуги (*вбегают; запыхавшись*). Ханум, уходите скорее. Гости приехали...

Кербелай-Фатма и Назлы быстро уходят. Входит Гаджи-Гасан, запыханный, тяжело дышит. Оглядывает комнату. Издали доносятся шум толпы и слова молитвы.

Гаджи-Гасан. Все беды должны были обрушиться именно на наш несчастный город! Господин шейх занемог в пути, захворал. Да пошлет ему аллах скорое исцеление!.. Искендер, хоть сегодня, при гостях, веди себя пристойно, не срами нас перед друзьями и недругами...

Искендер. Отец, это тот самый шейх, что воскрешает мертвых?

Гаджи-Гасан. Это — господин Шейх-Насрулла. И мне некогда сейчас разговаривать с тобой (*хочет выйти*). Надо посмотреть, все ли готово к приему гостей?

Искендер. Отец, ты бы попросил гостя в первую очередь воскресить меня, ведь я тоже своего рода покойник...

Гаджи-Гасан молча берет Искендера за руку и выводит из комнаты. Шум нарастает. Слышны топот и ржание лошадей, крики, молитвенное пение. Гаджи-Гасан и Шейх-Ахмед вводят под руки Шейх-Насрулла и бережно усаживают на подушки, окончательно становятся в стороне. Покрытые пылью и запыхавшиеся, входят гаджи и другие горожане. Чинно становятся у стен. Шейх-Насрулла нездоров. Ни на кого не смотрит. Молчит, облокотившись на мутки.

Из толпы выглядывает Искендер и тотчас же, по знаку Гаджи-Гасана скрывается.

Шейх-Ахмед (*тихо подходит к Шейх-Насрулле, опускается на корточки и негромко спрашивает*). Шейх, как ваше самочувствие?

Шейх-Насрулла молча, неопределенно мотает головой.

Гаджи-Гасан (*робко подходит к Шейх-Ахмеду*). Не разрешит ли пресветлый шейх подать чаю?

Шейх-Насрулла отрицательно качает головой.

Может быть, великому шейху угодно покушать? Приготовлен плов с цыплятами.

Шейх-Насрулла (*ни на кого не глядя, говорит тихо по-персидски*). Хворающий человек равнодушен к еде. Охваченная земной болезнью, душа не в состоянии исполнять даже веления творца. Хотя пища вообще вкус-

на и соблазнительна, но для больного она лишена всякой прелести, как для неверующего лишено прелести выполнение обрядов, судящих блаженство в загробной жизни. (*Продолжает по-арабски*). Забьешь о здешнем мире настолько, чтобы тебя не тревожили мысли о загробной жизни, и о загробной жизни думать столь ревностно, чтобы забыть все мирские заботы. (*Некоторое время сурово смотрит на Гаджи-Гасана и, приподнявшись, вдруг кричит*). Какой ужин? Какой плов с цыплятами? Шейх-Ахмед, куда ты меня привел? Что это за мусульмане? (*Показывает на ковры, украшающие комнату*). Что это такое? Какой ужин? Что за плов с цыплятами? Шейх-Ахмед, разве ты не говорил им, что всю мою пищу за день составляют один финник?

Все напуганы и дрожат от страха.

Шейх-Ахмед. Да, пресветлый шейх, говорил.

Шейх-Насрулла (*обращаясь к собравшимся*). Что это такое, сыны прелюбодеяния? Чего вы хотите? Чего добиваетесь? Все помrete, хотя бы шахами были. (*Продолжает по-персидски*). В моих глазах весь ваш мир не стоит больше, чем зеленая былинка во рту кузнечика. (*Снова по-азербайджански*). Ваш мир исчерпывается шестью благами (*перечисляет по-арабски*): пища, питье, одежда, благоволия, средства передвижения, брак. Вот и все! (*Разъясняет по-азербайджански*). Однако, самая вкусная пища — это мед, а он образуется из слюны пчелы. Ваше питье — вода, а в ней кишат тысячи тварей. Лучшее из благоволий — мускус — добывается из пупа лани. Благороднейшее животное — лошадь, а между тем на ней ездуку ежеминутно грозит гибель. Самый нежный материал для одежды — шелк, а его выпускает червяк из вонючего брюха. Что же касается ненесчастливых благ брака, то это вопрос сложный... (*Задумывается, потом тихо продолжает по-персидски*). Наиболее могущественное средство обезоружить соблазнительных красавиц — это вступление в брак и во временное сожительство, сийга. Это наиболее действенные средства, чтобы защитить твердые веры от всеразрушающего коварства смертоносных красавиц. (*Выкрикивает по-арабски*). Мзи тезевведже экрезеху динеху! Сыны прелюбодеяния! (*По-персидски*). Это значит, что вступающий в брак спасает половину своего благочестия и веры от козней дьявола и

дурных наклонностей своей натуры. *(Помолчав, по-азербайджански)*. Шейх-Ахмед! Я не вижу среди присутствующих никого из сестер! Шейх-Ахмед! Скажи, чтобы и они, несчастные, также пришли сюда и сели за занавеской выслушать веления премудрого аллаха!

Люди приходят в движение. Входит поодиночке женщины в чадрах и становится за спинами мужчин.

Шейх-Насрулла *(громко говорит по-арабски)*. Эксеру ахлиннари эль-эзэб. *(Переводит на персидски)*. Значит, большинство обитателей ада — это женщины от брака. *(Утомленно)*. Шейх-Ахмед! Мне не хватает сил. Разъясни им...

Шейх-Ахмед. Из велений пресветлого шейха выясняется, что большинство обитателей ада — это женщины и мужчины, которые избегали брака сийга и мотэ.

Шейх-Насрулла *(кричит на Шейх-Ахмеда)*. Громче говори, громче! *(Обращается к собравшимся по-персидски)*. Два ружета** намаза женатых действительнее и надежнее семидесяти молений, совершенных безбрачными. *(Вскакивает и, протянув руку кричит по-персидски)*. Вступайте в брак, иначе вы будете подобны жрецам гяуров или братьям сатаны.

Гаджи-Гасан *(выходит вперед, падает перед шейхом на колени)*. Великий шейх! Пощади и помилуй нас! Мы готовы исполнить все твои веления. Сжалесь над нами!

Шейх-Насрулла *(смотрит на Гаджи-Гасана, потом, плача, говорит по-персидски)*. Пророк Давид, проходя по кладбищу, увидел, как ангел истязал покойника. Святой сказал... *(Умолкнув, опускается в изнеможении на подушки. Присутствующие начинают плакать)*. Шейх-Ахмед, у меня иссякают силы...

Гаджи-Гасан. Да поможет тебе аллах!

В толпе раздаются возгласы: «Посторонись, дай дорогу!» Входят Гейдар-ага и Али-бек. Шейх-Насрулла приподнимается.

Шейх-Насрулла. Кто эти господа?

Гаджи-Гасан. Великий шейх, этот господин Гейдар-ага — чиновник телеграфной конторы и весьма ученый человек. А это — Али-бек, переводчик при уездном начальнике.

Шейх-Насрулла. Хорошо ли ваше самочувствие, милостью аллаха?

Гейдар-ага. Молю аллаха, чтобы он не лишил нас благоволения такого ученого, как вы.

Али-бек. Да продлит аллах ваши дни!

Шейх-Насрулла *(по-персидски)*. Когда покойники кладут в гроб и счетоводы небесного судилища неумолимой рукой заносят на гробовую доску грехи и добрые деяния покойника, всевышний аллах... *(Внезапно начинает стонать и охать, хватаясь за левый бок. Удивленная толпа почтительно молчит. Шейх-Ахмед встает и, сделав знак Гаджи-Гасану, выходит из комнаты, за ним следует Гаджи-Гасан. После этого Шейх-Насрулла продолжает свою проповедь.)* ...всевышний аллах задает ему сорок вопросов. И один из них следующий: сын мой, ты облачил свое тело в одежду гяура, а внутренний мир, о котором я пекусь, предал забвению... Не ведаю я, что ответил тогда вопрошенный...

Гейдар-ага. Конечно, господин шейх! Мы грешные рабы всевышнего. *(Повернувшись к людям, тихо)*. Машаллах! У господина шейха море познаний! В жизни не встречал я такого ученого...

Али-бек. Хвала знаниям и мудрости шейха! *(По-русски)*. Молодец!

Голоса из толпы. Машаллах! А как говорит! Вот это — божий дар.

Шейх-Насрулла. Господа мои, есть ли в вашем городе еще другие, получившие чужеземное образование, или вас только двое?

Гейдар-ага. Нет, господин шейх, других нет. Мы одни. Правда, сын Гаджи-Гасан-аги тоже получил образование и был даже во Франции, но, к прискорбию, из него не вышло толка. И в самом деле, господин шейх, изучить немного иностранный язык не худо, но...

В это время входят Шейх-Ахмед и Гаджи-Гасан.

...но, когда юноша-мусульманин годами живет среди чужих, конечно, у него меняются убеждения.

Гаджи-Гасан. Почтенный шейх! Признаться, с сыном мне не повезло, каюсь я.

Шейх-Насрулла. Сын Гаджи также присутствует здесь?

Гаджи-Гасан. Нет, господни шейх! Увидев вас, он куда-то убежал, скрылся от стыда, накажи его аллах!

Шейх-Насрулла. Призывать заблудшего на истинный путь — долг каждого правого. Гаджи-Гасан-ага! Позовите сюда вашего сына, я хочу его видеть.

Гаджи-Гасан выходит. Из толпы слышен плач женщины.

Шейх-Насрулла. О чем плачет эта женщина?

Мешади-Орудж (*выступая вперед*). Почтенный шейх, это — моя мать. Она плачет о своем сыне. Сын ее — тот самый Кербелай-Фатулла, который, с вашего благословения, воскрес в Хорасане.

Женщина (*закутанная в чадру, с плачем выступает вперед*). Да погибну я ради тебя, шейх! У тебя я прошу моего сына! (*Плачет*).

Шейх-Насрулла (*очень громко по-персидски*). Всему свое время, всему свое место.

Шейх-Ахмед (*к женщине*). Уйди, сестра, не беспокой шейха. Сейчас не время для таких разговоров.

Гаджи-Гасан вводит за руку Искендера, который останавливается перед Шейх-Насруллой и, заложив руки в карманы, смотрит на него в упор.

Шейх-Насрулла. Как его звать-величать?

Гаджи-Гасан. Вашего слугу зовут Искендер.

Шейх-Насрулла. О, Искендер! Какое красивое имя — Искендер! Искендер Руми! Искендер Зольгарней! Какое достойное имя! (*Продолжает по-персидски*). Ни для кого из людей не существует такой необходимости улучшения морали и совершенствования нравов, как для правителей, с целью сделать государство неприступным, как вал Искендера, и обезопасить его от вражеских угроз. Все сущее в мире порождено общением, иначе как бы передавался аромат египетской ивы? (*По-азербайджански*). Искендер-бек, вы также занимаете какую-нибудь должность?

Искендер. Нет, я никакой должности не занимаю. Должности занимают эти господа (*показывает на Гейдар-агу и Али-бека*).

Али-бек (*на ухо Гейдар-аге*). Наверное, опять нализался.

Шейх-Насрулла (*Искендеру*). Значит, вы менее

образованны, чем эти господа? (*Показывает на Гейдар-агу и Али-бека*). Потому и не имеете должности?

Искендер. Конечно, конечно, у них море познаний. А теперь, когда они научатся у вас воскрешать мертвецов, станут непревзойденными учеными.

Шейх-Насрулла. Гаджи-Гасан-ага, уберите отсюда этого наглеца. Этот вероотступник смеет глумиться над божественными таинствами!

Гаджи-Гасан-ага и другие с угрозами окружают Искендера и выталкивают его из комнаты.

Гейдар-ага. Господни шейх! Он не в своем уме. пьянствует дни и ночи.

Мир-Багир-ага. Это еще куда ни шло. Он отрицает затворничество женщин. Он утверждает, что женщины должны ходить с открытыми лицами.

Шейх-Насрулла (*кричит*). Что-о?

Гаджи-Керим. Не может быть, Мир-Багир-ага! Этого он не посмел бы сказать.

Мир-Багир-ага. Как не посмел бы? Только вчера он говорил своей девятилетней сестре: «Пойдем гулять по городу». Я своими ушами слышал...

Шейх-Насрулла (*вскакивает с места*). О, позор! О, позор! Я не могу больше оставаться здесь! (*Устремляется к выходу*).

В толпе сильное замешательство.

Гаджи-Гасан (*надая к ногам шейха*). Великий шейх! Сжался надо мной, не губи меня. Я наложу на него любое наказание, какое вы только укажете, лишь бы вы не ушли из моего дома недовольным. Не губите меня!

Мешади-Орудж. Господни шейх, успокойтесь. Мы сейчас же прогоним его отсюда ко всем чертям.

Несколько человек, понося Искендера, выбегают из комнаты.

Гаджи-Гасан (*им вслед*). Погодите, погодите! Я сам его накажу... Гаджи-Бахшали, Гаджи-Керим, Гаджи-Кязим! Успокойте молодежь. Удержите их! Я сам разделаюсь с этим проклятым...

Уходит, за ним следуют все собравшиеся. Остаются Шейх-Насрулла и Шейх-Ахмед.

Шейх-Насрулла. Ахмед, мне что-то не по душе этот Искендер, черт бы его побрал!

Шейх-Ахмед (*подумав*). Не тревожься, шейх. Тут никто с ним не считается. Не расстраивайся и делай свое дело.

Шейх-Насрулла (*посмотрев на дверь*). Шейх-Ахмед! Во-первых, выйди и потихоньку скажи хозяевам, чтобы мне дали поесть. Во-вторых, попроси приготовить постель, — я устал, хочу отдохнуть. И, наконец, в-третьих... (*Останавливается*). Конечно, ты уже позаботился. Я не могу спать один. Все тело ломит. (*Потягивается*). Мне нужен размин. Слава аллаху, ты сам понимаешь... Итак, поторопись.

Шейх-Ахмед выходит. Шейх-Насрулла садится на подушки и после некоторого раздумья начинает рассуждать вслух.

Когда я говорю, что болен, многие думают, что я притворяюсь. Но аллах свидетель (*немного подумав*), я не притворяюсь и никого не обманываю. Я действительно больной человек. Когда перед народом я сказываюсь больным, Шейх-Ахмед думает, что я их дурачу. Но этот несчастный и не подозревает, что я в самом деле болен и тяжело болен... (*Задумывается*). Не из-за этой ли болезни я попал в руки плута Ахмеда и, как дитя, с плачем выпрашиваю у него сластей? (*Закрывает лицо руками*).

Слуга вносит на большом круглом подносе плов и другие кушанья, ставит на ковер и уходит. Входит Шейх-Ахмед и становится в стороне. Через некоторое время две женщины в чадрах вводят, шепчась, маленькую девочку в чадре и останавливаются у двери. Входит слуга, зажигает светильник. Входит Гаджи-Гасан.

Гаджи-Гасан (*обращаясь к девочке*). Дитя мое, не смущайся. На все воля аллаха, тебе нечего стесняться...

Шейх-Насрулла (*Шейх-Ахмеду*). Шейх-Ахмед, будь моим представителем и исполни обряд сийга.

Шейх-Ахмед. Слушаюсь!

Все входят, девочка тоже подходит к двери, чтобы выйти, но не может открыть ее.

Шейх-Насрулла (*встает и, подойдя к ней, говорит окрачиво*). Воля твоя, можешь уйти и можешь остаться. Все зависит от тебя. От тебя самой зависит попасть пос-

ле смерти в мир мучений, где скорпионы величиной с лошадь влезут в могильную трещину у твоих ног и вонзят жала в твое тело... От тебя самой зависит и то, чтобы после смерти, когда тебя положат в могилу, открылась незримая калитка у изголовья и появился прекрасный юноша — гылман. Он будет играть с тобой и ласкать тебя... И вот порвется ожерелье из топазов на шее гылмана, и рассыплются камни. И станете вы собирать их и нанизывать на нить... И не успеешь ты оглянуться, как пройдут семьдесят тысяч часов земного времени и прольет час страшного суда. (*Подходит ближе к девочке. На сцене темнеет*). Тогда возьмет тебя гылман за эту ручку (*берет руку девочки*) и с улыбкой скажет: «Сколько же добра содеяла ты за свою земную жизнь!..» (*Обнимает девочку*).

Действие третье

Городская окраина близ кладбища. На сцене множество горожанин. Они босы, ноги их обнажены до колен, руки сложены на животе. В центре Шейх-Насрулла, держа старую книгу, говорит торжественно и высокопарно.

Шейх-Насрулла (*произносит речь на персидском языке*). В сокровищнице мира нет дара более высокого, чем наука, и более ценного, чем познание. (*С пафосом декламирует персидские стихи*).

Наука и тело и дух оживляет,
И землю и воду она обновляет.
Наука — зефир на лугах бытия,
Несет ароматы из рая она.
И тот, кто источник познания найдет,
Живительной влаги бессмертья испьет.

(*Умолкает. Потом, высоко подняв книгу, выкрикивает*). Вот книга! Вот наука! (*Продолжает тише по-персидски*). Науки бывают двух видов: явные и тайные. Явные науки стали достоянием всех, и многие ученые усвоили законы их и положения. Тайные же науки остались скрытыми в темных углах, и не всякому дано постигнуть их смысл и сущность. (*Громче*). Одна из тайных наук — это наука о талисманах. Но мы не будем ее касаться. Вторая —

наука о вызывании духов, мы и ее не станем касаться. Третья — наука о привидениях, но мы и ее не коснемся. Четвертая — наука о чудесах, но мы и этого касаться не будем. Пятая (*смотрит в сторону кладбища, повышая голос*) — эльми риджати эмват... (*объясняет по-азербайджански*), то есть воскресение и возвращение к жизни тех, кто умер. (*Садится и продолжает по-персидски, высокопарно и напыщенно, пересывая речь арабскими фразами и словами*). По воле несравненного покровителя и господина, высокородного, благочестивого, мудрого, достойного, несокрушимой опоры религии, столпа нации и гордости государства, вознесенного аллахом и укрепленного в высоком звании своем — Эмира Бахадура, эту книгу (*поднимает ее над головой*), которая благодаря своему обширному содержанию и высокой цели — служить всеобщему благу, признана всеми учеными и просвещенными мужчинами, сын исфаганского вайза Джафара, ничтожнейший из ничтожных, Насрулла составил из пяти частей, посвященных разным наукам: первая — синия, вторая — римия, третья — кимия, четвертая — лимия, пятая — имия. (*По-азербайджански*). Но их мы также касаться не будем. *Передохнув, снова по-персидски*). Воскресение — значит новое возвращение к жизни после смерти. (*Смотрит на толпу. Громко и повелительно по-азербайджански*). Садитесь!

Все разом садятся наиземь.

Некоторые нечестивцы говорят (*продолжает по-персидски*), что воскресение ничем не оправдывается, ибо умерший освобождается от всех обязанностей и вторичное появление его на свет не может принести пользу. (*Громко по-азербайджански*). Может быть, и среди вас есть такие еретики? Пусть выступят, и я отвечу им по этой книге. Кто дерзает утверждать, что умершие не вернутся на этот свет?*

Шейх-Ахмед (*шепчет ему на ухо*). По-арабски! Говори по-арабски!

Шейх-Насрулла (*пользуясь тем, что никто из присутствующих не знает арабского языка, выкрикивает первую попавшуюся бессмысленную фразу*). Физа эрефтэ хаза вэ эвсехту лэкэ фильгвли бирриджетиллэти иджтимаэтиши шиэти алейха фиджэмнэль эгвам... (*Продолжает по-азербайджански*). Кто отрицает это, должен

отрицать также и то, что (*снова говорит по-персидски*)... когда он провел святой рукой по спине овцы (*плачет*) и прочитал молитву о плодovitости, всемогуществом создателя овца окотилась семьдесятю ягнятами. (*По-азербайджански*). Всевишний, из одной овцы сотворивший в одну секунду семьдесят овец, волн и умертвить и оживить свое создание — человека. (*Очень громко*). Кто смеет это отрицать? Пусть выступят нечестивцы, и этой книгой я отвечу им...

Гаджи-Гасан. Почтенный шейх! Пусть все мы погибнем ради тебя. Кто посмеет отрицать веления аллаха? Шейх-Насрулла (*гневно кричит*). Встаньте!

Все разом встают.

Разве вы не слышали, что племя в семьдесят тысяч человек погибло от чумы? (*Продолжает по-персидски*). И обратился святой к всевышнему, и сказал: «Воскреси их, господи, чтобы они благоустроили землю твою. (*Говорит по-азербайджански*). Ибо они безропотно приняли кару, которой ты их подверг, и погибли мученической смертью. Пусть воскреснут они! Верни им жизнь, чтобы они молились тебе... Пусть вернутся к жизни, чтобы украсить твои города!» И пришел от господа ответ (*продолжает по-персидски, плача*): «Считаешь ли ты их друзьями, чтобы я ради тебя воскресил их?» И молвил святой: «Да!» (*В толпе слышен плач*). И тогда всемогущий аллах воскресил их всех до одного, и вернулись они снова на этот свет.

Гаджи-Керим (*плача*). Пусть я буду жертвой ради тебя! Верни мне сына-богатыря. Всего месяц как он умер. И смерть его сожгла мне сердце. Пожалей меня, шейх!

Подходят и другие; с плачем обращаются к Шейх-Насрулле.

Один. Воскреси моего отца!
Другой. Воскреси мать!
Третий. Воскреси мою сестру!
Четвертый. Воскреси брата!
Шейх-Насрулла (*кричит*). Молчание! (*Встает медленно и важно; говорит в сторону кладбища по-арабски*). Эзземту алейкум, я эхлель губур. Привет вам, обитатели могил!

Пораженная толпа смотрит в сторону кладбища.

Шейх-Ахмед! Возьми перо и бумагу. Запиши всех, кто хочет воскрешения своих близких, родных и друзей.

Толпа приходит в движение. Каждый хочет быть первым. Начинается давка. Шейх-Насрулла громко призывает к порядку.

Спокойствие и приличие!

Толпа несколько успокаивается.

Шейх-Ахмед (*берет перо и бумагу*). Во имя аллаха, милостивого и милосердного! Кто желает воскрешения, то есть оживления и возвращения на этот свет дорогих ему усопших, подходите ко мне по очереди, благопристойно и говорите. Я запишу их имена на этом листке бумаги и представлю на благоусмотрение пресветлого шейха.

Опять начинается давка.

Шейх-Насрулла (*кричит по-арабски*). Эссебр, я мэ'шэрэзльислам! Терпение, правоверные!

В священном страхе толпа умолкает. Шейх-Насрулла обращается к Гаджи-Гасану.

Гаджи-Гасан-ага, назови своих покойников, пусть Шейх-Ахмед запишет.

Гаджи-Гасан (*выходит цинно*). Отец — Гаджи-Мехти.

Все (*хором*). Да благословит аллах его память!

Гаджи-Гасан. Да благословит аллах и ваших усопших!

Шейх-Ахмед (*пишет*). Отец Гаджи-Мехти.

Гаджи-Гасан. Мать Сакина.

Шейх-Ахмед (*пишет*). Мать Сакина.

Гаджи-Гасан. Сын Джафар.

Шейх-Ахмед (*пишет*). Сын Джафар.

Гаджи-Гасан. Другой сын — Гейдар.

Шейх-Ахмед (*пишет*). Другой сын Гейдар.

Гаджи-Гасан. Дочь Сара.

Мир-Багир-ага (*кричит из толпы*). Не записывай, ее не записывай!

Гаджи-Гасан и все другие с удивлением оглядываются на Мир-Багир-агу.

Шейх-Насрулла (*громко*). Кто там говорит: «Не записывай»? При чем он?

Мир-Багир-ага (*выходит вперед*). Господин шейх, простите меня за эти слова, покойная была моей супругой.

Шейх-Насрулла. Хорошо, но разве вы не желаете, чтобы супруга ваша воскресла?

Мир-Багир-ага (*нерешительно*). Господин шейх, собственно, дело не в этом. Меня возмущает, почему Гаджи-Гасан, если он честный человек, не записывает своего брата Гаджи-Рзу?

Гаджи-Гасан (*сердито Мир-Багир-аге*). Это тебя не касается. Брат-то — мой, захочу — запишу, не захочу — не запишу. Тебе нет дела до этого.

Шейх-Насрулла. Прекратите спор. (*Гаджи-Гасану*). Гаджи-Гасан-ага, почему ты не хочешь, чтобы записали твоего покойного брата Гаджи-Рзу?

Гаджи-Гасан (*опуская голову, задумчиво*). Господин шейх, уж больше пяти лет, как он умер; вероятно, он давно истлел и превратился в прах. Как ему теперь воскреснуть и снова стать человеком?

Шейх-Насрулла (*очень громко*). Как истлел? Кто превратил его в прах? (*Выкрикивает по-арабски*). Уизу-руль изамм кейфэ фэншериха! (*Разъясняет по-персидски*). Значит, посмотри, как всевышний поднимает эти кости из земли, искусно соединяет в единый остов, связывает мышцами и покрывает кожей. (*По-азербайджански*). Как истлел? Кто превратил его в прах?

Гаджи-Гасан. Господин шейх! Если можно, разрешите мне подумать.

Шейх-Насрулла. Хорошо, пойдь подумай.

Гаджи-Гасан уходит с опущенной головой.

Гаджи-Бахшали-ага, ваша очередь. Назовите ваших покойников, пусть Шейх-Ахмед запишет.

Гаджи-Бахшали (*выходит вперед со сложенными на животе руками и начинает плакать*). Ради тебя, великий шейх, я готов пожертвовать отцом и матерью. У меня осталась всего одна только, извините за выражение, дочь. Сердце мое гложет тоска по сыну. За всю жизнь аллах даровал мне только двух сыновей и обоих же отнял у меня, несчастного! Одного звали Джалил, другого — Халил. Джалилу было десять, Халилу — восемь лет. И оба были помолвлены. Я уж начал готовиться к свадь-

бе Джалила... И вдруг у него на этом месте (*показывает на свой затылок*) выскочил большой чирей. Сколько ни лечил его наш цирюльник Уста-Джафар, не помогло. (*Плачет*). Бедный мой Джалил! Сколько давал я священных обетов, сколько раз ездил к святому месту черного камня, ничего не помогло. Видно, такова была его судьба, начертанная на лбу...

Шейх-Насрулла. Гаджи-Бахшали, я не могу без конца сидеть тут и слушать тебя.

Шейх-Ахмед. Гаджи-Бахшали, говори покороче. Назови, кого ты хочешь вернуть с того света, и я запишу.

Гаджи-Бахшали (*Шейх-Насрулле*). Господин шейх, мне больше некого назвать. Я прошу у тебя моего Джалила и моего Халила.

Шейх-Ахмед (*пишет*). Значит, один сын Джалил, другой сын Халил. Записал. Еще?

Гаджи-Бахшали. Хватит, Шейх-Ахмед-ага...

Шейх-Ахмед (*удивленно*). Но разве никто из других родных не умер у тебя, — например, отец, мать?

Гаджи-Бахшали. Верно, и отец умер, и мать. Но они скончались в таком почтенном возрасте, что им самим надоела жизнь. (*Глядя в сторону кладбища*). Ах, бедные мои дети! Отсюда видны их могилки. Похоронил я их рядышком, потому что хоть Джалил и был большой шалуни, но они очень любили друг друга, поэтому...

Шейх-Насрулла (*нетерпеливо*). Гаджи-Бахшали, если ты ни за кого не хочешь больше просить, отойди в сторону.

Гаджи-Бахшали. Нет, господин шейх, больше ни за кого...

Кербелай-Вели (*громко*). Как ни за кого? А жена? Почему не записываешь Гурнису?

Все с удивлением поворачиваются в его сторону.

Шейх-Насрулла. Кто там говорит, выходи вперед! Кербелай-Вели (*выходя*). Это я сказал, господин шейх! Спросите, пожалуйста, у этого гаджи (*показывает на Гаджи-Бахшали*), почему он не записывает жену, которая умерла три года тому назад. Звали ее Гурнису, и была она моя родная сестра...

Гаджи-Бахшали (*Кербелай-Вели*). Ступай ты ко всем чертям, дурак! Жена — моя. Захочу — запишу, не захочу — не запишу... Тебе какое дело?

Шейх-Насрулла (*громко*). Тише! Не надо спорить. Гаджи-Бахшали, отвечай определенно: записывать или нет?

Гаджи-Бахшали (*нерешительно*). Господин шейх, позволь мне пойти подумать.

Шейх-Насрулла. Хорошо, иди подумай. Шейх-Ахмед, спроси кто еще хочет, и кончай.

Гаджи-Бахшали и еще несколько человек уходит.

Кербелай-Вели (*подходя к шейху*). Господин шейх! Я — прах у твоих ног. Запиши в список мою несчастную сестру Гурнису. Пусть воскреснет бедная женщина и своими устами расскажет вам, что вытворял над ней этот Гаджи-Бахшали. И вы поймете, тогда почему он не хочет, чтобы она воскресла.

Гаджи-Бахшали (*возвращается из толпы и говорит сердито Кербелай-Вели*). Не стыдно ли тебе трепать языком? Хорошо, пусть шейх запишет Гурнису, но тогда и ты назови всех своих покойников.

Кербелай-Вели (*сердито*). Прекрасно, и назову!. Шейх-Ахмед. Не надо лишних разговоров. Кербелай-Вели, если хочешь, чтобы записали твоих родных, говори — кого, а нет — отойди в сторону.

Кербелай-Вели. Пиши. Отец Мешади-Мустафа.

Шейх-Ахмед (*пишет*). Отец Мешади-Мустафа.

Гаджи-Бахшали. Хорошо.

Кербелай-Вели. Сын Зейнал. (*Плачет*).

Шейх-Ахмед (*пишет*). Сын Зейнал.

Гаджи-Бахшали. Прекрасно.

Кербелай-Вели. Дочь Пиуста.

Шейх-Ахмед (*пишет*). Дочь Пиуста.

Гаджи-Бахшали. Превосходно.

Кербелай-Вели. Все...

Гаджи-Бахшали (*сердито, наступая на Кербелай-Вели*). Как — все? А мать почему не записываешь? Или она не умерла? Не ты ли в прошлом году угробил бедную старуху боярами? Ну? Что молчишь? Бойшься что, воскреснув, она пожалуется властям и тебя арестуют и посадят в тюрьму? Ну? Почему не записываешь? Чего вытаращил глаза?

Шейх-Насрулла (*громко*). Не ссорьтесь! Кербелай-Вели, если хочешь, чтобы записали мать, говори, а если нет, то отойди в сторону.

Кербелай-Вели (*смущенно опускает голову*). Господин шейх, позволь пойти подумать.

Шейх-Насрулла. Хорошо, ступай и ты подумай.

Кербелай Вели и Гаджи-Бахвали уходит, бросая друг на друга свирепые взгляды. Тогда постепенно рассеивается. Идальи доносится голос Искендера: «Хорошо, ступай и ты подумай». Повторяя эту фразу, Искендер выходит на сцену. Он достает из кармана ломтики хлеба и жует. Осталось всего несколько человек. Искендер подходит к каждому, берет за руку и насмешливо заглядывает в глаза. Те молча опускают головы и в смущении уходят. Шейх-Насрулла спускается с камня. Шейх-Ахмед убирает письменные принадлежности.

Искендер (*про себя*). Хорошо, ступай и ты подумай! И ты подумай. И ты... (*Заметив Шейх-Насрулла, громко хохочет. От смеха еле держится на ногах. Успокоившись, обращается к шейху*). Все ушли, чтобы подумать. На арене остался один пьяница Искендер. Эта арена — арена для героев. Вот если бы кто-нибудь, вроде Искендера, пришел сюда и заявил смело: «Господин шейх! Видишь, сколько погребенных на этом кладбище? Воскреси всех до последнего». Ха-ха-ха! (*Оглядывается в ту сторону, куда ушел народ*). Ха-ха-ха. Все ушли подумать... (*Подходит к шейху, протягивает руку*). Господин шейх! Дай руку, будем друзьями!

Шейх-Насрулла. Уйди прочь! Я не подам тебе руки, ты потребляешь вино.

Искендер. Господин шейх, вы должны благодарить, что я пью вино. Если бы я не пил, мозги мои были бы на месте, и в один прекрасный день, открыв глаза, я увидел бы вдруг, что в город наш приехал ученый муж, воскрешающий мертвых, что он морочит головы нашим благочестивым гаджи сказками о воскрешении мертвых и каждую ночь берет себе в жены новую девочку... Ха-ха-ха. Прощу тебя, дай руку! Если ты свой парень, дай руку! Ха-ха-ха...

Шейх-Насрулла (*возмущенно*). Сгинь в преисподнюю! Клянусь единым аллахом, я прочту сейчас такую молитву, что ты превратишься в прах... По велению аллаха, я творю еженощно бесконечное благо, приумножая свои заслуги перед аллахом, а не теряю времени и не гублю жизни в кабаках, как ты. (*Шейх-Ахмеду*). Шейх-Ахмед, уйдем отсюда. Этот вероотступник может наговорить нам еще больших дерзостей. (*Поспешно уходит с Шейх-Ахмедом*).

Искендер (*провожает их взглядом. Медленно подходит и встает на камень, где сидел Шейх-Насрулла. Долго смотрит в сторону кладбища и, ударив руками по коленям, говорит с сожалением*). Ах, если бы я обладал познаниями Шейх-Насруллы и мог разговаривать с лежащими здесь покойниками. Я громко крикнул бы, повернувшись к кладбищу: «Мертвецы!» Они подняли бы из могил головы, эти мирно спящие покойники, и спросили бы: «Что тебе нужно, Искендер-бек?» И я посоветовал бы этим покойникам, я сказал бы им (*кричит, повернувшись лицом к кладбищу*): «Мертвецы! В один из дней придет к вам некий Шейх-Насрулла и, став у ваших изголовий, прочтет молитву и громко призовет: «Встаньте, о благочестивые создания аллаха!» (*Останавливается, потом продолжает тихо*). Мертвецы! Я завещаю вам: не следуйте призыву Шейх-Насруллы, примите лучше советы пьяницы Искендера. И если вы спросите: почему? — я готов вам ответить. (*Делает паузу*). Покойники! Теперь вы спите здесь спокойно и ничего о мире не ведаете. Но призываю аллаха в свидетели, стоит вам поднять головы и выйти из могил, как вас постигнет горькое разочарование. Почему? — спросите вы удивленно. А вот почему, дорогие покойники. Допустим, что вы воскресли. Хорошо. Но ведь вы же не останетесь здесь, не так ли? Воскреснув, вы захотите, конечно, разойтись по домам. Прекрасно. Разошлись. Но скажите мне, пустят ли вас в ваши дома? Клянусь аллахом, верьте моему слову, подойдя к моему дому, вы увидите, что двери закрыты. Ну, что же... Вы поднимете с земли камень и начнете стучать, чтобы вам открыли... Тогда из-за дверей кто-нибудь окликнет вас: «Кто ты? Как твои имя?» — «Откройте двери, я хозяин этого дома!» — «Уйди прочь, мы не знаем тебя». — «Как не знаете? Я же Кербелай-Гусейнкули. Тут у меня жена, дети!» — «Нечего зря болтать! У тебя здесь нет никого. Твой брат Гаджи-Фарадж взял себе твою жену, а детей послал пасти стадо».

Милые покойники! Ей-богу, никого из вас не пустят домой... К какой бы двери вы ни подошли, она будет заперта... Вы станете просить, умолять: «Ради аллаха, откройте двери; здесь у меня муж. Я — хозяйка этого дома». Но отовсюду вас будут гнать: «Уйди! Не надоедай! Никаких жен нам не надо. Мало ли на свете девя-

тилетних девочек! На что нам ты, старая? Твое место там, на кладбище. Убирайся к черту!..» Ха-ха-ха... *(Немного успокоившись, продолжает громко)*. Мертвецы! Послушайте совета пьяницы Искендера, мирно лежите в своих могилах! Да будет вам земля пухом!.. *(Дождает из кармана водку и пьет)*.

Действие четвертое

Комната Искендера в доме Гаджи-Гасана. Гаджи-Гасан и Кербелай-Фатма сидят в раздумье.

Гаджи-Гасан. Слушай, Фатма, приготовь Назлы, сегодня надо отвести ее к шейху.

Кербелай-Фатма. Гаджи, почему так скоро?

Гаджи-Гасан. Да, именно так скоро.

Кербелай-Фатма. Гаджи, ей-богу, у меня голова идет кругом... Не могу понять, на что шейху столько жен? Каждый день берет новую, а теперь и до нашей дочери добрался.

Гаджи-Гасан. Допустим, что каждый день берет новую, но ведь шарната он не нарушает, нет? На то — соизволение алаха.

Кербелай-Фатма. Ты прав, гаджи, но я боюсь, как бы Назлы не заупрямилась. И потом она ведь еще совсем ребенок.

Гаджи-Гасан *(раздраженно)*. Не болтай глупостей. Я лучше тебя знаю, ребенок она или нет. Восемнадцатого числа месяца зуль-хиджа* ей исполнится девять лет и пойдет десятый. Какой же она ребенок? Нечего вилить. Скажи прямо, что хочешь сохранить Назлы для Мир-Багир-аги.

Кербелай-Фатма. Совсем не то... вовсе не из-за Мир-Багир-аги. Дочь — твоя, за кого хочешь, за того и выдавай. Но я знаю, что Назлы будет упрямяться.

Гаджи-Гасан. Пусть только попробует... Девочки — народ глупый, не понимают своей пользы. А впрочем, что можно ожидать от сестры пьяницы Искендера? Она должна в ноги кланяться, что ее отдают в жены столь почтенному человеку, как Шейх-Насрулла. Породниться с таким святым мужем — честь, которой не вся-

кий может удостоиться. Нечего медлить, Фатма. Поди приготовь для Назлы, что нужно.

Кербелай-Фатма уходит. Гаджи-Гасан сидит задумавшись.
Входит Искендер.

Искендер. Отец, мне сдается, что ты сошел с ума! Гаджи-Гасан *(сердито)*. Не болтай глупостей! *(После небольшой паузы, тихо)*. Если есть что сказать, говори толком.

Искендер. Я хочу сказать, что этот Шейх-Насрулла затуманил вам мозги обещанием воскресить мертвых и свел всех с ума. А ты в слепом доверии готов разориться из-за этого исфаганского проходимца, отдать ему все, что имеешь.

Гаджи-Гасан *(подумав)*. Хорошо. Допустим на минуту, что я потерял рассудок. А Мир-Багир-ага? Он же человек просвещенный. Как же он верит в воскрешение мертвых? Значит, и он сошел с ума? А телеграфист Гейдар-ага? Почему же он верит? По-твоему, и он сошел с ума? А Гаджи-Бахшали? А Гаджи-Керим? Гаджи-Кязим? Ведь и они верят. По-твоему, все — сумасшедшие, один ты умный? Кроме тебя, нет ни одного умного человека?

Кербелай-Фатма *(входит)*. Гаджи, я ничего не могу поделать с твоей дочерью... Может, ты сам уговоришь ее...

Гаджи-Гасан *(всплыв)*. Вот что, жена: слава алаху, ты хорошо меня знаешь... И знаешь, что, если я выйду из терпения, будет плохо... Ступай и без дальнейших проволочек приготовь свою дочь. Вечером мы отведем ее к шейху.

Кербелай-Фатма собирается уходить.

Постой, Постой! Послушай меня. Передай дочери, чтобы она не выводила меня из терпения, не то я переломаю ей ребра.

Кербелай-Фатма выходит. Искендер смотрит на отца, плюет в сторону и уходит.

Гаджи-Гасан *(гневно)*. Пусть будут прокляты породившие тебя! Вот до чего дошел!.. *(Бросается за Искендером; в дверях останавливается и возвращается в комнату)*.

Первый больной (*худой, изможденный, входит, опираясь на палку, кашляет и стонет*). Салам-алейкум! Вэй-вай! Нет сил держаться на ногах... Гаджи-ага, да сохрани аллах твоих сыновей! Помогни мне. Скоро год, как эта проклятая болезнь схватила меня за горло... Ай-вай, вэй-вай, ай-вай... (*Кашляет*). Знаешь иногда вот здесь, в груди начинается такая боль, что вздохнуть не могу. Ноги напролет кашляют. Я устал заказывать молитвы и таскаться по ширюльникам. Сил больше нет. Молю тебя, гаджи-ага! (*Кашляет*). Да продлит аллах твои дни. Вся моя надежда на тебя и на твой дом. Пусть господин шейх излечит меня или лишит жизни, ай-вай (*хватается за грудь, задыхаясь при кашле*), чтобы я раз навсегда успокоился. Я готов умереть за такого шейха. Мне ничего не надо. Пусть только взглянет на меня милостиво, даст маленькую бумажку с молитвой, и я поправлюсь, выздоровею. Ах, ай-вай! Дыхнуть не могу.

Гаджи-Гасан. Хорошо, мешади, все сделаю. Но сейчас господин шейх занят молитвой. Как только кончит, я доложу, и он поможет тебе. Непременно поможет, будь покоен.

Первый больной. Ах* (*кашляет*), ах, ей-богу, не знаю, что за хворь на меня напала. Два дня тому назад будто чуточку полегчало. Кашель был слабее, аппетит...

Второй больной (*входит с перевязанной головой и пребывает первого*). Салам-алейкум! (*К первому больному*). И ты здесь, Мешади-Гусейнуки? Умно сделал, что пришел. Наше спасение в этом доме. Молю аллаха, чтобы он не лишил нас милости дяди гаджи. (*Гаджи-Гасану*). Дядя гаджи, меня изводит головная боль. Ни днем, ни ночью покоя не дает. Обращался к Уста-Ахверди, — говорит: «Крови у тебя много, надо кровь выпустить». Пошел к Мир-Багир-аге. «У тебя, говорит, мало крови, кушай медовую халву». Дядя гаджи, пожалей меня ради твоих детей. Упроси шейха, чтобы он черкнул мне маленькую бумажку — пусть даже короче пальца (*показывает на палец*), чтобы избавить меня от мучений... Дядя гаджи, пока я жив...

Входит мужчина с ребенком на руках. Ребенок начинает плакать. Пришедший пребывает второго больного. Появляются новые больные. У одних завязаны головы, у других — носы, у третьих — руки. Выстраиваются вдоль стены, некоторые садятся на корточки, слышны стоны и вздохи.

Больные. Дядя гаджи! Твой дом — источник наших надежд. Попроси шейха помочь нам. Заклинаем тебя, скажись над нами.

Гаджи-Гасан (*подходит к больному*). Хорошо, хорошо, я сделаю все, что в моих силах. Только сейчас шейх никого не принимает. Подождите во дворе. Посидите в тени под деревом. Как только шейх разрешит, я позову вас, и вы расскажете ему о всех ваших болезнях и нуждах. Я верю, что вы не уйдете из этого дома, не получив исцеления...

Больные (*благословляя Гаджи-Гасана, по одному покидают комнату*). Да сохрани тебя аллах, дядя гаджи! Да продлит аллах твою жизнь! Да благословит аллах память отца гаджи! Да благословит его аллах ради своего величия!

Гаджи-Гасан (*увидев в дверях слугу*). Али, ты отнес завтрак господину шейху?

Али. Нет, гаджи-ага. Шейх еще не вставал и, дверь заперта. (*Уходит*).

Кербелай-Фатма (*входя*). Уговорила наконец... Но, ей-богу, она так плакала, чуть чувств не лишилась!..

Гаджи-Гасан (*после недолгого раздумья, тихо*). Напрасно, напрасно она так расстраивается... Скажи ей — пусть успокоится. Я вовсе не хочу, чтобы моя дочь плакала, чтобы ей было тяжело. Пойдем к ней, я ее утешу.

Выходят. Входит Али, за ним две старые женщины, закутанные в чадру, затем еще несколько женщин; их набирается до двадцати. Садятся у стены и шепчутся. Али уходит. Входит Джалаал, соев конфету. С удивлением разглядывает закутанных в чадру женщин. Те молчат. Ни одна из них не открывает лица.

Джалаал (*некоторое время смотрит на женщин*). Вы заче-е-м пришли?

Женщины молча смотрят на Джалаала.

Одна из женщин (*тихо*). Мы пришли выйти замуж за шейха.

Джалаал. Да ну? (*Смеется*).

Смеются и женщины.

Другая женщина. Мы пришли сделаться женами шейха.

Джалал смеется и выбегает на двор. Женщины тоже смеются. Входит Мир-Багир-ага, но, увидя женщин, скрывается. Входит Кербелай-Фатма в чадре, за ней Мир-Багир-ага.

Кербелай-Фатма. Садись, ага, садись, пожалуйста!

Мир-Багир-ага садится спиной к женщинам*.

(Пошептавшись с женщинами, обращается к Мир-Багир-аге). Эти сестры, ага, просят тебя передать господину шейху, чтобы он, ради аллаха, дал им свое имя*, чтобы эти бедняжки тоже не были лишены милости аллаха.

Мир-Багир-ага *(не поворачивая головы)*. Слушай, скажу, непременно скажу. Это — благое дело. Всемогущий аллах всегда милостив к послушным созданиям. Да благословит их аллах! Машаллах! Машаллах! У них весьма похвальное намерение.

Кербелай-Фатма *(женщинам)*. Клянусь аллахом и всеми святыми, кому что на роду написано, то с ним и сбудется. Кто бы мог подумать, что Назлы выйдет замуж так скоро!

Мир-Багир-ага *(удивленно)*. Какая Назлы? Ваша?

Кербелай-Фатма. Что уж скрывать, ай, ага?

Сегодня гаджи выдает Назлы за нашего гостя.

Мир-Багир-ага *(пораженный)*. За Шейх-Насруллу?

Кербелай-Фатма. Да, за него.

Мир-Багир-ага. Сегодня?

Кербелай-Фатма. Ей-богу, так, ага! Я ничего не могла поделать с гаджи. Нельзя же, говорю, так поспешно. А он и слушать ничего не хочет. Я совсем потеряла голову...

Мир-Багир-ага, закрыв лицо платком, плачет. Гаджи-Гасан показывается в дверях.

Гаджи-Гасан. Фатма! Проводи сестер в другую комнату, сюда скоро придут.

Кербелай-Фатма уходит женщин. Входят Гаджи-Гасан и Искендер. Гаджи-Гасан садится. Искендер стоит.

Гаджи-Гасан *(сыну)*. Искендер! Слушай, что я тебе скажу! Мир-Багир-ага — свой человек. Ты знаешь, как тебя любит Назлы. Не делай так, чтобы в такой торжественный день в моем доме лились слезы. Я уже уговорил Назлы стать женой Шейх-Насруллы. Но она все еще не может успокоиться, плачет, просит, чтобы ты дал согласие... Предупреждаю тебя, мне наплевать на твое согласие. Ты причинил мне столько горя, что я не считаю тебя за человека. Поступай как знаешь! Но, если хочешь успокоить девочку, позвони ей сюда и поговори с ней ласково... Одним словом, поступай как знаешь!

Уходит. За ним, плача, выходит Мир-Багир-ага. Искендер задумчив. Назлы появляется в дверях.

Назлы *(после долгого молчания)*. Брат, разреши мне подойти поцеловать тебя.

Хочет подойти. Искендер быстро отходит в сторону. Назлы останавливается и молча глядит на брата.

Брат, умоляю тебя, не сердись на меня.

Искендер. Если хочешь, чтобы я не сердился, оставайся там, где стоишь.

Поглядев на Назлы, достает из кармана бутылку с подкой, хочет пить. Назлы бросается к нему, но Искендер резко ее отталкивает.

Прочь!

Назлы падает. Искендер пьет из бутылки, запрокинув голову. Назлы встает, плача, и идет к двери.

(Перестает пить, морщится). Не уходи. Я хочу поговорить с тобой. *(Опять подносит бутылку к губам. Потом прячет бутылку в карман. Начинает тихо напевать и приплясывать. Наконец, останавливается, подзывает Назлы)*. Назлы, иди сюда. Ну пожалуйста, подойди... Давай помиримся. Теперь говори, что ты хочешь. Теперь я — твой слуга, твой раб! Ну, иди же, иди, помиримся!.. *(Подходит и обнимает Назлы)*.

Мешади-Орудж *(вбегает с телеграммой и, еле дыша, выкрикивает)*. Где дядя гаджи?

Назлы убегает. Входит Гаджи-Бахшали, Гаджи-Кязим, Гаджи-Керим, Мир-Багир-ага, Гейдар-ага и многие другие. Они взволнованы и смотрят растерянно друг на друга. Появляется Гаджи-Гасан, удивленно оглядывает собравшихся.

Гаджи-Гасан. Что случилось, господа? В чем дело?

Мешади-Орудж *(плача)*. Дядя гаджи, оказывается Кербелай-Фатулла не воскресал!

Искендер с хохотом скрывается.

Гаджи-Гасан *(Мешади-Оруджу)*. Что ты, аллах с тобой? Как то есть не воскресал?

Многие из толпы *(хором)*. Да, да! Оказывается, это ложь!

Гаджи-Гасан. Что с вами? Ради аллаха, не говорите таких вещей. Это невозможно!

Мешади-Орудж. Дядя гаджи, клянусь аллахом, это так. Вот и телеграмма, на, отдай почитать, что тут написано. *(Вытирает слезы полкой архалука и протягивает телеграмму)*. Дядя гаджи, ведь от Кербелай-Фатуллы было письмо, что будто этот шейх его воскресил и что и сам скоро придет... Я, как ты знаешь, послал в Хорасан телеграмму с запросом, почему Кербелай-Фатулла задерживается... Телеграмму я послал Гаджи-Мамедали, потому что брат мой, воскреснув, непременно отправился бы к нему и ни к кому другому. И вот Гаджи-Мамедали отвечает: что вы, с ума сошли? Где слыхано, чтобы умерший воскрес?

Гаджи-Гасан *(берет телеграмму)*. Как же так?

Из толпы слышен хохот Искендера.

Гейдар-ага, голубчик, да благословит аллах память твоего покойного отца, объясни нам, что это за телеграмма. Никак не могу поверить. Мы же собственными глазами видели! Как же так? Мы же, слава аллаху, не дети!.. Слава аллаху, все мы видели чудеса господина шейха! Может, в телеграмме ошибка?

Голоса. Этого быть не может!.. Тут что-то не так...
Ничего не понимаю...

Гейдар-ага. Гаджи-Гасан-ага. Я внимательно читал телеграмму. Там нет ошибки. Я советую все-таки поговорить с самим шейхом, чтобы он разъяснил нам, кто мог послать эту телеграмму и кто мог сострелять эту ложь?

Голоса. Да, да! Верно говорит! Надо сказать самому шейху. *(Наступает молчание)*.

Гаджи-Гасан. Говоря откровенно, неловко беспо-

конть почтеннейшего шейха такими вопросами. Я отказываюсь, мне стыдно. Да и не может быть этого! Тут какое-то недоразумение... Во всяком случае, мне неудобно говорить об этом с шейхом.

Гаджи-Бахшали *(Гаджи-Кериму)*. Гаджи-Керим ага, лучше всего, если с шейхом поговоришь ты.

Гаджи-Керим. Нет, нет! Я не могу решиться на такую дерзость. *(Гаджи-Кязиму)*. Гаджи-Кязим! Тебе удобнее всего...

Гаджи-Кязим. Говоря по правде, я робею перед шейхом. Вы сами видели, какой он сердитый. Кричит так, что камни содрогаются...

Мир-Багир-ага *(выступая вперед)*. Я не понимаю, чего вы робеете. Не людоед же Шейх-Насрулла! Хотите, я пойду сейчас к нему и передам все, что вы хотите сказать... *(Подходит к двери Шейх-Насруллы)*.

Все. Вот и прекрасно. Да благословит аллах память твоего родителя!

Гаджи-Гасан *(останавливая Мир-Багир-агу)*. Эй, ага! Ради аллаха, будь осторожен, говори почтительно, чтобы не обидеть шейха.

Мир-Багир-ага *(стучится в дверь и зовет)*. Господи шейх!

Гаджи-Гасан *(стоя в стороне, со страхом)*. Мир-Багир-ага! Дай лучше погадаем*, может быть, и не стоит беспокоить шейха.

Мир-Багир-ага, не слушая его, стучит громче. Все ждут, затаив дыхание. Выйдя из толпы, к двери быстрыми шагами подходит Искендер и сильным ударом ноги открывает ее настежь. Часть собравшихся в страхе выбегает на двор. Поднимается занавес, закрывающий комнату шейха. Перед зрителями — пустая комната. Искендер входит в нее и с удивлением озирается. Приподнимает занавес в углу. Там, прижавшись друг к другу, сидят три девочки и плачут.

Искендер *(обращаясь к девочкам)*. Где шейх?

Девочки плачут громче. Убедившись, что шейх исчез, Искендер снова обращается к девочкам.

Куда ушли гости?

Одна из девочек *(продолжая плакать, отвечает из-за занавеса)*. Они еще ночью собрали вещи и сказали, что идут в баню...

Искендер стоит в раздумье. Со двора доносится крики и топот. Входят трое вооруженных людей в запыленной одежде. У них негодующие лица.

Один из вооруженных. Где эти воскресители мертвых?

В комнате начинается страшный переполох. Разбежавшиеся возвращаются в комнату. Шум утихивается.

Голоса: «Бежали», «Как бежали?», «Когда бежали?» Некоторые заходят за занавес и успокаивают плачущих назрияд девочек. «Не плачьте, дети! Не бойтесь!»

Один из вооруженных. Братья мусульмане! Успокойтесь и выслушайте нас. Вы поймете, в чем дело, и поможете нам. Мы из-под Эривани. Теперь ясно, что эти исфаганские плуты провели вас так же, как и нас. Назвавшись муждтахидами, они остановились в нашем городе, прожили четыре дня и каждую ночь брали по новой жене. Затем, бросив их, удрали. Ради аллаха, укажите нам, куда они бежали?

Девочки опять начинают плакать. Часть людей вместе с приезжими направляется к двери.

Мир-Багир-ага (*вперед всех*). Скорее, скорее, нельзя медлить. Скорее на Джульфинскую дорогу. Кербелай-Гасан, Мешад-Джафарали, Гасанкули, садитесь на коней. Надо поймать этих негодяев...

Выбегает, за ним вооруженные и многие из присутствующих.

Искендер (*стоит посередине комнаты шейха и повторяет*). Каждую ночь брали по новой жене и, бросив их, удрали. Ха-ха-ха... (*Задумывается на минуту, смотрит на девочек. Потом обращается к оставшимся в передней комнате, зовет их*). Идите сюда! Входите! Иди и ты, и ты также. Гаджи-Кязим, Гаджи-Бахшали, идите все сюда. Прошу вас, заходите. Идите все сюда. Вот так, так. Проходи и ты. И ты тоже. Идите, идите! (*Собирает всех в комнате шейха*). Теперь мой черед говорить. Прошу слушать терпеливо.

Все стоят молча.

(*Громко*). Гасите свет!

В комнате темнеет. Искендер срысывает занавес, за которым сидят девочки, и отбрасывает его в сторону. Присутствующие стыдливо опускают головы. Девочки, не двигаясь с места, еще теснее жмутся друг к другу, закрывают лица руками и плачут.

Смотрите, смотрите сюда, хорошенько смотрите, внимательно смотрите! В истории вашего бытия эта страница

будет написана кровью. И ваши потомки, перелистывая книгу и дойдя до этой страницы, вспомнят о вас и плюнут: тыфу вам! (*Плюет в сторону собравшихся. Те еще ниже опускают головы*). Простите, если пьяный Искендер ведет себя непристойно, но теперь мой черед. Я не упрекаю вас за то, что вы насильно втолкнули этих девочек в грязный притон. Я знаю, когда вы говорили им, что ведете их к шейху, эти несчастные жертвы плакали, кричали, целовали ваши грязные ноги, умоляя: «Отец, пожалей, не разлучай меня с матерью».

(*К девочкам*). Ведь так? Не правда ли? Но не за это я вас порицаю... Потому что, когда вы тащили сюда своих дочерей, вы наивно думали, что ведете их в рай. Исфаганские шейхи уверили вас, что переступившие этот благословенный порог будут после смерти беседовать через могильную калитку с ангелами... Когда же дело дошло до воскрешения мертвых и Шейх-Насрулла решительно предложил вам воскресить ваших близких, вы, жаждущие ангелов, не согласились, чтобы ваши братья, сестры, жены и дети воскресли. Почему же вы не согласились? А потому, что сами же вы боялись загнать своих жен в могилы, потому что завладели женами умерших братьев, потому что прикармливали имущество сирот ваших друзей. Вам вовсе не хотелось, чтобы покойники, вернувшись с того света и увидя ваши подлые проделки, плюнули вам в лицо: тыфу вам! (*Плюет*).

Присутствующие опускают головы.

Не думайте, что, порицая вас, я считаю себя праведником. Нисколько! Я знаю, что я — ничто... Но кто же вы?... Меня зовут — пьяница Искендер. Но какого имени заслуживаете вы? Я призову сюда горы и камни, птиц и зверей, луну и звезды, весь мир, всю вселенную и, показав им этих девочек, спрошу, как назвать вас? И они ответят в один голос: «Мертвецами!» Я призову все народы и покажу им этот гарем Шейх-Насруллы. И все племена и народы мира в один голос крикнут вам: «Мертвецы!» И многие годы ваши потомки будут повторять, помня вас: «Мертвецы, мертвецы!» А теперь отведите девочек к матерям! (*Громко*). Гасите свет.

В комнате становится еще темнее.

(Берет за руку одну из девочек). Чья это дочь?

Из толпы выходит мужчина.

Твоя? Уведи ее!

Отец берет девочку за руку. Та, плача, идет за ним.

(Берет за руку вторую девочку и снова спрашивает). А эта — чья?

Выходит другой мужчина, также уводит плачущую дочь. Так Искендер провожает и третью девочку. Все в смущении молчат. Передав последнюю девочку, Искендер выхватывает из кармана бутылку с водкой, пьет, запрокинув голову, и разбивает бутылку об пол.

Занавес

КЕМАНЧА

Пьеса в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Каграман-юзбашн.
Караш.
Гасанали.
Азиз.
Гасымали.
Новруз.
Имран.
Зейнаб.
Музыкант Бахши (армянин).

Действие происходит в Карабахе. В окрестностях села — лесистый холм. Вечер. На лужайке под деревом лежит, вытянув ноги и упираясь ими в камень, начальник конного отряда Каграман-юзбашн. Недалеко от него сидят его есаул Караш и чинит седло. Гасанали раскладывает перед Каграманом сыр и хлеб. Азиз и Гасымали разжигают костер. Новруз в стороне просеивает ячмень для лошадей. Несколько человек сидят поодаль и едят хлеб с сыром. Остальные возятся с оружием, заряжая и разряжая винтовки. Все люди при кинжалах и патронташах. Один Каграман-юзбашн снял патронташ и положил возле себя. К одному из деревьев прислонено несколько ружей. Люди то и дело подходят к дереву, чтобы взять ружье или поставить принесенное.

Слышится ржание коней. Издали доносится редкие выстрелы.

Караш. Двигайся живее, Гасанали, ведь Каграман-юзбашн с утра ничего не ел.

Каграман-юзбашн. Мне совсем не хочется есть, Караш.

Гасанали. Послушай-ка меня, Каграман-юзбашн. Поешь спокойно, потом я тебе чай заварю, напейся вдоволь и засни вот тут на лужайке. Даю тебе слово мужчины, что на рассвете выгоню армян из Казанчи.

Караш (*Гасанали*). Ты лучше не хвались, Гасанали. Будь ты мужчиной, вовремя доставил бы Сулейман-беку патроны, и он не попал бы в плен горсточке армян. Чем хочешь поклянусь (*швыряет наземь шило и иглу*), что в гибели Сулейман-бека и его товарищей виновны такие неумелые вояки, как ты...

Гасанали (*сердито*). Ты что, взбесился, что ли? Сам не понимаешь, что болтаешь. Я Сулейман-беку...

Каграман-юзбашин (*нетерпеливо прерывает спор*). Ради создателя, бросьте неуместные разговоры. Теперь уже поздно, дело сделано. Гасанали тут ни при чем. Сколько я кричал этому несчастному Сулейман-беку, чтобы не лез на мельницу! Я же знал, что там армяне. Да если бы их и не было, все равно Сулейман-бек не сумел бы живым вырваться оттуда. Разве вы забыли, как в прошлом году армяне сожгли в той же мельнице двенадцать наших людей? Я наперед знал, что там опасно.

Азиз (*Карашу*). Слышишь, Караш, правду говорят, что драка со стороны кажется легкой. Ну, скажи, что было делать бедному Гасанали. Ты говоришь, что он не сумел доставить патроны Сулейман-беку. А ты знаешь, в каком положении был сам Гасанали? Сегодня он занял две неприятельские позиции между Хумары и Казанчи и убил нескольких армян, сжег их отцов. Что же, по твоему, за всю эту войну один Гасанали отвечает, что ли?

Гасымали (*Азизу*). О чем ты еще говоришь, сегодня я...

Каграман-юзбашин (*приподнимается на локте, сердито*). Да ну вас совсем, нашли тоже о чем говорить! Что было, то прошло. Дайте же часок отдохнуть ушам от этих разговоров.

Гасанали (*тихо, как бы про себя*). Слава аллаху, ведь ничего особенного не случилось. Как бы то ни было, мы здорово всыпали армянам.

Каграман-юзбашин (*вдруг садится, громко и сердито говорит Гасанали*). Что значит, всыпали? Чего зря болтаешь? Мы убили пять — десять армянских парнишек, а кто нам заменит храбрца Наджафули? Где мы найдем Ширзада? А сколько армян стоит один Мисрхан? Глупое самоутешение!

Новруз (*заметив вдали какую-то фигуру, бросает решето и, заслонив рукой глаза, вглядывается вдаль*).

Поди-ка сюда, Азиз. Вон посмотри туда, видишь? Мне кажется, там люди...

Азиз (*подходит к Новрузу и смотрит в указанном направлении*). Знаешь, Новруз, и на людей похоже и на скотину. Но нет, как будто это два человека. Вон видишь, один зашел за скалу.

Новруз. Клянусь твоей жизнью, Азиз, это армяне. Наверное, они нас заметили. Видишь, и другой скрылся за камнем.

Гасанали и Караш подходят к ним и также начинают смотреть вдаль.

Клянусь твоей жизнью, Азиз, это определенно армяне.

Новруз быстро берет ружье, отпыхивает с ветки дерева уздечку и бежит к лошади. За ним следует и Азиз. Увидя это, еще двое хватают ружья и уздечки и бегут за сеном. Каграман-юзбашин встает и начинает следить за движением вдаль.

Каграман-юзбашин (*прикрывая от солнца глаза рукой*). Эй, живее! (*Кричит*). Азиз, гони воево, твоя лошадь резвее других!

Караш (*кричит*). Скорее! Скорее! Эх, не нагоняй! (*Несколько успокоившись*). Ага, молодец Новруз! Кажется, настигает. (*Громко*). Молодчина Новруз! (*Потише*). Только бы не упустили!.. Ага! И Азиз поспел! Вот конь у проклятого, а! Ни одному человеку не спастись от него.

Каграман-юзбашин. Ну же, ну!.. Кажется, одному удалось улизнуть. Смотри, вон из Казанчи показались еще двое армян. Как бы они наших ребят не пристрелили!

Издали доносится выстрел.

Эх, удрал один! Вон скрылся в казанчинских садах.

Караш. А другого поймали!

Гасымали. Да, азяли. Видно, ранен, не то бы и он удрал.

Каграман-юзбашин. Боюсь, как бы ребята его не прикончили. Хорошо, если доставят живого. Допросим тогда и пристрелим. Эй, Имран! Живо на коня. Скачи к ним, скажи, если армянин, пусть ведут сюда живого...

Имран берет ружье и быстро уходит.

Гасымали. Едут, кажется.

К а р а ш. Едут и пойманного ведут.

К а г р а м а н - ю з б а ш и. Подъезжают (*Снова садится на прежнее место*).

Г а с ы м а л и. Посмотрим, что за дичь.

К а р а ш. Спешились, идут сюда.

К а г р а м а н - ю з б а ш и. Что-то они не похожи на дешенных людей, Караш. Они или из Сайбали, или из Чешмабасара. А туда армянам пешком не дойти.

Пауза.

К а р а ш (*выглянув за сцену*). Вон Азиз скачет к нам. Послушаем, что он скажет.

А з и з (*быстро соскакивает с коня и весело докладывает Каграман-юзбашии*). Оба они, оказывается, из казанчинских армян, но, видать, второго час еще не пробило. Зайцем кинулся, чертов сын, к казанчинским садам и скрылся там. Но товарища его схватили. Вон ребята ведут. Клянусь аллахом, юзбаши, мы и этого не поймали бы; ведь какое расстояние! Но этот хромает, не мог бежать.

К а г р а м а н - ю з б а ш и. А мы думали, что ранен.

А з и з. Нет, не ранен. Он от роду хромой. (*Привязывает лошадь к дереву*). Вот привели...

Входят Новруз и Имран, везя хромого армянина. Остальные возятся с лошадьми. Армянин, музыкант Бахши, с завернутой в мехол кеманчей в правой руке, низко кланяется Каграман-юзбашии и робко озирается вокруг.

К а г р а м а н - ю з б а ш и (*своим товарищам*). Эх, друзья, неважную дичь поймали. (*Бахши*). Эй, армянин, откуда ты, из какого села?

Б а х ш и (*дрожа от страха*). Ага, я — Бахши из Казанчи. (*Озирается вокруг*).

К а г р а м а н - ю з б а ш и. А кто был твой товарищ? Откуда шли?

Б а х ш и. Товарищ мой тарист*, тоже из Казанчи. Григором звать. Мы из Чешмабасара шли. Играли на свадьбе сына Зульфугар-бека.

К а г р а м а н - ю з б а ш и. Вот это здорово! Замечательно! Вы там угощаетесь у глупых мусульман пловом, наполняете их деньгами свои карманы, а казанчинские армяне ночью тайком нападают и сжигают мусульман-

ские села. Не довольно ли, не пора ли вспомнить о совести! Ей-богу, не могу понять, что хочет от нас эта горсточка армян! Еще вчера казанчинские армяне убили в нашем селении Сарвайлар четырех таких молодых, что кровь четырех сотен таких хромых армян, как ты, не возместит нам эту потерю...

Б а х ш и (*дрожа*). Господин мой, клянусь верой, об этом я ничего не знаю. Да накажет бог (*поднимает руки к небу*) виновных, да разрушит он дома преступников. (*Плачет*).

К а р а ш. Будешь плакать! Как же иначе! Знаешь, что сейчас отрубим тебе голову, как барану, потому и плачешь! Теперь небось от страха на ошипанного щипленка похож, а выпадет случай, так ты окажешься одним из тех армян, которые жаждут мусульманской крови!

Б а х ш и (*дрожа*). Что мне сказать, братец?

К а г р а м а н - ю з б а ш и. Эй, армянин! Где сейчас Вартан? Знаешь, о каком Вартане я спрашиваю? О том самом, что заманил и убил нашего Ширзада. Об этом неверном я говорю. Не знаешь, где он? Да, впрочем, хотя бы и знал, ты же не скажешь правды...

Б а х ш и. Ей-богу, не знаю.

К а г р а м а н - ю з б а ш и. Ну что ж, когда начнем пытать тебя раскаленными шомполами, быстро скажешь правду.

З е й н а б с воплями и плачем вбегает на сцену и, бросившись на Бахши, начинает царапать ему лицо.

З е й н а б. Это и есть казанчинский армянин? Это ты? Ты? Я сама сейчас разорву тебя на части. Своими руками я изрежу тебя на куски. Где мой сын? Где мой богатырь Ширали? За что вы его убили? На тебе, на тебе! (*Царапает ему лицо, потом подбегает к Карашу, выхватывает у него кинжал из-за пояса и замахивается на Бахши*). Убить тебя? Убить?! (*Останавливается с кинжалом в руке*).

Бахши падает лезвием, прикрывая собой кеманчу, а левой рукой старается отвести удар.

К а г р а м а н - ю з б а ш и (*Зейнаб*). Ну что ты расшумелась?! Поди займись своим бабын делом. (*Быстро подходит к Зейнаб, желая отнять у нее кинжал. Та не дает, отпрыгивает в сторону. Каграман-юзбашии обнажа-*

ет свой кинжал и, подъяв над Бахши, говорит в сторону Зейнаб). Вот погляди, как орудуют кинжалом, учись...

Зейнаб бросается вперед и становится между Каграманом-юзбаши и Бахши. Караш подходит к ней и отталкивает ее в сторону. Азиз ударяет ее сзади ногой и валит на землю. Остальные конники поднимают и уводят женщину, которая громко плачет. В этой суматохе Бахши протягивает кеманчу Новрузу.

Бахши. Брат мой Новруз! Заклинаю тебя богом, который создал и тебя и меня! После моей смерти не отдавай никому этой кеманчи. Когда наступит мир и спокойствие, найди моего сына Мукушу и передай кеманчу ему. Умоляю тебя, Новруз, отдай ее сыну музыканта Бахши из Казанчи — Мукушу.

Караш гневно подходит к нему и, вырвав кеманчу, хочет ударили и разбить ее о камень.

(Умоляюще поднимает к нему обе руки). Братец, умоляю тебя! Погоди немного, разбей кеманчу после того, как я умру. Я не могу этого видеть!

Каграман-юзбаши. Поглядите, ради аллаха, на этого армянина! Такая любовь к куску дерева!

Азиз. Знаешь, Каграман-юзбаши! Раз пришлось к слову, разреши сказать. Ты не вини армянина. Если бы ты только знал, как играет этот злодеев сын! В прошлом году на свадьбе Абдулалы... (К Бахши). Эй, это ты ведь тогда играл?

Бахши. Я, братец, я играл.

Азиз. Клянусь тебе, юзбаши, он прямо поразил нас всех.

Каграман-юзбаши (Азизу). А ты не врешь?

Азиз. Клянусь твоей головой, юзбаши, это правда.

Каграман-юзбаши (берет кеманчу, начинает извлекать ее из чехла). Дай-ка посмотреть, что за штука такая. (Бросает чехол на землю и разглядывает кеманчу: к нему подходят еще некоторые люди из отряда). Эй, армянин! Что это за вещичка, что ты ее так любишь?

Бахши умоляюще поднимает к нему руку.

Каграман-юзбаши (протягивает кеманчу Бахши). Ну, ладно уж, жалко тебя, возьми, сыграй еще разок!

Бахши проворно поднимается, берет кеманчу, отходит в сторону и становится на колени. Достав из кармана папиролу, натраст смычок. Затем натягивает оборвавшуюся струну, настраивает кеманчу. Садится лицом к родному селу Казанчи.

Бахши. Ах, сирели Мукуш-бала* (Смотрит на лица окружающих его людей и начинает с воодушевлением играть мелодию «раст»).

После «раст» Бахши переходит к «шикаста-фарс»*, Каграман-юзбаши, не отрывая глаз от Бахши и внимательно слушая его игру, тихо опускается на землю и медленно, сам того не замечая, вкладывает кинжал в ножны и продолжает сосредоточено слушать. Всеобщее молчание. Окончив игру, Бахши в страхе оборачивается к Каграману-юзбаши.

Каграман-юзбаши (как бы очнувшись, сердито). Послушай, армянин, скажи мне, что вы пристаёте к нам, а?

Бахши смотрит на него с удивлением, ничего не отвечая.

(Еще более расплываясь, громко). Я тебя спрашиваю, чего молчишь? Глухой, что ли? Скажи мне, почему вы не оставите нас в покое?

Бахши (робко). Клянусь аллахом, ага, я ничего не сделал.

Каграман-юзбаши (раздраженно, громко). Ничего не сделал! Клянусь аллахом, пока жизнь теплится во мне, я буду резать на куски каждого армянина, который попадется мне в руки. Я должен искоренить ваш род на земле.

Бахши. Но ведь я ничего не сделал, ага!

Каграман-юзбаши (в гневе оборачивается к товарищам). Аллаху-акпер! Велик аллах! Безумный шайтан подсказывает... (Вынимает кинжал из ножен и поднимает его на ноги. Обращаясь к товарищам). Неужели вы думаете, что убийство этого армянина утолит мой гнев? Никогда не утолит. (Смотрит на армянина).

Молчание.

Да вы поглядите на него! На свете не осталось ни одной подлости, на которую бы они не были способны. Самому шайтану папаху сошьют!* А этот хромой музыкант! Поглядите, чего только не делает он со своей кеманчой! Злодей так играет, что все минувшее становится перед глазами! Аллаху-акпер (Карашу). Караш, дай папиросу!

Караш закуривает папиросу и передает ее Каграману-юзбаши, Бахши, вновь настроив кеманчу, начинает играть «сегах-забил»*. Прислушавшись к мелодии, Каграман-юзбаши снова садится на землю и медленно, как бы в забытии, прячет кинжал в ножны. Все слушают как зичарепанные.

(*Карашу*). Клянусь твоей жизнью, Караш, наш бедный Гейдар встает перед глазами! Эх, дела!..

Бахши играет совсем тихо, увлеченно. Многие из слушателей вздыхают. Время от времени Каграман-юзбаши, весь во власти музыки, поощрительно говорит:

Вот так!.. Bravo!.. Молодчина!.. Так!.. Так!.. (*Вскакивает на ноги и, выхватив кинжал, гневно кричит Бахши*). Эй, армянин! Живо забирай свою кеманчу! Убирайся отсюда! Не то, клянусь прахом отца, клянусь жизнью товарищей, я сейчас зарежу этим кинжалом и тебя и себя! (*Неистово кричит*). Убирайся!..

Бахши (*в страхе*). Куда мне убираться, ага?

Каграман-юзбаши (*кричит*). К черту! Домой ступай, дьявол!

Бахши, робко поглядывая на людей, берет кеманчу и чехол, быстро удаляется. Все стоит молча.

(*Каграман-юзбаши, застыв на месте, смотрит вслед Бахши. Бросает в сторону кинжал и говорит как бы про себя*). Эх, вероломный мир...

Занавес

ШКОЛА СЕЛЕНИЯ ДАНАБАШ

Комедия в четырех действиях

Действие происходит в селении Данабаш,
Эриванской губернии, в 1895 г.

действующие лица

Мешади-Агакиши — житель селения Данабаш.
Старик Гасым — его отец.
Бабушка Шабан — его мать.
Асад — его сын, школьник.
Кербелай-Мирали
Нури
Гумметали
Кербелай-Фатали
Кербелай-Гейдар
Кербелай-Гуламали
Зарбали
Кербелай-Имамгулу
Гаджи-Намазали — почетное лицо, сельский аксакал.
Пирверди-бек — староста селения.
Учитель Гасанов — смотритель школы.
Назарали — стражник старосты.
Молла-Мовлаверди — молла селения.
Уездный кази.
Уездный начальник.
Инспектор народных училищ.
Мирза-Мамедкули — переводчик при уездном начальнике.
Женщины.
Мустафа (сын Кербелай-Гуламали), Сулейман (сын Кербелай-Гейдара), Зейнал (сын Кербелай-Имамгули), Гасанкузи, Джафар, Сабзали, Гасан, Новруз, Таркули, Гулам-Гусейн и Зульфали — учащиеся школы селения Данабаш.

Действие первое

Ток на окраине селения Данабаш. У края тока две скирды, одна целая, другая начатая. Житель села Мешади-Агакиши с двенадцатилетним сыном Асадом молотят зерно. Мешади-Агакиши

переворачивает виллами снопы на току. Два быка тащат молотильные доски, на которых стоит Асад и погоняет быков хворостиной. В тени скирды лежит пес и, высунув язык, тяжело дышит от жары. Под скирдой поставлен глиняный кушник с водой; тут же узелок с едой, верхняя одежда и несколько пустых мешков. У Мешади-Агакиши голова повязана платком; из-за жары и отец и сын в одних рубашках; у обоих на ногах чарыки. Асад погоняет быков, покрикивая на них: «хо, хо!» Поспешно обегает, едва дыша, их сосед Кербелай-Мирзали.

Кербелай-Мирзали. Ты знаешь, что там делается, Мешади-Агакиши? Сейчас наехало в деревню всадников, уж если не сотня, то наверняка не меньше полусотни. И все большие начальники. Не пойму, к чему бы это?

Мешади-Агакиши (*удивленно*). Да что ты говоришь?

Асад сходит с молотильной доски и смотрит в сторону селения.

Кербелай-Мирзали. Клянусь твоей жизнью, и начальник приехал, и следователь, и кази, и мировой суд, и ушкол. Клянусь прахом отца, все правда! Кроме них, еще много народу прибыло.

Мешади-Агакиши (*прикладывает руку ко лбу и смотрит в сторону села*). Да не может быть!

Нури (*задыхаясь от волнения, вбегает на ток*). Ей-ей, Мешади-Агакиши, в селе кутерьяма! По правде сказать, я не мог выдержать; бегу посмотреть, что с нашими ребятами. Сам начальник приехал и с собой привез столько больших людей, что диву даешься. Да повернет аллах к добру. (*Хочет идти*).

Мешади-Агакиши (*к Нури*). Да постой ты, ради аллаха, Нури, объясни, что бы это все могло значить? И кто это приехал в село?

Нури. Клянусь жизнью твоей, Мешади-Агакиши, кажется, сколько ни есть в России больших людей, все приехали к нам. Вот слушай, и начальник приехал, и пристав приехал, и следователь приехал, и инспектор, и кази... Не знаю... И этот, как его, ушкол*, что ли, тоже приехал... Сказать по правде, сам-то я не видел, но обо всем мне Мешади-Ярмамед рассказал. Я только издали видел, как въехало в село много всадников.

Кербелай-Мирзали. Что значит—Мешади-Ярмамед рассказал? А сам я что? Не слепой ведь. Или начальника не знаю? Следователя не знаю? Сам я своими глазами их всех видел.

Гумметали (*быстро входит с хворостиной в руке, подходит к остальным и обращается к Нури и Кербелай-Мирзали*). Что случилось? Говорят, губернатор приехал? Я слышал, будто и сам губернатор приехал.

Кербелай-Мирзали. Нет, не губернатор, а начальник приехал и с ним много больших чинов.

Нури (*к Кербелай-Мирзали*). Кербелай-Мирзали, а я слышал, будто и сам губернатор приехал.

Кербелай-Мирзали. Нет, насчет губернатора вранье.

Мешади-Агакиши. Велик аллах, удивительное дело! (*Асаду*). Эй, держи, держи! Ослеп, что ли? Быки все зерно поели!

Асад бежит к быкам.

Кербелай-Фатали (*поспешно входит и спрашивает*). Послушайте, что это за новости? Говорят, приехали в село важные господа.

Нури (*уходя*). Приехали, приехали! Пусть повернет аллах к добру. (*Уходит*).

Кербелай-Фатали. Кербелай-Мирзали, говорят, будто в село солдат поставят. Как ты думаешь?

Кербелай-Мирзали. Ей-богу, ума не приложу! И зачем вдруг понаехало сюда столько народу.

Все смотрят в сторону деревни.

Пока ничего не видно! Вся надежда на аллаха!..

Поглядев некоторое время в сторону деревни, крестьяне подходят к скирде и опускаются в ее тени на корточки.

Мешади-Агакиши. Кербелай-Мирзали, давай, присядь, подумаем. Ты то в таких делах должен лучше нас разбираться. Для чего бы этим важным господам приезжать к нам? Не солдат ли будут набирать? Ведь раньше какие-то разговоры об этом были.

Гумметали. Да что ты, нет, тут дело не в солдатах. Неизвестно, зачем они приехали. А о солдатах и речи нет.

Мешади-Агакиши. А ты что думаешь, Кербелай-Мирзали. Что-то я боюсь насчет солдат. А почему они армян забирают в солдаты?

Кербелай-Мирзали. Да не говори ты впустую, ради аллаха! И к чему болтать, чего не знаешь? (*Обращается к Асаду*). Посмотри-ка, Асад, есть вода в кувшине? Дай попить. (*К мужчинам*). Дело не в солдатах. Аллах знает, зачем они приехали. Только не в солдатах дело. И потом, (*берет у Асада кувшин и пьет из горлышка*) мусульман они не могут брать в солдаты.

Мешади-Агакиши. То есть, как это не могут?

Кербелай-Мирзали. Нет, не могут. Я говорю тебе, не могут. Ты не суди по армянам, что их берут в армию. А мусульман не могут брать в солдаты. (*Оглядывается вокруг*). Нет, не могут.

Гумметали. Ради корана, ради всего святого, Кербелай-Мирзали, оставьте эти разговоры; дайте нам жить спокойно.

Мешади-Агакиши. И впрямь удивительное дело. Меня ничуть не беспокоит, что начальник или пристав приехал к нам, в село. Не дети же мы. Мы видели много раз, когда и начальник приезжал, и пристав приезжал, и даже губернатор приезжал, и следователь приезжал. Но вопрос в том, почему столько народу приехало в селение в один день? Такого мы сроду не видели.

Кербелай-Мирзали. Я не о том, говорю. Это совсем другой вопрос. Я говорю, что дело тут не в солдатах. Ну, на минуту допустим, будто приехали они все набирать солдат. Ладно. В таком случае кази зачем приехал? (*Ударяет палкой о землю*). Ладно, пускай будет так; допустим, что кази прихватил с собой, чтобы он уговаривал тут народ, объяснил, что надо, чтобы все сошло гладко. Хорошо, а следователь зачем приехал? (*Еще раз бьет палкой о землю*). А инспектор зачем приехал? (*Бьет палкой о землю*). Ушкол зачем приехал? Нет, тут дело в чем-то другом. Но что бы там ни было, пусть аллах повернет к добру! (*Встает, смотрит в сторону селения и снова садится*).

Гумметали. Нет, дело не в солдатах. Тут что-то другое.

Мешади-Агакиши (*обращается к Гумметали*). Чем сидеть тут и гадать, пусть кто-нибудь сбегает в село и узнает, в чем дело. Что тут особенного? Не съедят же человека! Это минутное дело.

Кербелай-Мирзали. И в самом деле, Гумметали,

ты самый подходящий, и легок на подъем. А что если сбегать тебе да принести нам верные сведения?

Гумметали. Да я бы охотно сбегал, только ток у меня без присмотра, не могу его оставить.

Мешади-Агакиши. Не хочешь, не ходи, зачем же врать? Вон, на гумне у тебя молотит Гасанали. Чего врешь? Так и скажи, что не хочешь идти, боишься!

Гумметали (*к Мешади-Агакиши*). Ладно, скажем, я боюсь. Я признаюсь, что боюсь. А сам ты почему не сходишь? Небось, ноги целы!

Мешади-Агакиши, не отвечая на эти слова, достает из кармана кисть и принимается набивать трубку.

Кербелай-Мирзали (*увидев вдаль что-то, прикладывает руку к глазам*). Вон из селения выехал какой-то всадник. И скачет-то как, злодеев сын! Посмотрим, куда он поедет.

Гумметали (*вглядывается вдаль*). Еще один всадник за ним. Наверняка кого-то ищут.

Мешади-Агакиши (*смотрит вдаль*). Что бы это могло быть, Кербелай-Мирзали?

Кербелай-Мирзали. Одна надежда на аллаха!

Гумметали (*смотрит вдаль*). Кербелай-Мирзали, всадники повернули прямо на гумно Гаджи-Намазали.

Мешади-Агакиши (*смотрит вдаль*). Клянусь вашей жизнью, скачет прямо на гумно Гаджи-Намазали. Погубят человека!

Гумметали (*смотрит вдаль*). Да, так оно и есть. Вон и сам Гаджи-Намазали. Даже отсюда можно различить его высокую папаху. Вон, погнали его вперед, ведут. Пропал человек.

Мешади-Агакиши. Да, да.

Кербелай-Мирзали. Не везет человеку. На той неделе жена померла, человек не успел оправиться после траура, а теперь еще неизвестно, что с ним будет.

Гумметали (*растягивая слова*). Да-а, тут дело серьезно, тут что-то есть!

Мешади-Агакиши. Кербелай-Мирзали, кажется, один из всадников повернул в нашу сторону?

Гумметали (*уходит с тока*). Клянусь вашей жизнью, к нам едет.

Кербелай-Фатали, Кербелай-Мирзали и Гумметали, все трое, не отрывая глаз от сдущего всадника, уходят с тока. Асад бежит к скирде и прячется среди снопов.

Мешади-Агакиши становится на молотильную доску и, покрикивая на быков: «хо! хо!», погоняет их.

Мешади-Агакиши. *(Асаду)*. Не бойся, сынок, не бойся! Бог даст, ничего не будет!

Асад *(дрожа)*. Отец, боюсь, как бы меня в солдаты не взяли.

Мешади-Агакиши. Не бойся, сынок! Аллах милостив!

Назарали, стражник старости, прискакав на ток, подъезжает к Мешади-Агакиши, спрыгивает с лошади и заносит плеть над головой Мешади-Агакиши, но тот, вытянув руку, хватается рукоять плети, Асад плачет.

Асад *(дрожа)*. Отец!..

Мешади-Агакиши *(стражнику)*. Не бей! Не бей, Назарали! Молю тебя, не бей!

Назарали *(увидев Асада, к нему)*. Вылезай оттуда! Сейчас же поди сюда! Пойдешь со мной, ублюдок несчастный.

Дрожа от страха, Асад приближается к Назарали.

(К Мешади-Агакиши). Возьми сына и ступай вперед!

Ничего не говоря от страха, Мешади-Агакиши поспешно натягивает на себя архалук, отдает сыну архалук и направляется к выходу, но вспомнив запряженных быков, порывается сказать что-то, но Назарали снова грозно поднимает свою плеть.

Мешади-Агакиши *(к Назарали)*. Нет, нет! Не бей! Иду!

Выходят все трое. Прижав обе руки к лицу, Асад всхлипывает. Назарали ведет свою лошадь на поводу.

(К Назарали). Назарали, заклинаю тебя аллахом, если должны взять Асада в солдаты, то прямо скажи, что я погнб!

Назарали. *(опять поднимает высоко плеть)*. Тебе говорят, не стой, двигайся!

Мешади-Агакиши. Нет, нет! Иду! Иду!

Выходят.

Действие второе

Действие происходит во дворе почтенного ахсакала деревни Данабаш Гаджи-Намазали. Тут собралось все население деревни. Все чрезвычайно возбуждено, переговариваются друг с другом. Среди мужчин видны и мальчики. Здесь и Мешади-Агакиши с сыном Асадом. Кто-то сообщает, что идет начальник. Наступает мгновенья тишина: будто в болото с лягушками бросили камень. Всеобщее молчание. Первым выходит Гаджи-Намазали и со словами: «Отойди! Отойди!» проходит и становится сбоку. За ним появляется стражник Назарали с плетью в руке и со словами: «Отойди! Отойди!» становится сбоку. Затем выходит староста Пирвердибек с плетью в руке и со словами: «Посторонний! Посторонний!» проходит и становится в стороне. Теперь появляются: начальник, пристав, переводчик Мирза-Мамедкули, инспектор школ, кази, учитель Гасанов и молла селения Молла-Мовламмверди.

Казин *(выходит немного вперед, молитвенно поднимает вверх руки и смотрит в небо. Читает молитву по-арабски, потом прославляет царя на персидском языке)*. Слава его величеству государю императору Николаю Александровичу, украшение мира, тени аллаха на земле, могущественному представителю великой династии Романовых, который из милостей своих выделил и на долю селения Данабаш, повелев открыть в нем школу во имя просвещения и благоденствия населения! *(По-азербайджански)*. Да не онемеют уста, воскликнувшие — аминь!

Толпа *(разом)*. Аминь!

Казин. Благословения молим всем делам нашим именем аллаха, который всемилоостив...

Толпа *(в один голос)*. Аминь!..

Казин. Дарует блага всем живым существам...

Толпа *(в один голос)*. Аминь!..

Казин. Все живое, и сильные и слабые нуждаются в милости и щедрости аллаха на небе и возлюбленного на земле...

Толпа *(в один голос)*. Аминь!..

Казин. Слава повелителю небес, что милостив и милосерден, и могущественному повелителю земли Николаю Александровичу...

Толпа *(в один голос)*. Аминь!..

Казин. Августейшей его супруге Александре Федоровне!

Толпа *(в один голос)*. Аминь!..

К а з и. Его высочеству наследнику цесаревичу Сергею Александровичу и всем членам высокого царствующего дома!..

Т о л п а (в один голос). Аминь!..

К а з и. Боже милосердный, спаси от всех земных напастей и бед небесных нашего добрейшего господина начальника, просвещенного господина инспектора, а также помянем в молитвах своих всех представителей государственной власти (по-арабски). Веллаху велиет-тофик, аминь!

Т о л п а (в один голос). Аминь!

К а з и отходит в сторону. Начальник подзывает к себе переводчика Мирза-Мамедкули и обращается к народу.

Н а ч а л ь н и к (по-русски). Забота об образовании подданных входит в задачи всякого благоустроенного государства, а потому во исполнение предписания его превосходительства начальника губернии от... (Достает из портфеля какую-то бумажку и заглядывает в нее.) ...17 мая 1895 года за № 14635 я поставлен в необходимость оказать административное содействие его высокоородию (поворачивается в сторону инспектора) господину инспектору народных училищ, коллежскому советнику Ивану Евлампиевичу Духотворцеву, на которого дирекция народных училищ возложила высокую миссию открытия одноклассного земского нормального училища в селении Данабаш. Всем же уездным, участковым и сельским должностным лицам а строжайше вменяю в обязанность к первому числу предстоящего сентября месяца обеспечить новооткрываемую школу достаточным комплектом детей мужского пола, а приставу четвертого участка своевременно донести мне о результатах преподаваемой ныне мной словесной инструкции.

П и р в е р д и - б е к. Да здравствует господин начальник!

Т о л п а (в один голос). Да здравствует!

П е р е в о д ч и к Мирза-Мамедкули. О народ, селения Данабаш! послушайте меня, что я вам скажу! Поняли ли вы, что изволил повелеть господин начальник? Он изволил сказать, что народ селения Данабаш по сей день пребывает в мире темноты и невежества. Его высокородие господин начальник, проявил к вам милость

и, претерпев бесчисленные беспокойства, пожаловал сегодня в селение Данабаш, чтобы основать здесь школу и через посредство оной вытащить вас из мира мрака в мир света. И еще, о народ, услышите и узнайте, что все города и селения, что создал повелитель неба и земли, и все края через посредство науки давным-давно вошли в мир света; осталось единственное селение Данабаш. Инишааллах, если снизойдут на вас милость и милосердие аллаха, господин начальник откроет здесь сегодня источник наук, дабы и вы, при посредстве наук, которые будут преподаваться в этом центре наук, испили шербет света и приобрелись к миру просвещения!

М о л л а - М о в л а м в е р д и (выступает немного вперед). О обитатели селения Данабаш! Нам всем надлежит ежедневно во время наших молитв принести господу богу наши мольбы благодарственные, ибо сколь же счастливы мы рабы аллаха, что к нам пожаловали столь почтенные начальники, как господин начальник и господин инспектор. Это не что иное, как особое расположение и особая милость к нам великого аллаха! Да здравствует господин начальник!

Т о л п а (в один голос). Да продлит аллах жизнь господина!..

И н с п е к т о р (выступает вперед и говорит по-русски). Милостивые государи! В сегодняшний день я считаю себя счастливым, что стою пред вами, данабашинцами, и принимаю с вами близкое участие в столь великом празднестве, как открытие новой школы, этого действительного фермента культуры и цивилизации. Я вам завидую, ибо не попал детством своим в тот педагогический мир, когда педагогика и педагогическая психология сделали крупные шаги и наметили, изучив все зигзаги детской психологии, движения ее души, верные пути правильного рационального, целесообразного, воспитывающего обучения, когда все приемы последнего во всех деталях его выводятся легко из принципов и положений экспериментальной педагогики и психологии, понимая это последнее в широком и благородном смысле этого слова. Уважаемые данабашинцы, вы сегодня в праздничном настроении, и радость ваша велика и понятна; ибо для вас ваша давнишняя, давно желанная мечта сегодня выливается в форму реального факта. Да, вы счастливы сегодня, именно с сегодняшнего дня, когда педагоги, бо-

лея душой, вместе с вами изыскали, наконец, поразитель-но тонкий метод обучения, тонкий до того, что всякая и каждая абстрактность, отвлеченность красиво и правильно одевается в конкретность; являясь своего рода лабораторией для приготовления сознательных граждан родины и верных подданных государства, она — эта школа, в то же время выведет ваших детей из круга коснеющих в невежестве и приобщит их к мировой культуре. Она развяжет им язык и введет в мир государственной жизни, научив их говорить и понимать всякого русского, всякого администратора, проходящего через село солдата, да, солдата, переброшенного из дальних губерний великой...

Услышав слово «солдат», Мешади-Агакиши тихонок берет своего сына за руку и незаметно выводит его из толпы. Из присутствующих здесь крестьян так же уводит своего сына Мустафу Кербелай-Гуламали, за ним и Мешади-Гейдар своего сына Наджафа.

Слово «солдат» вселяет в крестьян тревогу.

Уходя, Мешади-Агакиши что-то шепчет стражнику Назарали.

...России к вам в целях ограждения ваших интересов. Заканчивая свою речь, приношу вам свое поздравление.

Начальник (*к старосте, по-русски*). Что же, список мальчиков уже готов?

Мирза-Мамедкули (*к старосте*). Начальник изволит спрашивать, готов ли список мальчиков?

Пирверди-бек подходит и подает начальнику лист, а тот передает бумагу Мирза-Мамедкули.

Начальник (*к Мирза-Мамедкули, по-русски*). Переводчик, огласите этот список.

Мирза-Мамедкули. Люди, по распоряжению господина начальника сегодня составлен здесь список, в который занесены все те, у кого есть сын, подлежащий зачислению в школу. Вот означенный список: первый, Кербелай-Имамкули Кербелай-Али-оглы.

Из толпы выходит Кербелай-Имамкули и низко кланяется.

Сейчас же ступай и приведи к господину начальнику своего сына Зейнала.

Кербелай-Имамкули (*приложив обе руки к груди, обращается к начальнику*). Господин начальник, пусть мой сын Зейнал будет жертвой ради тебя. Ради возлюбленного падишаха нашего я не только в солдаты

отдам моего сына Зейнала, но и в жертву принесу. Только ведь Зейналу не исполнилось и семи лет. Об этом весь народ знает. Достойн ли будет он стать солдатом и взять ружье?

Мирза-Мамедкули (*удивленно и сердито*). Что ты болтаешь? Какой солдат и что значит ружье? Какие злодеи наговорили вам? Сын твой выучится, человеком станет, образование получит. С ума, что ли, ты сошел, что говоришь такое? Не задерживай нас, сейчас же ступай и приведи сына, иначе пожалеешь.

Из толпы удаляются незаметно и оставшиеся несколько мальчиков. Кербелай-Имамкули задумывается, потом медленно уходит.

Мирза-Мамедкули (*читает по списку*). Кербелай-Гейдар Кербелай-Кязим-оглы.

Кербелай-Гейдар выходит вперед и кланяется.

Сейчас же приведи своего сына Сулеймана к господину начальнику!

Кербелай-Гейдар. Господин, позвольте сказать! Мирза-Мамедкули (*сердито*). Кербелай-Гейдар, не досаждай гостям, сейчас же приведи сына. Господин начальник не располагает свободным временем, чтобы выслушивать тут ваши сказки.

Кербелай-Гейдар медленно выходит.

(*Читает по списку*). Мешади-Агакиши Гасым-оглы!

Мешади-Агакиши выступает вперед.

Здесь твой сын Асад?

Мешади-Агакиши. Нет, господин, сын мой Асад сейчас лежит тяжело больным в постели. Стражник Назарали может подтвердить. (*Кивает в сторону стражника Назарали*).

Мирза-Мамедкули (*читает*). Кербелай-Гуламали Ярмамед-оглы.

Из толпы выходит Кербелай-Гуламали и кланяется.

Где твой сын Мустафа?

Кербелай-Гуламали. У меня нет сына, господин.

Крестьяне переглядываются и смеются.

Мирза-Мамедкули (*с удивлением*). Как нет? У тебя нет сына по имени Мустафа?

Кербелай-Гуламали. Нет, господин, извольте выслушать.

Староста Пирверди-бек подходит сзади к Кербелай-Гуламали и тычет его кулаком в затылок.

Пирверди-бек (к Кербелай-Гуламали). Сейчас же ступай и приведи сына Мустафу к господину начальнику.

Кербелай-Гуламали уходит, раздосадованный и смущенный.

Мирза-Мамедкули (смотрит в список). Мешади-Фараджулла Мешади-Муртуза-оглы!

Никто не отзывается и не выходит из толпы. Пирверди-бек в тревоге оглядывает толпу.

Пирверди-бек (к Мирза-Мамедкули). Господин Мирза, Мешади-Фараджулла человек старый и, насколько я знаю, сегодня его нет в селе. У него два осла и он промышляет ими. Я пошлю человека, и сейчас приведут его сына. (К Назарали). Эй, Назарали, сейчас же сбегай, найди и приведи сюда Джафара, сына Мешади-Фараджуллы. Будь осторожен, у них злые собаки, укусят.

Начальник (к Мирза-Мамедкули, по-русски). Что же, пока ни одного мальчика нет налицо?

Мирза-Мамедкули. Староста, тебе должно быть очень стыдно, что столько времени мы задерживаемся здесь, а ты до сих пор не привел к нам из такого большого села ни одного мальчика. Какой же ты староста после этого? Господин начальник очень недоволен тобой.

После этих слов староста Пирверди-бек и стражник Назарали начинают бить плетью крестьян, приговаривая при этом: «Сейчас же приведи своего сына, не то шуру с тебя спущу!» В этот момент приводят двух мальчиков. В стороне слышится плач: матери этих мальчиков громко плачут, причитая; двое мужчин, отцы мальчиков, держат своих сыновей за руки и тихо плачут. Русские смотрят с удивлением.

Инспектор (подходит к мальчикам и гладит их по головке. Говорит по-русски). Вот хорошие мальчики!

Молла-Мовлаверди. Сестры! Братья! Напрасно вы плачете, потому что сыновьям вашим не грозит никакая беда: разве только, иншаллах, если на то будет милостивая воля творца вселенной, они изучат науки и

приобщатся к миру света и просвещения... Да поможет вам аллах набраться терпения!.

Учитель Гасанов (к народу). Все нации только о том и заботятся, чтобы получить образование и стать цивилизованными. А вы, если посмотреть, настолько отстали, невежество ваше настолько глубоко, что до сих пор еще не усвоили истину, что (произносит по-русски) учение — свет, неучение — тьма!

Инспектор (по-русски). Вот, вот, совершенно верно!

Гаджи-Намазали (выходит вперед и обращается к Мирза-Мамедкули). Господин Мирза, доложи господам, что обед готов, пусть пожалуют в дом.

К концу обеда соберутся и остальные мальчики.

Мирза-Мамедкули подходит близко к начальнику и тихо говорит ему что-то, приглашая его и других гостей в дом. Начальник, инспектор, кази, Молла-Мовлаверди, пристав и за ними Гаджи-Намазали уходят. Крестьяне бросаются к Пирверди-беку и начинают просить его. Один говорит: «Ради аллаха, спаси моего сына!», другой говорит: «Сын мой хворает, сотри из списка!» Женщины плачут; к ним присоединились еще женщины, и все плачут. Среди мужчин также есть плачущие. Поднимается шум. Толпа приходит в движение. Пирверди-бек и стражник Назарали то шепчутся с некоторыми крестьянами, то бьют других плетью. При таком шуме и движении занавес опускается.

Действие третье

Третье действие происходит во дворе Мешади-Агакиши. Шесть женщин в чадрах сидят на земле, вытянув ноги, и бьют себя по коленям, плачут. В одном углу двора виднеется высокая башня, сложенная из кирпичей. В стороне сидит старик Гасым и шьет себе чарыхи.

Первая женщина. В солдаты возьмут мое дитя! Ой, сынок! Ой, сынок!

Все женщины плачут, причитая.

Вторая женщина. В школу возьмут мое дитя! Ой, сынок! Ой, бедняга!

Все женщины плачут в голос.

Третья женщина. Дитя мое в учителя заберут!
Ой, сынок! Ой, горе!

Плачут.

Четвертая женщина. Разлучат меня с моим
роденьким! Ой, сынок!

Плачут.

Пятая женщина. Пусть дом твой развалится,
кто выдумал все это! Ой, дитя! Ой, сынок!

Старик Гасым (к женщинам). Не плачьте, милые, не плачьте! Аллах милостив!

Распахиваются ворота, и поспешно входит Мешади-Агакиши, ведя за руку своего сына Асада. Он запирает ворота и оглядывается вокруг. Бабушка Шабан подходит к своему внуку Асаду и обнимает его.

(Внуку Асаду). Как это отпустили тебя, милый?

Бабушка Шабан. Пусть болезни твои перейдут к твоей бабушке, как тебя отпустили? Кровинка моя, больше не возмужай тебе? Ой, аллах, пошли мне смерть!

Мешади-Агакиши (нетерпеливо, тихо). Молчи, молчи! Успокойся! (К Асаду). Идем, идем! Скорее! (Подводит Асада к башне из кизяка). Влезай, влезай туда, тебе говорю! Скорее! Чего стоишь?

Асад влезает в башню из кизяка. Мешади-Агакиши оглядывается вокруг, находит большой плоский камень и закрывает им дыру в башне. Обращается к женщинам.

Смотрите, не шумите! Я вам говорю, чтобы не голосили!

Женщины в чадрах закрывают лица и поворачиваются к Мешади-Агакиши спиной. Начинают шептаться с бабушкой Шабан.

Бабушка Шабан (к сыну). Агакиши, милый, скажи ради аллаха, а что с внуком сестрицы Гюльджакхан Сулейманом и сыном сестрицы Хансенем...

Мешади-Агакиши (не дает матери договорить, прижимает руку к губам и говорит шепотом). Женщина, а же тебе сказал, молчи! Ни звука!

Старик Гасым (женщинам). Не надо шуметь.

Стучат в ворота. Мешади-Агакиши бежит и прячется. Стучат сильнее. Затем Кербелай-Гуламали, сосед Мешади-Агакиши, карабкается

с улицы на стену, поднимает за руку своего сына Мустафу на стену, и оба спрыгивают во двор. Мешади-Агакиши выходит из своего укрытия им навстречу, быстро хватая Мустафу за руку и ведет к кизячной куче.

Старик Гасым. Так-то вот! Спрячь и его в кизяках!

Одна из женщин, мать Мустафы, накрытая чадрой, радостно бежит к сыну. Мешади-Агакиши вталкивает Мустафу в дыру и, ныкнув на мальчиков, снова закладывает дыру камнем. Мужчины отходят к стене, садятся в тени, достают свои трубки и принимаются набивать их. Остальные женщины беззвучно плачут. Снова раздается стук в ворота. Мешади-Агакиши и Кербелай-Гуламали поднимаются и уходят в дом. После второго, более сильного стука в ворота, на стене показывается голова Кербелай-Гейдара. Он также поднимает сына Сулеймана на стену и вместе с ним спускается во двор.

Старик Гасым. Его тоже спрячьте в кизяках!

Вышедшие из дома Мешади-Агакиши и Кербелай-Гуламали прячут Сулеймана в кизяках, после чего трое мужчин принимаются курить.

Зарбали (говорит в щель в стене, а самого не видно). Ты почему прячешь детей в кизяках, Мешади-Агакиши? Клянусь твоей жизнью, сейчас же побегу сказать ушкору!

Все трое мужчин вскакивают с мест и растерянно смотрят друг на друга.

Хорошо вам! Сговорились с Назарали, сына моего записали в солдаты, а своих прячете в груди кизяка? Вот какие вы соседи! Ну что ж, посмотрим!

Мешади-Агакиши (умоляюще). Послушай, Зарбали, да я умру ради тебя, не говори громко! Какой негодяй записал твоего сына? Заклинаю тебя, говори потише.

Старик Гасым (к Зарбали). Послушай, Зарбали, брось эти разговоры!

Зарбали (в трещину). Если вы не донесли, то откуда знает начальник о моем сыне? Конечно, мы, несчастные мусульмане, всегда роем яму своему же мусульманину! Скажите на милость, что пользы вам, если сына моего заберут в солдаты: карманы себе набьете, или медаль какую получите?

Кербелай-Гуламали (к Зарбали). Послушай,

не дури! Не делай злого дела! Какой ублюдок, какой мерзавец записал твоего сына? Что ты говоришь? Брось, ради аллаха, эти разговоры! Брось, Зарбали!

Стражник Назарали (*стучится в ворота, затем говорит тихо поверх стены*). Мешади-Агакиши! Мешади-Агакиши! Сейчас же пошли мальчиков на гумно. Староста с ушколом вместе обходит дома.

Назарали, сказав, это, печезает, Мешади-Агакиши, Кербелай-Гулам-али и Кербелай-Гедадр бегут к куче, убирают камень и выпускают детей. Велят им: «Бегите на гумно!» Трое мальчиков бегут и скрываются.

Старик Гасым (*вслед мальчикам*). Бегите побыстрее! Спасайтесь!

Бабушка Шабан (*вслед Асаду*). Пусть бабушка твоя умрет за тебя!..

Раздается стук в ворота.

Назарали (*из-за ворот*). Мешади-Агакиши! Открой ворота, староста с ушколом к тебе жалуют.

Мешади-Агакиши отворяет ворота. Входят во двор: староста Пирверди-бек с пlectью в руке, учитель Гасанов, Молла-Мовламмверди, стражник Назарали с пlectью в руке и еще несколько крестьян. Все собираются посередине двора.

Пирверди-бек (*к Мешади-Агакиши*). Мешади-Агакиши, слушай внимательно, что я тебе скажу. Всем вам известно, что вот уже семнадцать лет я верой и правдой служу нашему возлюбленному падишаху. И не было еще случая, чтобы я покраснел перед начальством. Все вы это хорошо знаете. И теперь я не догадываюсь, чтобы повсюду пошла молва о том, что господин начальник пожаловал в селение Данабаш и открыл там школу, а данабашские крестьяне не побоялись Пирверди-бека (*пальцем указывает на себя*) и попрятали своих детей в кучах кизяка.

Кое-кто из присутствующих смеется.

Мешади-Агакиши. Староста, клянусь твоей головой, в куче кизяка никаких детей нет. Вот моя куча! (*Подходит к куче кизяка*).

Старик Гасым. Чего уж там, пусть потрудятся, сами посмотрят. Может, не верят?

Назарали (*заглядывает в отверстие в куче*). Староста, клянусь твоей головой, тут никого нет.

Старик Гасым. Нет, так нет. Кто вам донес, знать, посмеялся над вами.

Бабушка Шабан (*с закрытым лицом, под чадрой, стоя спиной к присутствующим*). Нету, значит, нету!

Молла-Мовламмверди (*к бабушке Шабан, громко и сердито*). Молчи, бесстыдница! Женщинам не положено разговаривать при мужчинах. Стыд надо иметь, стыд!

Учитель Гасанов (*достает из кармана лист бумаги*). Люди, приказом инспектора, основанным на предписании директора, я с 1 августа назначен смотрителем училища в селении Данабаш. В присутствии инспектора и начальника был оглашен этот список, где записаны имена мальчиков и их отцов. Так вот я прошу отцов этих мальчиков, поскольку вам улыбнулось такое счастье, что дети ваши получают образование и станут людьми, а мне выпала честь исполнить свой долг перед нацией и послужить нашему возлюбленному падишаху. Да здравствует наш падишах! Да здравствует наш инспектор! Да здравствуют жители селения Данабаш!

Старик Гасым (*к учителю*). Послушай, ушкол! Вот я старый человек и малость умею отличать дурное от хорошего. Пусть я буду жертвой ради тебя, объясни мне, сделай милость, вот ты сказал только что, что дети получат образование и станут людьми. Что это значит, станут людьми? Вот сегодня там на сходе тоже говорил спехтор*, или как его там, но я ничего не понял. Но там спехтор как-то нечаянно выболтал, что мальчиков возьмут в солдаты.

Пирверди-бек. Дядя Гасым, все эти разговоры гроша ломаного не стоят, и я никаких солдат знать не желаю. Я раб приказа. Мне приказали: съезжай в овраг, значит, надо съезжать в овраг. Если ребята по этому списку не придут в школу, а заговорю с вами вот этой пlectью! (*Показывает свою пlectь*).

Учитель Гасанов (*к старосте*). Нет, староста, вы меня извините, но я против того, чтобы детей собирали в школу пlectью. Миру педагогики пlectь противопоказана, и уроки, преподанные посредством пlectи, пользы не принесут. Насколько я понимаю, самое трудное — первые два месяца. Стоит детям всего только два

месяца посещать уроки, как их родители своими глазами увидят результаты нового метода и не будут избегать школы.

Старик Гасым (*учителю*). Как хорошо ты говоришь, ай ушкол! Пусть благословит аллах память твоего отца. Теперь допустим, что я отдал своего внука в школу. Ты говоришь — два месяца, я тебе даю год. Теперь скажи на милость, кем станет мой ребенок через год?

Учитель Гасанов. Кем станет? Получит воспитание, станет человеком.

Старик Гасым. Как, то есть, человеком? Вот мне сейчас, почитай, больше семидесяти. Надо ли понимать твои слова так, что эти соплявые малыши через год людьми станут? Ну, что за беда, если ты объяснишь нам, какими же людьми они станут?

Учитель Гасанов. Извини, дядя Гасым, но через год эти мальчики научатся читать и писать.

Старик Гасым. А что они будут читать и что будут писать?

Учитель Гасанов. Они будут читать и «Русскую речь» и «Вэтэн дили»* Черняевского по звуковому методу.

Старик Гасым (*оглядывается вокруг, замечает Кербелай-Гейдара*). Это что за книга, Кербелай-Гейдар? Не пойму; может, «Гюлистан»*, по которому ты учил ребят? Я не очень-то разбираюсь в этих делах. Ты же грамотный, подойди, отвечай. Чего стоишь как глухонемой и хлопаешь глазами?

Учитель Гасанов. Ладно, дядя Гасым, дело не в «Гюлистане». Прочитав один «Гюлистан», не станешь образованным человеком. Вот, к примеру, возьмем Кербелай-Гейдара и посмотрим, знает ли он таблицу умножения? А ваши дети через год будут ее знать.

Кербелай-Гейдар (*к учителю*). Господин ушкол, усули дин чендест?*

Учитель смеется. Крестьяне тоже смеются.

Молла-Мовламверди (*учителю*). Что тут смешного? Человек спросил тебя, а ты, если знаешь, отвечаешь, а если нет, так и признайся, что кроме русских уроков, ты других наук не знаешь. Ибо всякая наука, всякое знание и воспитание привязывает человека к себе, и это

ясно, как божий свет. Кто изучил науку шарната, вечно будет почитать себя мусульманином и соблюдать требования ислама. А тот, кто общается с иноверцами, изучает их язык, воспитывается среди них, надевает поихнему фуражку, конечно, не будет знать ни основ религии, ни ее обрядов. Чего же вы смеетесь? Не лучше ли признаться в этом?

Учитель Гасанов. Господин Молла-Мовламверди, это правда, я не проходил религиозных наук, но мне представляется, что те науки, которые знаю я, незнакомы не только Кербелай-Гейдару, но, может быть, извините, и вам самим.

Молла-Мовламверди. Это какие же науки?

Учитель Гасанов. Вот возьмем, к примеру, зоологию. В какой части тела саранчи находится ее слуховой орган?

Кербелай-Гейдар и крестьяне смеются.

Молла-Мовламверди. Пах-пах-пах! Тоже мне наука!..

Старик Гасым. Ай ушкол, ай ушкол! На кой черт моему внуку знать, где находится ухо саранчи. Ты лучше найди и укажи такое средство, чтобы уничтожить это чертовое семя, чтобы она каждый год не пожирала наших посевов, не обрекала нас на голод. Вот в чем ты помоги нам. А от всяких загадок моему внуку никакой пользы не будет. (*Бормочет про себя*). На кой черт мне уши саранчи? Да чихать мне и на уши ее, и на глаза, и на брови! Подумаешь, велика важность, чтобы искать у нее еще уши и знать, где они находятся. (*К учителю*). Ай ушкол, может, ты шутишь с нами, а?

Кербелай-Гейдар (*смеясь, к учителю*). Ладно, господин учитель, где же находятся уши у саранчи?

Учитель Гасанов. Уши саранчи находятся в ее коленях.

Присутствующие смеются.

Пирверди-бек (*посмеявшись, обращается к учителю Гасанову*). Ай ушкол, правда, начальник приказал мне, чтобы население относилось к тебе с уважением, но я, сказать правду, не согласен, чтобы ты такими разговорами о саранче смешил народ. Если ты делаешь это из-за детей, то зря не беспокой себя и не горюй, им ни-

какие проповеди не нужны. С ними надо разговаривать вот этой плетью. *(Показывает на свою плетью).*

Молла-Мовламверди *(к старосте)*. Ничего, староста. Детей, конечно, с изволения аллаха, соберем; но что плохого, если господин ушкол расскажет нам о своих науках, а мы его послушаем. *(К учителю)*. Разреши мне, господин ушкол, задать один вопросик: если у меня сомнение между тремя и четырьмя, как и должен поступить?

Учитель Гасанов *(к молле)*. Уважаемый Молла-Мовламверди! Я уже доложил, что в мою обязанность входит прохождение школьной программы и выдача учащимся аттестатов, с тем чтобы по окончании школы поселения Данабаш желающие могли поступить в городскую школу, а затем, если проявят определенные способности и усердие, перейти в семинарию и, изучив там соответствующие науки, стать учеными. Сейчас, например, если спросить какого-нибудь крестьянина, сколько будет два плюс два, конечно, он не сумеет ответить. Но если бы они окончили, как я, семинарию, тогда, к примеру, они могли бы измерить аршином величину арбуза, что сейчас никто из вас, конечно, и представить себе не может.

Крестьяне смеются.

Кербелай-Гейдар. Ушкол, по правде сказать, этого тоже мы не поняли. Как, то есть, измерить аршином величину арбуза?

Учитель Гасанов. Кербелай, откровенно говоря, я не сумею объяснить тебе. Потому что ты не знаешь языка и наук, которые изучал я, ты не кончал семинарии.

Старик Гасым. Ай ушкол, говори по совести, какая нам польза от того, если мы аршином измерим внутренность арбуза? Мы простые земледельцы. Мы всегда и сами разводим арбузы и, когда их продаем, или покупаем, то считаем поштучно, или взвешиваем на весах, а аршином измеряем ситец, бязь. Может, ты незнаком с нашим краем и не знаешь наших порядков. Но было бы хорошо, если бы ты по дороге в наше село захватил в Шахтахты арбузные семена для нас, потому что их арбузы славятся, а наши семена не годятся. Вот если бы ты сделал нам такое дело, то большую нам оказал бы услугу. А что до того, как мерить аршином внутренность арбуза, это дело пустое.

Молла-Мовламверди. Господин ушкол, веришь ли ты в толкование снов?

Учитель Гасанов. Нет, не верю.

Молла-Мовламверди. Да, да! Все дело заключается в том, чтобы черное пятно не легло на белое. Не то, если дело будет сделано, то тело огрубеет, душа станет вялой, убеждения изменятся и тогда никаких надежд на спасение не останется. По этой-то причине истинный творец земли и неба сотворил человека пытливым и в творении своем заключил такую тайну естества, тайну небес, что включает в себя и тайну толкования и разгадки снов; постигнуть ее и разгадать доступно лишь очень немногим счастливым. Позапрошлой ночью приснился мне путаный, путаный сон. Вскочил в страшном волнении. Было этак... *(смотрит в небо)* полчаса после полуночи. Взглянул на звезды, вижу созвездие саджанджали-асгар *(находится вот с этой стороны созвездия сунбуля-бурджу*)*. *(Сжав кулак, поднимает указательный палец к небу)*. После этого я снова заснул. Прошло некоторое время, я проснулся и снова посмотрел *(смотрит в небо)*, вижу то же самое созвездие находится теперь вот с этой стороны созвездия сунбуля-бурджу. Вы не думайте, что движение звезд происходит без причины и лишено смысла. Ни в коем случае!

Кербелай-Гейдар *(к учителю Гасанову)*. Ну что, ушкол, почему молчишь? Отвечай же. Что скажешь? Где же уши твоей саранчи?

Люди смеются.

Пирверди-бек *(Кербелай-Гейдару)*. Ты говори, что хочешь, но про эту плетку не забывай! Я вызвал вас сюда не для того, чтобы спорить с ушколом. Мне дети нужны, дети!

Старик Гасым. Ай ушкол, оставим эти разговоры в стороне, объясни-ка мне толком, чему ты будешь учить наших ребят? Ты сказал, что «Гюлистана» они учить не будут?

Учитель Гасанов. Нет, «Гюлистана» учить не будут. Разве не жалко детей, чтобы они из-за одного «Гюлистана» годами портили себе зрение. А вот по новому звуковому методу они в течение нескольких меся-

цев пройдут учебник Черняевского «Вэтен дили» и начнутся писать.

Кербелай-Гейдар смеется.

Молла-Мовлаверди. Господин ушкол, вот это го я не понял.

Учитель Гасанов. Господин Молла-Мовлаверди, до изобретения этого звукового метода дети губили лучшие годы, сидя на пыльных и шивых циновках и раскачиваясь, учились читать по слогам и ничего не усваивали. А нынче по новому методу слова разбивают на звуки. Возьмем для примера какое-нибудь слово, ну, например, «оса». В этом слове три звука: один звук «о», другой «с», третий «а».

Старик Гасым (Кербелай-Гейдару). Ей-богу, я ничего не понял. (К Молла-Мовлаверди). Молла-Мовлаверди, может, ты что-нибудь смислишь в этом?

Молла-Мовлаверди (к учителю). Господин ушкол, вы только что произнесли одно слово, кажется «оса», что оно означает?

Учитель Гасанов. «Оса», значит, ослиная пчела.

Все смеются.

Ладно, раз вы этого слова не понимаете, возьмем азербайджанское слово «от». Я говорю о той самой «от» — траве, которая растет в поле и которую ест скотина. Теперь мы хотим написать «от». Ведь в этом слове два звука: один «о», другой «т». Сначала пишем «о», а затем «т», и получается «от».

Молла-Мовлаверди. Извини меня, господин ушкол, но слово «от» состоит не из двух, а из трех букв.

Учитель Гасанов. Нет, из двух.

Молла-Мовлаверди. Нет уж, извините! Из трех букв. Одна «алиф», другая «ав» и третья «тей»*. Неужели же вы настолько неграмотны, что даже этого не знаете?

Крестьяне смеются.

Старик Гасым. Ну, ладно, господин ушкол, объясни нам, будь милостив, еще один вопрос: когда дети окончат школу, дадут ли им какую-нибудь должность?

Учитель Гасанов. Конечно, это зависит от способностей ученика. Если у него проявятся способности,

он поедет в семинарию, окончит ее и как я будет смотрителем.

Кербелай-Гуламали. Правду сказать, если бы я знал, что учащиеся после школы получают должность, то согласился бы отдать моего сына Мустафу в школу.

Учитель Гасанов. Bravo, bravo! Вот этот человек кажется здравомыслящим! Конечно, каждому родителю следует заботиться о воспитании своего ребенка. Bravo!

Старик Гасым. Ай ушкол, этот переводчик при начальнике Мирза-Мамедкули, видать, учился в больших школах, если стал переводчиком начальника? Видать, он больше тебя учился?

Учитель Гасанов (усмехается). Вот в чем выражается ваше невежество, что вы многого не знаете. Переводчик начальника учился только в городской школе и больше нигде. Я учился больше.

Старик Гасым. Значит, у тебя не было человека, который бы продвинул тебя вперед. Вот почему Мирза-Мамедкули меньше учился и стал переводчиком начальника, а ты больше учился и стал ушколом. Конечно, и то сказать, многое зависит от толкача.

Учитель Гасанов. Дядя Гасым, ты ошибаешься! Если я захочу, стану и переводчиком, и приставом и даже больше того. Но я сам не хочу этого.

Кербелай-Гейдар. А может, и губернатором станешь?

Все смеются.

Учитель Гасанов (сердито). Чего вы смеетесь? Я пришел к вам сюда не шутки шутить.

Пирверди-бек. Ну хватит! Разговор слишком затянулся, и мне пора уходить. (Вскакивает). Слушай, дед Гасым, и вы слушайте, Кербелай-Гуламали, Кербелай-Гейдар и все остальные, слушайте и запомните, что все эти разговоры мне ни почем. Потому что я староста. Моя наука это плеть! Эта суббота пройдет, а в следующую субботу все вы пошлете ребят в школу, и все тут! И никаких разговоров я слышать не желаю. Раз мне приказало мое начальство, я должен выполнить. Тогда я не буду краснеть перед народом и нигде не станут болтать, что на глазах у старосты селения Данабаш Пирверди-бека крестьяне увели своих сыновей из школы и спрятали в кизьяках.

Старик Гасым (к Молла-Мовлаверди). Молла, а ты что скажешь на это? Как твое мнение?

Молла-Мовлаверди (*задумывается, оглядывается вокруг*). Ну да, конечно, изучение наук и приобретение знаний, поскольку это не ведет к разладу с верой, считается благом, однако изучение иных языков и верований, при условии, допустим, если... (*Останавливается*).

Учитель Гасанов. Господни Молла-Мовлаверди, господни инспектор уполномочил меня предложить вам вести уроки по шарияту два часа в неделю и получать за это двенадцать рублей пятьдесят копеек месячного жалованья. Что вы скажете на это?

Молла-Мовлаверди (*выпрямляется и оживает*). Да, да, иншаллах, приложим усилия и при содействии старосты соберем ребят. Без сомнения, изучение наук во всех отношениях весьма полезно, а знание языка нашего возлюбленного падишаха необходимо. Что с того? Наука всегда остается наукой. Пусть благословит аллах! Пусть продлит аллах жизнь нашего падишаха!

Старик Гасым. Да благословит аллах! Да приведет аллах к доброму концу!

Бабушка Шабан. Ай ушкол! Смотри, не бей моего внука Асада! Не бей! Не то не пущу его в школу.

Мешади-Агакиши (к матери). Да замолчи ты, женщина!

Учитель Гасанов. Я приветствую такое отношение жителей селения Данабаш к просвещению, потому что, как уже изволил сказать Молла-Мовлаверди, наука, наука и еще раз наука! Как говорится, ученье — свет, неученье — тьма!

Кербелай-Гейдар и некоторые крестьяне смеются. Учитель Гасанов в одиночестве хлопает в ладоши.

Действие четвертое

Четвертое действие происходит и только что открытой школе селения Данабаш. В просторной крестьянской избе расставлены свежеокрашенные парты; за каждой партией сидят по два ученика от вось-

ми до пятнадцати лет. Всего учеников двенадцать. Впереди стоит классная доска, выкрашенная в черный цвет. Тут же стол и стул. На стенах висят изображения различных животных. На передней стене висит изображение лошади. Учитель Гасанов стоит перед учениками с книжкой в руке и ведет урок, часто заглядывая в книжку. В стороне у стены сидят на корточках старик Гасым, Кербелай-Гуламали и Кербелай-Гейдар. Ученики: Асад сын Мешади-Агакиши и внук старика Гасыма, Мустафа сын Кербелай-Гуламали, Сулейман сын Кербелай-Гейдара и, кроме них, еще Зейнал, Гасангули, Джафар, Сабзали, Нолруз, Гасан, Таркули, Гулам-Гусейн, Зульфали, чьи отцы отсутствуют. Все ученики в своих обычных крестьянских платьях.

Учитель Гасанов (к ученикам). Встаньте! (*Ученики встают*). Садитесь! (*Ученики садятся*). Встаньте! (*Ученики встают*). Поднимите руки! (*Ученики поднимают руки и готовятся к молитве*). Я буду читать молитву, а вы будете повторять ее за мной. (*Поднимает руки перед лицом и начинают читать арабскую молитву, которую вслед за ним повторяют ученики хором*). Амины! (*К ученикам*). Садитесь!

Ученики садятся. Старик Гасым проводит рукой по своему лицу и пронзает молитву, слиящую пророка Мухаммеда и его близких.

То же делают Кербелай-Гуламали и Кербелай-Гейдар.

Старик Гасым. Слава такому падишаху!

Учитель Гасанов. Сегодня у нас предметный урок. Кто расскажет про классную доску?

Несколько учеников поднимают руки.

Мустафа, расскажи ты.

Мустафа (*встает и говорит складно*). Классная доска. Классная доска высокая и черная. Классная доска стоит на двух ножках. На классной доске пишут мелом. Классную доску вытирают тряпкой.

Учитель Гасанов. А теперь хором!

Сказанное о классной доске Мустафой ученики повторяют хором

Кто подойдет и покажет классную доску?

Ученики поднимают руки.

Сабзали!

Ученик Сабзали подходит и показывает рукой доску.

Старик Гасым (к внуку Асаду). Асад, голубчик, поди и ты покажи!

Учитель Гасанов (*старика Гасыму*). Дядя Гасым, прошу вас не разговаривать с учениками! (*К Сабзали*). Говори.

Сабзали. Вот классная доска.

Учитель Гасанов. Нет, не так.

Сабзали (*с удивлением смотрит на учителя*). Вот же (*показывает классную доску*).

Учитель Гасанов. Неправильно. Я как учил? Кто скажет?

Крестьяне удивлены. Ученики задумались.

Надо сказать: это — классная доска.

Кербелай-Гуламали. Пусть и наш Мустафа скажет. Эй, Мустафа, скажи и ты, чтобы хорошо запомнить.

Учитель Гасанов (*к Кербелай-Гуламали*). Я вас прошу не разговаривать с учениками.

Старик Гасым достает и начинает набивать трубку.

(*К ученикам*). Повторите хором: это — классная доска.

Ученики (*хором*). Это — классная доска.

Учитель Гасанов. Кто расскажет вчерашний урок? Сулейман!

Сулейман (*встает*). Овца, собака, кошка, лошадь, коза, буйвол, корова.

Джафар. Учитель, он пропустил.

Учитель Гасанов. Что?

Джафар. Теленка.

Старик Гасым выбивает кремнем огонь и закуривает.

Учитель Гасанов (*к старика Гасыму*). Дядя Гасым, в классе нельзя курить, никак нельзя!

Старик Гасым молча зажимает трубку в кулаке.

(*К ученикам*). Хорошо. Смотрите на меня. Что это? (*Показывает изображение лошади*).

Все ученики поднимают руки.

Зульфали, скажи ты.

Зульфали. Это лошадь.

Учитель Гасанов. Нет. Подумай как следует.

Старик Гасым. А чего тут думать. Правильно говорит, это лошадь.

Учитель Гасанов (*оглядывается на старика Гасыма, но ничего ему не говорит*). Сабзали, скажи ты! Сабзали. Это картина лошади.

Учитель Гасанов. Нет, неправильно.

Мужчины удивленно переглядываются и качают головой.

Не так. Кто поправит?

Ученики задумываются, и никто не поднимает руки.

Слушайте все: это — изображение лошади.

Несколько учеников. Это — изображение лошади.

Учитель Гасанов. Хором: это — изображение лошади.

Ученики (*хором*). Это — изображение лошади.

Учитель Гасанов. Еще раз.

Ученики (*хором*). Это — изображение лошади.

Учитель Гасанов. Гасанкули, скажи ты!

Гасанкули. Это — изображение лошади.

Учитель Гасанов. Новруз, подойди и покажи изображение лошади.

Новруз подходит и показывает.

Учитель Гасанов. Скажи.

Новруз. Это — картина лошади.

Учитель Гасанов. Нет, неправильно. Мустафа, поправь!

Мустафа. Это — изображение лошади.

Учитель Гасанов. Новруз, садись на место.

Новруз садится на свое место.

(*Показывает голову лошади*). Что это у лошади? Гасан, скажи ты.

Гасан. Это — изображение лошади.

Учитель Гасанов. Нет. (*Показывает свою голову*). Вот смотри, это что у меня?

Гасан. Голова.

Учитель Гасанов. Нет, не так.

Мужчины удивлены.

Это — моя голова.

Несколько учеников. Это — моя голова.

Учитель Гасанов (*кладет руку на голову лошади*). Это что у лошади?

Гасан. Это — голова лошади.

Учитель Гасанов. Еще раз.

Гасан. Это — голова лошади.

Учитель Гасанов. Хором!

Ученики (*хором*). Это — голова лошади.

Учитель Гасанов. Асад, скажи ты.

Асад. Это — голова лошади.

Учитель Гасанов. Молодец! Это — голова лошади. Повтори!

Асад. Это — голова лошади.

Учитель Гасанов. Хором!

Ученики (*хором*). Это — голова лошади.

Учитель Гасанов. Хорошо! (*Кладет руку на ухо лошади*). Это что у лошади?

Несколько учеников (*с места*). Ухо.

Учитель Гасанов. Кто хочет сказать, пусть поднимет руку.

Ученики поднимают руки.

Таркули, скажи ты.

Таркули. Ухо.

Учитель Гасанов. Нет.

Мужчины удивленно переглядываются.

Гулам-Гусейн, скажи ты.

Гулам-Гасан. Это ухо.

Учитель Гасанов. Нет. Джафар, скажи ты.

Джафар. Ухо лошади.

Учитель Гасанов. Нет.

Джафар. Уши.

Учитель Гасанов. Нет.

Старик Гасым (*к учителю*). Ну, хорошо, ты сам скажи, если не ухо, то что же?

Учитель Гасанов (*к старику Гасыму*). Дядя Гасым, если будете разговаривать, я должен буду попросить вас уйти отсюда.

Старик Гасым. Пожалуйста!

Мужчины нехотя встают.

Сулейман. Учитель, у нас тоже есть лошадь.

Учитель Гасанов (*к Сулейману*). Я же тебя не

спрашивал, есть у вас лошадь или нет. Зейнал, спрашивал?

Зейнал. Нет, не спрашивали.

Учитель Гасанов. Таркули, спрашивал?

Таркули. Нет, не спрашивали.

Учитель Гасанов. Теперь повторите хором: нет, не спрашивали.

Ученики (*хором*). Нет, не спрашивали.

Асад. Учитель, у нас тоже есть лошадь.

Старик Гасым (*к Асаду*). Асад, сынок, этот учитель, может, никогда лошади не видел. Пойдем домой, садись на лошадку и присеймай сюда, пусть увидит, и голову пусть увидит, и уши.

Учитель Гасанов (*к старику Гасыму сердито*). Дядя Гасым, ради аллаха, уйди отсюда, дай вести урок.

Старик Гасым. Я всурьез говорю. Верховая лошадь, иноходец. Когда захочешь, можешь сесть и проехать. Тогда и голову увидишь, и уши. Пойдем, детка!

Асад встает и в нерешительности смотрит на учителя.

Учитель Гасанов. Пока урок не кончился, нельзя выходить из класса.

Мужчины проходят к двери и останавливаются.

(*К ученикам*). Встаньте! (*Ученики встают*). Сядьте! (*Ученики садятся*). Встаньте! (*Встают*). Сядьте! (*Садятся*).

Гасанкули. Учитель, наша лошадь вороная.

Учитель Гасанов (*к Гасанкули*). Я тебя не спрашиваю. (*К ученикам*). Спрашиваю?

Несколько учеников. Не спрашиваете.

Учитель Гасанов (*к Гасанкули*). Ступай в угол.

Гасанкули отходит и становится лицом в угол.

Мужчины с удивлением наблюдают за ним.

Старик Гасым (*к учителю Гасанову*). Ай учитель, почему ты поставил мальчика лицом к Мекке?*

Учитель Гасанов молчит. Некоторые ученики смеются.

Учитель Гасанов (к ученикам). Сколько у меня ушей?

Старик Гасим, Кербелай-Гейдар и Кербелай-Гуламали громко смеются и выходят из класса. Смеются и некоторые ученики.

(Сердито смотрит вслед мужчинам). Вот невежественный народ! (Кладет руку на шею лошади). Что это у лошади?

Ученики поднимают руки.

Гулам-Гусейн, говори ты!
Гулам-Гусейн. Шея.
Учитель Гасанов. Дай полный ответ.
Гулам-Гусейн. Это — шея лошади.
Учитель Гасанов. Хором.
Ученики (хором). Это — шея лошади.
Учитель Гасанов. Еще раз.
Ученики (хором). Это — шея лошади.
Учитель Гасанов (некоторое время смотрит в свою книжку). Чем покрыто туловище лошади?

Ученики молчат.

Слушайте меня. Туловище лошади покрыто волосом.
Гулам-Гусейн (с места). У лошади кожа с волосом.

Учитель Гасанов. Нет, не так.
Гулам-Гусейн. Лошадь волосатая.
Учитель Гасанов. Нет, и не так. Кто может сказать? Зейнал, скажи ты.
Зейнал. Ушкол, у лошади есть волос.

В этот момент Асад берет сумку и направляется к двери.

Учитель Гасанов (к Асаду). Ты куда, Асад?
Асад. Ушкол, я проголодался. Иду домой.
Учитель Гасанов. Садись на место! Пока урок не кончится, нельзя уходить.

Асад продолжает идти к выходу. Учитель Гасанов хватается его за плечи.

Раз ты не послушался меня, ступай в угол. И еще в наказание я оставлю тебя без обеда. (Достает из карма-

но часы, смотрит). Кто дежурный? Джафар, ты? Ступай, дай звонок!

Джафар бежит во двор и дает звонок. Ученики с криком и шумом выбегают из класса.

Асад (тихо к Мустафе). Мустафа, сбегай, скажи бабушке, что ушкол оставил меня без обеда, и еще, что поставил меня в угол.

Ученики выбегают. Остаются учитель Гасанов и Асад.

Учитель Гасанов (прогуливаясь по классу). Ты настоящий болван. Если ты теперь не будешь слушаться учителя, так каков же ты будешь, когда вырастешь в мужчину? Уж не грабителем ли собираешься быть, или разбойником? Немудрено, что с таким воспитанием мужчины селения Данабаш ведут себя как дикари, потеряли все человеческое. Вот ваши мужчины, вот ваш аксакал Гасым Посмотри, как он ведет себя, как насмешается над моим уроком.

Несколько учеников входят в класс.

Конечно, невежественному человеку мой урок никак не может понравиться. Где им знать, кто такой Ушинский, кто Пирогов, кто Песталоцци. Они привыкли к тому, чтобы годами сидеть на корточках с неграмотными моллами и, раскачиваясь (раскачивается сам взад-вперед), заучивать буквы, чтобы уже в зрелые годы кое-как дочитать «Гюлистан».

Сулейман. Ушкол, я читал «Гюлистан» до пятой главы.

Зульфали (вбегает в класс). Учитель, вот идет сюда бабушка Асада, несет что-то белое в руке и ругается.

Учитель (сердито). Пошел вон!

Зульфали выходит. Издали доносится голос бабушки Шабан. Громко бранясь и угрожая, входит бабушка Шабан. В одной руке у нее дубина, в другой несколько голышей.

Бабушка Шабан. Где мое дитя? (Замечает Асада. К учителю). Ты почему это арестовал его здесь, а? Пусть проклятие падет на голову твоих родителей! Да чтоб ты окаменел в тот день, когда открывал эту шко-

ду! Проклятие тем, кто родил твоих родителей! (К Асаду). Пойдем, сынок!

Учитель Гасанов (сердито останавливает ее). Нельзя! Он не может идти! Ты сама убирайся отсюда!

Бабушка Шабан. Ишь ты какой! Еще меня гонит! Да чтоб тебе... (Бросает голыши. Камень пролетает над головой учителя и ударяется об стену).

Входят Мешади-Агакиши, Кербелай-Гуламали, Кербелай-Гейдар, Гаджи-Намазали и еще несколько крестьян. Мешади-Агакиши хватает бабушку Шабан и тащит ее к выходу.

Мешади-Агакиши. Уйди отсюда, женщина. Не скандалы!

Мужчины стоят удивленные и растерянные. Бабушка Шабан, продолжая браниться, уходит и уподит с собой и Асада. Ученики с подавленным видом смотрят на это.

Учитель Гасанов. Боже мой, что за дикое племя! Как мне теперь работать в школе? Совсем меня извели тут. Что за обращение? Разве можно так заниматься, проходить программу?

Мешади-Агакиши. Ай ушкол, ради бога, не обращай внимания на эту сумасшедшую бабу! Пусть убирается ко всем чертям! Что она за особа, чтобы слушать ее речи!

Учитель Гасанов. Отстань ты, ради аллаха! Это не люди, а сумасшедшие какие-то. Нет, нет, я здесь не могу оставаться, я не могу здесь вести уроки. (Оглядывается вокруг, находит ручку и бумагу, садится за стол писать). Где тут староста? Эй, Садых, где наш сторож? Пусть пойдет за старостой. Я напишу начальнику.

Из-за толпы слышится голос: «Да, я здесь, сейчас пойду, позову!» Мешади-Агакиши и другие крестьяне встревожены. Учитель Гасанов пшлет.

Мешади-Агакиши (к учителю). Ай ушкол, ради бога, не пиши, не губи нас! Какое хочешь наказание, наложи сам. Хочешь, я сейчас приведу сюда и эту бабу, и Асада. Наложу на них любое наказание, но не пиши начальнику. Пожалей нас, не губи! Ради бога, не пиши!

Из-за толпы появляется староста Пирверди-бек и бьет плетью Мешади-Агакиши по спине.

Пирверди-бек. Эй, Назарали, отведи его в кутузку. (К учителю). Не пиши, не пиши! Я сам с ними разделаюсь. Пусть буду я последний человек, если не сгною их в темнице! Не надо писать, не надо! (Отнимает у учителя ручку).

Несколько крестьян. Пусть благословит аллах память твоего родителя, староста!

Пирверди-бек (к учителю). Ты знаешь, почему я не хочу, чтобы ты писал об этом начальнику? Потому я не хочу этого, что начальник прочтает твою бумажку и подумает, что староста не справился с местным народом; он может подумать, что жители селения Данабаш опять попрыгали своих детей в кизьяках, чтобы не отдать их в школу. Прошу тебя, порви эту бумажку!

Учитель Гасанов молча опускает голову.

Несколько крестьян. Заклинаем тебя, порви!

Учитель Гасанов (поднимается). Вы должны знать, что профессия учителя священная и очень тяжелая профессия. Когда я кончал семинарию, приезжал к нам губернатор Вайсерман. Он обратился к нам с прекрасной речью, и я помню, как он сказал, что быть сельским учителем — дело почетное. То есть, настоящее почетное, что губернатор нам завидует. Он даже вздохнул несколько раз и сказал: ах, если бы и я пошел этим путем и удостоился бы такой высокой чести! И на самом деле, это очень почетное, святое занятие — выводить народ из мира тьмы в мир света. Возьмем знаменитого Ломоносова. Кем он был сперва? А на какую высоту поднялся благодаря наукам! По просьбе старосты я рву эту бумажку. (Рвет).

Пирверди-бек. Дай бог тебе здоровья!

Крестьяне. Дай бог тебе здоровья!

Учитель Гасанов. Я надеюсь, вы примете мой совет и после этого будете относиться к школе как должно, не допустите, чтобы в школе повторились такие безобразия, как сегодня. Школа не улица. Шум-гам может быть на улице, но непозволителен в школе. На улице происходит шум-гам, а в школе ведется урок. На улице — ругань и брань, а в школе — наставления и науки. Уличные люди останутся в вечной темноте, потому что на улице нет ученья. А в школе каждый обретет свет, потому что в школе есть ученье. Как говорится, ученье—

свет, неученье — тьма! Значит, кто учится, тот живет при свете, а кто нет, в темноте.

Крестьяне. Конечно, конечно! Мы все поняли!

Люди расходятся и, выходя, все зажимают ладонями рты, сдерживая смех.

Кербелай-Гейдар (*тихо, окружающим*). Уйдем скорее, избавимся от этого дурака!

Учитель Гасанов (*вслед уходящим*). Только не забывайте! Ученье, ученье и еще раз ученье!

При этих словах крестьяне не могут удержаться и начинают громко кохотать. Все выходят.

Учитель (*кричит вслед ушедшим крестьянам*).
Ученье — свет, неученье — тьма!

Занавес

СБОРНИЦЕ СУМАШЕДШИХ

Комедия в пяти действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

- Хазрат-Ашраф — губернатор, 55 лет.
Гаджи-Наиб — заместитель губернатора, 45 лет.
Гаджи-Мухаммед-Али — богатый купец, торговец коврами, 50 лет.
Гаджи-Джафар-Компани — богатый купец, 50 лет.
Гаджи-Худаверди Шюрека — богатый купец, 50 лет.
Доктор Лалбюз — (всегда носит очки), 55 лет.
Шамир-Али — ферраш, 30 лет.
Фазил-Мухаммед-и-бн-Якуб-Кюлейни — 40 лет.
Мешади-Зейнаб — его жена.
Молла-Абас-и-бн-Якуб — брат Фазила, сумасшедший, склонный к веселости, 30 лет.
Пырпыз-Соня — жена Молла-Абаса, красивая женщина с распущенными волосами, сумасшедшая, то весела, то печальна, 25 лет.
Рустам-Фармазон — сумасшедший, склонный к веселости, 40 лет.
Сарсам-Гейдар — сумасшедший, склонный к веселости, 35 лет.
Гамзат-Курбан — сумасшедший, склонный к грусти, 35 лет.
Джинни-Мустафа — сумасшедший, всегда сердится, 40 лет.
Гаджи-Багдад — брат Рустама-Фармазона, 45 лет.
Кербелай-Тюрбет — брат Сарсам-Гейдара, 40 лет.
Мекка-Мухаммед — брат Гамзат-Курбана, 40 лет.
Умми-Гюльсум — жена Рустама-Фармазона, 35 лет.
Амина — жена Сарсам-Гейдара, 30 лет.
Сякиня — жена Гамзат-Курбана — 22 лет.
Чавуш-Алалфелах — 35 лет.
Мужчина с сыном.

Кроме перечисленных, еще много разного люда.

Все благочестивые участники действия держат в руках четки и шепелят губами, произнося молитвы, например: «Субхан-аллах, субхан-аллах».

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Первое действие происходит в служебном кабинете губернатора города Хазрат-Ашрафа, который сидит в кресле, возле него стоит его заместитель Гаджи-Наиб. В стороне сидят на стуле доктор Лалбюз и рассматривает бумаги, разложенные на столе. Подальше сидят почтенные купцы города: Гаджи-Мухаммед-Али — торговец коврами, Гаджи-Худаверди Шюрека, Гаджи-Джафар-Компани. В дверях стоит ферраш Шимир-Али. Хазрат-Ашраф говорит Гаджи-Наибу что-то на непонятном языке.

Гаджи-Наиб (*обращаясь к купцам*). Господа гаджи! Хазрат-Ашраф пригласил вас к себе по весьма важному делу, но заклинаю вас долготерпением Хазрат-Аббасом*, если можно, не будем разговаривать тут по-турецки, иначе Хазрат-Ашраф разгневется на меня.

Гаджи-Джафар-Компани (*Гаджи-Наибу*). Господни гаджи, ради всех святых, на этот раз смилуйтесь над нами и расскажите о деле на нашем языке, чтобы нам было понятно. Как вам известно, язык, на котором изволят говорить Хазрат-Ашраф, ни одному из нас незнаком. (*Испугавшись, говорит тише*). Сказать правду, гаджи-ага, клянусь пророком, мы не понимаем языка Хазрат-Ашрафа и даем обет никогда не разговаривать в присутствии Хазрат-Ашрафа, никогда не разговаривать. (*Правой ладонью прикрывает рот*).

Гаджи-Мухаммед-Али. Никогда не разговаривать, никогда не разговаривать! (*Также прикрывает рот ладонью*).

Гаджи-Худаверди. Никогда не разговаривать, никогда не разговаривать! (*Также прикрывает рот ладонью*).

Гаджи-Наиб наклоняется к уху Хазрат-Ашрафа и говорит ему что-то. Тот неслышимо отвечает ему. Хазрат-Ашраф встает и уходит в другую комнату. Тогда Гаджи-Наиб обращается к присутствующим гаджи.

Гаджи-Наиб. Господа гаджи, дело заключается в том, что первейшая задача всякого правителя заботиться о благоустройстве края и о покое и благополучии населения. И Хазрат-Ашраф с того дня, как пожаловал в этот край, направил все свои помыслы к этой цели. Свидетель тому и сам творец, это ясно, как божий день. Этот самый господин (*указывает на доктора*), чье благословенное имя доктор Лалбюз...

Гаджи-Мухаммед-Али. Лалбюз?

Гаджи-Наиб. Да, Лалбюз. Доктор Лалбюз недавно пожаловал из Америки в наш край для исследования того, как и в чем проявляются здесь душевные болезни, какой характер они носят и как протекают, чтобы включить эти наблюдения в курс психопатологии на предмет изучения в американской академии наук.

Доктор Лалбюз тычет пальцем в словарь.

Доктор. Дали, дали... (*Хочет сказать «дели», то есть «сумасшедший»*).

Гаджи-Наиб (*посмотрев на доктора*). Специальность господина доктора и составляет нарушение душевного равновесия, когда человек теряет рассудок, говоря проще, сходит с ума. В этих обстоятельствах было бы нарушением справедливости прибытием господина доктора в наш город. Хазрат-Ашраф пришел к такому решению, чтобы после этого ни один сумасшедший, ни один помешанный не бродил беспризорно по улицам и базарам и чтобы господин доктор учредил определенное место для содержания этих несчастных и занялся их лечением... Подобное мероприятие может дать два положительных последствия; во-первых, удалив сумасшедших с улиц нашего города, мы тем самым проявим заботу о благе нашего края, что само по себе является святым для нас делом; а во-вторых, искупительной силы благодарственных молитв несчастных сумасшедших достаточно будет для прощения не только наших личных грехов, но и грехов наших родителей и всех наших предков. Что вы скажете, господа гаджи?

Гаджи-Мухаммед-Али (*молитвенно поднимает руки*). О великий творец! Не лишай нас, ничтожных рабов твоих, тени таких ученых докторов!

Гаджи-Худаверди (*воздев руки для молитвы*). О невидимый повелитель вселенной, будь милостив к нам! Гаджи-Джафар (*воздев руки*). Амины!

Гаджи-Мухаммед-Али. Пах-пах-пах! Хвала науке господина доктора! Не зря говорят арабы: внешность — зеркало души. Весь его облик являет ученость. И на самом деле, что за ученые у нас, мусульман? Валлах, биллах, клянусь гробницей имама Рзы, которую я

посетил, они даже и в коновалы не годятся. Смотрите, вот каким должен быть доктор! Только жаль, кажется, он не знает нашего языка.

Гаджи-Джафар. Гаджи-ага, что за грех, если и не знает?

Гаджи-Худаверди. Гаджи-ага, что особенного в нашем языке, чтобы знать или не знать его? Что с того, знает или не знает?

Гаджи-Мухаммед-Али (*к гаджи*). Господа гаджи, кланусь аллахом, меня удивляет одно: как этот злодеев сын будет лечить наших сумасшедших, не зная языка? Будь другая болезнь, еще куда ни шло, можно обойтись. А тут, как изволил сказать Гаджи-Наиб, дело в душе, тут надо исследовать душевное состояние сумасшедшего...

Гаджи-Худаверди. Боже, слава твоему могуществу!

Гаджи-Джафар. Лаховле вела гуввете илла биллаху алийоль азин!

Гаджи-Наиб. Господин Гаджи-Мухаммед-Али, знание или незнание языка тут не имеет никакого значения. Вот и Хазрат-Ашраф не знает нашего языка. Однако, кому это причиняет вред? Так и с доктором. Что с того? Дело доктора заключается в том, чтобы получше распознать характер болезни.

Гаджи-Мухаммед-Али (*Гаджи-Наибу*). Никак нет, гаджи-ага, прошу извинить меня! Хазрат-Ашраф совсем другое дело, он правитель и его обязанность только повелевать, да покрикивать, а для этого совсем необязательно знать другой язык. А доктору не мешало бы немного знать язык.

Гаджи-Наиб. Ладно, это мы пока оставим. Теперь перейдем, господа гаджи, к делу. Общеизвестно, что всякое предприятие, имеющее целью благоденствие страны, проводится с помощью и щедротами купеческого сословия, чтобы облегчить бремя, легшее на государственную казну. Исходя из этого, Хазрат-Ашраф изволил возложить расходы по учреждению дома для умалишенных на вас, и мы сейчас по предварительным расчетам господину доктору определили сумму расходов настоящего начинания. (*Наклоняется к бумагам доктора. Доктор то перебирает бумаги, то заглядывает в словарь и показывает Гаджи-Наибу*). Итак, по выкладкам господина док-

тора, если мы решим учредить в нашем городе дом для умалишенных, ежегодный расход выразится в сумме двадцать тысяч туменов.

Гаджи-Мухаммед-Али (*удивленно*). Двадцать тысяч туменов?

Гаджи-Наиб. Да, гаджи-ага!

Гаджи-Худаверди (*удивленно*). Двадцать тысяч туменов?

Гаджи-Наиб. Да, гаджи-ага!

Гаджи-Джафар (*удивленно*). Двадцать тысяч туменов?

Гаджи-Наиб. Да, гаджи-ага!

Гаджи переглядываются и начинают качать головой.

Гаджи-Мухаммед-Али (*Гаджи-Наибу*). Господин Гаджи-Наиб, заклинаю тебя памятью святых мучеников, оставь это!

Гаджи-Худаверди (*Гаджи-Наибу*). Заклинаю тебя священным прахом имама Рзы, оставь это, господин Гаджи-Наиб!

Гаджи-Джафар (*Гаджи-Наибу*). Заклинаю тебя, господин Гаджи-Наиб, невинной кровью четырнадцати младенцев, оставь это!

Гаджи-Мухаммед-Али (*Гаджи-Наибу*). Смею доложить милостивому государю, господину Гаджи-Наибу, что несчастные сумасшедшие лишены рассудка по воле невидимого творца вселенной, который и дарует своему творению разум и лишает его разума, когда это находит нужным. Это такая тайна господина, что... (*Молитвенно поднимает руки к небу и закатывает глаза*).

Хазрат-Ашраф (*просовывает голову в дверь из соседней комнаты и кричит*). Деньги! Деньги! (*И снова скрывается за дверью. Гаджи в страхе*).

Гаджи-Мухаммед-Али (*Гаджи-Наибу*). Что это значит, гаджи-ага? Деньги, вот они, в наших карманах. И имущество наше, и жизнь наша принадлежат господину Хазрат-Ашрафу. Клянусь всемогущим создателем, тут нет лжи! Какие могут быть разговоры!

Гаджи-Худаверди (*Гаджи-Наибу*). Заклинаю тебя, гаджи-ага, долгоруким Хазрат-Аббасом, напрасно господин Хазрат-Ашраф изволит гневаться. Мы же ничего не говорим. Раз господин Хазрат-Ашраф изволил показать, как смеем мы возражать?!

Все гаджи. Как мы смеем возражать?!

Гаджи-Худаверди. Я готов жизнь отдать за тебя, почтенный гаджи-ага, только вопрос в том, чтобы с каждого брать по его возможностям. Изволь сам рассудить, можем ли мы втроем выложить эти двадцать тысяч туменов, или не можем?

Гаджи-Джафар. Ладно, мы, злосчастные, ничего не говорим! Ладно, половину этой суммы уплатим мы, а другую половину пусть дадут другие купцы.

Гаджи-Наиб. Господин Гаджи-Мухаммед-Али! Заклинаю вас всех святым Али, не говорите мне этих слов. Если вы имели что сказать, сказали бы Хазрат-Ашрафу. Если вы не думали платить деньги, то не надо было брать на себя.

Гаджи-Худаверди. Гаджи-ага, когда мы, несчастные, взяли на себя?

Гаджи-Джафар. Проклятье шайтану!

Гаджи-Худаверди. Слава твоему могуществу, аллах!

Гаджи-Мухаммед-Али (*обращаясь к доктору*). Господин доктор, давай, выбрось эту затею из головы!

Доктор, ничего не понимая, с удивлением смотрит на гаджи.

Гаджи-Худаверди (*доктору*). Послушайте, господин доктор, правильно говорит Гаджи-Мухаммед-Али. Что это за дело — открытие дома умалишенных, чтобы и себя беспокоить, и нам причинять беспокойство? Насколько мы знаем, всякое сумасшествие имеет свою причину. Это — напасть, это — рок. Каждое живое существо, сраженное этой напастью, должно принять его как наказание за содеянное. Помочь в этой беде может либо «Джовшени кебир», либо «Джовшени сстир»; молитвы эти, написанные на бумаге, пришивают к платью сумасшедшего и непременно к левому рукаву. (*Показывает рукой*).

Хазрат-Ашраф (*просовывает голову через дверь и кричит громко и сердито*). Деньги! Деньги!

Гаджи (*в растерянности и страхе*). Слушаемся! Слушаемся! Деньги готовы! (*Протягивают руки к карманам*).

Гаджи-Мухаммед-Али (*Гаджи-Наибу*). Ладно, Гаджи-Наиб-ага! Мы на все согласны и деньги сейчас выложим. Но заклинаю тебя имамом Мусейн-Кязимом,

поговори с доктором, объясни ему, пусть убавит сумму. Ведь у нас в городе нет столько сумасшедших, чтобы на лечение их потребовалось двадцать тысяч туменов.

Гаджи-Джафар. Да нет же, нет, где у нас столько сумасшедших? Всего то их наберется человек пять-шесть.

Гаджи-Мухаммед-Али (*Гаджи-Джафару*). Нет, гаджи-ага, клянусь жертвами битвы при Кербеле, их не больше четырех. Один сумасшедший Кербелай-Абас, далее его жена Пыррыз-Сопа, еще, еще...

Гаджи-Худаверди. Еще один, этот самый... как его... Рустам-Фармазон, что ли. И еще, может, один, может, двое...

Гаджи-Наиб (*наклоняется к бумагам доктора*). Здесь записаны прежде всего расходы на медикаменты, например, психикум сульфурникумброматум — тысяча туменов... Много я тут не разберу, не знаю.

В дверь показывается голова Хазрат-Ашрафа.

Хазрат-Ашраф (*кричит*). Деньги! Деньги!

Купцы поспешно и в страхе достают из кармана некоторое количество золотых монет и высыпают перед Гаджи-Наибом, который отбирает половину денег и относит за дверь, передает Хазрат-Ашрафу, а остальную сумму кладет перед доктором. Доктор собирает деньги в платок, складывает свои бумаги и подходит прощаться за руку с гаджи. Купцы, нехотя подав руку доктору, держат руки впереди, с тем чтобы потом помочь их. Доктор с недоумением смотрит на Гаджи-Наиба, как бы спрашивая его о причине такого поведения гаджи. Гаджи, недополные, собираются уходить. В это время на улице поднимается шум. Ферраш-Шамирли выбегает на улицу, потом возвращается и взволнованно сообщает.

Ферраш-Шамирли. Господин Гаджи-Наиб, странные вещи говорят.

Гаджи-Наиб. А что говорят?

Ферраш-Шамирли. Говорят, что явился Хазрат-Ганм, да будет благословенно имя его!

Гаджи-Наиб. Да что ты говоришь?

Ферраш-Шамирли. Клянусь пророком, так говорят.

Взволнованный, выходит из своей комнаты Хазрат-Ашраф и вместе со всеми гаджи молитвенно поднимает руки.

Все (*молитвенно*). Лаховле вела гуввете илла биллаху алийюль азим!

Действие второе

Пронсходит в доме Фазил-Мухаммед-ибн-Якуба. Понури голову сидит жена Фазила Мешади-Зейнаб; возле нее играет ее сын Гейдар лет пяти-шести. Издали слышатся крики уличных мальчишек, которые бросают камни в ворота дома. Спасаясь от мальчишек, убегают сумасшедший Молла-Абас и его сумасшедшая жена Пырпыз-Сона, которых преследуют уличные мальчишки. При виде их Мешади-Зейнаб быстро поднимается и, подняв с пола башмак, бросает в сумасшедших. Сумасшедшие вскрикивают; с одной стороны, они боятся уличных мальчишек, с другой, защищаются от Мешади-Зейнаб.

Мешади-Зейнаб (*сердито*). Убирайся к черту отсюда!..

Пырпыз-Сона. Вот еще! Ишь, какая! Зачем нам убираться к черту? (*Молла-Абасу*). Скажи, ради аллаха, Молла-Абас, мы попадем в ад? (*Слезно*). Ради аллаха, Молла-Абас, не дай меня увести в ад! Я боюсь ада! (*Дрожит в страхе*).

Молла-Абас (*сердито Соне*). Замолчи, бесстыжая, рожденная бесстыжей!

(*Сердито смотрит на Сону*). Бей в ладоши, я хочу танцевать!

Пырпыз-Сона бьет в ладоши, Молла-Абас пускается в пляс.

Мешади-Зейнаб (*громко, сердито*). Проваливай-те, не то, клянусь аллахом, разобью вам голову этим камнем! (*Поднимает что-то в руке и хочет бросить в сумасшедших. Те пьются к двери, но из страха перед мальчишками снова возвращаются в комнату*).

Молла-Абас (*чуть не плача*). Но куда мне деваться? Мальчишки бьют меня камнями.

Сона косится на Мешади-Зейнаб и вдруг бросается к ней и отталкивает ее. Мешади-Зейнаб бьет ее кулаками.

Молла-Абас (*С плачем*). Ой, женщины, ради аллаха, не деритесь!

Фазил-Мухаммед (*входит, снимает башмаки*). Что это за скандал опять? (*Молла-Абасу*). Что ты опять собрал тут всех уличных мальчишек? Что ты пристаешь к ним? Тысячу раз я говорил тебе, не связывайся с этой детворой. (*Соне*). Сона, как поживаешь, дочь моя?

Ни слова не говоря, Сона и Молла-Абас низко кланяются ему.

(*Молла-Абасу*). Абас я снова слышу жалобы на тебя. Веди себя по смирнее. Стыдно ведь! Ты мой единокровный и единоутробный брат. Когда ты даешь людям повод смеяться над тобой, я со стыда не могу показаться на улице. Ты вконец меня ослепил. И потом перестань богохульничать, сквернословить. Не трогай аллаха, пророка, не объявляй природу священным предметом поклонения. Иначе ведь народ может побить тебя камнями. Скажи, ну скажи мне, до каких пор ты будешь безумствовать? Скажи хоть одно слово, что ты хочешь?

Молла-Абас (*Фазилу*). Братец, разреши мне поплясать!

Сона (*Фазилу*). Братец Фазил, разреши и мне поплясать!

Фазил (*сердито*). Вы не должны шутить со мной. Я, Фазил, ученый, меня уважать надо. Допустим, что я разрешил, но как ты посмеешь плясать при мне?

Молла-Абас (*как бы найдя что-то*). Ей-богу, братец, посмею плясать. Хочешь, попляшу? (*Поднимает руки, собирается плясать*).

Фазил (*кричит на него*). Не дури!

Молла-Абас в испуге бежит вон из комнаты.

Сона. Погляди только, братец Фазил, как хорошо я пляшу!..

Сона поднимает руки, чтобы плясать; видит молчание Фазила и начинает пламенный танец. С рассыпанными на плечи волосами она делает круг и танце и проходит перед Фазилом.

Фазил (*оторопело смотрит на Сону и вдруг отворачивается*). Проклятие сатане!

Сона (*Мешади-Зейнаб*). Слушай, Зейнаб, иди и ты танцевать!

Мешади-Зейнаб отталкивает Сону от себя. Приплясывая входит Молла-Абас.

Фазил (*Молла-Абасу*). Убирайся вон отсюда! Молла-Абас. Братец, если не хочешь, чтобы я танцевал, разреши кувыркаться! (*Кувыркается*).

Фазил (*наступает на Молла-Абаса*). Убирайся отсюда! Иначе я не знаю, что с тобой сделаю!

Молла-Абас и Сона выбегают из комнаты. Наступает тишина.

(К Зейнаб). Мне надо сказать тебе кое-что, Зейнаб.

Зейнаб молчит.

Послушай меня, что я скажу. По шарнату установлено, что когда мужчина сходит с ума, его жена освобождается от уз брака, как если бы был учинен узаконенный развод. Сумасшедшая Пырпыз-Сона, жена несчастного моего брата Молла-Абаса, все время мельтешит передо мной с обнаженными руками и ногами, и я волей-неволей вынужден смотреть на нее; ни один правверный не может мириться с этим.

Мешади-Зейнаб (Фазилу). Что же ты думаешь делать?

Фазил (после некоторого молчания). Ей-богу, я и сам в замешательстве, потому, что и в самой сумасшедшей женщине я не вижу толку. (Немного помолчав). Ладно, посмотри-ка, куда бежала Сона. Позови ее сюда, я поговорю с ней.

Зейнаб выходит, мальчик следует за ней. Фазил задумывается. Через некоторое время Зейнаб вводит Сону за руку. Фазил поднимает голову.

Подойди ко мне, Сона! Мне надо сказать тебе...

Сона почтительно склоняется перед ним.

Сона, я хочу хорошо одеть тебя, нарядить, умыть, привести в порядок. Но с одним условием, чтобы ты вела себя хорошо, не бегала по улицам, не безобразничала.

Сона (в страхе начинает плакать). Братец Фазил, я боюсь тебя!

Фазил (ласково). Почему боишься меня, дочка?

Сона. Боюсь, что ты побьешь меня.

Фазил (ласково). Не бойся, дочь моя. Я не стану тебя бить. Зачем мне бить тебя?

Сона. Я же танцевала перед тобой. Боюсь, что рассердишься.

Фазил. Нет, дочка, не буду сердиться. Хочешь, еще потанцуй!

Сона поднимает руки, собираясь танцевать, но оглядывается покрут и направляется к выходу.

Сона. Дай, пойду позову Молла-Абаса.

Фазил (становится перед ней). Нет, не уходи, послушай, что я тебе скажу.

Сона выбегает, из-за двери смотрит на Фазила, который тоже долго смотрит на Сону.

Дочка, пожалей нас. Уж если не жалеешь бедного Молла-Абаса, пожалей хоть меня, образумься! Скажи мне, наконец, что ты хочешь, почему ты ведешь себя так?

Сона. Братец Фазил, я ищу имама!

Фазил. Какого имама ты ищешь?

Сона. Я ищу Сахибаззамана!

Фазил. Зачем тебе нужен имам Сахибаззаман?

Сона. Я хочу выйти замуж за имама Сахибаззамана.

Фазил. Ты сумасшедшая, потому ты говоришь такие вещи.

Сона. Нет, братец Фазил, сам ты сумасшедший, потому говоришь такие вещи.

Фазил (задумчиво). Что мне сказать, дочка? Если так хочешь, выходи за имама. Но ведь если ты не образумишься, в таком состоянии имам тебя не примет.

Сона (плача). А в каком я состоянии? (Оглядывает себя). В каком состоянии? Нет, нет, я хочу имама, отведи меня к имаму. Я хочу имама Сахибаззамана!

Поглядев некоторое время на Сону, Фазил начинает плакать. Закрыв лицо рукой, он опускается на колени. Пробыв некоторое время в этой позе без движения, он поднимает голову и протягивает руки к небу.

Фазил. О аллах, милостивый и милосердный! Заклинаю тебя невинной кровью семидесяти священных жертв, отпусти грехи брату моему Молла-Абасу, который на улицах и рынках позволял себе смеяться над твоим величием, выражать сомнение в твоём могуществе, говорить о природе как предмете своего поклонения, кроме всего этого, не стеснялся произносить богохульные и оскорбительные для слуха речи! Прости его, боже, ибо ты милосерден и милостив к рабам своим! Великий аллах. Заклинаю тебя мучениками Кербелы, даруй исцеление рассудку несчастной Соне, чтобы она перестала показываться посторонним мужчинам с голыми руками, ногами и с непокрытым лицом и не ввергала нас, слабых рабов твоих, в великий и тяжкий грех. Аллахуме беллиге

мовлаи-сахибаззаман салаватуллахи алейхи ве джамуль моминин велмоминат, фи мешаригуль эрз ве мегарибеха! Да явится святой имам Сахибаззаман и помилует своих грешных рабов! Да не даст он, чтобы мир распался и погиб! *(Еще выше поднимает руки и повышает голос)*. Явись, о Сахибаззаман!.. Явись!.. И поведи своих грешных рабов по верному пути.

Молла-Абас и Сона просовывают голову и из-за двери наблюдают за ним.

О господни и повелитель века, явись! Я, Мухаммед, сын Якуба, по прозвищу Кюлейни. *(Поворачивается к выходной двери и кричит)*. О люди! Ныне возвещаю вам явление имама Сахибаззамана! *(Глаза навывкате, руки молитвенно воздеты, на губах выступила пена)*.

Сона *(увидев Фазила в этом состоянии, в страхе зовет Молла-Абаса, плачет)*. Посмотри, Молла-Абас, посмотри! Братец Фазил сошел с ума! *(Испуганно кричит)*.

С улицы появляется с кнутом в руке Ферраш-Шимирали и обращается к Соне.

Ферраш-Шимирали. Не двигайся с места! Доктор идет!

Входит доктор Лалбюз с термометром в одной руке и с разными медицинскими инструментами в другой.

(Фазилу). Осмелюсь доложить господину Фазилу, что этот господин *(указывает на доктора Лалбюза)* знаменитый профессор Лалбюз, который исцеляет сумасшедших. Он дает им такое лекарство, что не проходит и трех дней, как сумасшедший поправляется и делается таким же разумным существом, как мы с тобой.

Фазил *(поднимается и почтительно приветствует доктора)*. Пожалуйста, садитесь. *(Феррашу-Шимирали)*. Верно, верно, я никогда не сомневался в том, сколь искусны американские ученые в медицине. Однако, лечение душевных болезней, чем изволит заниматься сей высокочтимый господин, к сожалению, настолько трудное дело, что в успешном исходе этого лечения я, грешный, сильно сомневаюсь. Ибо всемогущий аллах сам повелел: гулирруху мин эмри рэбби! Так как значение и смысл слова «эмри» не нашли должного разъяснения, вследствие этого ум приходит в смятение и весь спор мудрецов сво-

дится к одному вопросу: чем является душа? Сущностью или оболочкой и, если является сущностью, то отвлеченной или неотвлеченной? Ибо святому имаму Джафар-Садик-Абу-Абдулле приписывается предание о том, что когда господь поручил извлечение души своих рабов ангелу смерти, то повелел: изыми души рабов моих и пришеи мне, чтобы я их успокоил *(начинает плакать, и доктор, удивившись, подходит к нему)* и даровал им вечное блаженство. И ангел смерти носит к господу богу все души. *(Плачет. Доктор кладет руку ему на плечо и недоуменно смотрит на Ферраш-Шимирали)*.

Молла-Абас *(просит доктора)*. Почтенный доктор, мой брат Фазил сумасшедший; дай ему какое-нибудь лекарство, чтобы вернулся к нему рассудок.

Фазил продолжает плакать, закрыл лицо руками. Доктор смотрит на людей и ничего не может поить.

Ферраш-Шимирали *(доктору)*. Господин доктор, вот один из сумасшедших в нашем городе *(показывает на Молла-Абаса)*, а вот еще сумасшедшая — его жена Пырпыз-Сона *(показывает)*.

Сона *(доктору)*. Господин доктор, вот один из сумасшедших в нашем городе *(указывает на Фазила)*, а другой...

Ферраш-Шимирали отталкивает ее и хочет вывести из комнаты, но доктор, подняв руку, останавливает его.

Фазил *(поднимает голову)*. Боже, ты милосерден! *(Доктору)*. Господин доктор, заклинаю тебя Иисусом и Марией, если есть целебная сила в тех лекарствах и средствах, которые имеются в твоём распоряжении, помоги этой несчастной женщине, чтобы она не бегала с обнаженными руками и ногами перед посторонними мужчинами и, избавившись от этого позора, весь остаток жизни молилась за тебя.

Доктор смотрит на обнаженные руки и ноги Сона и берет ее руку, чтобы пощупать пульс.

Доктор. Твоя имя как? *(Сона молчит)*. Твоя имя как?

Ферраш-Шимирали *(Соне)*. Доктор тебя спра-

щипает, как тебя звать. Почему не ответишь? Ты же не глухая!

Молла-Абас (*передразнивая*). Твоя имя как?

Все смеются. Ферраш-Шимирали наступает на Молла-Абаса, тот убегает. Соиа плачет.

Соиа. Почему вы обижаете Молла-Абаса? (*Доктору*). Господин доктор, не позволяй этим сумасшедшим обижать и бить моего Молла-Абаса! (*Плачет*).

Фазила (*доктору*). Господин доктор, заклинаю тебя господом богом, который из пустоты создал и землю и небо, помоги и брату моему Молла-Абасу, может быть, и он найдет исцеление... Ну что делать! Допустим, что с тех пор, как этот несчастный подвержен недугу, он считал как бы своим назначением издеваться над божественной мудростью, что поражает умы своим совершенством. Но может, вопреки его богохульным речам, всемогущий господь жгальится над этой несчастной женщиной (*плачет*), и вы окажете ей помощь, чтобы не бегала она с открытым лицом и не вводила нас в великий грех смотреть на постороннюю женщину...

Соиа (*умоляет доктора*). Эй, доктор, ради аллаха, дай моему братцу Фазилу какое-нибудь лекарство, чтобы он поумнел и перестал щипать меня в темных углах!

Все смеются, кроме доктора и Фазила.

Фазила (*поднимает голову, говорит громко и сердито*). Не лги, бесстыжая!

Соиа (*плакливо*). Зачем же мне лгать? А кто насадил эти синяки? (*Показывает синяки на своем теле. Молла-Абас у дверей громко хохочет*).

Фазила (*поднимает руки к небу*). Астагфурулла ребби вэ этуби илейх! Лаховле вела гуввета илла биллахи алийюл азим!..

Сумасшедшие (*передразнивают Фазила*). Лаховле вела гуввета илла биллахи алийюл азим!

Сумасшедшие выбегают из комнаты. Ферраш-Шимирали бежит за ними.

Ферраш-Шимирали (*кричит*). Эй, не пускайте, сумасшедшие сбежали! Ловите!

Фазила обними руками закрывает лицо.

Доктор (*в крайнем удивлении*). Кто сумасшедший? Кто сумасшедший?

Действие третье

Издали доносятся шум, крики, которые все ближе. На улице появляется Молла-Абас. За ним показывается Соиа. Их преследует ватага уличных мальчишек, которые бросают в них камни. Сумасшедшие стараются защищаться от них.

Молла-Абас. Ой, люди добрые, ей-богу, эти мальчишки с ума меня сведут.

Брошенный мальчишкой камень попадает в какую-то дверь, которая открывается, и из нее выходит Мешади-Гаджи с четками в руках. Он шевелит губами, шепча молитву. Он кричит на мальчишек и прогоняет вой.

Мешади-Гаджи. Убирайтесь отсюда, собачье отродье! (*Обращается к Молла-Абасу*). Послушай, что же ты опять водишь за собой эту несчастную женщину с разоблаченным телом, таскаешь ее по улицам? Будь проклят ты, да будут прокляты родившие тебя!

Сумасшедшие слушают, виновато опустив головы. Мешади-Гаджи подходит ближе к Соие, олядывает ее голые руки и ноги.

Да будет проклят шайтан!

Из других дверей выходит Наджафуль-Ашраф с четками в руках, шепча молитву. При виде сумасшедших начинает кричать.

Наджафуль-Ашраф. Люди добрые, никак не пойму, чего эти безумцы беспокоят народ! (*Оглядывает голые руки и ноги женщины и произносит как бы про себя*). Пусть будет проклят шайтан!

Гаджи-Ислам (*с четками в руках, шепча молитву, выходит из своих дверей и кричит на сумасшедших*). Опять здесь этот проклятый человек? А ведь их собрались поместить в дом для умалишенных. Так зачем же они снова мотаются здесь? (*Оглядывает женщину и говорит тихо*). Проклятье дьяволу!

Сумасшедшие почтительно опускают головы.

Мешади-Гаджи (*Молла-Абасу*). Ну, что скажешь, именующий себя сыном природы?

Наджафуль-Ашраф (*Молла-Абасу*). Ну, скажи, что ты хочешь? Так ты утверждаешь, что все сущее сотворилось самой собой, так ли? Что никто его не создавал, да? Что аллаха нет? (*Произнося эти слова, тычет Молла-Абаса в подбородок*).

Гаджи-Ислам (*потрясая кулаком, кричит на Молла-Абаса*). Проклятый, сын проклятого! Клянусь аллахом, разможжу тебе голову! (*Оглядывает женщину и говорит как бы про себя*). Проклятые шайтану!..

Сумасшедшие почтительно кланяются.

Наджафуль-Ашраф (*подходит ближе к женщине и оглядывает ее*). Пусть падет на шайтана проклятье аллаха!

Гаджи-Абдулазим (*выходит с четками в руках, шепча молитву*). Что это, опять тут безобразничают сумасшедшие бездельники! Их же должны были сегодня согнать в дом умалишенных! Велик аллах! Господин Наджафуль-Ашраф, клянусь Абульфазл-Аббасом, из-за этих сумасшедших мы покроем себя позором. Беда в том, что этот чертов сын (*указывает на Молла-Абаса*) распустил язык, братец мой, распустил. Клянусь эмиром благочестивых, распустил он язык.

Благочестивые. Вот именно, распустил!..

Все сумасшедшие кланяются.

Гаджи-Абдулазим. Вчера иду я с кладбища после поклонения могилам. Послушайте только, что мне говорит этот богохул, рожденный богохулом (*указывает на Молла-Аббаса*), при всем честном народе! Это какая рыба, говорит, высунила голову из воды, когда ее позвал святой, и ответила на его вопрос? Я отвечаю ему, что рыба эта «гелгагил», у которой и рога имеются. Так перед огромной толпой народа этот вероотступник, сын вероотступника (*указывает на Молла-Абаса*) расхохотался и говорит... Нет, послушайте, что он говорит: «А разве рыбы не бессловесны?»

Тут Молла-Абас принимается плясать, щелкая на пальцах. Глядя на него, пускается в пляс и Сопа.

Благочестивые. Да пошлет аллах на вас свое проклятье! Будьте вы прокляты!..

Гаджи-Мединэ (*перебирая четки, обращается к Молла-Абасу*). Клянусь святой Фатимей-Захрой, повало тебя на этой улице и так затопчу, что мозги твои перемешаются с уличной пылью! Мерзавец ты этакий! Как ты смеешь задевать шнур от штанов святого? (*После этих слов, начинает оглядывать руки и ноги Сопы*).

Мешади-Гаджи (*к Гаджи-Мединэ*). Астагфурулла, гаджи-ага, что это вы изволили сказать? Астагфурулла!

Благочестивые. Астагфурулла ребби ве этуби алейх!.. Прости, аллах, наши прегрешения!..

Гаджи-Мединэ. Вы только послушайте, клянусь тысячей и одним именем аллаха, этот еретик, сын еретика, собрал вчера вокруг себя толпу ротозеев на улице и кошунствовал над шнуром от штанов святого. Будто бы, прости господи, когда святой ходил оправляться, поручал шнур от своих штанов погонщику верблюдов, а так как шнур этот был весьма ценен, то погонщик решил завладеть им, и когда войска гиуров умертвили святого, погонщик подошел к святому, чтобы снять шнур со штанов его, но святой положил на шнур раньше правую руку, а затем и левую; только вероломный погонщик отрубил руки святого и завладел шнуром от его штанов. (*Плачет*).

Принимаются плакать и благочестивые. Молла-Абас стоит молча с поинкшей головой.

Благочестивые (*плача*). Мы готовы умереть за шнур от твоих штанов, о глава мучеников-святых!..

Доктор Лалбюз и Ферраш-Шимирали исподволь наблюдают за ними. Молла-Абас принимается передразнивать благочестивых.

Молла-Абас. Мы готовы умереть за шнур от твоих штанов, о глава святых мучеников! (*Повторяет эту фразу трижды, после чего с громким хохотом выбегает. За ним бежит Сопа*).

Благочестивые (*вслед им*). Будьте вы прокляты!

Ферраш-Шимирали останавливает сумасшедших. А доктор Лалбюз подходит к благочестивым.

Ферраш-Шимирали (*сумасшедшим*). Стойте! Куда вы бежите? Битых два часа мы ищем вас. Сейчас я поведу вас в дом для умалишенных. Там вернется к

вам рассудок, и вы больше не будете смеяться над шувром от штанов святого.

Гаджи-Ислам (*Феррашу-Шимирали*). О, Шмир-али, пусть дарует аллах паломничество в Кербелу и благословит память твоих родителей! Ты один можешь справиться с этим сумасшедшим. Он вконец опозорил и осрамил нас. И надо бы сказать этому безбожнику: какое тебе дело до шура от штанов святого? Пусть я умру и ради штанов, и ради шура от штанов святого!

Благочестивые (*плача*). Пусть я умру ради шура от твоих штанов, о глава святых мучеников!

Доктор близко подходит к благочестивым и с удивлением смотрит на них, потом поворачивается к Феррашу-Шимирали и жестами спрашивает, почему они плачут.

Ферраш-Шимирали (*доктору*). Особой причины нет, просто расчувствовались.

Молла-Абас (*доктору*). Давай кувыркаться! Посмотрим, кто лучше кувырчется. (*Сам кувырчется*).

Мешади-Гаджи. Послушайте, да он же совсем с ума сошел!

В этот момент доносится полуденный азан — призыв к молитве. По улице проходит носильщик с тюком на спине. В стороне видна лавка. При первых звуках азана благочестивые, носильщик и лавочник вдруг подносят руки к ушам и начинают кричать: «Аллаху-акпер! Аллаху-акпер!» Доктор с удивлением смотрит на них и жестами спрашивает Ферраша-Шимирали, не сошли ли они с ума? Затем подходит к Наджаф-Ашрафу и, достаив из кармана словарь, ищет какое-то слово, но не может найти. Подходит к Гаджи-Мединю и, наклонившись, пристально оглядывает его лицо с одной стороны, голову, лоб и, наконец, глаза.

Молла-Абас подходит к доктору и просит, чтобы тот осмотрел и его. Доктор принимается осматривать и его, но Молла-Абас вдруг выкрикивает «нык» и подпрыгивает так, что доктор вздрагивает от неожиданности и чуть-чуть не валится с ног. Молла-Абас и Сопа выбегают. Ферраш-Шимирали хочет их поймать, но не может оставить доктора. Благочестивые подбирают на улице камни и бегут за сумасшедшими.

Ферраш-Шимирали обнимает доктора, чтобы тот не упал.

Ферраш-Шимирали (*доктору*). Уж если ты так боишься сумасшедших, тебе надо иметь при себе талисман с молитвой!

Доктор с недоумением смотрит на Ферраша-Шимирали и ничего не отвечает.

Действие четвертое

Дом для умалишенных. Сумасшедший Молла-Абас стоит и, поднимая руку к небу, проповедует проповедь. Сидят сумасшедшие: Пыр-пыз-Сопа, Рустам-Фармазон, Сарсам-Гейдар, Гамзат-Курбан, Джинни-Мустафа. Сумасшедшие слушают проповедь Молла-Абаса.

Молла-Абас. Ве плахит тахирин, амма бэд... И непогрешимый аллах...

Сарсам-Гейдар (*просит с плачем*). Ой, братец Молла-Абас, расскажи нам сказку.

Молла-Абас (*сердито*). Какую еще сказку? Что ты болтаешь глупости? Что значит, расскажи сказку? Я проповедник, или какой-нибудь сказочник, чтобы рассказывать вам сказки? Вот еще! Будто я сказочник!.. (*От гнева глаза наливаются кровью*).

Сарсам-Гейдар и Гамзат-Курбан плачут. Джинни-Мустафа неистово бьет коленями о землю и размахивает руками. Вдруг Молла-Абас громко хохочет.

А это разве не сказка? Что же это такое, если не сказка, то, что я рассказываю? (*Смеется*).

Гамзат-Курбан. Пожалуйста, Молла-Абас, говори проповедь. Хочется послушать проповедь.

Молла-Абас (*как бы не услышав слов Гамзат-Курбана*). Итак, с соизволения творца вселенной, мы собраним здесь, чтобы удалиться от тягот этого светлого бренного мира и не видеть в глаза заблудших с пути истинного. Пользуясь представившейся возможностью, я прочтота вам проповедь из сочинений Агайи-Меджлиси, и снизойдет на вас божья благодать.

Рустам-Фармазон (*быстро поднимается и начинает жестикулировать*). Читай, читай! Пусть родители мои будут жертвами ради тебя! Читай из сочинений Агайи-Меджлиси!

Молла-Абас. Итак, начинаю! О други мои, исполненные ума и пронизательности, сознания и рассудительности! Доложу вам, что, как повествует в своем сочинении «Ихтиярат» Агайи-Фазил Меджлиси, согласно дошедшему до нас преданию об имаме Мухаммед-Багире, всякий, кто в первый день месяца раджаба совершит две тысячи рукетов намаза и произнесет в предыдущем рукете две тысячи раз молитву о едином аллахе и три

тысячи раз молитву «инна энзелна», причем до конца этих молитв простоят лицом к Мекке, такой человек в течение всего месяца не будет знать никаких болей в животе!

На этом месте Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар громко хохочут. Гамзат-Курбан и Пырпыз-Сона плачут. Джинни-Мустафа бьет коленями об пол и кричит.

Джинни-Мустафа (*когда становится тише*). Молла-Абас, хочешь, я притопну, и отсюда вылетит птичка? Говори, если хочешь, топну! Не стану же я бояться Агаин-Меджлиси. (*Стучит пятками об пол*). Вот, смотри, и я стою лицом к Мекке! А зачем Агаин-Меджлиси тоже становится лицом к Мекке?

Гамзат-Курбан (*умоляет Джинни-Мустафу*). Ради аллаха, братец Мустафа, не бей пятками об пол, я боюсь птички!

Рустам-Фармазон (*вскакивает на ноги*). Слушай, Молла-Абас, у меня был отец, так он только и делал, что с утра до вечера порхал с ветки на ветку. Потом он превратился в петуха и стал кукарекать (*и сам кукарекает*). Клянусь твоей жизнью, Молла-Абас, я не лгу. Вон гляди (*сам смотрит вверх*), это мой отец упорхнул...

Все смотрят в небо, словно ищут чего-то.

Молла-Абас. Что птички! Я видел, как улетали в небо деревья, даже камни.

Джинни-Мустафа (*кричит*). Прошу тебя, Молла-Абас, не болтай пустое! Насчет деревьев не спорю, но чтобы камни летели, это вранье! И не говори.

Гамзат-Курбан и Пырпыз-Сона плачут.

Сона. Пожалуйста, не сердись, братец Мустафа, я боюсь.

Молла-Абас (*к Джинни-Мустафе*). А у моего двоюродного брата был петух. Он все летал с крыши на крышу. Никогда не копался во дворе.

Рустам-Фармазон (*громко хохочет*). Молла-Абас, прошу тебя, крикни: кукареку! (*Хохочет*).

Хохочет и Сарсам-Гейдар. Гамзат-Курбан и Пырпыз-Сона плачут. Джинни-Мустафа бьет пятками об пол.

Сарсам-Гейдар (*вскакивает на ноги*). Клянусь твоей жизнью, Молла-Абас, у меня тоже в детстве был петушок! (*Смеется*).

Гамзат-Курбан (*плача*). Почему нет у меня петушка? Почему у всех есть петухи, а у меня нет?

Молла-Абас (*громко*). О человеческое собрание! Услышьте и ведайте, что четыреста лет тому назад я побывал в стране яджудж-маджуджей.

Все сумасшедшие успокаиваются и слушают молча.

Там я вспомнил о своей убогой родине и так заплакал, что вдруг поднялась вода в морях-океанах и чуть меня не затопила, но я всплыл на поверхность...

Сона (*готова заплакать*). Молла-Абас, я тоже боюсь утонуть! (*Она начинает дрожать, бросается к Молла-Абасу, обнимает его. Молла-Абас отстраняет ее от себя*).

Молла-Абас (*сердито*). Не смей приближаться ко мне, когда я читаю проповедь!

Сона подходит к Джинни-Мустафе и хочет обнять его, но и тот ее отталкивает.

Джинни-Мустафа (*злобно*). Убирайся прочь, дурья дочь! Если ты боишься петуха, то мне надо бояться кошки! Мяу, мяу! (*Начинает мяукать*).

Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар смеются.

Гамзат-Курбан (*бросается вдруг к окну и с такой силой ударяет головой об стекло, что оно разлетается вдребезги*). Спасите! Разверзлись хляби! Я тону!..

В этот момент входит Ферраш-Шимирали с кнутом в руке и сильно бьет Гамзат-Курбана. Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар загибаются в угол. Гамзат-Курбан и Пырпыз-Сона плачут. Джинни-Мустафа бьет пятками об пол и кричит. Молла-Абас, щелкая на пальцах, принимается плясать. Ферраш-Шимирали оглядывает Сону и обращается к Молла-Абасу.

Ферраш-Шимирали. Несчастный сумасшедший! Да разве молле положено плясать?

Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар смеются. Гамзат-Курбан и Пырпыз-Сона плачут. Джинни-Мустафа кричит. Ферраш-Шимирали, крадучись, подходит к Соне и незаметно щипает ее. От боли Сона взвизгивает. Входит доктор Лалбюз. Наступает тишина; все сумасшедшие поднимаются и почтительно кланяются доктору.

(Доктору). Господин доктор, всего в нашем городе шесть сумасшедших. Вот я их собрал всех и привел сюда.

Гамзат-Курбан (жалуется доктору). Господин доктор, скажи. Господин доктор, скажи, пожадуйста, этому полоумному (указывает на Ферраша-Шимирали), чтобы он не бил нас.

Джинни-Мустафа (доктору). Зачем ты привел сюда этого помешанного (указывает на Ферраша-Шимирали), в чем мы провинились, что он стегает нас кнутом?

Молла-Абас (доктору). Вот я пляшу. Кому какой вред от моей пляски, что этот безумец (указывает на Ферраша-Шимирали) не дает мне плясать?

Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар смеются.

Сона (доктору). Доктор, этот сумасшедший мужчина (указывает на Ферраша-Шимирали) ущипнул меня.

Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар смеются. Гамзат-Курбан плачет.

Ферраш-Шимирали (доктору). Господин доктор, все они умалишенные, вот и несут всякую чушь.

Сарсам-Гейдар (подпрыгивает на месте). Нет, доктор, клянусь аллахом, мы не сумасшедшие, он сам сумасшедший.

Сумасшедшие (все разом). Ей-богу, он сумасшедший.

Ферраш-Шимирали (доктору). Клянусь вам, доктор, что я их не бил.

Далбюз (Феррашу-Шимирали). Это... это... (Не знает как продолжать).

Сумасшедшие кланяются доктору и почтительно стоят на месте. Доктор смотрит с удивлением, потом подходит к Соне, смотрит на ее руки и ноги, шуплет пульс, проводит рукой по ее подбородку.

Сона (с плачем). Доктор, я тебя боюсь! Я боюсь, что и ты меня ущипнешь.

Молла-Абас, Рустам и Гейдар смеются, Курбан и Сона плачут, Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар смеются, Гамзат-Курбан плачет, Мустафа бьет коленями оземь. Входит старик с четками в руках; он ташит за руку юношу. Тот упирается, опасаясь врача.

Старик. Доктор, голубчик этот парень здоров, при своем уме. Да вот незадача: завидит прохожего на улице — и давай орать; а так парень при здоровом уме.

Молла-Абас, Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар смеются, Гамзат-Курбан и Пырпяз-Сона плачут. Джинни-Мустафа кричит. Доктор хочет подойти к юноше, но тот таращит глаза, начинает мычать и пытается бежать. Старик, обняв, удерживает его. Доктор шуплет у юноши пульс, осматривает его грудь и голову. Потом выписывает рецепт и, отдавая старику, старается что-то ему объяснить жестами. Старик берет рецепт и обращается к Феррашу-Шимирали.

Старик. Скажи-ка, ради бога, что тут прописал доктор?

Ферраш-Шимирали (старик). Зменный яд прописал! Какое тебе дело, что прописал? Отнеси в аптеку и, что бы там тебе ни дали, хоть яд зменный, пои своего сына и пусть себе выздоравливает.

Юноша в страхе пятится от доктора. Старик шарит рукой в кармане и отдает деньги доктору. Доктор незамедлительно берет деньги и кладет в карман. Старик поворачивается уходить, держа юношу за руку. В дверях он останавливается и обращается к доктору.

Старик. Господин доктор, на всякий случай я попросил нашего моллу выписать молитву-талисман и привязал к руке мальчика (указывает на руку юноши выше локтя).

Молла-Абас, Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар смеются. Джинни-Мустафа кричит и бьет пятками об пол. Юноша вскрикивает и бежит за дверь.

Старик выходит за ним. Входит Гаджи-Багдад.

Гаджи-Багдад (перебирая четки и повторяя молитву). Господин доктор, я хочу побеспокоить вас по одному делу. Я родной брат этого сумасшедшего Рустама-Фармазона. Почтительно докладываю вашей светлости, что вот уже более двух лет, как этот мой несчастный брат потерял рассудок. Подобно всем фармасонам, он болтает всякие непотребные вещи, такие, что лучше и не слышать. Испробовали мы для его исцеления всевозможные молитвы-талисманы, всевозможные средства и снадобья.

Рустам-Фармазон встает и кланяется своему брату.

Одним словом, не о том моя речь. Я решился вас побеспокоить вот по какому поводу...

В дверях показывается Умми-Гюльсум.

Сегодня вторник, потом среда и четверг, а в пятницу, что есть двенадцатого дня месяца раджаб-уль-му-

раджаба — явление святого. В этот день жены всех сумасшедших должны будут вместе с близкими своими родственниками отправиться на поклонение святому.

Молла-Абас кувыркается. Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар смеются. Пыррыз-Сона и Гамзат-Курбан плачут. Джинни-Мустафа кричит и бьет пятками об пол.

Господин доктор! Мне захотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу.

Доктор (*пожимает плечами*). Академик! Академик!..

Никто не понимает, что хочет сказать доктор. Сумасшедшие смеются. Джинни-Мустафа бьет пятками об пол.

Кербелай-Тюрбет (*входит, перебирая четки и повторяя молитву*). Господин доктор, я пришел побеспокоить вас по одному делу. Этот сумасшедший Сарсам-Гейдар приходится мне родным братом. Доложу я вам, уже более года, как несчастный мой брат сошел с ума. Не осталось ни одной молитвы-талисмана, ни одного лекарственного снадобья, чтобы на мне не испробовали.

Сарсам-Гейдар поднимается и почтительно кланяется своему брату Кербелай-Тюрбету.

Я вас беспокою потому, что сегодня вторник, завтра среда, потом четверг, а в день пятницы, то есть девятнадцатого числа месяца раджаба состоится явление святого, и в этот день жены всех сумасшедших...

Амина показывается в дверях.

совместно с одним из близких родственников должны отправиться на поклонение святому...

Молла-Абас кувыркается. Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар смеются. Пыррыз-Сона и Гамзат-Курбан плачут. Джинни-Мустафа вскрикивает.

(*К Молла-Абасу*). Будь ты проклят! Тебе надо было кувыркаться как раз тогда, когда речь идет о явлении святого?! (*К доктору*). Рискуя докучать вам, я хочу узнать, есть ли надежда на то, что за эти три дня мой несчастный брат может найти исцеление, или нет? Ибо может случиться, что снизойдет на него благодать аллаха, и он поправится. В противном же случае я вынужден

лично повезти его жену Амину (*смотрит в сторону Амины*) на поклонение святому...

Амина подходит к Сарсам-Гейдару и делет презрительный жест в его сторону. Сарсам-Гейдар смотрит с удивлением.

Амина. Пепел ему на голову! Уже целый год прошел, а мы все ждем, сегодня поумнеет, завтра поумнеет... И я осталась неустроенной...

Джинни-Мустафа кричит.

Кербелай-Тюрбет (*доктору*). Нам необходимо знать ваше мнение, господин доктор.

Доктор (*пожимает плечами*). Академик, академик!..

Никто не понимает доктора. Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар смеются. Пыррыз-Сона и Гамзат-Курбан плачут. Джинни-Мустафа вскрикивает.

Мекка-Мухаммед (*входит и обращается к доктору*). Господин доктор, я пришел побеспокоить вас вот по какому вопросу. С некоторого времени этот Гамзат-Курбан, мой родной брат, сошел с ума и бродит по свету. Каких только молитв-талисманов мы не заказывали, какими только снадобьями его не поили.

Гамзат-Курбан встает и низко кланяется своему брату.

Цель моего обращения к вам заключается в том, что сегодня вторник, потом среда и четверг, а в пятницу явится святой, и следует, чтобы жены всех сумасшедших...

В дверях показывается Сакина.

в сопровождении одного из своих близких родственников отправились на поклонение...

Молла-Абас кувыркается. Благочестивые набрасываются на него и выталкивают за дверь. Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар смеются. Пыррыз-Сона и Гамзат-Курбан плачут.

(*Вслед Молла-Абасу*). Как только заходит речь о явлении святого, этот нечестивец принимается кувыркаться. (*К доктору*). Причиняя господину доктору головную боль, я хочу выяснить, можно ли рассчитывать на то,

что за эти три дня несчастный брат мой, Гамзат-Курбан, может исцелиться, или нельзя на это рассчитывать?

Сакина подходит и делает презрительный жест в его сторону. Гамзат-Курбан смотрит с недоумением.

Сакина. Пепел ему на голову! Сколько уж времени ждем, не дождемся, когда поумнеет. И меня оставил без господина!..

Джинни-Мустафа вскрикивает, бьет пятками об пол.

Мекка-Мухаммед (к доктору). Господин доктор, нам надо знать ваше мнение на этот счет.

Доктор (пожимает плечами). Академик, академик!..

Молла-Абас (появляется в дверях). Эй, мусульмане, ей-богу, этот доктор сумасшедший!

Молла-Абас начинает плясать в дверях. Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар хохочут. Пырпыз-Сона и Гамзат-Курбан плачут. Джинни-Мустафа кричит и бьет пятками об пол. Ферраш-Шамирли бьет Молла-Абаса кнутом.

Сона (с плачем). Господин доктор, ради аллаха, скажи этим сумасшедшим, чтобы они не били моего Молла-Абаса.

Издали слышится молитвенное пение чавуша. Присутствующие благочестивые проносят молитву и проводят рукой по лицу.

Благочестивые. Аллахумме сэлли эла Мухаммадун ве али Мухаммад!*

Действие пятое

Пустырь за городом. Народ стоит с молитвенно поднятыми руками. Шевелящиеся губы шепчут молитву. Многие одеты по-дорожному.

Чавуш (распевает).

Душа к нему стремится неизменной!
Спешите же скорей вперед!
Святого звание благословенной
Фирман рабам своим он шлет!
Пророку и его потомкам слава!..

Народ читает и повторяет молитву, славящую пророка — салават. Входит чавуш Алаальфеллах, Фазил-Мухаммед-ибн-Якуб, Гаджи-Багдад, Кербелай-Тюрбет, Мекка-Мухаммед, а за ними женщины — Умми-Гюльсум, Амниа, Сакина. Все они паломники. Чавуш-Алаальфеллах ведет на поводу лошадь, через седло перекинут хурджин, из которого торчат человеческие кости. За людьми четыре веджале, нагруженные на мулов. Присутствуют здесь также Гаджи-Мухаммед-Али, торговец коврами, Гаджи-Худаверди, Гаджи-Джафар и плечут; кроме того, прибавляют все новые группы мужчин и женщин. В стороне стоит сумасшедшие: Молла-Абас, Рустам-Фармазон, Сарсам-Гейдар, Гамзат-Курбан, Джинни-Мустафа, Пырпыз-Сона. Ферраш-Шамирли с кнутом в руке стережет сумасшедших.

Фазил-Мухаммед-ибн-Якуб (поднимает руки к небу для молитвы и говорит напыщенно и высокопарно). Аллахуме инни эсэлуке бисмике я рахман я рахим! Субханаллах, ланлахе илла эти-эльгове-эльгове иннекезла кюлли шейни гадир*. О, правоверные! О, приверженцы ислама! О, шииты всей земли! Внемлите и ведайте: мир свергнут в пучину бед! И корень зла заключается в том, что с каждым днем растут и гроздеются грехи против святых заповедей и главный грех в том, что жены сошедших с ума мужчин остались без покровителей. А между тем известно из преданий о святом Якубе, что (продолжает по-персидски) когда мусульманская женщина некоторое время остается без покровителя, семьдесят тысяч ангелов посылают жителям этого края свои проклятия..

Все присутствующие. Проклятие!

Фазил (плачет). Теперь судите сами, если семьдесят тысяч ангелов посылают проклятья какому-нибудь краю, то разумеется, такой край должен будет перевернуться вверх дном. О, шииты всей земли! Сегодня пятница и, согласно преданию от Иби-Гасан-Сенд-ибн-Омар-Гасан-гейр вахид, галэ ехердж гиямуна эхлуд-бейт йовмул-бейт йовмуль-джума...* Обратите взоры на запад: там восходит солнце. Повернитесь к востоку: там солнце заходит. (Подняв голову, смотрит в небо). Вот звезды готовы упасть на землю! Вот земля приходит в движение! Вот небо сотрясается. Все это не что иное, как признаки явления имама Сахибаззамана!

Сумасшедшие почтительно кланяются. Гамзат-Курбан и Пырпыз-Сона в страхе дрожат и начинают плакать. Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар смеются, Джинни-Мустафа кричит. Молла-Абас

щелкает на пальцах и пляшет. Возмущенная толпа погоняет его со сцены.

Джинни-Мустафа. Эй, имам пришел! Слушай, Молла-Абас, имам пришел!

Джинни-Мустафа бьет колени о землю. Ферраш-Шамирли бьет сумасшедших куном и водворяет порядок.

Фазил (*читает проповедь*). Слушайте, шинты всей земли! Сегодня этот господин (*указывает на чавуша*) пожаловал сюда с тем, чтобы объявить шинтам всей земли, следующее: святой Сахибазаман в пятницу выступает из-за горы Каф вместе с тысячами своих потомков против врагов, коим он изволил объявить войну.

Молла-Абас (*издали громко хохочет*). Ни мало, ни много, ровно тысяча потомков!

Ферраш-Шамирли и благочестивые хватают и избивают Молла-Абаса.

Фазил. Воистину, ясно как солнце, что существует великая потребность в том, чтобы умножились сторонники святого. По этой причине последовало указание святого (*поднимает какую-то бумажку в руке*) о назначении первым наибом святого имама меня, ничтожнейшего раба, Мухаммеда-ибн-Якуба-Кюлейни составителя книги под названием «Усули кафи», что почитается как основа сохранения благочестия в шинтском толке. Виселите и ведайте, вот содержание фирмана святого имама: поскольку жены тех мужчин этого края, которые лишились ума, являются согласно основам священного шариата, свободными от супружеских обязанностей перед своими мужьями, обязаны вступить в брак сийга с братьями своих мужей, сестры в имеющиеся здесь кеджаве и отправиться на поклонение святому имаму. И когда жены упомянутых сумасшедших мужей заключат сийга с братьями означенных умалишенных мужей своих, силою могущества величественного творца от этих женщин (*указывает на жен сумасшедших*) народится в течение семидесяти дней семьдесят тысяч потомков...

Молла-Абас и сумасшедшие смеются.

И пойдут они на помощь великому имаму, нанесут поражение нечестивому врагу и низринут его в преисподнюю, и принесут спасение благочестивым шинтам.

Женщины бросаются к кеджаве.

О разумные женщины, имейте терпение, дайте исполнить обряд сийга!

Рустам-Фармазон (*к своей жене Умми-Гюльсум, с плачем*). Умми-Гюльсум, жена моя! Ей-богу, я не сумасшедший. Не покидай меня!

Гаджи-Багдад (*своему брату Рустаму-Фармазону*). Брат мой, ради аллаха, не божись зря. Это большой грех.

Сарсам-Гейдар (*просит свою жену Амину*). Милая жена моя, Амина! Не оставляй меня, не выходи замуж за моего брата. Ей-богу, я не сумасшедший. (*Плачет*).

Кербелай-Тюрбет (*своему брату Сарсам-Гейдару*). Брат мой, Гейдар! Не клянись богом зря. Это грешно!

Гамзат-Курбан (*к Сакине*). Жена моя, милая Сакина! Не оставляй детей на произвол, не выходи замуж за моего брата. Ей-богу, я не сумасшедший.

Мекка-Мухаммед. Брат мой, Курбан, не божись зря. Ты согрешил.

Чавуш (*нараспев*).

Душа к нему стремится неизменно!

Спешите же скорей вперед!

Святого звание благословенно!

Фирман рабам своим он шлет!

Все присутствующие произносят салават: аллахумме если эла Мухаммедун ве али Мухаммед. Сумасшедшие кланяются. Женщины снова бросаются к кеджаве.

Фазил. О, разумные женщины! Дайте возможность свершить сийгу! (*Подходит к толпе и начинает читать стих о сийге*). Алхамду лиллахиллези эхеллет-тэзвидже венникахе, весселату весселаму эла хейри хелгихи эджмени; зузу биллахис ээмнил-элими минэшшейтанирреджими. Энкехтул-мерэтел-мэлумете лирреджулил-мэлуми элесседагил мэлуми. Гебилтунникахе*.

Джинни-Мустафа (*бьет пятками оземь, кричит*). Не читай, не читай! Мы не сумасшедшие!..

Гамзат-Курбан и Пырмз-Сона плачут. Рустам-Фармазон и Сарсам-Гейдар смеются. Часть благочестивых произносит: «Субхана-ллах», другая часть: «Лахвалле вела гувшет илла биллаху элибил-эзим».

(Беспрерывно кричит). Мы не сумасшедшие! Мы не сумасшедшие!..

Фазил (к сумасшедшим). Как же вы не сумасшедшие, когда перед всем миром покрыли нас позором бесчестия?

Другие благочестивые также кричат на сумасшедших: «Как же вы не сумасшедшие, если весь мир тому свидетелем?!».

Поднимается невероятный шум.

Чавуш (Фазилу). Поскольку эти рабы аллаха (указывает на сумасшедших), отрицают, что они сумасшедшие, ничего не поделаешь. Как я слышал, в этот край прибыл не так давно из Америки ученый доктор, специально занимающийся душевнобольными. Ничего не поделаешь. Пригласите этого ученого врача, пусть он и определит, кто здесь умный и кто сумасшедший. Какан нужда в спорах? К чему пререкания, о люди!

Сумасшедшие. Правильно, пусть сам врач определит: кто сумасшедший и кто умный. К чему споры? Зачем пререкаются?

В толпе раздаются возгласы: «Посторонитесь, дайте дорогу!»

Появляется доктор Лалбюз и озирается вокруг.

Ферраш-Шимирали (к доктору). Господин доктор, вам предоставляется определить: кто здесь в своем уме и кто сошел с ума. Ибо по этому вопросу возникли разногласия и споры.

Сумасшедшие почтительно кланяются доктору. Толпа притихла в ожидании: что будет делать доктор? Доктор замечает хурджин, перекинутый через седло, а в нем человеческие кости. Удивленный, он подходит к лошади и протягивает руку к костям. Хозяин хурджина, чавуш, отстраняет руку доктора, чтобы тот не коснулся костей, не осквернил их. Доктор с удивлением смотрит на чавуша и жестами спрашивает его, зачем он наполнил хурджин костями и куда собирается везти.

Чавуш (доктору). Господин доктор, это останки блаженной памяти моего родителя. Да введет аллах всех своих благочестивых рабов в общество гурий в священном раю! Я везу эти останки в священный город Кербелу, чтобы предать их земле, освященной непогрешимым имамом. Ибо (продолжает по-персидски) предание об имаме Мусейн-Кязиме гласит, что тело усопшего, погребенное в земле, где покоится священный прах

имама... (Начинает бить себя кулаками по голове и громко плакать).

Все сумасшедшие смеются.

Фазил. О горе! О муки!.. До чего мы дожили!..

Благочестивые. О горе! О муки!..

Гаджи-Багдад. Пусть родители мои будут жертвами ради тебя, о святой имам! (Плачет, шепча молитву).

Мекка-Мухаммед. Лаховле вела гуввета илла биллаху элийюлэзим!

Доктор Лалбюз в полной растерянности, потому что не может определить, кто здесь нормальный и кто сумасшедший.

Джинни-Мустафа (гневно размахивая кулаками, к доктору). Ну что, растерялся? А ты думал, легко быть врачом? Да еще лечашим сумасшедших? Ты над кем издеваешься, над нами или над самим собой? Многие почище тебя ученые оказывались бессильными перед такой задачей, а ты, дурень, не зная нашего языка, вознамерился лечить сумасшедших! Теперь попробуй определить, кто здесь сумасшедший и кто нет! Ну, что тарачишь глаза? Онемел, что ли, господин Лалбюз?

Сумасшедшие хохочут. Доктор по-прежнему не знает, что делать. Оглядев людей из толпы, он направляется к чавушу, который продолжает плакать; доктор снимает с него шапку и начинает внимательно осматривать его бритую голову, смотрит в глаза. Затем подходит к Гаджи-Багдаду, который шевелит губами, шепча молитву, осматривает его голову и глаза. Доктор далее осматривает голову Кербелай-Тюрбета, исследует глаза. Сумасшедшие смеются. Доктор осматривает Мекка-Мухаммеда. Достает из кармана словарь, шепчет там что-то и, остановив палец на странице, произносит по слогам.

Доктор. Сбо-ри-ще су-ма-сшед-ших!..

Сумасшедшие смеются. Недовольство и гнев благочестивых доходят до предела.

Благочестивые. Что это еще за врач? Что он делает? Он ничего не понимает.

Ферраш-Шимирали начинает бить кулаком по сумасшедшим и благочестивым и восстанавливает порядок. Чавуш снова распевает пришедшие выше стихи. Люди произносят салават.

Фазил. О люди, собравшиеся здесь, о злостные жены сумасшедших! Кто из жен выражает согласие за-

ключить сийгу с братом своего мужа и последовать на поклонение святому имама, пусть войдет в кеджаве.

Умми-Гюльсум проходит с опущенной головой и вступает в кеджаве.

Да, только что вошедшая в кеджаве благочестивая последовательница шиитского толка Умми-Гюльсум является горемычной женой Рустама-Фармазона.

Рустам-Фармазон, проводив глазами жену, кричит: «гу-гу». Молла-Абас и Сарсам-Гейдар хохочут. Гамзат-Курбан и Парназ-Сопа плачут. Джинни-Мустафа бьет пятками о землю и кричит, Фазил вполголоса пропевает молитву о браке сийга: «никехту мератул мълуме...» Вслед за Умми-Гюльсум вступает в кеджаве Гаджи-Багдал. В другую кеджаве входит жена Сарсам-Гейдара Амния, за ней туда же входит Кероблай-Тюрбет, в третью кеджаве входит Сакина, а за ней Мекка-Мухаммед. Фазил каждый раз вполголоса пропевает молитву о сийга и, окончив с этим, обращается к народу.

Общезвестно, что наибольшую славу своим сумасшедшим снискал в этом крае мой несчастный брат, сумасшедший Молла-Абас. Забота о его злосчастной жене Сопе, которую также следует повезти на поклонение святому, выпала на мою долю. Молю аллаха, милостивого и милосердного, чтобы одарил эту несчастную женщину своей милостью и испослал ей исцеление, избавив от страшной болезни! Пусть войдет в кеджаве Сопа, что с обнаженными руками и ногами по улицам и площадям, на глазах у благочестивых рабов аллаха!

С опущенной головой Фазил проходит к кеджаве. Оглянувшись назад, он видит, что Сопа не идет за ним.

Сопа (выходит из круга сумасшедших и обращается к Молла-Абасу). Я боюсь, Молла-Абас. Ты крепко держи меня, Молла-Абас, я боюсь! (Протягивает к нему руки, умоляет). Молла-Абас! Я боюсь, я очень боюсь, что из-за этих женщин, которые бросили своих мужей и пошли к братьям своих мужей, боюсь, что из-за этих женщин погибнет мир, перевернется вверх дном и погибнет! Молла-Аббас, я боюсь, что звезды попадают на землю! (Начинает дрожать). Ой, ой! Что я вижу, что я вижу! Молла-Аббас, это сборище сумасшедших! (Плачет).

Фазил поворачивается, чтобы подойти к Сопе и взять ее с собой. А Сопа еще крепче жмется к сумасшедшим.

Молла-Абас. Иди, Сопа, иди! Я тебе разрешаю! Тебя поведет мой брат.

Молла-Абас тянет Сопу к кеджаве. Сопа кричит. Сумасшедшие бросаются на Фазила и благочестивых. Люди, перепугавшись, убегают. Сумасшедшие их преследуют. Молла-Абас обнимает Сопу. Оглянувшись вокруг и увидев, что никого нет, падает на колени перед Сопой и начинает целовать ей руки.

Сколько лет, как я принял этот облик (оглядывает себя), чтобы ты не была в одиночестве среди сумасшедших! Как мы жалки, и ты, и я! Нам суждено так провести свои дни до конца, чтобы умереть где-нибудь под чужой стеной. Я хотел, чтобы ты вошла в кеджаве и стала подружкой моего брата Фазила. Я надеялся, что это изменит твоё положение. Но раз ты не захотела идти, пусть будет по-твоему! Пусть эти братья и сестры (указывает рукой в сторону паломников), пусть эти новости и доверья садятся в кеджаве и расплodyт за семьдесят дней семьдесят тысяч потомков для пополнения воинства святого имама, чтобы низринуть его врагов и пучину ада! А я возьму тебя к нашим друзьям сумасшедшим. Правда, они кувыркаются и кощунствуют при упоминании имени святого имама, но, по крайней мере, не щипают тебя. (Поворачивается в ту сторону, куда бежали сумасшедшие, и зовет). Други мои!.. (Падает ниц перед Сопой).

Сумасшедшие прибегают гурьбой, чтобы поднять Молла-Абаса.

**КОММЕНТАРИИ
И
ПРИМЕЧАНИЯ**

Произведения Джалила Мамедкулизаде при жизни писателя публиковались на страницах периодической печати и издавались отдельными книжками. Первый сборник, включающий двадцать рассказов, был выпущен к десятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции в Баку под названием «Авось и позвратят». Многие из литературного наследия писателя, не увидев света в свое время, было обнаружено после смерти писателя в его архиве и первоначально опубликовано частью в периодической печати, частью отдельными книжками.

Систематическое изучение и издание произведений Дж. Мамедкулизаде началось лишь после смерти писателя. Первое двухтомное собрание сочинений писателя было подготовлено в Институте языка и литературы Азербайджанского филиала Академии наук СССР одним из первых исследователей творчества писателя ныне покойным Габибом Самед-заде и издано Азернешром в Баку в 1936 году. В это издание вошли семь драматических произведений (том I) и повести, рассказы, воспоминания писателя (том II). Затем в 1951—1954 гг. Азернешром был выпущен двухтомник избранных произведений Дж. Мамедкулизаде, подготовленный к печати Азизом Мирахмедовым, включающий как художественную прозу (том I), так и пять пьес, фельетоны, статьи и письма писателя (том II). В 1958 году издательство Азербайджанского государственного университета выпустило составленный Мамедом Мамедовым большой (в 50 печатных листов) сборник драматических и прозаических произведений Дж. Мамедкулизаде, включающий девять пьес и почти все повести и рассказы писателя. Наконец, в 1961 году был выпущен Азернешром емкий (51 печатный лист) том фельетонов, статей, воспоминаний и писем Дж. Мамедкулизаде (две пьесы и четырнадцать повестей и рассказов), составленный Азизом Мирахмедовым.

В переводе на русский язык первый сборник избранных сочинений Дж. Мамедкулизаде (пьеса «Мертвецы» и девять рассказов), подготовленный к печати литературной секцией АзФАН-а, был издан в Тбилиси Загизом в 1936 году под редакцией и с предисловием Али Назима. Художественное оформление книги было осуществлено народным художником республики Азизом Азим-заде. После этого собрания избранных произведений писателя вышли в 1940 году одновременно в Москве (Гослитиздат — пьеса «Мертвецы», повесть «Проплажа осла» и девять рассказов) и в Баку (Азернешр — две пьесы и пятнадцать повестей и рассказов). В 1950 году издательство Акаде-

ми наук Азерб. ССР в Баку выпустило «Избранные произведения» Дж. Мамедкулизаде к декаде азербайджанской литературы в Москве. Тогда же в библиотеке «Огонек» (Москва) вышла книжка рассказов писателя под названием «Курбанали-бек» (шесть рассказов). В 1958 году Дегиз (Москва) издал сборник рассказов под названием «Почтовый ящик» (повесть «Пропажка осла» и четыре рассказа) в серии «Школьная библиотека», а через год, в 1959 году, Гослитиздат (Москва) выпустил «Избранное» Мамедкулизаде, включающее кроме повести «Пропажка осла», двадцать четырех рассказов и двух пьес, еще и двадцать один фельетон писателя.

Таким образом, настоящее двухтомное издание избранных произведений Дж. Мамедкулизаде, включающее четыре пьесы, весь цикл повестей «События в селении Данабаш» и двадцать девять рассказов (том I), а также фельетоны, воспоминания и статьи (том II), является наиболее полным.

СОБЫТИЯ В СЕЛЕНИИ ДАНАБАШ (стр. 3—89)

Как видно из «Легонького предисловия», автор имел в виду написать под этим заглавием серию повестей и рассказов о жизни азербайджанской деревни конца прошлого столетия. Однако, успев написать лишь повесть «Пропажка осла» и начало повести «Школа селения Данабаш», которую впоследствии, уже при советской власти в Азербайджане, переделал в пьесу.

Слово «Данабаш» состоит из двух частей — слова «дана», означающего «большой» или «теленка» и «баш» — голова; в целом получается «большоголовой» или «телячьеголовой», а в переносном смысле «тупоголовой». Этим названием автор имел в виду подчеркнуть невежество, фанатизм и забитость дореволюционной азербайджанской деревни.

Написаны «События в селении Данабаш» в 1894 году в селении Неграм, где Мамедкулизаде проработал около восьми лет (1890—1897) смотрителем школы, но при жизни автора «События» так и не увидели света. Впервые произведение было опубликовано в 1936 году в Баку отдельной книжкой, а затем вошло во все собрания сочинений писателя.

На русском языке «События в селении Данабаш» появляются полностью впервые в настоящем издании.

Стр. 3. Изречение Сократа переработано с азербайджанского текста, приведенного автором в виде эпитафии к серии «События в селении Данабаш».

Стр. 4. «Аймаз» — слово азербайджанское, общенародное, «легко» — азербайджанское. Оба означают — прозвище. В данном случае автор отмечает склонность ных «грамотеев» пользоваться без нужды иностранными (арабскими или персидскими) словами, непонятными широким массам.

Джамаи-Аббаси — Сочинение Шейха-Баха-эд-Дина, посвященное толкованию отдельных догм шариа и служившее в духовных медресе одним из наиболее популярных учебников персидского языка.

С того берега (реки Аракса), то есть из Ирана. Как известно, большинство духовных лиц приезжало в дореволюционный Азербайджан из Ирана.

Стр. 5. Эта фраза ахунда составлена автором из смеси арабских и персидских слов с азербайджанскими окончаниями. В переводе эта особенность языка в значительной степени гасится.

Стр. 6. У мусульман-фанатиков принято было возить останки усопшего в Кербелу (Ирак), где погребено большинство имамов — потомков Мухаммеда. Фанатики верили, что такое переселение покойников может облегчить их грехи. Эта же тема затронута автором в пьесе «Сборнике сумасшедших» (пятый акт).

Народное выражение, соответствующее русскому: лезть с купшинным рылом в калашный ряд.

Стр. 11. Гробница с шести углах — место погребения Имам-Гусейна, одного из наиболее чтимых фанатиками имамов, в городе Кербела.

Стр. 19. У мусульман шнитского толка имеются два вида брака, один из которых совершается на основе корана (кябита) и возлагает на мужчину все-какие, впрочем, довольно необременительные обязанности перед женщиной; другой же вид брака (сйига или мотэ) совершается упрощенным образом и никак не стесняет мужчину.

По браку кибити правоверному предоставлено право иметь не более четырех жен одновременно, а по браку сйига — неограниченное число жен. Брак сйига может быть заключен на определенный срок, хотя бы на один сутки или бессрочно, причем действие его может быть прекращено при первом желании мужчины. Самый факт брака никаких прав женщине не дает. Это — своеобразный институт проституции, узаконенный шариадом и широко распространенный в Иране, Азербайджане, Средней Азии и др.

Дж. Мамедкулизаде посетил этому вопросу, связанному с бесправным положением женщины в мусульманском мире, целый ряд произведений, в которых бичевал этот унизительный для общества порядок (комедии «Мертвецы» и «Сборнике сумасшедших», рассказы «Петушок Пирверди», «Конституция в Иране», «Молла-Фазлалли», «Четкий ханза», «Жена консула» и др.).

Стр. 27. Омар — второй после Мухаммеда халиф — духовный и светский глава мусульман. Пирвердизеи шнитского толка признавали его законным халифом, считая узурпатором, отнявшим власть у Али — двоюродного брата и зятя Мухаммеда. Поэтому шииты проклинали Омара, употребляя его имя как бранный.

Стр. 28. Сбрить бороду считалось у фанатиков, особенно в деревнях, унижением мужского достоинства.

Стр. 29. Би-сми-лла-х — начало стиха из корана — во имя аллаха. Благочестивые мусульмане приступали ко всякому делу с этим словом из корана.

Стр. 32. Халавар — двадцать пять пудов. Здесь — площадь пахотной земли, на которой высевается это количество семян.

Стр. 34. У зажиточных крестьян часть конюшни, отделенная от скота перилами, использовалась зимой для приема гостей.

Бахтияри-нам — сказание о царевиче Бахтирере; будучи оклеветан придворными и приговорен к казни, он отлежал отца своими сказками до тех пор, пока не была доказана его невиновность.

Стр. 38. Айша — имя одной из жен Мухаммеда, не пользующейся почетом у мусульман-шнитов; ее имя, как и имя Омара, является бранным.

Стр. 54. Езид — противник имамов в междоусобной войне за

власть (VII век). Мусульмане-шниты при каждом удобном случае шлют ему проклятья за то, что он победил и уничтожил многих имамов и их приближенных.

Стр. 60. В азербайджанских деревнях выпекали тонкие хлебные лепешки — лаваш, сразу на много дней. Высушенные лаваш хранятся долго. Перед употреблением их слегка отмачивали в воде и заворачивали в салфетку, после чего они приобретали обычно вид и вкус свежего мягкого хлеба.

Хамд и гюль-хуваллах — различные стихи из корана, которые обязан произнести молящийся мусульманин при совершении намаза.

По мусульманскому шариату прерывать намаз строго воспрещается. В случае какого-либо неожиданного происшествия молящийся обычно произносит «аллаху-акбар» (велик аллах) и продолжает молиться до тех пор, когда согласно разъяснениям духовенства можно прервать молитву без особого ущерба.

Стр. 61. Имам-Гусейн и Имам-Рза — наиболее популярные у фанатиков имамы. Дженаб-Эмирмюр часто называют четвертого халифа, имама Али.

Стр. 63. В провинциальных городах дореволюционного Азербайджана бани бывали открыты обычно круглые сутки. Днем ими пользовались женщины, а с вечера — мужчины.

Стр. 73. Это письмо кази приведено автором на персидском языке, так как вплоть до социалистической революции в Азербайджане официальные документы, составляемые духовенством, писались на этом языке.

Сафар — второй месяц мусульманского лунного года.

Ашура — десятый день месяца мухаррама, когда фанатики-шниты устраивали траурные шествия, помня имамов, которые были перебиты в VII веке в борьбе за власть. В день ашуры участники шествий подвергают себя наиболее жестоким истязаниям. О месяце мухарраме см. примечание к стр. 182.

В путешествии в Кербелу паломников сопровождал обычно сведущий проводник — ча уш.

Стр. 74. Фанатики верили, что жалоба, принесенная праху святого, не может остаться без последствий. Эти жалобы, написанные на бумаге, обычно посылались «водным путем», то есть опускались в реку, где бы она ни протекала и куда бы ни текла. Фанатик верил, что все равно жалоба дойдет до «адресата» — святого, который накажет обидчика и поможет просителю. Однако наиболее верным и надежным способом отсылки этих жалоб считалась сдача их на руки чавушу, который лично доставлял бы их к гробнице имама.

Хазрат-Аббас — один из имамов, погребенных в Кербеле.

Стр. 75. Почти в каждом селе дореволюционного Азербайджана имелась своя имамзада — какая-нибудь старинная постройка с куполом, связанная обычно с именем какого-нибудь святого или с купанием религиозного характера.

Стр. 84. Зимой в деревнях ставили на горячий тендир табурет, накрывали его специально для этого предназначенным стеганым одеялом и, усевшись вокруг, натягивали одеяло на себя. Это «сооружение» и называлось кюрсей.

Джеджим — шерстяная ткань, служащая обычно покрывалом. В дореволюционном Азербайджане деревенские дома, как пра-

вило, не имели окон. Вместо них пробивалась в потолке дыра (баджа), через которую падал свет и выходил дым. По-видимому, женившись на Зейнаб и разбогатея, Худайр-бек заделал «баджу» и пробил в стене окна.

Стр. 86. Клятва на коране, по верованиям фанатиков, являлась самой надежной клятвой и заслуживала полного и безоговорочного доверия. Произносящий клятву клал руку на коран. Таким образом, тот, кто давал ложную клятву и нарушал ее, осквернял священную книгу и подлежал строгому наказанию на божьем суде.

Легкость, с которой Худайр-бек нарушил свою клятву на коране, должна показать, насколько ханжеским было его благочестие.

Стр. 90. Ушкюл — искаженное слово «школа». Так называют крестьяне учителя.

Стр. 106. Под «домашней» Ярмамеда подразумевается его жена, а под «вашей служанкой» — жена горящего.

Стр. 108. Кенгиз — широко распространенный в Нахичеванском крае кустарник, корни которого идут на топливо.

РАССКАЗЫ

В настоящем разделе даны избранные рассказы Дж. Мамедкулиева в хронологическом порядке. Рукописи многих рассказов не сохранились, и установить время их написания не представляется возможным, поэтому они расположены в порядке их первой публикации.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК (стр. 110—116)

Этот первый опубликованный рассказ написан в конце 1903 года и напечатан в январе 1904 г. в газете «Шарки Рус» («Русский Восток») в Тифлисе. Впоследствии рассказ издавался много раз в отдельной книжочке, и в сборниках и собраниях сочинений писателя.

Стр. 110. Иткван — означает «кушанный собакой». В рассказе речь идет о крестьянине из селения, которое принадлежало в прошлом хану.

ИГРА В ИЗЮМ (стр. 117—127)

Рассказ написан в Тифлисе по мотивам одноактной комедии с тем же названием, написанной в селении Неграм в 1892 году, и впервые опубликованном в газете «Шарки-Рус» в июне 1904 г. При жизни писателя рассказ не переиздавался.

Стр. 117. Сенды — дальние потомки Мухаммеда и имамов. По существу — туевяды, самозванно объявлявшие себя потомками пророка. Не занимаясь никаким производительным трудом, они обходили города и села и обирали благочестивых фанатиков, требуя с них уплаты «хумса» — налога, установленного шариатом в пользу потомков пророка. В рассказе изобличается паразитизм сендов, против которых неизменно выступали передовые писатели Азербайджана, начиная с Мирзы Фатали Ахундова (1812—1878).

О коношине см. примечание к стр. 34.

Рассказ написан в июле 1905 г. в Тифлисе. Впервые отпечатан там же отдельной книжкой и разослан подписчикам журнала «Молла-Насреддин» в качестве бесплатного приложения к № 25 от 22 сентября 1906 г. Впоследствии входил во все сборники и собрания сочинений писателя.

Стр. 132. «Гюлистан» — сборник выдающегося таджико-персидского поэта и мыслителя XIII в. Саади. Эта книга служила наиболее популярным учебником грамоты и фарсидского языка. Ср. с началом комедии «Мертвецы», где показано обучение по «Гюлистану».

В Иране хороший почерк считается признаком большой учености. Об этом более подробно сказано автором в рассказе «Конституция в Иране».

Стр. 133. Каждый правоверный шиит поклонялся авторитету того или иного муджтахида — высшего духовного лица, толкователя религиозных догм — что называлось «теглид», то есть подражание.

Стр. 134. Занган — город в Иране.

Стр. 137. По верованиям мусульман, над бездной ада протянут мост тоньше волоса и острее бритвы. Грешники, ступив на этот мост, проваливаются в ад, меж тем как праведники в один миг проходят по мосту и попадают в рай.

Стр. 139. У мусульман-фанатиков иноверцы — гяуры и их вещи считаются нечистыми носителями скверны.

ЦИРЮЛЬНИК (стр. 141—143)

Рассказ опубликован впервые в №№ 1 и 2 журнала «Молла-Насреддин» за 1906 г., а после смерти писателя вошел в собрание его произведений.

ПЕТУШОК ПИРВЕРДИ (стр. 144—146)

Опубликован впервые в № 10 журнала «Молла-Насреддин» за 1906 г. и при жизни автора не переиздавался.

Стр. 146. Мозалан (овод) — один из наиболее частых псевдонимов, которым пользовались ближайшие сотрудники журнала. В частности, под этим псевдонимом было опубликовано написанное сотрудниками журнала А. Ахвердовым и К. А. Шырфом, известное «Путешествие Мозалан-бека (журнал «Молла-Насреддин» за 1909—1910 гг.)

ТЕТНА ФАТМА (стр. 147—157)

Впервые опубликован с иллюстрациями в журнале «Молла-Насреддин» за 1906 год №№ 26 и 27, после чего не перепечатывался и ни в одно собрание сочинений писателя не включался.

Русский перевод появляется впервые.

Написанный в ноябре 1906 г. в Тифлисе, этот рассказ там же был впервые издан отдельной книжкой и разослан подписчикам журнала в качестве бесплатного приложения к № 39 от 29 декабря 1906 г. Затем рассказ входил во все сборники и собрания сочинений писателя.

На азербайджанском языке рассказ назван «Свобода в Иране» («Иранда хурријет»). Слово «свобода» выражалось арабским словом, непонятным широким массам, на чем и строилась вся интрига рассказа. Мы сочли возможным слово «свобода» заменить иностранным словом «конституция», тем более, что иранская революция 1906—1911 гг. выдвигала именно этот лозунг (машрута).

Стр. 155. Джамен-Аббаси — см. комментарий к стр. 4.

Стр. 155. В 1905 году царское правительство с помощью азербайджанских и армянских помещиков и капиталистов спротоцировало армяно-азербайджанскую резню, кровавой полной прокатившуюся по всему Закавказью.

Стр. 160. В благочестивом мусульманском обществе не принято говорить о женщине, особенно о жене. Поэтому жену называют обычно «домашняя» или «мать детей» и упоминание о ней сопровождается извинениями. То же см. в рассказах «Молла-Фазлалла», «Носильщики» и др.

Стр. 165. Маку — главный город одной из провинций Ирана на берегу Аракса (Макниское ханство), граничащей с б. Нахичеванским уездом, ныне Нахичеванской АССР.

КУРБАНАЛИ-БЕК (стр. 169—178)

Написан и впервые выпущен отдельной книжкой в Тифлисе в 1907 г.; тогда же разослан подписчикам в качестве бесплатного приложения к журналу «Молла-Насреддин». В № 43 журнала от 17 ноября 1907 г. редакция сообщила подписчикам, что из обещанных бесплатных приложений к журналу (шесть рассказов и шесть других брошюр) удалось получить разрешение цензуры лишь на рассказ «Курбали-бек». Впоследствии рассказ переиздавался несколько раз отдельной книжкой и в разных сборниках сочинений писателя.

Эпиграф к рассказу, упоминающий Н. В. Гоголя, в своеобразной форме указывает на заимствование фабулы рассказа у великого русского писателя («Коляска»).

Стр. 170. Капаллы — вымышленное название селения, означая — задавленный, забитый.

Стр. 172. В ответ на похвалу начальника Курбали-бек по старому обычаю предлагает начальнику принять от него в дар понравившегося коня.

Сбрить усы — для мусульманина считалось раннимыслящим потерю мужского достоинства и чести.

БАРАШЕК (стр. 187—192)

Рассказ написан в 1914 г. в Тифлисе, но опубликован впервые лишь в 1923 г. в литературном журнале «Маариф ве меденियет» «Просвещение и культура» в Баку.

Рассказ написан летом 1915 г., опубликован в бакинской газете «Ени йол» («Новый путь») 13 ноября 1925 г. Наш перевод на русский язык был напечатан впервые в тбилисской газете «Зари Востока» 12 сентября 1926 г. Это был первый перевод произведения писателя на другой язык и единственный опубликованный при жизни его.

Стр. 193. Во всех рассказах, где повествование ведется от имени автора, писатель именуется себя по принятому им псевдониму Молла Насреддином или просто Моллой.

Мухарам — первый месяц мусульманского лунного года, считается у шиитов траурным, так как, по преданию, именно в этом месяце произошли кровопролитные события, приведшие в VII веке к гибели имамов в борьбе за власть. В этом месяце мухарам — фанатики устраивали траурные собрания в мечетях, шествия и т. д.

Стр. 196. О браке сийга см. комментарий к стр. 19.

Стр. 197. По шарнату, после каждой ночи, проведенной с женщиной, требуется совершение обряда омовения.

БЕСПОКОЙСТВО (стр. 199—203)

Впервые был издан в 1916 году в Тифлисе отдельной книжкой.

Стр. 199. Имеется в виду мировая война 1914—1918 гг.

ЖЕНА КОНСУЛА (стр. 204—208)

Написан в 1918 году, опубликован впервые в январе 1926 г. в бакинской газете «Ени йол» под заглавием «Учитель» и вылучен в том же году в Баку отдельной книжкой под заглавием «Жена консула или два учителя».

Стр. 208. Сийга — здесь в значении жены, с которой заключен брак сийга, о чем см. подробнее в примечании к стр. 19.

ПУСТОХЛЫСТ (стр. 209—213)

Впервые опубликован в 1923 г. в бакинском журнале «Маариф ве мевданийет».

Рассказ в русском переводе появляется впервые.

МЯСНИК (стр. 214—217)

Опубликован впервые в марте 1923 г. в бакинской газете «Коммунист».

Стр. 215. Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, связанный с библейским преданием об Аврааме, который хотел принести своего сына в жертву богу. В день курбан-байрама в благочестивых домах резали барана и раздавали мясо неимущим.

ЧЕТКИ ХАНА (стр. 219—223)

Впервые опубликован в марте 1923 г. в бакинской газете «Коммунист». Сюжет навеян временным пребыванием писателя в Иране в 1920—1921 гг.

Стр. 218. Шахсеваран — коцное племя в Иранском Азербайджане.

Икрам-уд-Доуле — титул иранского сановника, означает «ведикодущие государства».

Стр. 222. По шарнату, смотреть на чужую женщину грешно. Чтобы иметь возможность ходить к Пери якобы для бесед с ее гостем, Салых предлагает Пери стать его женой по браку сийга и таким образом, придать их встречам законный характер и снять с него вынужденный грех.

Стр. 223. В посмертных изданиях далее изложено иначе:

«Я больше не заходил туда, и меня не приглашали заходить. После этого я прожил в Керме-Чатахе еще месяца полтора, а потом уехал в город Эхер».

БАКАЛЕЙЩИК МЕШАДИ-РАГИМ (стр. 224—227)

Впервые издан отдельной книжкой в Баку в 1925 г. В русском переводе появляется впервые.

Стр. 224. Писатель имеет в виду 1920—1921 гг., когда он выехал с семьей в Иран и временно жил в Тебризе.

По приглашению Азербайджанского советского правительства писатель вернулся в мае 1921 года на родину и поселился в Баку, а в следующем году возобновил издание журнала «Молла-Насреддин».

СОЛОВЬИ ПОЭЗИИ (стр. 228—235)

Впервые издан отдельной книжкой в Баку в 1925 году. Русский перевод с незначительными сокращениями (на основном стихотворных отрывков, которые приводятся в оригинале рассказа) печатается впервые.

Стр. 232. «Муаллакат» («Отборные» или «Наизанные») — сборник семи шедеуров арабской поэзии, составленный Хамзидом (умер в 772 г.).

Стр. 233. То есть азербайджанцев.

Имру-уль-Кайс — выдающийся арабский поэт (умер между 530—540 гг.) один из создателей классического арабского стиха.

РУССКАЯ ДЕВУШКА (стр. 236—243)

Опубликован впервые в декабре 1925 г. в бакинской газете «Ени йол».

ПОСЕВНОЙ ДОКТОР (стр. 244—249)

Впервые опубликован в феврале 1926 г. в бакинской газете «Ени йол», затем в журнале «Ени кенд» («Новая деревня»). Сделанный

савтором русский перевод был опубликован после смерти писателя в «Известиях АзФАН-а СССР» в 1944 году и частично использован нами при переводе.

ВОСТОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (стр. 249—252)

Опубликован впервые в марте 1926 г. в бакинской газете «Ени Йол», затем в литературном приложении к журналу «Маариф ве меденийет». В русском переводе появляется впервые.

Стр. 249. Аджарец — житель Аджарии, Аджарской АССР, входящей в состав Грузинской ССР.

БОРОДАТЫЙ РЕБЕНОК (стр. 253—257)

Опубликован впервые в апреле 1926 г. в бакинской газете «Ени Йол».

В переводе на русский появляется впервые.

АВОСЬ И ВОЗВРАТЯТ (стр. 258—265)

Впервые опубликован в мае 1926 года в бакинской газете «Ени Йол».

Стр. 259. Джалил Мамедкулизаде издавал иллюстрированный сатирический журнал «Молла-Насреддин» с некоторыми перерывами с 1906 по 1931 год сначала в Тифлисе (Тбилиси), а затем очень короткое время в Тебризе и, наконец, с 1922 года — в Баку.

Стр. 260. В отличие от многих других рассказов здесь автор дал героям вымышленные имена, характеризующие их: Хл е с а д — зависть, У м н д — надежда, Т а л а ф — гибель.

С а б у н ч и — рабочий пригород Баку, нефтеносный район.

Стр. 261. Заде — по-фарсидски — сын; общепринятое в Азербайджане окончание фамилии. Талафхан-бек-заде. — сын Талафхан-бека.

Стр. 262. Последняя жена писателя Гамида-ханум Джеваншир принадлежала к аристократическому роду карабахских ханов и имела поместье, которое и было национализировано после установления в Азербайджане советской власти.

Стр. 263. Паралет — название одного из скверов в центре Баку. Ныне площадь им. К. Маркса.

Стр. 264. Муса Нагнев — известный бакинский нефтепромышленник, миллионер.

Вахид Али-ага (1895—1965) известный азербайджанский поэт, автор многих популярных газелей и других лирических стихотворений.

НОСИЛЬЩИКИ (стр. 266—270)

Впервые опубликован в мае 1926 г. в бакинской газете «Ени Йол».

Стр. 270. Кубника — «толкучка» в старом Баку.

ПРАЗДНИК ОБРЕЗАНИЯ (стр. 271—275)

Опубликован впервые в мае 1926 г. в бакинской газете «Кендли» («Крестынина»). Впоследствии вошел во все сборники и собрания сочинений писателя. В бакинских изданиях 1951 г. (Азериспр) и 1958 г. (АГУ) рассказ помещен под названием «Уездный корреспондент».

Стр. 275. В отличие от всех изданий эта фраза без всяких объяснений и ссылок напечатана в издании 1958 г. (АГУ) в следующей редакции:

«Во-первых, он должен избегать клеветы, а во-вторых, не должен задевать начальство» (стр. 539).

СВИРЕЛЬ (стр. 276—282)

Опубликован впервые в мае 1926 г. в бакинской газете «Ени Йол».

ЛЕД (стр. 283—288)

Впервые опубликован в мае 1926 г. в бакинской газете «Ени Йол».

СОН (стр. 289—292)

Опубликован впервые в 1927 г. в бакинском журнале «Шарк кадыны» («Женщина Востока») под заглавием «Маленькая ошибка».

Стр. 289. Наша домашняя, то есть жена.

Ф а т и х а — см. комментарий к стр. 194.

В и с м и л а х — по имя аллаха, алхамдулиллах — хвала аллаху — начало первой суры корана.

Стр. 290. Речь идет о лунном месяце.

ДВА МУЖА (стр. 293—299)

Опубликован впервые в 1927 г. в бакинском журнале «Шарк кадыны».

Стр. 294. Месяц рамазан — девятый месяц мусульманского лунного года — является месяцем поста и усердных молитв. В течение месяца благочестивые мусульмане обязаны соблюдать условия изувского поста, не брать в рот ничего, даже не курить, от утренней зари до заката солнца.

О месяце мухараме см. комментарий к стр. 193.

И м а м-Р э а, в отличие от других имамов, похоронен в городе Мешхеде (Иран) один, поэтому у шиитов принято называть его «гариб», то есть странник, скиталец, одинокий.

Стр. 299. В издании 1958 г. (АГУ) без каких-либо оговорок и ссылок добавлены следующие строки:

«Если нынешние читатели этих строк сочтут смешным то, что здесь рассказано, и посмеются над мешади и моллами, которые названы тут, то только потому, что мы проводим десятую годовщину Октябрьской революции» (стр. 594).

Рассказ опубликован впервые в собрании сочинений писателя издания 1936 г., том второй.

ДРАМАТУРГИЯ

Драматургия привлекала Джалила Мамедкулизаде всю жизнь. Достаточно сказать, что литературную свою деятельность он начал пьесой «Чай достакань» («Чайный прибор») в стихах, а в 1892 году одноактную пьесу в прозе «Кимшин оюн» («Игра в изюм»). Увлеченный затем художественной прозой и написав ряд выдающихся произведений в этом роде, он в расцвете своих творческих сил вернулся к драматургии и создал свою классическую комедию «Мертвец», явившуюся новым словом в азербайджанской драматургии. В 1920 году, в тяжелейшие годы господства в Азербайджане буржуазно-помещичьей партии Мусават, он написал четырехактную драму «Книга моей матери», которая много раз шла на азербайджанской сцене, но до сих пор не переведена на другие языки, и одноактную драму «Кеманча», представленную в настоящем томе. В годы советской власти писатель создал две большие пьесы — «Школа селения Данабад» и «Сборище сумасшедших».

Кроме названных драматических произведений, сохранились еще набросок либретто одноактной пьесы «Немой» без диалогов и незавершенная комедия «Собрание», посвященная жизни азербайджанской советской деревни, которые вошли в собрание сочинений писателя, но не переводились. Перу писателя принадлежит также до сих пор еще не опубликованная трехактная пьеса под названием «Эр» («Муж»).

МЕРТВЕЦЫ (стр. 311—352)

Пьеса была написана в Тифлисе в 1907—1909 гг. Первая постановка ее на сцене состоялась 29 апреля 1916 г. под руководством выдающегося азербайджанского артиста и режиссера Гусейна Арабалинского и самого автора, при участии в главных ролях поэта молланасрединовца Аликули Наджафова Гамюсуара (Шейх-Насрулла) и артиста Мирза-Аги Алиева (Искендер). Пьеса имела небывалый в истории азербайджанского театра успех. В дальнейшем она была поставлена в разных городах Закавказья и Средней Азии, а также в Тебризе, и вошла в репертуар советских театров. Опубликована была пьеса впервые лишь в 1925 году в Баку, после чего много раз переиздавалась как на родном, так и на русском языках. Кроме перевода на русский язык (первое издание — Тбилиси, 1936 г.), пьеса переведена еще на грузинский (издана в Тбилиси в 1927 году), армянский, таджикский (поставлена на сцене в 1964 г.) и другие языки.

Стр. 293. В отношении возраста Назлы у автора явное противоречие: в перечне действующих лиц он сообщает, что ей двенадцать лет, а в дальнейшем несколько раз называет ее девятилетней.

Стр. 294. Начало первого действия трудно поддается переводу, так как урок ведется на персидском языке по книге Саади «Гюли-

стан» на арабском алфавите, в котором отсутствует большинство гласных. Читая по этой книге, Джалил, не знаящий языка, естественно, путает гласные, делает не те ударения и коверкает слова, чем и вызывает гнев учителя.

В этой сцене автор, педагог по образованию, резко высмеивает средневековый метод обучения грамоте моллами, преклонение перед иноземным (персидским) языком, пичканье малышей сложными для их понимания стихами Саади; одновременно автор иронизирует над коверканиями арабского алфавита.

При первом же появлении Искендер показывает свою независимость и пренебрежительное отношение к устаревшим обычаям и нравам, нарушает вековые традиции и представления общества благочестивых фанатиков, у которых собака считалась существом поганым, нечистым, а прикосновение к ней — большим грехом.

Стр. 316. Автор стихов — Вагиф Молла-Панах — выдающийся азербайджанский поэт XVIII века.

Стр. 318. Даже в письме к родному брату якобы воскресший Кербелай-Фатулла называет жену «мать Мамедали», не забывая при этом извиниться перед ним за упоминание о жене (см. примечание к стр. 160).

Хорасан — провинция в Иране, где находится священный мусульман-шиитов город Мешхед, который часто называют Хорасаном.

Стр. 319. Джумада-уль-ахир — шестой месяц мусульманского лунного года.

Исфаган — город в Иране. Исфаган — из Исфагана.

Раджаб — седьмой месяц мусульманского лунного года.

Наджаф-уль-Ашраф — священный у мусульман город в Иране, где пребывает высшее духовенство.

Стр. 325. По обычаю лицо невесты закрыто чадрой; когда ее ведут в дом мужа, перед ней несут зеркало.

Стр. 307. Все речи Шейх-Насруллы составлены на смешанном азербайджанском языке со значительной примесью арабских и персидских слов целиком или на персидском или арабском языках. Подражание этим языкам должно было показать всежесточивым благочестивым мусульманам силу учености шейха и внушить им особое почтение к нему.

Местами речь Шейх-Насруллы состоит из набора арабских слов, в которых тшето было бы искать логический смысл. Мы решили перевести все речи Шейх-Насруллы, отмечая в скобках, на каком языке они изложены в оригинале, и только в редких случаях дать в тексте арабские фразы в русской транскрипции, тут же давая их приблизительный перевод.

О браке см. в комментарии к стр. 19.

Стр. 330. Александр Македонский.

Стр. 334. Эта речь Шейх-Насруллы отличается особой вычурностью и если читателю с трудом удается докопаться до смысла некоторых фраз, то это не вина переводчика; Шейх-Насрулла умышленно строит свою речь так, чтобы ее трудно было понять; ему и не надо, чтобы его понимали; недаром, когда он, забывшись, начинает говорить на понятном слушателям языке. Шейх-Ахмед останавливает его:

— По-арабски! Говори по-арабски!..

И он, изощренно путая мысли, выкрикивает бессмысленные фразы на арабском языке.

Стр. 342. З у л ь - х и д ж а — двенадцатый месяц мусульманского лунного года.

Стр. 344. Фанатики верили в силу молитвы, записанной на клочке бумаги духовным лицом. Эти клочки бумаги с наарапанскими на них словами или замысловатыми каракулями считались талисманом и расценивались довольно высоко, особенно если к нему приложило руку какое-либо важное духовное лицо.

Стр. 346. Смотреть на постороннюю женщину считалось у фанатиков великим грехом. Для избежания этого греха мужчины в обществе женщин сядились обычно спиной к ним.

Дать свое имя женщине — значит взять ее в жены.

Стр. 349. У фанатиков весьма распространено было гадание на четках или на коране. В особо важных случаях гадание производилось духовными лицами.

КЕМАНЧА (стр. 353—360)

Одноактная пьеса «Кеманча», написанная в январе 1920 г. в городе Шуше, была опубликована лишь после смерти писателя в январе 1935 г. в органе союза советских писателей Азербайджана «Эдбинг гаетаси» («Литературная газета»). Пьеса была написана в разгар межнациональной вражды, которая была разожжена с новой силой контрреволюционными буржуазно-националистическими партиями мусаватистов и дашнаков, временно захватившими власть в Азербайджане и Армении. Наиболее кровопролитный характер носила эта вражда в Карабахе с его центром Шушой, где и проживал в то время писатель.

Кеманча — восточный музыкальный инструмент, напоминающий скрипку. Кстати, в то время сам автор сильно увлекся игрой на этом инструменте и довольно хорошо владел им.

Стр. 356. Тарист — музыкант, играющий на шипковом музыкальном инструменте — тар. Обычно в Закавказье музыкальный ансамбль (сазенде, сазандари) состоит из трех человек: певца, играющего одновременно на бубне, кеманчиста и тариста.

Стр. 359. По-армянски: ах, любимый сынок Мукуш! Раст, шикастеи фарс — классические восточные мугамы (мелодии).

Сшить папаху шайтану — идиоматическое выражение, характеризующее беспримерную хитрость, ловкость, лукавство.

Сегя х-за биле — один из классических восточных мугамов.

ШКОЛА СЕЛЕНИЯ ДАНАБАШ (стр. 361—394)

Пьеса написана в 1921 году в Баку. Опубликована впервые в первом томе собрания сочинений 1936 года, после чего вошла в собрание избранных сочинений 1954 и 1958 гг. На сцене не ставилась. Русский перевод публикуется впервые. В пьесе развит сюжет незаключенной повести под тем же названием.

Стр. 361. Список действующих лиц — в одном издании не приведен. Здесь этот список составлен нами.

Стр. 362. У ш к о л — исковерканное слово «школа» так называют крестьяне учителя.

Стр. 367. Молитву на арабском языке мы опустили. Восхваление царя на персидском языке составлено в крайне вычурных выражениях.

Стр. 368. Веллаху велибеттофик — по-арабски; аллаху господин удачи, аллаху распоряжается удачи.

Стр. 377. Спектор — исковерканное «инспектор».

Стр. 378. Черняевский Алексей Осипович (1840—1897) — известный на Кавказе прогрессивный педагог, с 1879 по 1893 г. — инспектор азербайджанского отделения Горькой учительской семинарии, где учился Дж. Мамедкулиаде (1882—1887). Черняевский — автор популярных учебников «Русская речь» (Элементарный учебник русского языка для русско-татарских начальных училищ) и «Ватан дили» (Родная речь. Татарская азбука азербайджанского наречия, составленная по звуковому методу).

Гюлистан — см. примечание к стр. 132.

Усули дин чендест (перс.) — вопрос о числе основ религии.

Стр. 381. Саджанджали-а-стар — малое зеркало; название одного из созвездий.

Сулбуля-бурджу — созвездие Девы, знак зодиака, соответствующий шестому месяцу иранского солнечного года.

Стр. 382. Азербайджанское слово «от» (трава) в арабской транскрипции действительно состоит из трех букв, так как звук «о» изображается двумя буквами, которые в отдельности соответствуют звукам «а» и «в».

Стр. 389. Мекка — священный город у мусульман, находится в Аравии. Во время молитвы правоверные становятся лицом к Мекке.

СОБОРИЩЕ СУМАСШЕДШИХ (стр. 395—427)

Впервые опубликована в первом томе собрания сочинений (1936 г.), после чего вошла в собрание избранных произведений писателя 1954 и 1958 гг. На сцене не ставилась. Русский перевод публикуется впервые.

Сюжет пьесы, по-видимому, поэтик у автора во время пребывания писателя в городе Тебризе (1920—1921 гг.).

Стр. 395. В списке действующих лиц пропущены следующие персонажи, выступающие в третьем действии: Мешад-Гаджи, Наджафуль-Ашраф, Галжи-Ислам, Гаджи-Абдулазим и Гаджи-Медине.

Сумасшедшие названы по имени и прозвищу. Некоторые прозвища имеют объяснение: Фармазон — искаженное «франкмасон», то есть еретик, безбожник; Сарсам — бред, горячка; Гамзат — одержимый; Джинни, от слова джинн (бес, демон) — бесноватый.

Стр. 396. Долгорукый Хазрат-Аббас — один из наиболее чтимых фанатиками-шунитами святых (имамов).

В Южном Азербайджане (Иран) песньки подавались азербайджанский (тюркский) язык и насильно прививается населению господствующий персидский язык.

Стр. 397. Имам-Рза — один из наиболее чтимых фанатиками имамов. См. примечание к стр. 294.

Стр. 398. Арабский стих: нет большей силы, чем сила всевышнего аллаха.

Стр. 401. Битва при Кербеле, в которой были умерщвлены святые — имамы. См. комментарий к стр. 73 (Ашура) и стр. 193 (Мухаррам).

В представлении мусульман-фанатиков, немусульмане — гяуры — нечисты и всякое прикосновение к ним грех. См. комментарий к стр. 139.

Хазрат-Ганм, то же, что и Сахибзамаан (буквально — господина прелести) — двенадцатый имам, который якобы должен явиться для спасения рода человеческого, когда тот окончательно погрязнет в грехах. Мусульманский мессия.

Стр. 406. По-арабски: помоги, аллах, ивиться Сахибзамаану — благословенне аллаха ему и всем благочестивым женщинам и мужчинам Востока и Запада.

Стр. 408. По-арабски, стих из корана: скажи, душа недома одному господнину.

Стих из корана: да простиет нам аллах наши прегрешения.

Стр. 410. Эмир благочестивых — имам Али, четвертый после Мухаммеда халиф.

Стр. 411. Фатимейн-Захра — дочь Мухаммеда, жена Али, мать имамов Гасана и Гусейна. Почитается святой.

Стр. 413. Агайи-Меджлиси — известный поборник мракобесия.

Раджаб — седьмой месяц мусульманского лунного года.

Стр. 415. Яджудж-Маджудж — Гогамагог — упоминаемые в Библии мифический жестокий царь Гог и его дикий народ магог.

Стр. 429. Формула славата — благословенне аллах, Мухаммеда и его рода.

Стр. 421. Арабский стих: Молю именем твоим, о боже, ибо ты милостив и милосерден! Молю именем аллаха, нет более божественной силы, чем твоя сила над всеми силами.

По-арабски: сказано — поднимайся со всеми своими чадами в день пятницу.

Стр. 423. Формула для освящения брака из корана: благодарю аллаха, который позволяет вступить в брак, посылает свое благословенне всем добрым людям. У вездесущего и всезнающего ишу спасения от козней отверженного дьявола. Заключается брак между известным мужчиной и известной женщиной на известных им условиях.

Аба — плащ, риза, верхняя одежда духовных лиц.

Абулфазл-Абас — один из наиболее чтимых фанатиками имамов.

Ага — господин, барин.

Агач — мера длины, равная примерно 6—7 километрам.

Азан — призыв к молитве.

Ай аман — восклицание, выражающее ужас, горе, мольбу о помощи.

Аксакал — буквально: белобородый; почетное лицо.

Аланы — засушенные персики или груши, начиненные молотым орехом с сахаром.

Алейкессалам — ответное приветствие.

Амшари — буквально: светочестивый, земляк; так называли в Закавказье обычно рабочих из Южного Азербайджана, приезжавших сюда на заработки.

Архалук — верхняя мужская одежда с длинными полами; у женщин род жакета.

Астагфурулла — покаяние, мольба о прощении грехов; боже сохрани, не дай бог.

Ахунд — духовное лицо.

Бейт — двуступище.

Бисмиллах — во имя аллаха. Начало каждой молитвы.

Бозбаш — восточное блюдо из баранины.

Ванз — духовное лицо, проповедник.

Валлах, Биллах — ей-богу, клянусь аллахом.

Гаджал — титул мусульман, посетивших могилу пророка в Мекке.

Газель — вид лирического стихотворения.

Глава — волостной старшина.

Гурия — мифическое существо женского пола, обещающее праведникам после смерти, в раю.

Гюлистан — буквально: сад цветов; название сборника таджико-персидского поэта XII в. Саади.

Гяур — немусульманин; нечестивец.

Даस्ताмаз — обязательное омовение перед молитвой, намазом.

Джанамаз — кусок материи или коврик, на который кладут молитвенные принадлежности во время намаза.

Диван — сборник стихотворений одного поэта.

Зурна — постоянный музыкальный инструмент, напоминающий гобой.

Имам — ближайший потомок пророка Мухаммеда; святой.
Имамзаде — святилище, часовня, построенная в честь имама.
Имам-Гусейн — один из наиболее чтимых фанатиками имамов; погребен в городе Кербеле (Ирак).
Имам-Рза — один из наиболее чтимых фанатиками имамов, погребен в городе Мешхеде (Иран).
Ишалалах — бог даст; выражение надежды.
Кази — высшее духовное лицо.
Качаг — беглый; лица, преследовавшиеся властями. Нередко это были бунтари.
Кебале — искаженное слово «кербелай».
Кеджаве — крытые сидения для путешественников, расположенные по бокам мула, лошади, верблюда.
Кеманча — восточный музыкальный смычковый инструмент.
Кербела — город в Ираке, где, по преданию, были перебиты противниками в борьбе за власть и погребены имамы со своими приближенными. Паломничество к гробницам этих имамов в Кербеле дает титул Кербелай.
Кизяк — сушеный и спрессованный навоз; используется как топливо.
Киши — муж, мужнина.
Кябин — брачный договор; брак, заключенный по корану.
Кягрнз — подземная оросительная система из сообщающихся колодезев.
Мангал — жаровня.
Марсия — религиозная песнь; предание о мучениях имамов. Исполняется специальными полудуховными лицами, марсияханами.
Машаллах — выражение похвалы, одобрения; иногда произносится как заклятие от сглаза.
Мешхед — город в Иране (провинция Хорасан), где похоронен Имам-Рза. Паломничество к его гробнице дает титул Мешади.
Минбар — трибуна для проповедника в мечети.
Мохир — кусок затвердевшей плоской глины, который кладут по время намаза перед собой на пол, чтобы не касаться лбом земли.
Мугдуси — армяне, совершившие паломничество в Иерусалим.
Муджахид — высшее духовное лицо, толкующее догмы шариата.
Муниш — писарь, секретарь.
Мутака — круглая продолговатая подушка, набитая ватой или шерстью.
Мутриб — танцор, танцовщица.
Мухарам — первый месяц мусульманского лунного года; траурный месяц у мусульман-шиитов.
Муштулук — магарыч; вознаграждение за сообщение приятной вести.
Наиб — секретарь, заместитель, сотрудник.
Намаз — обязательная для мусульман ежедневная пятикратная молитва.
Падшах — царь, государь.
Пешкеш — дар, подарок, подношение.
Рамазан — девятый месяц мусульманского лунного года; месяц поста.
Рукет — цикл молитвы-намаза.
Саккыз — гущенная смола, которая на Востоке используется как жвачка.

Салават — славословие имени пророка Мухаммеда и его рода. Произносится, главным образом, после трапезы, на поминках и при особо важных событиях.

Салам-алейкум — буквально: мир вам. Приветствовать.
Сахибаззаман — буквально: господин времени. Это имя-эпитет пророку двенадцатому имаму, спасителю, мусульманскому мессии.
Сенд — лицо, выдающее себя за дальнего потомка пророка Мухаммеда.

Сийга — временный брак; временная жена. См. мотэ.
Субханаллах — славословие алаха.
Тендир — обмазанная огнеупорной глиной яма в земле для выпечки хлебных лепешек — лавашей.

Узундара — азербайджанский национальный танец.
Уста — мастер.
Фатимейи-Захра — дочь Мухаммеда, жена имама Али. Почитается святой.

Фатиха — заупокойная молитва.
Ферраш — младший полицейский чин в Иране.
Фирман — указ, приказ, распоряжение высшей власти.
Хазрат — титул высокопоставленных лиц или святых. Хазрат-Ашраф — Его пресосходительство Ашраф; Хазрат-Аббас — святой Аббас.

Ханум — госпожа, барыня.
Хурджин — переметная сума.
Чауш — опытный проповедник, сопровождающий паломников в святые места.

Чайхана — чайная, трактир.
Чарыхи — мягкая крестьянская обувь из сыромятной кожи.
Чоха — верхняя длиннополая мужская одежда, вроде черкески.
Шариат — свод мусульманских религиозных законов.

Шейх — высшее духовное лицо у мусульман.
Эмир благочестивых — эпитет четвертого после Мухаммеда халифа имама Али, высоко чтимого шиитами.
Яйлаг — летние пастбища, летняя дача.
Яялы — хоровод.
Яр — возлюбленный, возлюбленная.

СОДЕРЖАНИЕ

Джалял Мамедкулизаде (Молла-Насреддин)
Алиш Шариф III—XXVIII

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

События в селении Данабаш	3
Легонькое предисловие	9
Пропажа осла	90
Школа селения Данабаш	90

Рассказы

2 Почтовый ящик	110
Игра в изюм	117
Уста-Зейнал	128
Цирюльник	141
Петушок Пирверди	144
Тетка Фатма	147
Конституция в Иране	152
Курбанали-бек	169
Барашек	187
Молла-Фазлади	193
Беспокойство	199
Жена консула	204
Пустошьлет	209
Мясник	214
Четки хана	218
Бакалейщик Мешади-Рагим	224
Соловьи поэзии	228
Русская девушка	236
Посевной доктор	244
Восточный факультет	249
Бородатый ребенок	253
Авось и возвратят	258
Носильщики	266
Праздник обрезания	271
Свирель	276
Лед	283

Сон	289
Два мужа	293
Две подушки рядом	300

ЛЬЕСЫ

Мертвецы	311
Кеманча	353
Школа селения Данабаш	361
Сборище сумасшедших	395

Комментарии и примечания	429
Словарь	447

Чалла Маммадгулузаде

СЕЧИЛМИШ ЭСЭРЛƏРИ

ики чилдә, 1 чилд

Художник *Ф. Сафаров*

Художественный редактор *Ф. Кулиев*

Технический редактор *С. Ахмедов*

Корректоры *Ш. Кулиева, Н. Вебер*

Слано в набор 21/X-1955 г. Подписано к печати
19/II-1956 г. Формат бумаги 84x108^{1/16}. Физ. п. л. 15.
Условн. п. л. 7. Уч. изд. 1955 г. 23.3.
Заказ № 521. Тираж 5000. Цена 1 руб.

Азербайджанское государственное издательство,
Баку, ул. Гусн Гаджиева, № 4.

Типография „Красный Восток“ Комитета по печати
при Совете Министров Азербайджанской ССР,
Баку, ул. Али Асланова, № 80

2

225611